VISIT…

МИШЕЛЬ ФУКО

РОЖДЕНИЕ БИОПОЛИТИКИ

РОЖДЕНИЕ БИОПОЛИТИКИ

Programme

Издание осуществлено в рамках программы "Пушкин" при поддержке Министерства Иностранных Дел Франции и Посольства Франции в России.

Ouvrage réalisé dans le cadre du programme d'aide à la publication Pouchkine avec le soutien du Ministère des Affaires Etrangères français et de l'Ambassade de France en Russie.

MICHEL FOUCAULT

NAISSANCE DE LA BIOPOLITIQUE

Cours au
Collège de France
(1978–1979)

Edition établie sous la direction
de la François Ewald et Alessandro Fontana,
par Michel Senellart

Hautes Études

Gallimard
Seuil

МИШЕЛЬ ФУКО

РОЖДЕНИЕ БИОПОЛИТИКИ

Курс лекций,
прочитанных
в Коллеж де Франс
в 1978–1979 учебном году

Перевод с французского А. В. Дьякова

Санкт-Петербург
«Наука»
2010

УДК 1(091); 17
ББК 87.3; 87.7
Ф 94

Фуко М. Рождение биополитики. Курс лекций, прочитанных в Коллеж де Франс в 1978—1979 учебном году / М. Фуко; Пер. с фр. А. В. Дьяков. — СПб.: Наука, 2010. — 448 с.

ISBN 978-5-02-025439-8

Лекционный курс Мишеля Фуко «Рождение биополитики» был прочитан в Коллеж де Франс в 1978—1979 учебном году. Фуко в первый и последний раз избирает объектом своего анализа историю мысли XX века. В центре его внимания оказывается становление неолиберализма как определяющей современное состояние западного мира политико-экономической доктрины. Фуко с присущими ему скрупулёзностью и изяществом анализирует две основных ветви неолиберализма — германский ордолиберализм и американский анархо-либерализм, предлагая оригинальную версию событий, отличную от принятой в англо-саксонском мире. Эта исследовательская стратегия позволяет ему подойти к теме биополитики — тотального властного инвестирования всех жизненных процессов, в которое оказалось включено всё западное человечество. В этом отношении публикуемый курс оказывается продолжением лекционного курса 1977—1978 учебного года «Безопасность, территория, население».

Издание адресовано историкам, философам, экономистам и всем, кто интересуется современным состоянием западноевропейской мысли.

ISBN 978-5-02-025439-8
ISBN 2-02-032401-6

© Seuil / Gallimard, 2004
© Издание на русском языке, распространение на территории Российской Федерации
© Издательство «Наука», 2010
© А. В. Дьяков, перевод на русский яз., статья, 2010
© П. Палей, оформление, 2010

Вместо предисловия

Мишель Фуко преподавал в Коллеж де Франс с января 1971 г. до своей смерти в июне 1984 г., за исключением 1977 г., когда он смог воспользоваться отпуском, предоставляемым раз в семь лет. Его кафедра называлась «История систем мысли».

Она была создана 30 ноября 1969 г. по предложению Жюля Вюйемена и по решению общего собрания профессоров Коллеж де Франс вместо кафедры «Истории философской мысли», которой до своей смерти руководил Жан Ипполит. То же общее собрание 12 апреля 1970 г. избрало Мишеля Фуко руководителем новой кафедры.[1] Ему было 43 года.

Мишель Фуко произнес свою инаугурационную лекцию 2 декабря 1970 г.[2]

Преподавание в Коллеж де Франс подчиняется особым правилам. Профессора обязаны отводить преподавательской работе 26 часов в год (максимум половина времени может отдаваться на семинары[3]). Каждый год они должны представлять оригинальное исследование, что заставляет их постоянно об-

---

[1] Мишель Фуко закончил брошюру, представляющую его кандидатуру, следующей формулировкой: «Нужно заняться историей систем мысли» (*Foucault M.* Titres et travaux // Dits et Écrits, 1954—1988 // Éd. par D. Defert & F. Ewald, collab. J. Lagrange. Paris: Gallimard, 1994. 4 vol., t. I. P. 846).

[2] Она была опубликована издательством «Gallimard» в мае 1971 г. под названием «Порядок дискурса».

[3] Что Мишель Фуко и делал до начала 1980-х гг.

новлять содержание своего курса. Посещение лекций и семинаров совершенно свободное; не требуется ни записи, ни диплома. Причем профессор не может не допускать на них кого-либо из слушателей.[4] В Коллеж де Франс говорят, что профессора здесь имеют дело не со студентами, но со слушателями.

Лекции Мишеля Фуко проводились по средам, с начала января до конца марта. Весьма многочисленная аудитория, состоявшая из студентов, преподавателей, соискателей и просто любопытствующих, среди которых было много иностранцев, занимала два амфитеатра Коллеж де Франс. Мишель Фуко часто жаловался на дистанцию, отделявшую его от «публики», и на недостаток общения, обусловленные самой формой лекции.[5] Он мечтал о семинаре, который стал бы местом подлинно коллективной работы. В последние годы после лекций он оставлял много времени для ответов на вопросы слушателей.

Вот как журналист «Nouvel Observateur» Жерар Петижан в 1975 г. описывал атмосферу этих лекций: «Фуко быстро выходит на арену, подобно ныряльщику рассекает толпу, перешагивает через тела, чтобы добраться до своего кресла, отодвигает в сторону магнитофоны, чтобы разложить свои бумаги, снимает куртку, включает лампу и, не теряя времени, начинает. Сильный, завораживающий голос разносится громкоговорителями, это единственная уступка современности в этом зале, слабо освещенном гипсовыми плафонами. В аудитории триста мест, но в нее набилось пятьсот человек, занимающих каждый все свободное пространство [...] Никаких ораторских эффектов. Все ясно и очень убедительно. Нет ни

---

[4] Это правило действует только в Коллеж де Франс.

[5] В 1976 г. в надежде — тщетной — уменьшить число слушателей Мишель Фуко перенес время своих лекций, читавшихся ближе к вечеру, в 17.45, на 9 часов утра. См. начало первой лекции (7 января 1976 г.) курса «Нужно защищать общество» («Il faut défendre la société». Cours au Collège de France, 1976 / Éd. s. dir. F. Ewald & A. Fontana, par M. Bertani & A. Fontana. Paris: Gallimard; Le Seuil, 1977 (*Фуко М.* Нужно защищать общество: Курс лекций, прочитанных в Коллеж де Франс в 1975—1975 учебном году / Пер. Е. А. Самарской. СПб.: Наука, 2005. С. 21—23)).

малейшего элемента импровизации. У Фуко всего двенадцать часов в год, чтобы во время публичных лекций рассказать о проделанных им за прошедший год исследованиях. Поэтому он максимально уплотняет материал, заполняя все поля, как те корреспонденты, которым еще многое нужно сказать, тогда как бумажный лист кончается. 19.15. Фуко останавливается. Студенты устремляются к его столу. Не для того, чтобы поговорить с ним, но чтобы выключить магнитофоны. Вопросов нет. В этой толпе Фуко совершенно одинок». Сам Фуко комментировал: «Нужно было бы обсудить то, о чем я говорил. Иногда, если лекция не удалась, нужно совсем немного, один вопрос, чтобы все расставить по местам. Но этот вопрос никогда не задается. Во Франции влияние группы делает всякую реальную дискуссию невозможной. И поскольку обратной связи нет, лекция театрализуется. Я словно актер или акробат перед этими людьми. И когда я заканчиваю говорить, я ощущаю тотальное одиночество...[6]

Мишель Фуко подходил к своему преподаванию как исследователь: наработки для будущей книги, распашка полей проблематизации формулировались скорее как приглашение, обращаемое к потенциальным исследователям. Поэтому лекции в Коллеж де Франс не дублируют опубликованные книги. Они не являются и их наброском, даже если темы книг и лекций порой совпадают. У них свой собственный статус. Они следуют особому дискурсивному режиму «философских акций», практикуемых Мишелем Фуко. Здесь он по-особому разворачивает программу генеалогии отношений знания/власти, в соответствии с которой будет выстраиваться вся его работа с начала 1970-х гг. — в противоположность археологии дискурсивных формаций, которая доминировала у него прежде.[7]

Кроме того, его лекции были актуальны. Приходивший на них слушатель пленялся не только выстраивавшимся неделя за неделей рассказом; он соблазнялся не только стро-

---

[6] Petitjean G. Les Grands Prêtres de l'université française // Le Nouvelle Observateur. 7 avril 1975.

[7] См. в особенности: *Foucault M.* Nietzshe, la généalogie, l'histoire // Dits et Écrits. T. II. P. 137.

гостью изложения; он находил в них свет, проливаемый на современность. Искусство Мишеля Фуко состояло в том, чтобы поверять современность историей. Он мог говорить о Ницше или об Аристотеле, о психиатрической экспертизе XIX в. или о христианском пастырстве, и слушатель всегда мог извлечь из этого что-то о настоящем или о современных ему событиях. В своих лекциях Мишель Фуко искусно сплетал ученую эрудицию, личную причастность и работу над происходящим.

*

Когда в семидесятые годы происходило развитие и совершенствование кассетных магнитофонов, стол Мишеля Фуко оказался буквально завален ими. Благодаря этому сохранились его лекции (и некоторые семинары).

Настоящее издание опирается на публичные выступления Мишеля Фуко. Оно передает по возможности буквальную транскрипцию.[8] Мы старались передать ее как она есть. Однако перевод устной речи в письменную предполагает вмешательство издателя: как минимум, нужно ввести пунктуацию и деление на абзацы. Наш принцип заключался в том, чтобы всегда оставаться как можно ближе к произносимым лекциям.

Когда это представлялось необходимым, мы устраняли повторы и оговорки; прерванные фразы были восстановлены, а некорректные конструкции исправлены.

Многоточия в квадратных скобках означают, что запись неразборчива. Когда фраза неясна, в квадратных скобках приводится соответствующее пояснение или дополнение.

Звездочками внизу страницы отмечены отличающиеся от устной речи варианты заметок, которые использовал Мишель Фуко.

Цитаты были проверены, в примечаниях даны ссылки на использованные тексты. Критический аппарат ограничивается

---

[8] Использовались главным образом записи, сделанные Жераром Бюрле и Жаком Лагранжем, хранящиеся в Коллеж де Франс и в IMEC.

прояснением темных мест, объяснением некоторых аллюзий и уточнением критических моментов.

С целью облегчить чтение каждая лекция предваряется кратким перечнем, указывающим основные смысловые линии.

Текст лекций дополняет резюме, опубликованное в «Ежегоднике Коллеж де Франс». Мишель Фуко обычно писал их в июне, вскоре после окончания курса. Это позволяло ему ретроспективно прояснить свои замысел и цели. Это дает о них наилучшее представление.

Каждый том заканчивается изложением «ситуации», ответственность за которое лежит на издателях данного лекционного курса: речь идет о том, чтобы познакомить читателя с элементами биографического, идеологического и политического контекста, расположить лекции по отношению к опубликованным трудам и дать указания относительно места, занимаемого курсом в творчестве Фуко, что позволяет облегчить его понимание и избежать недоразумений, которые могли бы возникнуть из-за незнания обстоятельств, в которых каждый курс готовился и читался.

Курс «Рождение биополитики», прочитанный в 1979 г., отредактирован Мишелем Сенеляром.

*

Настоящая публикация лекционных курсов в Коллеж де Франс открывает новую грань «творчества» Мишеля Фуко.

В строгом смысле речь не идет о неизданных текстах, поскольку настоящее издание воспроизводит публичные выступления Мишеля Фуко, а не тщательно подготовленные им рабочие записи. Даниэль Дефер, владеющий рукописями Мишеля Фуко, позволил издателям ознакомиться с ними. За что они ему чрезвычайно признательны.

Настоящее издание лекций, прочитанных в Коллеж де Франс, осуществлено с разрешения наследников Мишеля Фуко, пожелавших тем самым удовлетворить настоятель-

ные просьбы, обращенные к ним как из Франции, так и из-за границы. Их условием была предельная тщательность при подготовке издания. Издатели старались оправдать оказанное им доверие.

Франсуа Эвальд и Алессандро Фонтана

ЛЕКЦИИ 1978—1979 гг.

Лекция 10 января 1979 г.

Вопросы метода. — Допущение несуществования универсалий. — Резюме курса предыдущего года: ограниченность государственных интересов (внешняя политика) и безграничность интересов государства полиции (внутренняя политика). — Право как принцип внешнего ограничения государственных интересов. — Программа курса этого года: политическая экономия как принцип внутреннего ограничения правительственных интересов. — Общая цель исследования: соединение серии практик — режим истины и результаты его вписывания в реальность. — Что такое либерализм?

[Все вы знаете] фразу, приводимую Фрейдом: «*Acheronta movebo*».[1] Итак, я хотел бы поместить курс этого года под знаком другой цитаты, менее известной и приведенной куда менее известным человеком, а именно английским государственным деятелем Уолполом,[2] который относительно собственной манеры правления говорил: «*Quieta non movere*»,[3] «Пребывающего в покое касаться не следует». Это противоположно по смыслу Фрейду. В этом году я хотел бы в каком-то смысле продолжить то, о чем я начал говорить вам в прошлом году, то есть очертить историю того, что можно было бы назвать искусством управлять. «Искусство управлять» — вы помните, в каком очень узком смысле я его понимал, поскольку я использовал слово «управлять», отказавшись от тех тысяч способов, модальностей и возможностей, существующих для руководства людьми, направления их поведения, побуждения их к действиям и реакциям и т. п. Я отказался, таким образом, от всего, что мы обыкновенно по-

нимаем и что так долго понималось под детоводительством, управлением семьями, домоправлением, управлением душами, управлением общинами и т. п. В этом же году я буду принимать во внимание лишь управление людьми в определенном измерении, лишь в том измерении, где оно задается как осуществление политического суверенитета.

Таким образом, это «управление» в узком смысле, но также «искусство», «искусство управлять» в узком смысле, поскольку под «искусством управлять» я понимал не то, как в действительности управляют правители. Я не изучал и не хочу изучать реальную управленческую практику, такую, какой она развивалась, определяя там и тут ситуацию, возникающие в связи с этим проблемы, избираемые тактики, используемые инструменты, проекты переустройства и т. п. Я хотел изучить искусство управлять, то есть способ мыслить наилучшее управление, а также и в то же время рефлексию о наилучшем из возможных способов управлять. Другими словами, я пытался ухватить инстанцию рефлексии в практике управления и о практике управления. В определенном смысле я, если угодно, хотел изучить именно самосознание управления, но при этом слово «самосознание» для меня неприемлемо, и я его не использую, поскольку предпочитаю говорить, что то, что я исследовал, и то, что я хотел бы в этом году вновь попытаться ухватить, это то, как извне и изнутри управления, а прежде всего из самой практики управления, пытались концептуализировать эту практику, состоящую в том, чтобы управлять. Я хотел бы попытаться определить то, как сложилась область практики управления, ее различные объекты, ее общие правила, весь этот предметный ансамбль, предназначенный для наилучшего из возможных способов управления. В целом, если хотите, это изучение рационализации правительственной практики при осуществлении политики суверенитета.

Это непосредственно приводит нас к выбору определенного метода, к которому я еще вернусь, когда у меня будет побольше времени, а сейчас я сразу хотел бы вам сказать, что, раз уж я решил говорить о или отталкиваться от практики управления, совершенно ясно, что придется отказаться как от первичного, изначального объекта как данности, от

многих понятий, таких, например, как суверен, суверенитет, народ, подданные, государство, гражданское общество: от всех этих универсалий, которые используют, характеризуя практику управления, социологические исследования, так же как исследования исторические и исследования политической философии. Я хотел бы сделать нечто прямо противоположное, то есть исходить из этой практики как она есть, но в то же время как она осмысляется и рационализируется, чтобы, исходя из этого, посмотреть, как могут в действительности конституироваться такие вещи, как государство и общество, суверен и его подданные и т. п., статус которых, конечно же, надо выяснить. Другими словами, вместо того чтобы исходить из универсалий, выводя из них конкретные явления, или вместо того чтобы отталкиваться от универсалий как от понятийной сети, обязательной для некоторых конкретных практик, я хотел бы исходить из самой конкретной практики и, так сказать, пропустить универсалии через сеть этих практик. Не можем ли мы, толкуя о том, что можно назвать историцистской редукцией, спросить, из чего складывается сама историцистская редукция? Точнее говоря, исходить из этих универсалий, как они даны, и рассмотреть историю или ее модели, или ее модификации, или в конце концов установить ее несостоятельность. Историцизм исходит из универсального и пропускает его, так сказать, через жернова истории. Моя задача прямо противоположна. Я исхожу из одновременно теоретического и методологического решения, состоящего в следующем: предположив, что универсалий не существует, я задаю вопрос истории и историкам: как вы можете писать историю, если вы не допускаете a priori, если такие вещи, как государство, общество, суверен, его подданные, не существуют? Точно так же я ставил вопрос, говоря: существует ли безумие? Я хочу посмотреть, говорит ли история, как она мне дана, о такой вещи, как безумие. Нет, она не отсылает к такой вещи, как безумие, а значит, безумия не существует. Это не было доказательством, фактически это не было даже методом. Метод состоял в том, чтобы сказать: давайте предположим, что безумия не существует. Тогда что же это за история, которая все эти разнообразные события, эти различные практики упорядо-

чивает посредством предположения о существовании безумия?[4] Таким образом, здесь я хотел бы предложить нечто прямо противоположное историцизму. Не поверять универсалии, используя критический метод истории, но исходить из утверждения о несуществовании универсалий, спрашивая, как возможна история. К этому я еще вернусь.[5]

В прошлом году, как вы помните, я попытался проанализировать один из самых важных, как я полагаю, эпизодов в истории управления. Этот эпизод в целом сводился к появлению и становлению того, что в то время называли государственными интересами, в бесконечно более сильном, более точном, более строгом, более широком смысле, чем тот, который получило это понятие впоследствии.[6] Что я пытался зафиксировать, так это появление в практике управления определенного типа рациональности, того типа рациональности, который позволяет регламентировать способ управления тем, что называется государством, и который по отношению к этой практике управления, по отношению к этому просчитыванию практики управления выступает одновременно данностью, поскольку управлять можно лишь уже существующим государством, управлять можно лишь в рамках государства; все это так, но само государство в то же время оказывается целью этой деятельности. Государство — это то, что существует, но существует в недостаточной степени. А государственные интересы — это как раз практика или, скорее, рационализация практики, ситуированная между государством, представленным как данность, и государством, представленным как созидание и строительство. Искусство управлять, следовательно, должно зафиксировать свои правила и рационализировать свои приемы, полагая себя некоторым образом в качестве цели существования государства. Деятельность правительства должна идентифицироваться с целеполаганием государства. Государство как данность, таким образом, есть правительственное *ratio*, то, что позволит ему обдуманным, разумным, просчитанным способом приблизиться к максимуму своего бытия. Что значит управлять? Управлять согласно принципу государственного интереса — значит стараться, чтобы государство могло сделаться прочным и устойчивым, чтобы оно могло стать богатым, чтобы оно могло противостоять всему, что может его разрушить.

Пара слов о том, что я пытался сказать в прошлом году, чтобы вкратце резюмировать прошлогодний курс. Я хотел бы подчеркнуть два или три пункта. Вы помните, что характеризовало ту новую рациональность управления, названную государственными интересами, которая в целом конституировалась на протяжении XVI века, когда государство определилось и выделилось как одновременно специфическая и автономная реальность — во всяком случае, относительно автономная. Правитель государства должен, конечно, соблюдать некоторые принципы и правила, которые довлеют и господствуют над государством и которые внешни по отношению к государству. Правитель государства должен соблюдать божественные, моральные, естественные законы как законы, внутренне присущие государству. Но, соблюдая эти законы, правитель преследует совсем иную цель, нежели обеспечить спасение своим подданным в загробной жизни, тогда как в Средние века правитель обычно рассматривался как тот, кто должен помочь своим подданным спастись в загробном мире. Отныне правитель государства больше не обязан заботиться о спасении своих подданных в загробном мире, по крайней мере непосредственно. Не обязан он и простирать на них свою отеческую благосклонность и устанавливать с ними отношения как между отцом и детьми, тогда как в Средние века отеческая роль суверена неизменно подчеркивалась. Иными словами, государство не является ни домом, ни церковью, ни империей. Государство — это особая и дисконтинуальная реальность. Государство существует только для себя самого и по отношению к самому себе, какой бы ни была система зависимости, связывающая ее с такими системами, как природа или Бог. Государство существует только само по себе и для себя самого, оно существует только как множественность, то есть не стремится в близком или отдаленном историческом горизонте к растворению или подчинению какой-либо имперской структуре, которая сводится к своего рода теофании Бога в мире, теофании, ведущей людей к объединению в человечество перед самым концом света. Государство, таким образом, не интегрируется в империю. Государство существует только как государства, во множественном числе.

Специфичность и множественность (pluralité) государства. Что касается этой множественной специфичности государства, я уже пытался показать вам, что она приняла форму нескольких выверенных способов управлять, одновременно способов управлять и соответствующих этим способам институций. Во-первых, в экономике это был меркантилизм как форма управления. Меркантилизм — не экономическая доктрина, это нечто гораздо большее, нечто совсем иное, нежели экономическая доктрина. Это определенная организация производства и коммерческих оборотов, соответствующая принципу, согласно которому государство должно 1) обогащаться за счет монетарного накопления, 2) становиться сильнее благодаря росту населения, 3) постоянно находиться и выживать в состоянии конкуренции с иностранными державами. Вот что такое меркантилизм. Второй способ организации и практической формы управления в соответствии с государственными интересами — это управление внутренними делами, то есть то, что в ту эпоху называли полицией, непререкаемая регламентация страны в соответствии с компактной моделью городской организации. Наконец, в-третьих, создание постоянной армии и столь же постоянной дипломатии. Если хотите, организация постоянного военно-дипломатического аппарата, цель которого — поддерживать множественность государств без какого-либо имперского поглощения и таким образом, чтобы между ними могло установиться некоторое равновесие, дабы унификация имперского типа в конечном счете не охватила всю Европу.

Таким образом, меркантилизм, это государство полисии, является оборотной стороной европейского баланса: все это было конкретной формой нового искусства управлять, упорядочиваемого принципом государственных интересов. Три способа (впрочем, опирающихся один на другой) управлять, сообразуясь с интересами, имеют в качестве своего принципа и области применения государство. Я как раз и пытался вам показать, что государство вовсе не есть естественно-историческая данность, которая развивается в своей собственной динамике в «бесстрастного монстра»,[7] семя которого брошено в определенный исторический момент и который мало-помалу пожирает его; государство вовсе не таково, государство — не

бесстрастный монстр, оно коррелятивно определенному способу управлять. Проблема заключается в том, чтобы узнать, как развивается этот способ управлять, какова его история, как он побеждает, чем он ограничивается, как он распространяется на ту или иную область, как он изобретает, формирует, развивает новые практики, — вот в чем проблема, а не в том, чтобы делать из [государства] балаганного гиньоля, какого-то жандарма, который заявляется, чтобы поколотить тех или иных персонажей истории.

Несколько замечаний по этому поводу. Прежде всего: у этого подчиненного государственным интересам искусства управлять есть черта, которая, как мне представляется, для него характерна и важна для понимания дальнейшего. Дело, видите ли, в том, что государство, или скорее управление согласно государственным интересам, в своей внешней политике, вернее, в отношениях с другими государствами преследует цель, которая есть цель ограниченная, в отличие от того, что было в конце концов горизонтом, проектом, желанием большинства правителей и суверенов Средневековья, а именно — стать по отношению к другим государствам в ту имперскую позицию, которая позволила бы ему играть решающую роль одновременно в истории и в теофании. Вместо этого государственные соображения предполагают, что у каждого государства свои интересы, что оно должно, следовательно, их защищать, и защищать всемерно, однако цель его не должна состоять в том, чтобы прийти в конце времен к единой позиции всеобъемлющей и всеобщей империи. Оно не должно мечтать о том, чтобы стать империей последних дней. Каждое государство должно самоограничиваться в своих целях, утверждать свою независимость и обладать достаточными силами, что позволило бы ему никогда не оказываться в состоянии зависимости либо от всех остальных стран, либо от своих соседей, либо от самой сильной из других стран (различия в теориях европейского баланса той эпохи несущественны). Но, как бы то ни было, именно это внешнее самоограничение характеризует государственные интересы, заявляя о себе в военно-дипломатических аппаратах XVII века. В Вестфальском договоре в Семилетнюю войну — или, лучше сказать, в революционных войнах, принимающих самый разный характер, — эта воен-

но-дипломатическая политика упорядочивается принципом самоограничения государства, принципом необходимого и достаточного соперничества между различными государствами.

А что же предполагает тот порядок, который сегодня назвали бы внутренней политикой, полицейским государством? Так вот, здесь предполагается цель или серия целей, которые можно назвать неограниченными, поскольку речь идет о том, что в государстве полисии те, кто управляет, осуществляют заботу и попечение о деятельности не только групп, не только различных сословий, то есть различных типов индивидов с их частным статусом, заботятся и о деятельности индивидов вплоть до мелочей. В великих трактатах о полисии XVII и XVIII в. авторы, пытающиеся свести воедино различные регламенты и систематизировать их, совершенно согласны в этом отношении и говорят об этом совершенно ясно: объект полисии — это объект почти бесконечный. То есть тот, кто властвует самодержавно наряду с другими властителями, тот, кто управляет согласно государственным интересам, ограничен в своих целях. Зато, отправляя публичную власть, регулирующую поведение подданных, тот, кто управляет, в своих целях не ограничен. Соперничество между государствами — поворотный пункт между этими ограниченными целями и целями неограниченными, поскольку для того, чтобы иметь возможность конкурировать с другими государствами, то есть поддерживать в определенном равновесии всегда неуравновешенное, поддерживать конкурентное равновесие с другими государствами, управляющий [обязан регламентировать жизнь] своих подданных, их экономическую деятельность, производство, цены, [по которым] они будут сбывать товары, цены, по которым они будут их покупать и т. п. [...] Ограничению международных целей правительства в соответствии с государственными интересами, этому ограничению в международных отношениях соответствует неограниченность отправлений государства полисии.

Второе замечание, которое я хотел сделать относительно функционирования государственных интересов в XVII и начале XVIII вв., относится к тому, что, конечно же, внутренняя цель, на которую обращалось управление согласно государст-

венным интересам, или, если хотите, полицейское государство, не ограничена. Однако это вовсе не означает, что не было механизмов компенсации или, скорее, позиций, исходя из которых пытались установить предел, границу этой неограниченной цели, предписываемой государству полисии государственными интересами. Конечно же, было много попыток положить предел государственным интересам со стороны теологии. Но я буду говорить о другом принципе ограничения государственных интересов той эпохи — о праве.

Действительно, произошло нечто курьезное. На что, в сущности, опиралось усиление королевской власти на протяжении всего Средневековья? Опиралось оно, конечно же, на армию. А также на судебные институции. Как замковый камень правового государства, правовой системы, удвоенной армейской системой, король мало-помалу ограничил и упростил хитросплетения феодального права. Судебная практика была проводником королевской власти на протяжении всего Средневековья. Итак, когда начиная с XVI века, а главным образом с начала XVII века начинает развиваться новая правительственная рациональность, правом начинают пользоваться совсем не как точкой опоры какого-либо лица, которое ищет способ ограничить это бесконечное расширение государственных интересов, формирующееся в полицейском государстве. Теория права и судебные институции также будут служить отныне не усилению, но, напротив, ослаблению королевской власти. Таким образом, мы видим, как начиная с XVI и на протяжении всего XVII вв. возникает целый ряд проблем, споров, политических баталий, к примеру, вокруг основных законов королевства, тех основных законов королевства, которые юристы намерены противопоставить государственным интересам, говоря, что никакая правительственная практика, никакие государственные интересы не могут подвергать их сомнению. Они в некотором смысле предшествуют государству, поскольку для государства они конститутивны, а значит, какой бы абсолютной ни была власть короля, он не должен, говорят некоторые юристы, касаться этих основных законов. Право, конституируемое этими основными законами, оказывается, таким образом, вне государственных интересов и выступает принципом их ограничения.

Есть еще теория естественного права и естественных прав, оцениваемых как неотъемлемые права, которые никакой суверен ни при каких обстоятельствах не может преступить. Есть еще теория договора, заключенного между индивидами для утверждения суверена, договора, включающего некоторые условия, которым суверен должен подчиняться, поскольку именно благодаря этому договору и условиям, сформулированным в этом договоре, суверен оказывается сувереном. Есть еще (впрочем, больше в Англии, нежели во Франции) теория соглашения, заключаемого между сувереном и его подданными для конституирования государства, по которому суверен обязуется что-либо делать или не делать. Есть еще целое поле историко-юридической рефлексии, о которой, если мне не изменяет память, я вам говорил два или три года назад[8] и в которой пытались утверждать, что исторически королевская власть возникла задолго до абсолютного правления, что причина господства суверена и его отношения к подданным не сводилась к государственным интересам, но была скорее чем-то вроде сделки, например между знатью и военачальником, которого первая просила принять на себя на время войны и, быть может, немного дольше функции вождя. И именно в такого рода ситуации первобытного права мог появиться король, который потом злоупотребил ситуацией, поправ эти исторически первичные законы, которые теперь следует припомнить.

Короче, как бы то ни было, эти дискуссии вокруг права, оживленность этих дискуссий, интенсивное разворачивание всех проблем и теорий того, что можно назвать публичным правом, воскрешение всех этих тем естественного права, изначального права, договора и т. п., которые были сформулированы в Средние века в совсем ином контексте, — все это, так сказать, оборотная сторона, следствие и реакция на тот новый способ управления, который утверждался исходя из государственных интересов. Действительно, право, судебные институции, свойственные становлению королевской власти, теперь оказываются внешними и излишними для управления в соответствии с государственными интересами. Неудивительно, что все эти правовые проблемы всегда формулируются в первой инстанции теми, кто противится новой системе государственных интересов. Во Франции, например, это

парламентарии, протестанты, тогда как дворяне ссылаются скорее на историко-юридический аспект. В Англии это буржуазия, выступающая против абсолютной монархии Стюартов, и религиозные диссиденты, появляющиеся начиная с XVII в. Короче, оппозиция всегда отказывает в праве государственным интересам, а следовательно, противопоставляет государственным интересам юридическую рефлексию, правовые нормы, инстанции права. Публичное право (давайте употребим это выражение) в XVII и XVIII вв. остается оппозиционным,* хотя некоторые теоретики, симпатизирующие королевской власти, вновь поднимают эту проблему и пытаются интегрировать эти правовые вопросы, эту постановку права под вопрос в государственные интересы и их обоснование. Как бы то ни было, есть одна вещь, на которой, думается мне, надо остановиться. Даже если верно, что государственные интересы формулировались и манифестировались государством полисии, воплощались в государстве полисии, даже если эти государственные интересы направлялись на неограниченные цели, в XVI и XVII вв. постоянно предпринималась попытка ограничить их, и это ограничение, этот принцип, этот довод в пользу ограничения государственных интересов приходит со стороны юридического мышления. Как видите, это внешнее ограничение. Впрочем, юристам хорошо известно, что по отношению к государственным интересам их правовой вопрос имеет внешний характер, поскольку они определяют государственные интересы как нечто выходящее за пределы права.

То, что границы права внешни по отношению к государству, к государственным интересам, означает прежде всего что границы, которые пытаются установить для государственных интересов, есть границы, исходящие от Бога, или установленные изначально раз и навсегда, или сформированные в отдаленной истории. Говорить, что они внешни по отношению к государственным интересам, значит также утверждать, что их функционирование чисто ограничительное, драматическое, так как, по сути, возражать государственным

---

* В рукописи уточнение: «(за исключением немецких государств, которые опираются на право, выступая против Империи)».

интересам можно только тогда, когда государственные интересы преступают эти правовые границы и когда право может определить правление как незаконное, обвинить его в узурпации, а в пределе освободить подданных от обязанности повиновения.

Вот в целом то, как я пытался охарактеризовать тот способ управлять, который называется государственными интересами. Теперь я хотел бы перенестись примерно в середину XVIII столетия, примерно (с оговоркой, которую я только что сделал) в ту эпоху, когда Уолпол сказал: «*quieta non movere*» («пребывающего в покое касаться не следует»). Я хотел бы перенестись в ту эпоху, когда, как мне кажется, мы просто обязаны констатировать важную трансформацию, характеризующую то, что можно было бы назвать современной мыслью о правлении. В чем состоит эта трансформация? В двух словах, она состоит в установлении принципа ограничения искусства управлять, который больше не был бы для него внешним, как право в XVII веке, [но] который был бы для него внутренним. Регулирование внутренне присуще правительственной рациональности. Что такое, обобщенно и абстрактно, это внутреннее регулирование? Как в конце концов можно различить его до всякой определенной и конкретной исторической формы? Что может быть внутренним ограничением правительственной рациональности?

Во-первых, это регулирование оказывается фактическим ограничением. Фактическим в том смысле, что оно не является правовым ограничением, даже если право не сегодня-завтра будет расписано в форме правил, которые нельзя нарушать. В любом случае сказать, что это фактическое ограничение, значит сказать, что, если правительство когда-либо нарушит это ограничение, преступит поставленные ему границы, оно тем не менее не станет иллегитимным, не утратит, так сказать, своей сущности, не окажется лишенным своих фундаментальных прав. Сказать, что существует фактическое ограничение правительственной практики, значит сказать, что правительство, которое пренебрегает этим ограничением, окажется просто правительством, не иллегитимным, не узурпатором, но неумелым, неадекватным правительством — правительством, которое не делает должного.

Во-вторых, присущее искусству управлять ограничение означает, что это ограничение, будучи фактическим, не является всеобщим. То есть речь идет не просто о каких-то советах быть осмотрительным, в тех или иных обстоятельствах указывающих, чего делать не стоит, от чего в тех или иных обстоятельствах лучше воздержаться, чем вмешиваться. Нет. Внутреннее регулирование означает, что существует ограничение фактическое, всеобщее, то есть такое, которое при любых обстоятельствах следует более или менее единой линии в зависимости от принципов, действующих при любых обстоятельствах. Проблема же состоит в том, чтобы точно определить эту границу, одновременно всеобщую и фактическую, которую правительство налагает само на себя.

В-третьих, внутреннее ограничение означает, что это ограничение, принцип которого нельзя отыскать, поскольку для этого нужно знать, на что опирается эта всеобщность, то есть, к примеру, естественные права, предписанные Богом всем людям, данным в Откровении, волеизъявление подданных, ставших таковыми в момент вступления в общество. Нет, это ограничение требует отыскать принцип, связанный не с тем, что внешне по отношению к правительству, но с тем, что внутренне по отношению к правительственной практике, то есть к целям правительства. И тогда это ограничение предстанет как одно из средств, быть может, как основополагающее средство достижения этих целей. Чтобы достичь их, нужно ограничить правительственную деятельность. Правительственные интересы не должны соблюдать эти границы потому, что где-то вне их, прежде государства, до государства существуют незыблемо установленные границы. Ничего похожего. Правительственные интересы должны придерживаться этих границ в той мере, в какой они полагают их по собственной инициативе, в зависимости от своих целей и как лучшее средство их достижения.

В-четвертых, это фактическое, всеобщее ограничение, которое оказывается функцией самой правительственной практики, конечно же, устанавливает разделение между тем, что следует делать, и тем, чего делать не стоит. Оно маркирует ограничение правительственных действий, но это ограничение не распространяется на подданных, на индивидов-субъектов,

которыми руководит правительство. То есть оно не определяет, какие подданные должны быть покорны в своих действиях и какие раз и навсегда получают свободу. Другими словами, правительственные интересы не раскалывают подданных на всецело свободных и обреченных на угнетение или покорность. В действительности это разделение создается не индивидами, людьми, подданными; оно создается самой областью правительственной практики или, скорее, в самой правительственной практике, проходя между тем, что можно сделать, и тем, чего делать нельзя, иначе говоря, между тем, что делается, и средствами к достижению этого, с одной стороны, и тем, чего делать не надо — с другой. Проблема не в том, каковы фундаментальные права и как фундаментальные права разделяют область возможного управления и область фундаментальной свободы. Линия раздела проходит между двумя сериями вещей, [которые] в одном из важнейших своих текстов, к которому я постараюсь вернуться, перечисляет Бентам,[9] раздел проходит между *agenda* и *non aenda*, тем, что нужно сделать, и тем, чего делать не нужно.

В-пятых, это ограничение, которое является ограничением фактическим, ограничением всеобщим, ограничением, зависящим от целей правительства, ограничением, отделяющим не подданных, но то, что следует сделать, это внутреннее ограничение делает очевидным, что управляет не тот, кто, обладая суверенитетом и разумностью, принимает самовластные решения.* И в той мере, в какой управление людьми есть не практика, внушаемая теми, кто управляет, тем, кем управляют, но практика, закрепляющая определение и соответствующие отношения управляющих и управляемых с другими и их отношение к другим, «внутреннее регулирование» означает, что это ограничение не навязывается ни одной стороной, ни другой, или во всяком случае не навязывается всецело, окончательно и тотально; я бы назвал это сделкой, в самом широком смысле слова «сделка», т. е. «действие между», целая серия конфликтов, соглашений, споров, взаимообменов: всевозможные перипетии, составляющие в ко-

---

* М. Ф.: решает самовластно, что нужно делать и чего делать не нужно.

нечном счете практику управления через фактическое разделение, всеобщее разделение, рациональное разделение между тем, что следует сделать, и тем, чего делать не следует.

Можно сказать, что правовой принцип, неважно, определяется он исторически или теоретически, обращается прежде всего к суверену и к тому, что он может сделать, как своего рода ограничение: ты не преступишь этой черты, ты не перешагнешь через это право, ты не нарушишь эту основополагающую свободу. Правовой принцип уравновешивает в эту эпоху государственные интересы как внешний принцип. Как видите, он появляется во времена критики правительственных интересов. Эта критика правительственных интересов, или критика изнутри правительственных интересов, отныне, очевидно, не обращается вокруг вопроса об узурпации и легитимности суверена. Отныне она не имеет уголовного характера, какой имело публичное право XVI и XVII вв., когда говорили: если суверен преступит этот закон, он должен быть наказан за свое беззаконие. Для критики правительственных интересов речь идет о том, чтобы управлять не слишком много.[10] Теперь выступают не против злоупотреблений суверенитетом, но против излишнего управления. И рациональность практики управления теперь измеряется чрезмерностью управления или, во всяком случае, указанием на то, что для правления чрезмерно.

Итак, эта трансформация, как мне представляется, лежит в основании отношений между правом и практикой управления; появление этого внутреннего ограничения правительственных интересов, как я сказал, прежде чем дать его абстрактную характеристику, в общих чертах обнаруживается в середине XVIII в. Что позволило ему появиться, как это произошло? Конечно, стоило бы принять в расчет (и к этому я впоследствии вернусь, хотя бы отчасти) всю трансформацию в целом, но сегодня я хотел бы подробнее обозначить, что за интеллектуальный инструмент, что за форма исчисления и рациональности сделала возможным самоограничение правительственных интересов, сама став объектом бесконечных трансакций. Итак, еще раз скажем, что этот интеллектуальный инструмент, тип исчисления, форма рациональности, позволившая правитель-

ственным интересам самоограничиться, не является правом. Что появляется начиная с середины XVIII в.? Очевидно, это политическая экономия.

«Политическая экономия» — сама двусмысленность этого выражения и его звучание в ту эпоху указывают на то, что под этим подразумевалось по сути, поскольку очевидно, что между 1750-м и 1810—1820-м гг. выражение «политическая экономия» перемещалось между различными семантическими полями. С недавнего времени это выражение предполагает нацеленность на некий анализ, строго ограниченный производством и обращением богатств. Однако под «политической экономией» в более широком и более практическом смысле понимается также всякий метод правительства, позволяющий обеспечить благосостояние нации. И наконец, политическая экономия — это выражение использовал Руссо в своей замечательной статье «Политическая экономия» в *Энциклопедии*[11] — так вот, политическая экономия — это что-то вроде общей рефлексии об организации, распределении и ограничении властей в обществе. Политическая экономия, как мне представляется, есть в своем основании то, что позволило утвердить самоограничение правительственных интересов.

Как и почему политическая экономия сделала это возможным? Я хотел бы сразу же — к деталям я обращусь немного позже — обозначить несколько моментов, которые, как мне кажется, необходимы для понимания того, о чем я хотел бы поговорить в этом году. Итак, во-первых, политическая экономия, в отличие от юридической мысли XVI и XVII столетий, развивалась не вовне государственных интересов. Она развивалась не вопреки государственным интересам и не для того, чтобы их ограничить, по крайней мере в первой инстанции. Напротив, она формировалась в рамках самих целей, которые государственные интересы ставили перед искусством управлять, но какие же цели преследовала в таком случае политическая экономия? Своей целью она полагала обогащение государства. Она полагала своей целью, с одной стороны, прирост населения (симультанный, коррелятивный и должным образом выверенный), и удовлетворение потребностей — с другой. Что же предлагала политическая экономия?

Поддерживать приемлемым, выверенным и беспроигрышным способом конкуренцию между государствами. Политическая экономия небезосновательно предлагала поддержание определенного равновесия между государствами, чтобы могла иметь место конкуренция. То есть, она в точности повторяла цели, диктовавшиеся государственными интересами и сводившиеся к полицейскому государству, то есть к меркантилизму, который пытался осуществить европейский баланс. Таким образом, политическая экономия в первой инстанции размещается внутри тех правительственных интересов, которые определились в XVI и XVII вв., и в силу этого у нее не будет того внешнего положения, которое занимала юридическая мысль.

Во-вторых, политическая экономия не полагает себя как внешнее сопротивление государственным интересам и не требует для себя политической автономии, поскольку, и это исторически очень важный момент, первое политическое следствие первой экономической рефлексии в истории европейской мысли, так вот, [это] следствие приводит к тому, чего хотели юристы. Оно заключается в необходимости тотального деспотизма. Первая политическая экономия — это, конечно, политическая экономия физиократов, а физиократы, как известно (к этому я еще вернусь), на основании своего экономического анализа заключали, что политическая власть должна быть властью без внешних ограничений, без внешнего противовеса, без границы, происходящей из чего-либо иного, нежели она сама, и именно поэтому они призывали к деспотизму.[12] Деспотизм — это экономическое правление, сдерживаемое в своих границах не чем иным, как экономикой, которую он сам же определяет и которую сам он всецело контролирует. Деспотизм абсолютен, а потому очевидно, что политическая экономия не меняет его очертаний, задаваемых государственными интересами, во всяком случае в первой инстанции или на этом уровне, и что политическая экономия может появиться лишь в правовом регистре государственных интересов, дающем монарху тотальную и абсолютную власть.

В-третьих, над чем размышляет политическая экономия? Что она изучает? Не какие-то предсуществующие права, вписанные либо в человеческую природу, либо в историю

данного общества. Политическая экономия размышляет над самими правительственными практиками, а не вопрошает с точки зрения права, легитимны или нет эти правительственные практики. Она рассматривает их не с точки зрения их происхождения, но с точки зрения их результатов, спрашивая, например, не «что позволяет суверену взимать налоги?», но просто «когда взимается налог, когда налог взимается в этот определенный момент, от какой категории лиц или от какой категории товаров можно получить прибыль?». Неважно, легитимно это право или нет,* проблема в том, чтобы узнать, каковы его следствия, и могут ли эти следствия быть отрицательными. Вот тогда говорится, что обсуждаемый налог иллегитимен или, во всяком случае, что он не имеет разумного основания. Но происходит это всегда внутри поля правительственной практики и в зависимости от ее результатов, а не в зависимости от того, что могло бы дать ей правовое обоснование, потому что экономический вопрос ставится так: «каковы реальные результаты руководства, к которым привело его осуществление?», а не «на каких изначальных правах основывается это руководство?». Такова третья причина, в силу которой политическая экономия со своей рефлексией, со своей новой рациональностью смогла занять место, если угодно, внутри практики и правительственных интересов, утвердившихся в предшествующую эпоху.

Четвертая причина заключалась в том, что, отвечая на такого рода вопросы, политическая экономия выявила существование явлений, процессов и закономерностей, которые с необходимостью подчиняются умопостигаемым механизмам. Эти умопостигаемые и необходимые механизмы, конечно, могут противоречить некоторым формам руководства, некоторым правительственным практикам. Они могут быть противоречивыми, они могут быть запутанными, они могут быть неясными, но, как бы то ни было, их нельзя избежать, их нельзя полностью и окончательно устранить. Так или иначе, они возвращаются в правительственную практику. Иначе говоря, что политическая экономия обнаруживает, так это не

---

* М. Фуко добавляет: в терминах права.

предсуществующие осуществлению правления естественные права, но некую присущую самой практике управления природу. Объектам правительственной деятельности присуща некая природа. Самой правительственной деятельности присуща некая природа, именно ее и будет изучать политическая экономия. Представление* о природе полностью меняется с появлением политической экономии. Для нее природа — не резервная и исходная область, на которую осуществление власти не распространяется, оказываясь иллегитимным. Природа — это то, что проходит под, через, в осуществлении управления. Это, если угодно, необходимая ему гиподерма. Это что-то вроде оборотной стороны видимого, видимого для правителей — так сказать, их собственные действия. Их собственные действия имеют изнанку или, скорее, другую сторону, и эту другую сторону управления как раз и изучает в своей очевидной необходимости политическая экономия. Не подложку, но неизменный коррелят. Так, например, экономисты объясняют, что стремление населения ко все более высокой заработной плате — это закон природы; что повышение барьерного таможенного тарифа на продукты питания неизбежно влечет за собой голод, — это закон природы.

Наконец, последний момент, объясняющий, как и почему политическая экономия смогла представить себя как первую форму этого нового правительственного самоограничивающегося *ratio*, заключается в том, что, раз существует присущая управлению в его целях и действиях природа, как следствие правительственная практика не может ее касаться. Если она пренебрегает этой природой, если она не принимает ее в расчет или идет против законов, запечатленных этой природностью в подвергающихся ее воздействию объекта, незамедлительно возникнут негативные для нее самой последствия; иначе говоря, возможны успех или поражение, и именно они оказываются теперь критериями правительственных действий, а вовсе не легитимность или иллегитимность. Успех вместо [легитимности].** Мы затронули общую проблему утилитаристской фило-

---

* М. Фуко добавляет: естественное и...

** М. Фуко: поражения.

софии, о которой теперь придется поговорить. Как видите, утилитаристская философия должна быть включена в эти новые вопросы управления (не обязательно сразу, но мы вернемся к этому).

Успех или поражение, таким образом, занимают место разделения «легитимность/иллегитимность», но есть и еще кое-что. Почему правительство, вопреки собственным целям, попирает природу, присущую объектам, которыми оно манипулирует, и действиям, которые оно производит? Почему оно совершает насилие над этой природой в ущерб взыскуемому успеху? Насилие, излишество, злоупотребление, конечно, возможны, но все не так просто — в основании этих излишеств, насилия, злоупотребления лежит не просто злокозненность государя. Объясняется это тем, что правительство в самый момент нарушения законов природы их просто недооценивает. Недооценивает, потому что игнорирует их существование, их механизмы, их следствия. Другими словами, правительства могут заблуждаться. И наибольшее зло для правительства, причина того, почему оно дурно, заключается не в том, что государь плох, а в том, что он невежествен. Короче говоря, в искусство управлять благодаря политической экономии вводятся, во-первых, возможность самоограничения, благодаря которой правительственная деятельность сама себя ограничивает в зависимости от природы того, что оно делает и к чему оно приходит, [а во-вторых, вопрошание об истине].* Возможность ограничения и вопрошания об истине — две эти вещи вводятся в правительственные интересы благодаря политической экономии.

Вы, конечно, скажете, что вопрос об истине и вопрос о самоограничении правительственной практики ставятся не впервые. В конце концов, что традиционно понимали под мудростью государя? Мудрость государя — это то, что заставляло государя говорить: я слишком хорошо знаю законы божьи, я слишком хорошо знаю человеческие слабости, я слишком хорошо знаю свои собственные пределы, чтобы не умерять свою

---

* Незаконченная фраза. В рукописи (р. 20): «Короче говоря, одновременное появление искусства управлять и политической экономии делает возможными самоограничение и вопрошание об истине».

собственную власть, чтобы не уважать права моего подданного. Однако очевидно, что это отношение между принципом истины и принципом самоограничения совершенно различно в мудрости государя и в том, что появляется теперь, то есть в правительственной практике, озабоченнной тем, чтобы знать, как поступать с объектами, к которым она обращается и которыми манипулирует, и каковы естественные следствия предпринятого. Осторожные советчики, прежде устанавливавшие пределы отпущенной государю мудрости, не имеют ничего общего с теми экспертами-экономистами, которые появляются теперь и которые имеют своей задачей говорить правительству всю правду о естественных механизмах того, с чем оно имеет дело.

Таким образом, политическая экономия открывает эпоху, принцип которой можно сформулировать так: правительство никогда не знает достаточно, а потому всегда рискует управлять слишком много, или еще: правительство никогда толком не знает, как управлять в достаточной мере. Принцип максимума/минимума в искусстве управлять заменяет это понятие беспристрастного равновесия, «беспристрастного правосудия», прежде упорядочивавшего мудрость государя.

В этой проблеме самоограничения посредством принципа истины я усматриваю один замечательный момент, который политическая экономия ввела в неограниченную презумпцию государства полисии. Очевидно, это основной момент, поскольку в своих важнейших чертах он определяет, разумеется, не господство истины в политике, но определенный режим истины, характерный для того, что можно назвать эпохой политики, основной диспозитив которой сегодня, в общем-то, все тот же. Когда я говорю о режиме истины, я не хочу сказать, что политика или, если угодно, искусство управлять становится наконец в эту эпоху рациональным. Я не хочу сказать, что в этот момент достигается некий эпистемологический порог, начиная с которого искусство управлять сделалось бы научным. Я хочу сказать, тот момент, что я пытаюсь сейчас обозначить, отмечен артикуляцией серии практик определенного типа дискурса, с одной стороны, конституирующего его как ансамбль интеллигибельных связей, а с другой — устанавливающего и диктую-

щего законы этих практик в терминах истинного или ложного.

Конкретнее, речь идет о следующем. По сути, в XVI и XVII вв., а то и раньше, и вплоть до середины XVIII в. существовала целая серия практик, таких как фискальные налоги, таможенные тарифы, регламенты производства, регламентации тарифов на зерно, защита и кодификация рыночных практик; но, в конце концов, чем они были и как их мыслили? Их мыслили как отправление государевых прав, феодальных прав, как поддержание обычаев, как эффективные способы обогащения казны, как техники, позволяющие избежать городских бунтов из-за недовольства той или иной категории подданных. В конце концов все эти практики, конечно, осмыслялись, но осмыслялись исходя из событий и различных принципов рационализации. Между такими различными практиками, как таможенный тариф налогообложения, регламентация рынка и производства и т. п., начиная с середины XVIII века можно установить обдуманные, осмысленные связи; связи, создаваемые умопостигаемыми механизмами, которые связывают эти разнообразные практики и их результаты друг с другом и которые, таким образом, позволяют судить о них как о хороших или плохих не в зависимости от закона или нравственного принципа, но в зависимости от пропозиций, которые сами разделяются на истинные и ложные. Таким образом, целая область правительственной деятельности отныне переходит в новый режим истины, а этот режим истины имеет своим фундаментальным следствием иную постановку всех тех вопросов, которые прежде ставило искусство управлять. Раньше вопросы ставились так: хорошо ли я правлю с точки зрения моральных, естественных, божественных и т. п. законов? Таким образом, вопрос ставился о правительственной сообразности. Затем, в XVI и XVII столетиях, он ставился в соответствии с государственными интересами: управляю ли я достаточно хорошо, достаточно интенсивно, достаточно основательно, в достаточной мере входя в частности, чтобы государство существовало как до́лжно, чтобы сделать государство максимально сильным? Теперь же проблема такова: управляю ли я в пределах между излишеством и недостаточностью, между максимумом и минимумом, которых требует природа вещей, то есть: какова внутренняя необходи-

мость в действиях правительства? Так проявляется этот режим истины как принцип самоограничения правления; это и есть то, что я хотел бы обсудить в этом году.

В конце концов именно эту проблему я ставил в связи с безумием, болезнью, преступностью, сексуальностью. Во всех этих случаях речь идет не о том, чтобы показать, как эти объекты долго оставались скрытыми, пока их наконец не открыли, не о том, чтобы показать, что все они — лишь вредные иллюзии или идеологические продукты, рассеиваемые [светом]* наконец взошедшего в зенит разума. Речь идет о том, чтобы показать, как наложение целой серии практик — с того момента, как они согласуются в режиме истины, — как наложение целой серии практик могло стать причиной того, что то, чего не существует (безумие, болезнь, преступность, сексуальность и т. п.) сделалось между тем чем-то — чем-то, что тем не менее по-прежнему не существует. Другими словами, не о том, [как] могла родиться ошибка — когда я говорю, что то, чего не существует, оказывается чем-то, это вовсе не значит, что я хочу показать, как в действительности могла возникнуть эта ошибка, — не о том, как могла родиться иллюзия, но [о том], что я хотел бы показать [что это] определенный режим истины, а следовательно, то, что что-то, чего не существует, могло оказаться чем-то, вовсе не ошибка. Это не иллюзия, поскольку ее создает и настойчиво маркирует как реальность вся совокупность практик, и практик реальных.

Цель всех этих обращений к безумию, болезни, преступности, сексуальности и к тому, о чем я теперь говорю, заключается в том, чтобы показать, как сочленение, серия практик, образует диспозитив знания-власти, эффективно маркирующий в реальности то, чего не существует, и закономерно подвергающий его разделению на истинное и ложное.

То, что не существует как реальность, что не существует релевантно легитимному режиму истинного и ложного, и есть тот момент, который занимает меня в той эпохе, отмеченное рождением этой асимметричной биполярности политики и экономии. Политики и экономики, которые не существуют, не являются ни ошибкой, ни иллюзией, ни идеологией. Это нечто,

---

* В записи ошибка. М. Фуко говорит: во мгле.

которое не существует и которое тем не менее вписывается в реальность, релевантную режиму истины, разделяющему истинное и ложное.

Итак, этот момент, основные составляющие которого я попытался обозначить, располагается между словами Уолпола, о которых я говорил, и другим текстом. Уолпол говорил: «*quieta non movere*», («пребывающего в покое касаться не следует»). Советы быть благоразумным, конечно, были обычны и для мудрости государя: когда люди спокойны, когда они не волнуются, когда нет недовольства и мятежа, останемся спокойными. Мудрость государя. Он говорил это, я полагаю, около 1740 г. В 1751 г. в «Экономической газете» появляется анонимная статья. На самом деле она была написана маркизом д'Аржансоном,[13] который только что оставил службу во Франции, — маркиз д'Аржансон напоминал о том, что коммерсант Ле Жандр ответил Кольберу, когда тот спросил его: «Что я могу сделать для вас?». Ле Жандр ответил так: «Что вы можете сделать для нас? Позвольте нам действовать»,[14] — д'Аржансон в тексте, к которому я еще вернусь,[15] говорит: итак, теперь я хотел бы прокомментировать этот принцип — «laissez faire»,[16] — поскольку, показывает он, это сущностный принцип, который должно чтить и которому должно следовать всякое правительство в области экономики.[17] Здесь он ясно устанавливает принцип самоограничения правительственных интересов. Но что это значит — «самоограничение правительственных интересов»? Что это за новый тип рациональности, появившийся в искусстве управлять, этот новый тип расчета, заключающийся в том, чтобы говорить и заставлять говорить правительство: «все это я принимаю, я хочу, я полагаю, я считаю, что не надо вмешиваться? Я думаю, что все это в целом и называется «либерализмом».*

---

* Кавычки поставлены в рукописи. М. Фуко не стал читать последние страницы (25—32). Кое-что из этого заключения повторяется и развивается в следующей лекции.

«Надо понимать это слово [«либерализм»] в самом широком смысле.

1. Утверждение принципа, согласно которому должно существовать некое ограничение правления, которое бы не было просто внешним правом.

2. Кроме того, либерализм — это практика: где следует искать принцип ограничения правления и как рассчитать результаты этого ограничения?

3. Либерализм в узком смысле — это решение, состоящее в том, чтобы максимально ограничить формы и сферы действия правительства.

4. Наконец, либерализм — это организация присущих трансакции способов определять ограничение правительственной практики:

— конституция, парламент;

— общественное мнение, пресса;

— комиссии, расследования.

[p. 27] Одна из форм современного руководства. Она характеризуется тем, что вместо нарушения установленных юрисдикцией границ она [задает?] себе самой внутренние границы, сформулированные в терминах веридикции (véridiction).

a. Конечно, речь не идет о том, что две системы сменяют друг друга или, сосуществуя, вступают в неразрешимый конфликт. Гетерогенность означает не противоречие, но напряжение, трения, взаимонесовместимость, успешные или неудавшиеся разрешения, неустойчивые смешения и т. п. Она предполагает также непрестанное возобновление задачи, потому что она никогда не может разрешиться установлением совпадения или хотя бы единого режима. Она состоит в установлении права самоограничения, которое знание предписывает управлению.

[p. 28] Эта задача с XVIII [века] и до наших дней принимает две формы:

— Или вопрошать о правительственных интересах, о необходимости их самоограничения с тем, чтобы через то, чему нужно оставить свободу в правах, выяснить, каковы возможности и статус правительственной практики. Вопрошать, таким образом, о целях, путях и средствах правления, просвещенного самоограничением, которое может уступить место праву на собственность, праву на существование, праву на труд и т. п.

— Или вопрошать о фундаментальных правах, оценивая их все сразу. И, исходя из этого, позволять правлению формироваться только при условии саморегулирования их воспроизводства. [Вычеркнуто: революционный] метод правительственной субординации.

[p. 29] Метод необходимого и достаточного юридического остатка — это либеральная практика. Метод исчерпывающей правительственной обусловленности — это революционная процедура.

b. Второе замечание: это самоограничение правительственных интересов, характеризующее «либерализм», оказывается в странном отношении к интересам государственным.— Оно открывает для правительственной практики область неограниченного вмешательства, но, с другой стороны, благодаря принципу конкурентного баланса между государствами оно задает ограниченные международные цели.

В этом году я решил посвятить курс биополитике. Я попытаюсь показать вам, какие проблемы занимают меня в настоящее время, как центральным ядром всех этих проблем оказывается то, что называется населением. А значит, исходя из этого и формируется биополитика. Однако мне представляется, что анализ биополитики возможен только тогда, когда понятен общий режим тех правительственных интересов, о которых я говорю, — тот общий режим, который можно назвать вопросом об истине, прежде всего об экономической истине изнутри правительственных интересов, а сле-

---

— Самоограничение правительственной практики либеральными интересами сопровождалось распадом международных целей и появлением неограниченных целей империализма.

[p. 30] Государственные интересы коррелятивны замене имперского принципа конкурентным равновесием между государствами. Либеральные интересы коррелятивны активации имперского принципа не в форме империи, но в форме империализма, и связаны с принципом свободной конкуренции между индивидами и предприятиями.

Хиазм между целями ограниченными и неограниченными пролегает между областью внутреннего вмешательства и полем международной деятельности.

с. Третье замечание: эти либеральные интересы утверждаются как самоограничение правления, исходя из «натуральности» объектов и соответствующей практики этого правления. Что такое эта натуральность?

— Это богатства? Да, но лишь как умножающиеся или сокращающиеся, стагнантные или [p. 31] циркулирующие средства оплаты. Скорее даже блага как продукты, как полезное и потребляемое, как средства обмена между экономическими партнерами.

— Это также индивиды. Не в качестве покорных или непокорных подданных, но в том отношении, как они связаны с этой экономикой природы, в сложных и запутанных отношениях их количества, их живучести, их здоровья, их манеры поведения с этими экономическими процессами.

С появлением политической экономии, с введением ограничительного принципа в саму правительственную практику происходит важная перемена или, скорее, удвоение, поскольку субъекты права, на которых распространяется политическая власть, выступают как *население*, которым должно руководить правительство.

[p. 32] Здесь отправная точка организационной линии «биополитики». Но разве не ясно, что это лишь часть чего-то более обширного — новых правительственных интересов? Либерализм нужно рассматривать как общие рамки биополитики».

довательно, если мы хорошо поняли, о чем идет речь в этом режиме, который представляет собой либерализм, сопротивляющийся государственным интересам — или, скорее, фундаментально изменяющий их, быть может, и не ставя заново вопрос об их основаниях, — как только мы выясним, что такое этот правительственный режим, называемый либерализмом, мы сможем, как мне кажется, уловить, что такое биополитика.

Надеюсь, вы простите мне, что во время нескольких наших встреч, число которых я не могу обозначить заранее, я буду говорить о либерализме. И, чтобы немного яснее обозначить свои цели — зачем нужно было бы говорить о либерализме, о физиократах, о д'Аржансоне, об Адаме Смите, о Бентаме, об английских утилитаристах, если бы проблема либерализма не ставилась в наше время непосредственно и конкретно? О чем идет речь, когда мы говорим о либерализме, когда мы прилагаем к самим себе, в настоящее время, либеральную политику, и какое отношение это может иметь к правовым вопросам, называемым свободами? О чем идет речь в сегодняшних дебатах, в которых экономические принципы Хельмута Шмидта[18] курьезным образом перекликаются с теми или иными суждениями диссидентов с востока, со всеми этими проблемами свободы и либерализма? Как видите, это современная нам проблема. Затем, с вашего позволения, ситуировав точку исторического истока всего этого и показав, что, по моему убеждению, новые правительственные интересы рождаются в XVIII веке, я двинусь дальше и буду говорить о современном германском либерализме, поскольку, как это ни парадоксально, свобода во второй половине XX века, а точнее говоря, либерализм, — это слово, которое приходит к нам из Германии.

Примечания

[1] Цитата из Вергилия, *Энеида*, VII, 312, предпосланная «Толкованию сновидений» (*Freud S.* Traumdeutung. Leipzig: Deutike, 1911. 1[er] éd. 1900 / *L'Interprétation des rêves*, traduction de I. Meyerson, revue par D. Berger, Paris: PUF, 1971. P. 1) и повторенная в корпусе

текста (ibid., p. 516): «Flectere si nequeo Superos, Acheronta movebo» («Если небесных богов не склоню — Ахеронт я подвигну» (пер. С. Ошерова под ред. Ф. Петровского). М. Фуко уже цитировал эти слова без четкой ссылки на Фрейда в: La Volonté de savoir. Paris: Gallimard («Bibliothèque des histoires»), 1976. P. 103: «На самом деле этот вопрос, который столь часто повторяют в наше время, оказывается только современной формой одного чрезвычайно важного утверждения и извечного предписания: истина — там; туда, за ней, берите ее врасплох. *Acheronta movebo*: неновое решение». (*Фуко М.* Воля к знанию. История сексуальности. Том первый // Воля к истине: по ту сторону знания, власти и сексуальности. Работы разных лет / Пер. С. Н. Табачниковой. М.: Касталь, 1996. С. 177.) Эту цитату еще до Фрейда высоко ценил Бисмарк, который неоднократно приводит ее в «Мыслях и воспоминаниях» (см.: *Schmitt C.* Théorie du partisan / Trad. M.-L. Steinhauser. Paris: Calmann-Lévy, 1972. P. 253; ориг. изд.: Theorie des Partisanen. Berlin: Duncker & Humblot, 1963).

[2] *Роберт Уолпол,* первый граф Орфорд (1676—1745), лидер партии *вигов*, исполнявший обязанности «премьер-министра» (*First Lord of the Treasury et Chancellor of the Exchequer*) с 1720 по 1742 гг.; он правил прагматически, используя парламентскую коррупцию и заботясь о сохранении политического спокойствия.

[3] См. уточнение, приводимое Фуко на с. 36: «Он сказал это, я полагаю, около 1740 г.». Формула известна как девиз Уолпола, о чем свидетельствуют различные сочинения его сына Хораса: см., например, *Letters*, VIII, Londres; New York, Lawrence and Bullen, G. P. Putnam's Sons, 1903. P. 121. См.: *Stephen L.* History of English Thought in the Eighteenth Century. Londres: Smith & Elder, 1902; repr. Bristol: Thoemmes Antiquarian Books. 1991. T. 2. P. 168. Фрагмент из Саллюстия, De conjuratione Catilinae, 21, 1: «Postquam accepere ea homines, quibus mala abunde monia errant, sed neque res neque spes bona ulla, tametsi illis *quieta movere* magna merces videbatur...» («Услышав это, люди, страдавшие от множества всяческих зол, но ничего не имевшие и ни на что хорошее не надеявшиеся — хотя им и казалась большой платой уже сама возможность *нарушить спокойствие*...») (*Sallustius.* Conjuration de Catilina / Trad F. Richard. Paris: Garnier-Flammarion, 1968. P. 43. Пер. В. О. Горенштейна) иллюстрирует правило, характерное для *Common Law*, известное под именем правила прецедента, согласно которому в юридических делах надо придерживаться принятого ранее и не изменять существующего («stare decisis» и «quieta non movere»). Цитируется также у Ф. А. Хайека: *Hayek F. A.* The

Constitution of Liberty. Londres: Routledge & Kegan Paul, 1960; rééd. 1976. P. 410: «Though *quieta non movere* may at times be a wise maxim for the statesman, it cannot satisfy the political philosopher» («Хотя *quieta non movere* порой может быть мудрой максимой для государственного деятеля, удовлетворить политического философа она не может») (*Hayek F. A.* La Constitution de la liberté / Trad. R. Audouin & J. Garello. Paris: Litec («Liberalia»), 1994. P. 406.)

[4] См. по поводу этого методологического номинализма и формулировки «безумия не существует»: *Veyne P.* Foucault révolutionne l'histoire // Comment on écrit l'histoire. Paris: Seuil, «Points Histoire», 1979. P. 227—230 (*Вейн П.* Фуко: революция в историографии (фрагменты) / Пер. Г. Галкиной и С. Козлова // Новое литературное обозрение. 2001. № 3 (49). С. 10—20). Поскольку текст Поля Вейна датируется 1978 г., можно предположить, что здесь Мишель Фуко продолжает диалог с автором «Хлеба и зрелищ», которому он воздал должное в лекциях предыдущего года (см.: *Foucault M.* Sécurité, Territoire, Population. Cours au Collège de France, 1977—1978 / Éd. par M. Senellart. Paris: Gallimard; Seuil, «Hautes Études», 2004. Лекция 8 марта 1978 г. P. 245). См. также ремарку М. Фуко по той же теме на лекции 8 февраля 1978 г. (P. 122). Критика универсалий находит подтверждение в статье «Фуко», появившейся под псевдонимом Морис Флоранс в философском словаре Дени Юсмана в 1984 г. (см.: *Foucault M.* Dits et Écrits, 1954—1988 / Éd. par D. Defert & F. Ewald, collab. J. Lagrange. Paris, Gallimard, 1994. 4 vol. [далее ссылки приводятся по этому изданию] T. IV, N. 345. P. 634): предпочтение метода, имплицитного для «вопроса об отношениях между субъектом и истиной», объясняется «систематическим скептицизмом в отношении всех антропологических универсалий».

[5] В следующих лекциях курса М. Фуко не возвращается к этому вопросу.

[6] См.: «Безопасность, территория, население», лекции 8, 15 и 22 марта 1978 г.

[7] См.: «Безопасность, территория, население», лекция 1 февраля 1978 г. (*Foucault M.* Sécurité, Territoire, Population. P. 112, 118. № 39).

[8] См.: *Foucault M.* Il faut défendre la société. Cours au Collège de France, 1975—1976 / Éd. par M. Bertani & A. Fontana. Paris: Gallimard; Seuil («Hautes Études»), 1997 (*Фуко М.* Нужно защищать общество: Курс лекций, прочитанных в Коллеж де Франс в 1975—1976 учебном году / Пер. Е. А. Самарской. СПб.: Наука, 2005).

[9] *Джереми Бентам* (1748—1832). Method and Leading Features of an Institute of Political Economy (including finance) considered not only

as a science but as an art (1800—1804) // Jeremy Bentam's Economic Writings / Éd. établie par W. Stark. Londres: G. Allen & Unwin, 1954. T. III. P. 305—380. В конце первой части, «The Science», в разделе «Genesis of the Matter of Weath» Бентам вводит общеизвестное различие между *sponte acta, agenda* и *non agenda*, которое структурирует три главы («Weath», «Population», «Finance») следующей части, «The Art». *Sponte acta* — это экономическая деятельность, спонтанно развиваемая членами общества без какого-либо вмешательства со стороны правительства. *Agenda* и *non agenda* означают экономическую деятельность правительства, соответственно способствующую или не способствующую увеличению счастья (максимизации удовольствий и минимизации страданий), что составляет цель всей политической деятельности. Разделение между этими тремя классами меняется в зависимости от времени и места, распространение *sponta acta* характеризует уровень экономического развития стран. М. Фуко вновь вскользь упоминает этот бентамовский перечень *agenda* в лекции 7 марта 1979 г. (с. 248 наст. изд.), но не возвращается к указанному тексту (быть может, лишь косвенно в конце лекции 24 февраля (с. 90—92 наст. изд.)) в связи с паноптизмом как общей формулой либерального правления).

[10] Формула «управлять не слишком много» принадлежит маркизу д'Аржансону (см. примеч. 16). См. также «Принципы торговли» Б. Франклина, которые цитирует в своем переводе Э. Лабуле во введении к сборнику текстов этого автора: *Franklin B.* Essais de morale ed d'économie politique. Paris: Hachette. 5e éd., 1883. P. 8: «Признанный [французский] писатель говорит, что лишь тот вник в науку политики, кто понимает всю силу этой максимы: *управлять не слишком много*; максимы, которая касается торговли, быть может, куда больше, чем иных общественных интересов» (в примечании Лабуле ссылается на Кенэ).

[11] Эта статья впервые была напечатана в V томе «Энциклопедии» (p. 337—349), появившемся в ноябре 1755 г. См.: *Rousseau J.-J.* Œuvres completes. T. III. Paris: Gallimard («Bibliothèque de la Pléiade»), 1964. P. 241—278. Об этом тексте см. также: *Foucault M.* Sécurité, Territoire, Population. P. 98, 116 (№ 21) (лекция 1 февраля 1978 г.).

[12] См.: P.P.F.J.H. *Le Mercier de La Rivière.* L'Ordre naturel et essentiel des sociétés politiques. Londres, chez Jean Nourse; Paris, chez Desaint, 1767 (без указания автора), гл. 24: «Du despotisme légal» (текст дважды переиздавался в XX веке: Paris: P. Geuthner («Collection des économistes et des réformateurs sociaux de la France»), 1910 и Paris: Fayard («Corpus des œuvres de philosophie en langue française»), 2000).

[13] *Рене-Луи де Вуайе, маркиз д'Аржансон* (1694—1757), государственный секретарь по иностранным делам с 1744 по 1747 гг., автор «Воспоминаний и Дневника» (Mémoires et Journal. Publiés et annotés par le Marquis d'Argenson. Paris, 1858 (первое издание, весьма неполное, вышло в 1835 г. в коллекции Бодуэна «Mémoires sur la Révolution française»)) и «Размышлений о прежнем и настоящем правительстве Франции» (Considérations sur le gouvernement ancien et present de la France. Amsterdam: Rey, 1764). Вместе с аббатом Сен-Пьером был одним из самых усердных членов Клуба Антресолей, созданного в 1720 г. по инициативе аббата Алари и закрытого кардиналом Флери в 1731 г. Выражение «Laissez faire» («Позвольте действовать») повторяется в наброске записки о свободе торговли, датируемом 31 июля 1742 г. (Journal et Mémoire / Éd. par J. B. Rathery. T. IV. Paris: Renouard, 1862): «Записка, составленная для высказываний за и против и принятия решения, должна ли Франция позволить в королевстве свободный ввоз и вывоз любых иностранных и национальных товаров».

[14] *Abeille L.-P.* Lettre d'un négociant sur la nature du commerce des grains. Marseille, 8 octobre 1763, [s.l.n.d.]; rééd. in Id.: Premiers opuscules sur le commerce des grains: 1763—1764, introd. et table analytique par E. Depitre. Paris: P. Geuthner («Collection des économistes et des réformateurs sociaux de la France»), 1911. P. 103: «Я не могу закончить это письмо лучше, нежели применив к торговле зерном, в частности, то, что Торговец из Руана ответил г. Кольберу о торговле вообще: *Позвольте нам действовать*».

[15] М. Фуко больше не ссылается на этот текст.

[16] *D'Argenson.* Lettre à l'auteur du *Journal économique* au sujet de la *Dissertation sur le commerce* de M. le Marquis Belloni // Journal économique. Avril 1751. P. 107—117; rééd. in: Politique et Économie au temps des Lumières / Dir. G. Klotz. Publications de l'Université de Saint-Étienne, 1995. P. 41—44: «Рассказывают, что г. Кольбер собрал некоторых торговых депутатов у себя, чтобы спросить их, что он мог бы сделать для торговли; самый рассудительный и наименее льстивый из них сказал ему лишь: *Позвольте нам действовать*. Никогда не задумывались в достаточной мере над великим смыслом этих слов. Их следует истолковать» (P. 42). Первое упоминание имени Ле Жандра в XVIII веке появляется, в «Похвале де Гурнэ» Тюрго, написанной в 1759 г. («Известны слова Ле Жандра, обращенные к г. Кольберу: позвольте нам действовать» (Œuvres de Turgot / Éd. E. Daire. Paris: Guillaumin, 1844. T. I. P. 288; *Turgot A. R. J.* Formation et Distribution des richesses. Paris: Garnier-Flammarion, 1997. P. 150—151)). Д'Аржансону также принадлежит максима: «управ-

лять не слишком много» (см.: *Weulersse G.* Le Mouvement physiocratique en France, de 1756 à 1770. Paris: Félix Alcan, 1910. 2 vol., T. I. P. 17—18, — который почтительно цитирует эту фразу, появившуюся в Éphémérides du citoyen. Juillet 1768. P. 156: «Он составил книгу, предмет и заглавие которой превосходны: *управлять не слишком много*»). Сам он утверждал, что написал трактат, озаглавленный «Чтобы управлять лучше, надо управлять меньше» («Pour gouverner mieux, il faudrait gouverner moins») (Mémoires et Journal. Op. cit. T. V. P. 362. Цит. в: *Oncken A.* Die Maxime «Laissez faire et laissez passer». Bern: K. J. Wyss, 1886. P. 58).

[17] *D'Argenson.* Lettre à l'auteur du *Journal économique*... P. 44: «Да, благоразумная и просвещенная свобода всегда больше даст национальной торговле, нежели самая мудрая власть». Он отстаивает ту же позицию относительно торговли зерном в другой статье (Journal économique. Mai 1754. P. 64—79): «Аргументы в пользу свободы торговли зерном» («Arguments en faveur de la liberté du commerce des grains» // Politique et Économie... / Dir. G. Klotz. Op. cit. P. 45—54).

[18] *Хельмут Шмидт* (род. 1918) — депутат фракции СДПГ (SPD) в Бундестаге в 1953 г., стал канцлером в 1874 г. после отставки Вили Брандта. В 1982 г., не получив поддержку большинства, уступил место Гельмуту Колю.

Лекция 17 января 1979 г.

Либерализм и становление нового искусства управлять в XVIII веке. — Специфические черты либерального искусства управлять: (1) конституция рынка как места формирования истины, а также области юрисдикции. — Вопросы метода. Цели предпринятых исследований безумия, наказания и сексуальности: эскиз истории «режимов веридикции». — В чем должна состоять политическая критика знания. — (2) Проблема ограничения осуществления государственной власти. Два типа решения: французский юридический радикализм и английский утилитаризм. — Вопрос «полезности» и ограничение осуществления государственной власти. — Замечание о статусе гетерогенного в истории: логика стратегии против диалектической логики. — Понятие «интереса» как оператор нового искусства управлять.

Я хотел бы немного уточнить тезисы или гипотезисы, которые я выдвинул в прошлый раз относительно искусства управлять, того, что я считаю новым искусством управлять, которое начинает формулироваться, осмысляться, вырисовываться около середины XVIII века. Я полагаю, что его сущностной характеристикой является становление механизмов внутренних, многочисленных, сложных, но имеющих своей функцией — здесь, если хотите, можно заметить отличие от государственных интересов, — не столько обеспечивать рост силы, богатства, власти государства, бесконечное разрастание государства, сколько ограничивать изнутри осуществление способности управлять.

Я полагаю это искусство управлять безусловно новым по своим механизмам, по своим результатам, по своему принци-

пу. Но таково оно лишь до некоторой степени, ибо не стоит воображать, будто оно составляет отмену, стирание, упразднение, если угодно, *Aufhebung* тех государственных интересов, о которых я попытался сказать в прошлый раз. В действительности не стоит забывать, что это новое искусство управлять, или, скорее, искусство управлять как можно меньше — это искусство управлять между максимумом и минимумом, и скорее ближе к минимуму, нежели к максимуму, так что в действительности его надо считать чем-то вроде удвоения, скажем даже, внутренним изощрением государственных интересов, принципом, направленным на его поддержание, на его более полное развитие, на его усовершенствование. Я бы сказал, это не что иное, как государственные интересы, это не внешний и отрицающий по отношению к государственным интересам элемент, скорее, это точка инфлексии государственных интересов на кривой их развития. Если позволите мне употребить не самое подходящее слово, я бы сказал что это малейший из внутренних государственных интересов и организационный принцип самих государственных интересов, или что это малейший из правительственных интересов, выступающий организационным принципом их самих. Кто-то (к сожалению, я не смог найти этого в своих бумагах, но найду и скажу вам), так вот, кто-то в конце XVIII века говорил об «умеренном правлении».[1] Итак, я полагаю, что в этот момент мы входим в эпоху, которую можно было бы назвать эпохой умеренного правления, что, конечно же, не избавляет от некоторых парадоксов, поскольку в этот период умеренного правления, который начался в XVIII веке и из которого мы, несомненно, еще не вышли, развивается целая правительственная практика, одновременно экстенсивная и интенсивная, со своими негативными эффектами, сопротивлениями, мятежами и т. п., направленными против действий правительства, которое, впрочем, на словах и на деле остается умеренным. Дело в том, что это экстенсивное и интенсивное развитие правления, желающего, однако, оставаться умеренным, непрестанно — можно сказать, что это и составляет эпоху умеренного правления, — непрестанно преследует извне и изнутри вопрос о некотором излишестве. Допуская натяжку и представляя дело в карикатурном виде, я скажу: каковы бы ни

были распространение и интенсивное развитие правления, вопрос об умеренности оказывался в самом центре рефлексии о нем.* Вопрос об умеренности заменил или по крайней мере удвоил и в определенной мере отодвинул, маргинализировал другой вопрос, который преследовал политическую мысль в XVI—XVII вв. и даже в начале XVIII века и который сводился к проблеме конституции. Монархия, аристократия, демократия — все эти вопросы, конечно, тоже не исчезают. Но в той же мере, в какой они были фундаментальными вопросами, я бы сказал, наиважнейшими вопросами для XVII и XVIII вв., с конца XVIII в., на протяжении всего XIX в., а в наши дни больше, чем когда бы то ни было, в такой же мере фундаментальной проблемой оказывается вопрос об умеренности правления, а не конституции государств. Вопрос об умеренности правления — это поистине вопрос либерализма. А теперь я хотел бы вернуться к двум или трем пунктам, на которые я указал в прошлый раз, чтобы попытаться их уточнить и прояснить.

В прошлый раз я пытался вам показать, что эта идея, эта тема, скорее даже, этот регулятивный принцип умеренного правления формировался исходя из того, что можно было бы назвать, как я грубо обозначил, ответвлением государственных интересов и их просчитыванием, определенным режимом истины, находившим свое выражение и теоретическую формулировку в политической экономии. Появление политической экономии и проблемы наименьшего правления — это, как я попытался обозначить, вещи взаимосвязанные. Однако мне представляется, что надо попытаться немного уточнить природу этого ответвления. Когда я говорю, что политическая экономия — это ответвление государственных интересов, означает ли это, что она предложила некую модель правления? Означает ли это, что государственные мужи стали знакомиться с политической экономией или что они стали слушать экономистов? Что экономическая модель стала организующим принципом правительственной практики? Очевидно, именно это я и хотел сказать. Я хотел сказать, я пытался обозначить, что существует нечто отличное по своим

---

* М. Фуко добавляет: и утверждал его.

природе и уровню; таков принцип этого расхождения, которое я пытаюсь определить, расхождения между практикой управления и режимом истины: [...] это то, что в режиме правления, в правительственной практике XVI—XVII вв., да уже и в Средние века, составляло один из преимущественных объектов вмешательства, правительственного регулирования, что было преимущественным объектом бдительности и вмешательств правительства. Это само место, а не экономическая теория, начиная с XVIII в. стремившаяся стать местом и механизмом формирования истины. И это место формирования истины [скорее не] продолжает насыщать бесконечно регламентируемое правление, но, нужно это признать — именно так все и происходит — менее всего имеет дело с возможными вмешательствами, чтобы суметь сформулировать свою истину и предложить ее правительственной практике в качестве правила и нормы. Это место истины, разумеется, не головы экономистов, но рынок.

Если хотите, скажем еще яснее. Рынок, в самом общем смысле этого слова, как оно употреблялось в Средние века, в XVI, в XVII вв., насколько о нем можно судить, был по сути местом справедливости. В каком смысле местом справедливости? В нескольких смыслах. Сперва это, конечно, было место, инвестируемое всепроникающей и строгой регламентацией: регламентацией вещей, которые следует доставлять на рынки, способа изготовления этих вещей, происхождения этих продуктов, правил сбыта, самих процедур продажи, и конечно, фиксированных цен. Таким образом, рынок был местом, инвестируемым регламентацией. Это место справедливости также в том смысле, что продажная цена, зафиксированная на рынке, считалась как у теоретиков, так и у практиков справедливой ценой или во всяком случае той, которая должна быть справедливой,[2] то есть определенным образом соотносящейся с выполненной работой, с потребностями продавцов, и конечно, с потребностями и возможностями потребителей. Это место справедливости в том отношении, что рынок должен быть по преимуществу местом дистрибутивной справедливости, поскольку, как известно, для некоторых, по крайней мере для основных продуктов, таких как продукты питания, рыночные правила устанавливались так,

чтобы самые бедные, или по крайней мере некоторые из самых бедных, могли так же покупать их, как и самые богатые. В этом отношении рынок был местом дистрибутивной справедливости. Но в конце концов, чем было это место справедливости в той мере, в какой оно сущностно утверждалось на рынке или, скорее, посредством регламентации рынка? Истиной цен, как мы сказали бы теперь? Отнюдь. Что здесь утверждалось, так это отсутствие мошенничества. Иначе говоря, это была защита покупателя. Регламентация рынка, таким образом, была направлена, с одной стороны, на возможно более справедливое распределение товаров, а с другой — на пресечение краж и правонарушений. Другими словами, в ту эпоху рынок воспринимался, по сути, как риск, на который, возможно, шел продавец, с одной стороны, и уж наверняка покупатель — с другой. Нужно было защитить покупателя от опасности, которую составлял плохой товар и мошенничество продающего. Таким образом, нужно было обеспечить отсутствие мошенничества в отношении природы вещей, их качества и т. п. Эта система — регламентация, справедливая цена, санкции против мошенничества — обеспечивала, по сути, функционирование рынка как места справедливости, места, где такая вещь, как справедливость, являлась в обмене и формулировалась в цене. Скажем так, рынок был местом юрисдикции.

Итак, здесь производится изменение некоторых интересов, о которых я только что говорил. В середине XVIII в. рынок стал не более чем или, вернее, должен был стать не более чем местом юрисдикции. С одной стороны, рынок предстал как то, что подчинялось и должно было подчиняться «естественным»* механизмам, то есть механизмам спонтанным, даже если не удавалось ухватить их во всей их сложности, спонтанным настолько, что, если начать их изменять, их можно лишь ухудшить или исказить. С другой стороны, и именно в этом втором смысле рынок оказывается местом истины, он не только позволяет проявиться естественным механизмам, но сами эти естественные механизмы, когда им позволяют действовать, делают возможным формирование определенной

---

* Кавычки поставлены в рукописи.

цены, которую Буагильбер[3] назовет «естественной» ценой, физиократы — «хорошей ценой»,[4] а впоследствии ее станут называть «нормальной ценой»,[5] в конце концов неважно, определять ли как естественную, хорошую, нормальную эту цену, которая будет выражать адекватное соотношение между затратами на производство и объемом спроса. Рынок, когда ему позволяют действовать сообразно своей природе, если хотите, своей природной истине, позволяет образоваться такой цене, которую метафорически называют настоящей, а иногда — сходной (juste) ценой, но которая больше не несет в себе коннотаций справедливости (justice). Отныне та или иная цена будет колебаться в зависимости от стоимости продукта.

Значимость экономической теории — я говорю о той теории, которая сложилась в дискурсе экономистов и которая оформилась в их головах, — значимость этой теории соотносимости цены—стоимости заключается в том, что она позволяет экономической теории указать на то, что становится отныне самым главным: дело в том, что рынок должен выявить такую вещь, как истина. Речь, конечно, не о том, чтобы цены стали в строгом смысле настоящими, не о том, что бывают цены настоящие и цены неправильные, дело не в этом. Но что обнаруживается в этот момент, одновременно в правительственной практике и в рефлексии об этой практике, так это то, что цены в той мере, в какой они соответствуют естественным механизмам рынка, конституируют эталон истины, позволяющий различить, какие из правительственных практик правильны, а какие ошибочны. Другими словами, естественный механизм рынка и образование естественной цены позволяют — если рассматривать с этой точки зрения то, что делает правительство, принимая меры, навязывая правила, — фальсифицировать и верифицировать правительственную практику. Рынок благодаря обмену позволяет связать воедино производство, потребление, предложение, спрос, стоимость, цену и т. п., конституируя в этом смысле место веридикции — я имею в виду место верификации-фальсификации правительственной практики.[6] Именно рынок, следовательно, станет причиной того, что хорошее правление — отныне не просто отправляемое по справедли-

вости. Именно рынок станет причиной того, что правление теперь, чтобы быть хорошим, должно отправляться по истине. Таким образом, политическая экономия играла привилегированную роль во всей этой истории и в становлении нового искусства управлять не потому, что диктовала правительству правильный тип поведения. Прежде чем получить теоретическую формулировку, она была значима в силу того (только в силу этого, но это очень важно), что указывала, где правление должно обрести принцип истины своей правительственной практики. Скажем в простых и варварских терминах, что рынок, место юрисдикции, каким он оставался до начала XVIII в., становится благодаря всем этим техникам, о которых я упоминал в прошлом году в связи с голодом, рынками зерна и т. п.,[7] местом того, что я называю веридикцией. Рынок должен высказать истину, истину о правительственной практике. Отныне его роль заключается в веридикции, а кроме того в том, чтобы внушать, диктовать, предписывать механизмы юрисдикции или отсутствие механизмов юрисдикции, посредством которых та должна артикулироваться.

Когда я говорил об этой связи, установившейся в XVIII в. между определенным режимом истины и новыми правительственными интересами, а значит и политической экономией, я вовсе не хотел сказать, что, с одной стороны, была такая формация научного и теоретического дискурса, как политическая экономия, а с другой — правители или соблазненные этой политической экономией, или вынужденные считаться с ней под давлением той или иной общественной группы. Я хотел сказать, что рынок, издавна бывший привилегированным объектом правительственной практики и ставший в XVI и XVII вв. еще более привилегированным объектом режима государственных интересов и меркантилизма, сделавшего торговлю одним из главных инструментов государственной власти, конституировался теперь как место веридикции. И дело не в том лишь, что наступила эпоха рыночной экономики — это, конечно, верно, но это ничего не объясняет, — не в том, что люди хотели создать рациональную теорию рынка — именно это они и сделали, но этого было недостаточно. В действительности

это было необходимо для того, чтобы понять, как рынок в своей реальности стал для правительственной практики местом веридикции, установив то, что можно назвать полигональным или, если угодно, полиэдрическим отношением между определенной денежной ситуацией, которая складывалась в XVIII в., с одной стороны, из притока нового золота, [а с другой —] из относительно постоянного количества денег, продолжающегося в ту эпоху экономического и демографического роста, интенсификации селскохозяйственного производства, допущения к правительственной практике некоторого числа носителей техник, методов и инструментов рефлексии и, наконец, теоретического формулирования некоторых экономических проблем.

Иначе говоря, я не думаю, что следует искать — и, соответственно, я не думаю, что можно найти — причину* конституирования рынка как инстанции веридикции. Чтобы проанализировать этот, как мне кажется, всецело основополагающий феномен в истории западного правления, это пришествие рынка как принципа веридикции, [нужно] просто обратиться к отношениям между теми разнообразными явлениями, о которых я только что упомянул, обратиться к интеллигибельности[8] этого процесса. Показать, как он стал возможен, — то есть не то, что он был необходим — это дело бессмысленное, не показать, что он был возможен, был одной из возможностей в определенном поле возможностей... Речь о том, чтобы просто показать, как стало возможно то, что позволяет сделать реальность интеллигибельной. Почему становится возможна реальность — вот что дает обращение к интеллигибельности. Обобщая, скажем, что в этой истории юрисдикционального, а затем веридикционального рынка существуют бесчисленные пересечения между юрисдикцией и веридикцией, несомненно, являющиеся одним из основополагающих явлений в истории современного Запада.

В связи с теми [вопросами], что я попытался поставить, возникают некоторые проблемы. Например, относительно безумия. Проблема состояла не в том, чтобы показать, как в сознании психиатров сформировалась определенная теория,

---

* М. Фуко повторяет, подчеркивая артикль: *la* cause.

определенная наука или определенный претендующий на научность дискурс, который стал бы психиатрией, конкретизировавшейся или нашедшей себе точку приложения в психиатрических больницах. Речь шла и не о том, чтобы показать, как издавна существовавшие институции заточения в какой-то момент выработали свою собственную теорию и свое обоснование в том, что оказалось дискурсом психиатров. Речь шла о том, чтобы изучить генезис психиатрии, исходя [из] и отталкиваясь от институций заточения, изначально и по существу артикулированные механизмами юрисдикции в широком смысле — поскольку выяснилось, что это были юрисдикции полицейского типа, хотя это в конце концов, не так уж важно, — и в определенный момент и в проанализированных нами условиях были одновременно поддержаны, подхвачены, трансформированы, замещены процессами веридикции.

Точно так же изучать уголовные институции — значит изучать их прежде всего как места и формы, где юридическая практика была основной и, можно сказать, автократичной. [Изучать,] как в этих уголовных институциях, сущностно связанных с юрисдикциональной практикой, сформировалась и развилась определенная веридикциональная практика, ставящая (конечно, при помощи криминалистики, психологии и т. д., но это самое существенное) этот веридикциональный вопрос в самый центр проблемы современного наказания, к ущербу юрисдикции, которая задавала преступнику следующий вопрос об истине: кто ты такой? Начиная с того момента, когда уголовная практика заменяет его вопросом «что ты сделал?», — с этого момента, как видите, юрисдикциональная функция уголовного права трансформируется, удваивается или в случае необходимости поглощается вопросом веридикции.

Точно так же изучать генеалогию такого объекта, как «сексуальность», проходящего через несколько институций, — значит пытаться определить в таких вещах, как практика признания, руководство сознанием, медицинский отчет и т. п., момент обмена и перссечения между определенной юрисдикцией сексуальных отношений, определяющей, что разрешается и что запрещается, и веридикцией желания, в которой теперь ма-

нифестируется основа основ такого объекта, как «сексуальность».

Вы видите, что во всем этом — говорим ли мы о рынке, об исповедальне, о психиатрическом учреждении, о тюрьме, — во всех этих случаях речь идет о том, чтобы рассмотреть под разными углами историю истины, или, скорее, о том, чтобы рассматривать историю истины, изначально сплавленную с историей права. В то время как достаточно часто пытаются создать историю ошибки, связанную с историей отлучений, я предлагаю вам заняться этой связанной с историей права историей истины. Конечно, не в том смысле, чтобы реконструировать генезис истины через устранение или исправление ошибок, но историей истины, которая не была бы также конституированием нескольких исторически сменявших одна другую рациональностей и которая создавалась бы как исправление или устранение идеологий. Она не сводится и к описанию островных и автономных истин. Речь идет о генеалогии веридикциональных режимов, то есть об анализе становления некоторого права истины, исходя из ситуации права, отношений права и истины, находящих свое выражение прежде всего в дискурсе, в дискурсе, в котором формулируются право и то, что может оказаться истинным или ложным; на самом деле режим истины — не какой-то закон истины, [но] совокупность правил, позволяющих данному дискурсу зафиксировать, какие высказывания могут быть охарактеризованы как истинные или ложные.

Заниматься историей режимов веридикции, а не историей истины, историей ошибок, историей идеологий и т. п., заниматься историей [веридикции]* — это значит, скажем еще раз, отказываться от той пресловутой критики европейской рациональности, от той пресловутой критики ее избытка, которая, как вы знаете, начиная с XIX в. непрестанно возобновлялась в различных формах. От Романтизма до Франкфуртской школы[9] возобновлялся этот отказ от рациональности с присущим ей довлением власти, именно об этом всегда ставился вопрос. Итак, критика** знания, которую я

---

* М.Ф.: юрисдикции.

** В рукописи добавление (P. 10bis): политическая.

вам предлагаю, состоит вовсе не в том, чтобы изобличать то, что было в этом разуме (я хотел сказать «монотонным», но это ни о чем не говорит) неизбывно гнетущего, ведь в конце концов, поверьте, неразумие столь же гнетуще. Эта политическая критика знания не сводится и к тому, чтобы вытравить присутствующую во всякой утверждающейся истине презумпцию власти, ведь, поверьте снова, измышление или ошибка — это тоже злоупотребление властью. Критика, которую я вам предлагаю, состоит в том, чтобы определить, при каких условиях и с какими результатами осуществляется веридикция, то есть тип формулировки, релевантный определенным правилам верификации и фальсификации. Например, когда я говорю, что критика состоит в том, чтобы определить, при каких условиях и с какими результатами осуществляется веридикция, проблема, как видите, состоит не в том, чтобы заявить: посмотрите, насколько гнетуща психиатрия и насколько она лжива. И даже не в том, чтобы быть немного софистичнее и заявить: смотрите, сколь она гнетуща, потому что она истинна. Она состоит в том, чтобы заявить, что проблема заключается в том, чтобы выявить условия, которые нужно соблюсти, чтобы можно было выстроить о безумии (но то же относится к преступности, то же относится к сексу) дискурс, который может оказаться истинным или ложным согласно правилам, неважно, относятся ли они к медицине, или к исповеди, или к психологии, или к психоанализу.

Другими словами, чтобы исследование стало политическим, нужно, чтобы оно сводилось не к генезису истины или перечню ошибок. По правде говоря, так ли уж важно знать, когда какая наука появилась? Что толку вспоминать все заблуждения врачей относительно секса или безумия... Я думаю, что настоящую политическую значимость имеет определение того, каков установившийся в данный момент режим веридикции, исходя из которого вы можете теперь узнать, например, почему врачи XIX в. наговорили столько глупостей о сексе. Вспоминать, что врачи XIX в. наговорили много глупостей о сексе, не имеет никакой политической значимости. Значимость имеет только определение режима веридикции, позволившего им высказать как истинные и ут-

вердить как истинные некоторые вещи, которые, как мы знаем теперь, не могли быть таковыми. Вот та точка, где историческое исследование может стать политическим. Не история истины, не история заблуждений, но только история веридикции имеет политическую значимость. Вот то, что я хотел сказать вам касательно этого вопроса о рынке или, скажем лучше, об ответвлении режима истины правительственной практики.

Второй вопрос, второй пункт, относительно которого я хотел бы немного уточнить то, что я говорил в прошлый раз. Я говорил вам, как вы помните, что в режиме чисто государственных интересов правление или по крайней мере нисходящая руководства безгранична, бесконечна. В этом смысле руководство неограниченно. Именно это характеризовало то, что в ту эпоху называли полицией, то, что в конце XVIII в., уже ретроспективно, назовут полицейским государством. Полицейское государство — это правление, смешанное с администрированием, правление всецело административное и администрация, весомость которой всецело заключается в руководстве.

Это интегральное руководство, нисходящая которого неограниченна, как я пытался вам показать, имела не то чтобы ограничение, но противовес в виде судебных институций, должностных лиц и юридических дискурсов, касающихся проблемы [знания] того, каково право суверена осуществлять власть, и в какие правовые рамки можно вписать действия суверена. Таким образом, это не нарушало равновесия, не оставляло государственные интересы совершенно неограниченными, но создавало систему, если угодно, из двух внешне взаимопротивоположных частей.

Я говорил вам также, что сформировавшиеся в XVIII в. новая система, новые правительственные интересы, система умеренного правления или система наименьших государственных интересов предполагали нечто совсем иное. С одной стороны — ограничение, а с другой — внутреннее ограничение. Ограничение внутреннее не подразумевало, впрочем, что это ограничение природы, совершенно отличное от права. Несмотря ни на что, это именно ограничение, и ограничение всегда юридическое; проблема как раз и заключается в

том, чтобы знать, как в режиме новых правительственных интересов, этих самоограничивающихся интересов, можно сформулировать это ограничение в правовых терминах. Как видите, проблема иная, потому что, с одной стороны, в системе прежних государственных интересов перед нами было руководство в тенденции неограниченное, а с другой — противостоявшая ей система права, противостоявшая, впрочем, в конкретных политических границах, что надо понимать так: [с одной стороны] — королевская власть, с другой — приверженцы судебных институций. Итак, мы имеем дело с иной проблемой: руководству нужно самоограничиться, но как сформулировать это самоограничение в праве без того, однако, чтобы правление оказалось парализовано, и без того, чтобы оно было задушено — и это большая проблема — и сохранило свое имя место истины, первейшим примером которого был рынок? В простых терминах проблема, которая ставится с конца XVIII в., такова: если существует политическая экономия, подлежит ли она публичному праву? Или: какие основания можно найти для права, артикулирующего отправление государственной власти, когда существует по меньшей мере одна область (а есть, конечно, и другие), где бездеятельность правления совершенно необходима не по соображениям права, но по соображениям фактическим или, скорее, по соображениям истины? Как власть, как правление, ограниченное соблюдением истины, может сформулировать это соблюдение истины в терминах закона о соблюдении?* То, что факультеты права во Франции долго, до самого недавнего времени, оставались также факультетами политической экономии, к великому неудовольствию экономистов и юристов, — [это] лишь следствие (с точки зрения истории), конечно же, неправомерное, того основополагающего изначального факта, что нельзя было помыслить политическую экономию, то есть свободу рынка, не поставив в то же время проблемы публичного права, а именно ограничения государственной власти.

---

* М. Фуко добавляет: Это сочетание, которое сегодня кажется нам чрезвычайно странным, политической экономии и публичного права... [фраза не закончена].

Впрочем, для этого есть несколько ясных и конкретных доводов. В конце концов, первые экономисты были в то же самое время юристами и людьми, ставившими проблему государственного права. К примеру, Беккариа, теоретик государственного права, главным образом в форме уголовного права, был также экономистом.[10] Адам Смит:[11] достаточно прочитать «Богатство народов», не говоря уже о других его текстах, чтобы увидеть, что проблема государственного права проходит через все его исследование. Бентам, теоретик публичного права, был в то же время экономистом и писал книги по политической экономии.[12] Помимо этих фактов, показывающих изначальную связанность политической экономии с ограничением государственной власти, она постоянно обнаруживается в поднимаемых в XIX и XX вв. проблемах экономического законодательства, разделения правительства и администрации, становления административного права, необходимости или ненужности существования особых административных судов[13] и т. п. Таким образом, говоря в прошлый раз о самоограничении правительственных интересов, я имел в виду не исчезновение права, но проблему, возникающую из-за юридического ограничения осуществления политической власти, зафиксированную в проблемах истины.

Таким образом, это, если угодно, смещение центра тяжести публичного права. Фундаментальная проблема, существенная часть государственного права, отныне уже не та, какой она была в XVII и XVIII вв.: как обосновать суверенитет, при каких условиях суверен может быть легитимным, при каких условиях он может легитимно осуществлять свои права, но: как положить юридические пределы осуществлению государственной власти. Схематически можно сказать, что эта деятельность в конце XVIII в. предполагала два пути: один, который я, если позволите, назвал бы аксиоматическим, юридическо-дедуктивным, был в определенной степени путем французской Революции — его, в конце концов, можно было бы назвать и руссоистским.* В чем он состоит? Так вот, он со-

---

* Второй путь в рукописи (р. 15) назван «индуктивным и остаточным путем».

стоит в том, чтобы исходить не из правления и его необходимого ограничения, но из права, из права в его классической форме, то есть [в том, чтобы] попытаться установить, каковы естественные или изначальные права, принадлежащие всякому индивиду, а затем определить, при каких условиях, по какой причине, в силу каких идеальных или исторических условностей было принято ограничение или изменение права. Он состоит также в том, чтобы определить те права, которыми пришлось поступиться, и те, которые, напротив, не подверглись никакой уступке и которые, следовательно, остаются при любом положении дел, при любом возможном правительстве и при любом возможном политическом строе неотъемлемыми правами. Наконец, исходя из и только из так определяемого разделения прав, сферы суверенитета и пределов права на суверенитет, мы можем вывести — и вывести лишь это — то, что можно назвать границами компетенции правительства, зафиксированными, впрочем, в рамках остова, конституирующего самый суверенитет. Другими словами, этот демарш состоит, выражаясь ясно и просто, в том, чтобы, отталкиваясь от прав человека, прийти к проходящему через конституирование суверена разграничению правления. Я бы сказал, что это, в целом, революционный путь. Это способ установить игру и что-то вроде идеального или реального обновления общества, государства, суверена и правительства, проблемы легитимности и неотъемлемости прав. Следовательно, как вы видите, этот демарш, политически и исторически бывший демаршем революционеров, есть демарш, который можно назвать ретроактивным, или ретроакционным, поскольку он состоит в том, чтобы заново поднимать проблему государственного права, которую юристы неустанно противопоставляли государственным интересам XVII и XVIII вв. И именно в этом можно усмотреть преемственность между теоретиками естественного права XVII в. и, скажем, юристами и законодателями французской революции.

Другой путь состоит в том, чтобы исходить не из права, но из самой правительственной практики. Исходить из этой правительственной практики и пытаться ее анализировать — анализировать в зависимости от чего? В зависимости от фактических пределов, которые могут быть установлены для это-

го руководства. Фактических пределов, которые могут прийти из истории, из традиции, из исторически сложившегося порядка вещей, но которые также могут и должны определяться как своего рода желательные пределы, благие пределы, устанавливаемые в зависимости от целей правительства, от объектов, с которыми оно имеет дело, от ресурсов страны, ее населения, экономики и т. п., — короче, это анализ руководства, его практики, фактических пределов, желательных пределов. И выявление, исходя из этого, того, чем они оказываются для правительства — либо противоречием, либо сущей нелепостью. Более того и радикальнее того — выявление бесполезного для правительства. Бесполезного в том смысле, что сфера компетенции правительства отныне ограничивается, и, двигаясь в этом направлении, нужно исходить из того, что было бы для правительства полезно или бесполезно делать или не делать. Предел компетенции правительства будет определяться границами полезности правительственной деятельности. Вопрос, который ставится перед правительством в каждый момент, в каждый момент его деятельности, по поводу каждой из его старых и недавних институций, это вопрос: полезно ли это, для чего полезно, в каких пределах полезно, когда это становится бесполезным, а когда вредным? — этот вопрос не является революционным вопросом: каковы мои изначальные права и как я могу отстоять их перед любым сувереном? Но это радикальный вопрос, вопрос английского радикализма. Проблема английского радикализма — это проблема полезности.

Не думаю, что английский политический радикализм есть не что иное, как проекция в политический план идеологии, называемой утилитаристской. Напротив, вырабатываясь внутри нее, он тем не менее оказывается вполне рефлексивным, и эта рефлексия постоянно инвестируется, пронизывается философскими, теоретическими, юридическими элементами, устанавливая, таким образом, в отношении практики правительства, какова должна быть сфера его компетенции и определяя его в терминах полезности. Исходя из этого, утилитаризм оказывается чем-то совсем иным, нежели философия или идеология. Утилитаризм — это технология руководства, так же как публичное право в эпоху государственных интересов было фор-

мой рефлексии или, если угодно, юридической технологией, которой пытались ограничить бесконечную нисходящую государственных интересов.

Одно замечание по поводу этого слова — «радикализм», «радикал». Термин «radical» использовался в Англии (я полагаю, слово датируется концом XVII или началом XVIII в.) для обозначения — это довольно интересно — позиции тех, кто желал, перед лицом реальных или возможных злоупотреблений суверена, отстоять изначальные права, знаменитые изначальные права, которыми англосаксонское население обладало до вторжения нормандцев (я говорил вам об этом два или три года назад[14]). Это и есть радикализм. Таким образом, он состоял в отстаивании изначальных прав в том смысле, что публичное право в его историческом осмыслении могло устанавливать права основополагающие. Отныне английский радикализм, само слово «радикал» означает позицию, состоящую в последовательной постановке перед правительством, перед руководством в целом, вопроса о его полезности или неполезности.

Вот два пути: революционный, артикулированный главным образом в традиционных позициях публичного права, и радикальный, артикулированный в новой экономии правительственных интересов. Два пути, предполагающие две концепции закона, поскольку, с одной стороны, как должен мыслиться закон на аксиоматическом революционном пути? Как выражение воли. Таким образом, складывается система «воля––закон». Проблема воли, конечно же, обнаруживается в самом центре всех правовых проблем, что подтверждает тот факт, что эта проблематика есть проблематика по сути юридическая. Закон, таким образом, мыслится как выражение воли, коллективной воли, проявляющейся в разделении прав на те, которыми индивиды согласны поступиться, и те, которые они хотят сохранить. В другой проблематике, на радикальном утилитаристском пути, закон мыслится как результат сделки, которая должна разделить сферу вмешательства государственной власти, с одной стороны, и сферу независимости индивидов — с другой. И это приводит нас к другому, также очень важному различию, заключающемуся в том, что, с одной стороны, перед нами концепция свободы,

которая есть концепция юридическая: всякий индивид изначально располагает определенной свободой, которую он кому-то уступит или нет, а с другой — свобода не мыслится как осуществление некоторого количества основополагающих прав, она воспринимается просто как независимость управляемых от управляющих. Таким образом, перед нами две совершенно разнородные концепции свободы: одна мыслится исходя из прав человека, а другая воспринимается исходя из независимости управляемых. Система прав человека и система независимости управляемых — не скажу: не взаимопроникают, но имеют различное историческое происхождение и предполагают разнородность, разрыв, на мой взгляд, существенный. Настоящая проблема того, что называется правами человека, исчерпывается тем, чтобы увидеть, где, в какой стране, как, в какой форме они отстаиваются, увидеть, что порой действительно подразумевается юридический вопрос о правах человека, а в другом случае — нечто иное, что оказывается по отношению к руководству утверждением или требованием независимости управляемых.

Два пути правового конституирования регулирования государственной власти, две концепции закона, две концепции свободы. Эта амбивалентность характеризует, скажем так, европейский либерализм XIX и даже XX вв. И, когда я говорю о двух дорогах, о двух путях, о двух концепциях свободы и права, я не хочу сказать, что речь идет о двух отдельных, чуждых друг другу, несовместимых, противоречащих, совершенно исключающих одна другую системах, я хочу сказать, что есть две процедуры, два типа связи, если угодно, два разнородных способа действовать. И о чем нужно помнить, так это о том, что разнородность никогда не бывает принципом исключения, или, если хотите, разнородность никогда не мешает ни сосуществованию, ни сопряжению, ни взаимосвязанности. В этом жанре исследования следует подчеркнуть, хотя и рискуя впасть в упрощенчество, логику, которая не является диалектической. Ведь что такое диалектическая логика? Это логика, которая сводит противоречащие термины к однородному элементу. Эту диалектическую логику я предлагаю заменить тем, что я бы назвал логикой стратегии. А логика стратегии не сводит противоречащие термины к однородно-

му элементу, обещающему их разрешение в единстве. Она призвана установить, какие связи между разрозненными терминами возможны, а какие остаются несвязанными. Логика стратегии — это логика соединения разнородного, а не логика гомогенизации противоречивого. Отбросим диалектическую логику и попытаемся увидеть (в конце концов, именно это я и попытаюсь показать вам в этих лекциях), каковы те связи, которые могут составлять ансамбль, могут сочетать фундаментальную аксиоматику прав человека и утилитарный расчет независимости управляемых.

Мне хотелось бы добавить к этому еще кое-что, но, думаю, это будет слишком длинно, а потому продолжу.* Исходя из сказанного, я хотел бы лишь вернуться к тому, что я вам говорил относительно рынка — в конце концов, я вернусь к этому моменту позже.[15] Но что, тем не менее, хочется

---

* М. Фуко пропускает с. 18—20 рукописи: «Очевидно, много примеров можно найти в дискурсе американских революционеров. Пожалуй, это самая что ни на есть революционная мысль: думать одновременно и о полезности независимости, и об аксиоматике прав (американская революция).

[p. 18bis] Современники отчетливо чувствовали эту разнородность. *Бентам, Дюмон*. Права человека. Она оставалась ощутимой на протяжении двух веков, поскольку подлинной связности и равновесия между этими процедурами никогда не обнаруживалось. Большей частью, хотя и не без отступлений, регулирование государственной власти в терминах полезности предпочиталось аксиоматике суверенитета в терминах изначальных прав. Общественная полезность (а не коллективное желание) как общий стержень искусства управлять.

[p. 19] Линия общего движения, не заслоняющая другую. Конечно, нет, ведь они порой порождают сходные результаты, хотя, безусловно, и не совпадающие. Поскольку аксиоматика суверенитета столь настойчиво указывает на неотъемлемые права, здесь практически не остается места для искусства управлять и осуществления государственной власти, а суверен в качестве коллективного желания столь же настойчиво утверждается юридически, что сводит осуществление основополагающих прав к чистой идеальности.

Тоталитарная ориентация. Однако радикализм полезности также исходит из различия полезности индивидуальной/полезности коллективной, в котором всеобщая полезность превалирует над полезностью индивидуальной, а потому сводится к бесконечной независимости управляемых. [p. 20] Ориентация на неограниченно распространяющееся правление».

теперь же подчеркнуть, так это то, что между этими двумя разнородными системами — системой революционной аксиоматики, государственного права и прав человека, и эмпирической и утилитарной траекторией, определяющей исходя из необходимого ограничения правительства сферу независимости управляемых, — конечно же, существует связь, неразрывная связь, целая серия точек пересечения, сочленения. Взгляните, например, на историю права собственности.* Однако совершенно очевидно (об этом я скажу в своих лекциях), что из этих двух систем одна устойчива и сильна, а другая, напротив, регрессивна. Та, что устойчива и сильна, — это, конечно, радикальный путь, состоящий в том, чтобы попытаться определить юридическое ограничение государственной власти в терминах полезности руководства. И именно эта линия будет характеризовать не только историю европейского либерализма в собственном смысле слова, но и историю государственной власти на Западе. А значит, именно эта проблема индивидуальной и коллективной полезности, полезности всех и каждого, полезности индивидов и всеобщей полезности, именно эта проблема станет в конечном счете основным критерием выработки границ государственной власти и формирования государственного права и права административного. С начала XIX в. мы вступили в эпоху, когда проблема полезности все больше и больше вбирает в себя все традиционные правовые проблемы.

Поэтому я хотел бы сделать одно замечание относительно рынка: мы только что выяснили, что одной из точек прикрепления новых правительственных интересов был рынок — рынок, понимаемый как механизм обменов и место веридикции, связанной со стоимостью и ценой. Теперь мы находим вторую точку прикрепления новых правительственных интересов. Эта точка — выработка государственной власти и меры ее вмешательств, индексированных принципом полезности. Обмен со стороны рынка, полезность со стороны государственной власти. Меновая стоимость и спонтанная веридикция экономических процессов, мера по-

---

* М. Фуко добавляет: вы увидите, сколь хорошо оно функционирует в обеих [*слово неразборчиво*] и функционирует способом [*слово неразборчиво*].

лезности и внутренняя юрисдикция государственной власти. Обмен для богатств, полезность для государственной власти: вот как правительственные интересы артикулируют основополагающие принципы своего самоограничения. Обмен, с одной стороны, полезность — с другой, как видите, охватывают все в целом или выступают всеобщей категорией для осмысления всего этого — и обмена, который нужно поддерживать на рынке, поскольку рынок есть веридикция, [и] полезности, которая должна ограничивать государственную власть, поскольку она должна осуществляться только там, где она определенно и точно полезна; так вот, всеобщая категория, которая должна охватывать и обмен, и полезность, это, конечно, интерес,— интерес как принцип обмена, и интерес как критерий полезности. Правительственное мышление в своей современной форме, появляющейся в начале XVIII в., это правительственное мышление, имеющее своей основной характеристикой поиск собственного принципа самоограничения, есть мышление, функционирующее как интерес. Но этот интерес теперь, конечно, не интерес государства, всецело сосредоточенный на нем самом и заботящийся только о его росте, богатстве, населении, могуществе, как это было в случае государственных интересов. Теперь интерес, принципу которого подчиняются правительственные интересы, представляет собой сложную игру интересов индивидуальных и коллективных, общественной полезности и экономической выгоды, равновесия рынка и режима государственной власти, это сложная игра основополагающих прав и независимости управляемых. Правительство, во всяком случае правительство этого нового правительственного разума, есть то, что манипулирует этими интересами.

Выражаясь точнее, можно сказать так: дело в том, что интересы — это, в сущности, то, что правительство извлекает из индивидов, действий, речей, богатств, ресурсов, собственности, прав и т. п. Если хотите еще яснее, очень простая мысль: скажем, в такой системе, как система предшествующая, над чем властвовал, имел право, был вправе, имел основание властвовать суверен, монарх, государство? Само собой, над вещами, над землями. Король часто, хотя и не всегда, считался

владельцем королевства. От этого имени он и выступал. Или в любом случае он владел доменом. Он мог властвовать над подданными, потому что в качестве подданных подданные находились в определенном личном отношении к правителю, в силу чего тот мог властвовать над всем, какими бы ни были права самих подданных. Иначе говоря, перед нами непосредственное властвование в форме правителя, в форме министров, непосредственное властвование правительства над вещами и над людьми.

Исходя из новых правительственных интересов — и это точка разрыва между старым и новым, между государственными интересами и принципом ослабления государства, — правительство отныне больше не вмешивается, не властвует непосредственно над вещами и над людьми, оно больше не может, не вправе властвовать, не основывает на праве и интересах вмешательство, меру которого обосновывает интерес, интересы, игра интересов этих индивидов, вещей, благ, богатств, процессов, определенный интерес индивидов или совокупности индивидов или интересы индивида, сталкивающиеся с общими интересами и т. п. Правительство интересуется лишь интересами. Новое правительство, новые правительственные интересы не имеют дела с тем, что я назвал бы вещами-в-себе руководства: индивидами, вещами, богатствами, землями. С этими вещами-в-себе оно больше не имеет дела. Оно имеет дело с явлениями политики, которые как раз и составляют политику и цели политики, с теми явлениями, каковые суть интересы или то, чем индивид, вещь, богатство и т. п. интересуют других индивидов или общность.

Уголовная система, как мне представляется, служит весьма ярким примером. Я пытался показать,[16] что в наказании XVII и даже начала XVIII в. наказывал, по сути, правитель, — это и был подлинный смысл казни — это он действовал, так сказать, единолично или во всяком случае в качестве суверена, однако, если угодно, он физически воздействовал на тело индивида, и именно это давало ему право казнить и право казнить публично: демонстрация самого правителя на ком-то, кто совершил преступление и кто, совершая преступление, нанес ущерб некоторым людям, но поразил правителя в его тело власти. Тако-

во было основание для формирования, обоснования, основополагания казни.

На чем, в сущности, основывается начиная с XVIII в. ([как] это ясно проявляется у Беккариа)[17] этот замечательный принцип мягкости наказаний (отметим еще раз, что он не означает каких-либо перемен в чувствительности людей), этот принцип умеренности наказаний, если проанализировать его лучше, чем это сделал я? Дело вот в чем: что становится между преступлением, с одной стороны, и властью правителя, имеющего право за него наказывать, и при необходимости наказывать смертью — с другой? Тонкая феноменальная пелликула интересов, которые отныне есть единственная вещь, остающаяся во власти правительственных соображений. И ответный удар, наказание теперь, конечно же, должно рассчитываться в зависимости от интересов потерпевшего, возмещения ущерба и т. п. Оно не должно исходить из чего-либо иного, нежели игра интересов других, окружения, общества и т. п. Какой интерес в наказании, какой интерес в том, что формирует наказание, чтобы в этом было заинтересовано общество? Заинтересовано ли оно в казни или в перевоспитании, и в перевоспитании до какой степени и т. п., и сколько это будет стоить? Введение этой феноменальной пелликулы интереса как конституирующей единственную сферу или, скорее, единственную плоскость возможного вмешательства правительства как раз и объясняет эти перемены, как видите, сводящиеся к перестройке правительственных интересов.

Правление в его новом режиме, в сущности, больше не осуществляется над подданными и посредством этих подданных над вещами. Руководство отныне осуществляется над тем, что можно было бы назвать феноменальной республикой интересов. Основной вопрос либерализма: какова потребительная стоимость правительства и всех его действий в обществе, где обмен определяет подлинную стоимость всего?* Я полагаю, что именно так ставятся основные вопросы либерализма. Так либерализм ставит основной вопрос руководства, проблему,

---

* М. Фуко добавляет: Потребительная стоимость правительства в системе, где обмен определяет подлинную стоимость вещей. Как это возможно?

состоящую в том, чтобы знать, могут ли политические, экономические и т. п. формы, противостоящие либерализму, избежать этого вопроса и формулировки этого вопроса о полезности руководства в режиме, в котором обмен определяет стоимость всего.

Примечания

[1] В «Резюме курса» М. Фуко отсылает к Бенджамину Франклину (см. с. 410 наст. изд.). См., например, письмо Б. Франклина Шарлю де Вайссенштайну от 1 июля 1778 г. (The Writings of Benjamin Franklin / Ed. A. H. Smyth. New York: Macmillan, 1905—1907. Vol. VII. P. 168), цитируемом в: *McCoy D. R.* Benjamin Franklin's vision of a republican political economy for America // The William and Mary Quarterly. 1978, october. 3e serie. Vol. 35 (4) P. 617: «A virtuous and laborious people could always be "cheaply governed" in a republican system» («В республиканской системе добродетельные и трудолюбивые люди всегда "легкоуправляемы"»).

[2] Это справедливая цена (justum pretium), которую средневековая схоластика, отталкиваясь от аристотелевской доктрины всеобщей справедливости (Никомахова этика. Книга V), утверждала как идеальную модель сделок. См.: *Kaplan S. L.* Bread, Politics and Political Economy in the Reign of Louis XV. La Haye: Martinus Nijhoff, 1976 (*Kaplan S. L.* Le Pain, le Peuple et le Roi / Trad. M.-A. Revellat. Paris: Perrin («Pour l'histoire»), 1986. P. 55—56: «Генерал-лейтенант полиции, комиссары, измерители зерна и чиновники на местах неизменно настаивают на "справедливой цене", поддерживать которую они считают своим долгом. [...] Будучи справедливыми, цены не должны ни "взбунтовать" продавцов, ни "оскорбить" покупателей. Они устанавливаются в соответствии с идеалом умеренности, который склонен меняться в зависимости от обстоятельств. Цена считается справедливой, когда продавцы закрепляют за собой умеренную выгоду и когда масса народа, существующая в состоянии хронической нищеты, не претерпевает сверх меры, то есть не более, чем обычно. Обычно справедливая цена представляет собой попросту прейскурант (как советуют теологи), скорее закрепленный общей оценкой, нежели навязанный махинациями продавцов или государственными законами». См. также: *Baldwin J. W.* The Medieval Theories of the Just Price: Romanists, canonists and theologians in the twelfth and

thirteenth centuries. Philadelphia: American Philosophical Society, 1959; *Schumpeter J. A.* History of Economic Analysis / Ed. From manuscript by E. Boody Schumpeter. New York: Oxford University Press, 1954 (*Schumpeter J. A.* Histoire de l'analyse économique / Trad. et éd. par E. Boody Schumpeter, R. Kuenne, J.-C. Casanova et al. Paris: Gallimard («Bibliothèque des sciences humaines»), 1983. T. I. P. 139—140. Дополнительную библиографию см.: *Kaplan S. L.* Trad. citée. P. 441—442, примеч. 14 к гл. II. По вопросу о ценах см.: *Foucault M.* Les Mots et les Choses. Paris: Gallimard («Bibliothèque des sciences humaines»), 1966. Ch. VI, section IV: «Le gage et le prix» (*Фуко М.* Слова и вещи. Археология гуманитарных наук. / Пер. В. П. Визгина и Н. С. Автономовой. СПб.: A-cad, 1994. Гл. VI, разд. 4: «Залог и цена».) (вопрос о ценах рассматривается здесь главным образом в отношении денег).

[3] *Пьер Ле Пезан, сеньор де Буагильбер* (1646—1714), автор «Розничной торговли Франции» (1695) и «Трактата о природе, возделывании, торговле и пользе зерна» (1707). Считается предтечей физиократов. См.: *Schumpeter J. A.* Histoire de l'analyse économique / Trad citée. T. I, № 1. P. 302, а в особенности: *Sauvy A.* Pierre de Boisguilbert, ou la Naissance de l'économie politique. Paris: INED, 1966. 2 vol. — Кажется, Буагильбер все-таки не использует понятие «естественная цена». Иногда он говорит о «цене пропорции» (или о «пропорциональной» цене) без четкого аналитического значения (покупатели и продавцы извлекают одну и ту же выгоду) и о «строгой цене», опирающейся на производственные затраты (приемлемый минимум).

[4] См.: *Depitre E.* Introduction // Dupont de Nemours. De l'exportation et de l'importantion des grains (1764). Paris: P. Geuthner («Collection des économistes et des réformateurs de la France»), 1911. P. XXIII—XXIV: «В физиократической системе нет ничего проще, чем определить хорошую цену: это *общая и незначительно изменяющаяся цена общего рынка*, которую *конкуренция устанавливает между свободно торгующими нациями*». См. также: *Foucault M.* Sécurité, Territoire, Population. Лекция 5 апреля 1978 г. (P. 369, примеч. 25).

[5] См.: *Marshall A.* Principles of Economics. Londres: Macmillan & Co., 1890 (см.: *Schumpeter J. A.* Histoire de l'analyse économique / Trad. citée. T. I. P. 268; T. II. P. 292).

[6] Об этом новом определении рынка как места веридикции или истины цен см., например: [*E. Bonnot de*] *Condillac.* Le Commerce et le Gouvernement considérés relativement l'un à l'autre. Amsterdam-Paris: Jombert & Cellot, 1776. I[re] partie, ch. IV: «Рынки или мес-

та, где встречаются те, кому нужно произвести обмены» (см. с. 23 изд. 1795 г., réimpr. Paris-Genève: Slatkine, 1980): «[...] цены могут регулироваться лишь на рынках, потому что только там собравшиеся горожане могут, сравнив свою заинтересованность в обменах, судить о ценности вещей в отношении своих потребностей. Они могут сделать это только там, потому что только на рынках все вещи, предназначенные для обмена, выставляются напоказ: только на рынках можно судить об их избытке или редкости по сравнению друг с другом; это отношение определяет соответствующую цену».

[7] См.: *Foucault M.* Sécurité, Territoire, Population. Лекция 18 января 1978 г. (P. 33).

[8] Фуко уже использовал это выражение в своем выступлении на заседании Французского философского общества в мае 1978 г. «Что такое критика?» (*Foucault M.* Qu'est-ce que la critique? // Bulletin de la Société française de philosophie. 84[e] année. 1990. № 2 (avril-juin). P. 51), говоря о различии между генеалогией и процедурами объясняющей истории: «В целом можно сказать, что в противоположность генезису, ориентирующемуся на жесткую принципиальную причинность множественных следствий, речь идет о генеалогии, то есть о том, что пытается воссоздать условия становления сингулярности, исходя из множества детерминирующих элементов, по отношению к которым та выступает не как продукт, но как результат. Таким образом, это обращение к интеллигибельному, при котором нужно увидеть, что оно вовсе не функционирует согласно принципу закрытия». Фуко уже обращался к этой проблеме интеллигибельности в истории в курсе «Безопасность, территория, население» (*Foucault M.* Sécurité, Territoire, Population. Лекция 8 марта 1978 г. P. 244). О различии между генезисом и генеалогией см: Ibid. Лекция 8 февраля 1978 г. P. 121.

[9] Об отношении Фуко к Франкфуртской школе см: *Foucault M.* Qu'est-ce que la critique? Loc. cit. P. 42—43; *Foucault M.* «Omnes et singulatum»: vers une critique de la raison politique / Trad. de l'américain (The Tanner Lectures on Human Values / Ed. S. McMurrin. 1981) // Dits et Écrits. T. IV, N 310. P. 279; Foucault M. Structuralisme et post-structuralisme. Entretien avec G. Raulet (Telos. Printemps 1983) // Dits et Écrits. T. IV, N 330. P. 438—441.

[10] Автор знаменитого трактата «Dei delitti e delle pene» («О преступлениях и наказаниях»), вышедшего в Ливорно в 1764 г., Чезаре Бонесана, маркиз де Беккариа (1738—1794), в 1769 г. получил кафедру «scienze camerali e economiche», недавно основанную в

Милане (переименованную им в кафедру «economia politica»), которую он оставил два года спустя ради службы в миланской администрации. Эти конспекты лекций впервые были опубликованы в 1804 г. П. Кустоди под названием «Elementi di economia pubblica» (Scrittori italiani de economia politica: Parte moderna. Vol. XI, XII. Milano: G. G. Destefanis.) См. также: Discours de M. le Marquis Cesare Beccaria Bonesana... professeur royal de la chaire nouvellement établie par ordre de S. M. impériale pour le commerce et l'administration publique, prononcé à son installation dans les écoles Palatines / Trad. J.-A. Comparet. Lausanne: F. Grasset, 1769 (ориг. изд.: Prolusione letta dal regio professore Marchese Cesare Beccaria Bonesana nell'apertura della nuova cattedra di scienze camerali ultimamente comendata da S.M.I.R.A. Florence: G. Allegrini e comp, 1769) и Principes d'économie politique appliqués à l'agriculture par l'auteur du «Traité des délits et des peines». Paris: Ve Bouchard-Huzard, 1852. «Значительную часть его экономических сочинений составляли его правительственные доклады» (*Schumpeter J. A.* Histoire de l'analyse économique. T. I. P. 255; он называет Беккариа «итальянским Адамом Смитом» (Ibid. P. 256). См.: «Atti di governo» Беккариа, публикующиеся в 17 томах (5 томов уже вышли: Vol. VI—X, 1987—2000). Эти сочинения касаются самых разных вопросов: денег, рудников, весов и мер, мануфактур и торговли, ярмарок и рынков и т.п. Этими подробностями я обязан недавней диссертации Ф. Одежана (*Audegaen Ph.* Philosophie réformatrice. Cesare Beccaria et la critique des saviors de son temps: droit, rhétorique, économie. Université de Paris I-Sorbonne, 2003).

[11] *Адам Смит* (1723—1790). См.: *Smith A.* An Inquiry into the Nature and Causes of the Wealth of Nations. Londres: W. Straham & T. Cadell, 1776 (*Smith A.* Recherches sur la nature et les causes de la richesse des nations / Trad. du Comte Germain Garnier, revue par A. Blanqui. Paris: Guillaumin, 1843; éd. récente: Paris: Garnier-Flammarion, 1991).

[12] См.: Jeremy Bentham's Economic Writings. Op. cit. [supra, p. 27, note 9] и *Hutchison T. W.* Bentham as an economist // Economic Journal. 1956. LXVI. P. 288—306.

[13] М. Фуко возвращается к этим последним пунктам в лекции 21 февраля 1979 г. (с. 217 наст. изд.).

[14] См.: *Фуко М.* Нужно защищать общество. Лекция 4 февраля 1976 г. С. 113 и далее. (Тогда Фуко не использовал слово «радикализм».) См. труды Ч. Хилла, с которыми Фуко был очень хорошо знаком (см. «Контекст курса» А. Фонтана и М. Бертани. Там же. С. 308).

[15] См. лекцию 28 марта 1979 г. (с. 339 наст. изд.).

[16] См.: *Foucault M.* Surveiller et Punir. Paris: Gallimard («Bibliothèque des histoires»), 1875. P. 51—58 (*Фуко М.* Надзирать и наказывать. Рождение тюрьмы / Пер. В. Наумова. М.: «Ad Marginem», 1999). См. также курс лекций 1972—1973 гг. «La Société punitive» (резюме опубликовано в Dits et Écrits. T. II. P. 456—470).

[17] *Beccaria C.* Des délits et des peines / Trad. M. Chevallier. Genève: Droz, 1965. § XII. P. 24: «Цель наказаний». См.: *Foucault M.* Surveiller et Punir. P. 106—134 (*Фуко М.* Надзирать и наказывать. С. 104—151).

Лекция 24 января 1979 г.

Специфические черты либерального искусства управлять (II): (3) Проблема европейского баланса и международные отношения. — Экономический и политический расчет в меркантилизме. Принцип свободы рынка у физиократов и Адама Смита: рождение новой европейской модели. — Появление правительственной рациональности и ее распространение в мировом масштабе. Примеры: вопрос о морском праве; проекты вечного мира в XVIII в. — Принципы нового либерального искусства управлять: «правительственный натурализм»; производство свободы. — Проблема либерального арбитража. Его инструменты: (1) управление опасностями и создание механизмов безопасности; (2) дисциплинарный контроль (паноптизм Бентама); (3) интервенционистская политика. — Управление свободой и его кризисы.

В прошлый раз я попытался уточнить кое-что из того, что представляется мне основополагающими чертами либерального искусства управлять. Сперва я говорил о проблеме экономической истины и веридикции рынка, а затем о проблеме ограничения руководства расчетом полезности. Теперь я хотел бы обратиться к третьему, как мне представляется, также основополагающему, аспекту, — международному равновесию, вернее, равновесию в Европе и международном пространстве либерализма.

Как вы помните, когда в прошлом году речь шла о государственных интересах,[1] я пытался показать вам, какое равновесие, система противовесов существовали между тем, что можно назвать неограниченными внутренними целями государства и, с другой стороны, ограниченными внешними целя-

ми. Неограниченные внутренние цели — это сам механизм становления полицейского государства, то есть руководства всегда самого жесткого, самого явного, самого устойчивого, безграничная регламентация, устанавливаемая a priori. По ту сторону неограниченных целей мы обнаруживаем внешние ограниченные цели той эпохи, когда складываются государственные интересы и формируется это полицейское государство, стремление к которым и реальная организация которых есть то, что называется европейским балансом, чей принцип таков: поступать так, чтобы никакое государство не возвысилось над другими настолько, чтобы восстановить в Европе имперское единство; следовательно, действовать так, чтобы ни одно государство не господствовало над другими, чтобы ни одно государство не возвысилось над всеми своими соседями настолько, чтобы установить над ними свое господство, и т. д. Связь между этими двумя механизмами — механизмом неограниченных целей, полицейским государством, и механизмом ограниченных целей, европейским балансом, — как видите, очень легко понять в том смысле, что полицейское государство, или, если хотите, внутренние механизмы, обеспечивающие неограниченное развитие полицейского государства, имеют смыслом своего существования, конечной целью и задачей усиление самого государства; каждое государство, таким образом, нацелено на неограниченное усиление, то есть наращивание неограниченного превосходства над другими. Говоря яснее, конкуренция в отношении того, кто лучший в конкурентной игре, порождает в Европе некоторую неравномерность, которая будет возрастать, которая будет порождаться дисбалансом в населении, а значит в военной силе, и приведет, следовательно, к той общеизвестной имперской ситуации, от которой европейский баланс начиная с Вестфальского договора стремился освободить Европу. Баланс устанавливался как раз для того, чтобы этого избежать.

Выражаясь точнее, в меркантилистском расчете и в том, как меркантилизм организует экономико-политический расчет сил, хорошо заметно, что в действительности невозможно избежать, даже при желании помешать новой реализации имперской конфигурации, европейского баланса. Действительно, для меркантилизма конкуренция между государствами

предполагает, что все то, чем обогащается одно из государств, может и, по правде говоря, должно изыматься из богатства других государств. То, что приобретает один, отбирается у другого; обогатиться можно лишь за счет других. Иначе говоря, для меркантилистов — и это, я полагаю, очень важный момент, — экономическая игра есть игра с нулевым счетом. Впрочем, это игра с нулевым счетом просто в силу монетаристской концепции и практики меркантилизма. В мире есть определенное количество золота. Поскольку именно золото определяет, измеряет и составляет богатство всякого государства, понятно, что всякий раз, когда одно из государств обогащается, оно черпает из общего золотого запаса, а значит разоряет другие. Монетаристский характер меркантилистской политики и расчета предполагает, таким образом, что конкуренцию нельзя представлять лишь в виде игры с нулевым счетом, а следовательно, обогащения одних за счет других.[2] И для того, чтобы в этой игре не было единственного выигравшего (к чему может привести строгая экономическая логика), чтобы избежать этого явления, этого политического следствия так понимаемой конкуренции, необходим своего рода баланс, который позволит, так сказать, прервать игру в данный момент. То есть: когда разрыв между игроками рискует стать слишком большим, игра останавливается, и именно это составляет европейский баланс. В какой-то мере это паскалевская проблема:[3] что происходит, когда игра с нулевым итогом прерывается, а выигрыш распределяется между партнерами? Прервать игру конкуренции средствами дипломатии европейского равновесия — именно это с необходимостью предполагает монетаристская концепция и практика меркантилистов. Вот точка отсчета.

Итак, что происходит в середине XVIII в., о котором я говорю и в котором я пытаюсь выделить формирование новых правительственных интересов? В этих новых государственных интересах или в этом минимуме государственных интересов, находящих веридикцию своего основания в рынке, а свою фактическую юрисдикцию — в полезности, все будет, конечно же, совсем по-другому. Действительно, согласно физиократам, а впрочем, также согласно Адаму Смиту, свобода рынка может и должна функционировать согласно тому способу, который ус-

танавливается посредством свободы рынка и благодаря ей; это они и называют естественной ценой, или правильной ценой, и т. п. Как бы то ни было, кому всегда выгодна эта естественная, или правильная цена? Продавцу, но также и покупателю; покупателю и продавцу одновременно. То есть получаемые от конкуренции прибыли не будут по необходимости неравномерно распределяться между одним и другим, в пользу одного и за счет другого. Но оправданная игра естественной конкуренции, то есть конкуренции в свободном состоянии, может привести лишь к удваиванию прибыли. Колебание цен в зависимости от стоимости, которое я показал вам в прошлый раз, обеспечивающееся, согласно физиократам, согласно Адаму Смиту, свободой рынка, это колебание приводит в действие механизм взаимного обогащения. Максимум прибыли для продавца, минимум расходов для покупателей. Мы обнаруживаем, таким образом, идею, которая оказывается теперь в центре экономической игры, как она определяется либералами, полагающими, что обогащение страны, как и обогащение индивида, может сохраняться и поддерживаться в течение длительного времени только взаимным обогащением. Богатство моего соседа делает богаче меня, а не так, как говорили меркантилисты: нужно, чтобы у соседа было золото, чтобы покупать мои продукты, что позволит мне разорять его, обогащаясь самому. Нужно, чтобы мой сосед был богат, а сосед мой будет богат тогда, когда я буду богатеть от своей торговли и от нашей с ним взаимной торговли. Следовательно, это взаимное обогащение, всеобщее обогащение, обогащение региональное: или вся Европа будет богата, или вся Европа будет бедна. Больше нет пирога для дележки. Мы вступаем в эпоху экономической историчности, движимой, скорее, бесконечным обогащением, чем взаимной игрой конкуренции.

Мне кажется, здесь начинает вырисовываться нечто очень важное, последствия чего, как вы знаете, еще далеко не исчерпаны. Вырисовывается новая идея Европы — Европы, которая теперь уже не та имперская и каролингская Европа, что так или иначе была наследницей Римской империи и сводилась к совершенно обособленным политическим структурам. Это уже не классическая Европа баланса, равновесия сил, установленного так, чтобы сила одного не позволяла ему слиш-

ком возвыситься над другим. Это Европа совместного обогащения, Европа как коллективный экономический субъект, который, какой бы ни была конкуренция между государствами, или, скорее даже, благодаря конкуренции между государствами, движется по пути неограниченного экономического прогресса.

Эта идея европейского прогресса представляется мне основополагающей темой либерализма и, как видите, совершенно меняет суть идеи европейского равновесия, даже если эта идея и не исчезает совершенно. Мы исходим из физиократической концепции и концепции Адама Смита, концепции экономической игры с нулевым счетом. Но для того чтобы экономическая игра больше не была игрой с нулевым счетом, нужны еще постоянные и непрерывные поступления. Иначе говоря, для того чтобы свобода рынка, призванная обеспечить взаимное, соотносительное, более или менее симультанное обогащение всех стран Европы, чтобы эта свобода рынка могла осуществляться как игра, не дающая в итоге ноль, нужно еще собрать вокруг Европы и для Европы как можно более широкий рынок, а в пределе — все, что может выставить на рынок мир. Другими словами, это призыв к мондиализации рынка ввиду установления принципов и целей, согласно которым обогащение Европы должно стать не обнищанием одних и обогащением других, но неограниченным коллективным обогащением. Следовательно, бесконечный характер экономического развития Европы, не допускающая нулевого счета игра, предполагает, само собой, что весь мир должен собраться вокруг Европы, чтобы обменивать на рынке, который будет рынком европейским, свои собственные продукты и продукты Европы.

Разумеется, я не хочу сказать, что Европа впервые задумывается о мире или что Европа вообще задумывается о мире. Я просто хочу сказать, что, быть может, впервые Европа в качестве экономического единства, в качестве экономического субъекта представляет себе мир как то, что может и должно быть ее экономическим доменом. Впервые Европа, как мне представляется, предстала в собственных глазах как то, что должно завладеть миром как бесконечным рынком. Европа теперь не просто испытывает зависть ко всем сокровищам мира,

сверкающим в ее мечтах или в ее восприятии. Теперь Европа пребывает в состоянии постоянного коллективного обогащения за счет своей собственной конкуренции, при условии, что весь мир составляет ее рынок. Короче говоря, расчет европейского баланса в эпоху меркантилизма, государственных интересов, полицейского государства и т. д. был тем, что позволяло блокировать последствия экономической игры, которая мыслилась как завершенная.* Теперь открытие мирового рынка позволяет экономической игре не заканчиваться, а значит избежать конфликтных следствий замкнутого рынка. Однако это включение в экономическую игру мира, очевидно, предполагает различие по природе и статусу между Европой и остальным миром. То есть, с одной стороны, Европа, европейцы, которые станут игроками, а с другой — мир, который станет ставкой. Игра ведется в Европе, но ставкой служит мир.

Мне представляется, перед нами одна из основополагающих черт того нового искусства управлять, которое определяется проблемой рынка и веридикцией рынка. Конечно, начало колонизации не здесь, не в этой организации, не в этой рефлексии и, во всяком случае, не во взаимозависимости мира и Европы. Она давно уже началась. Не думаю также, что это было начало империализма в модерном или современном смысле этого термина, поскольку очевидно, что формирование этого нового империализма наблюдается много позже — в XIX в. Но можно сказать, что перед нами появление в европейской правительственной практике нового типа планетарного расчета. Можно найти множество признаков появления этой новой формы планетарной рациональности, этого нового расчета в масштабах мира. Я назову лишь некоторые из них.

Возьмем, к примеру, историю морского права XVIII в., когда в терминах международного права пытались мыслить мир, или по крайней мере море, как пространство свободной конкуренции, свободного морского обращения, а значит как одно из условий, необходимых для организации мирового рынка. Всю историю пиратства — того, как оно одновременно использова-

---

* В рукописи добавление (р. 5): «прерывая партию, когда проигрыши и выигрыши разных партнеров слишком удаляются от исходного положения (паскалевская проблема прерывания партии)».

лось, поощрялось, запрещалось, уничтожалось и т. п. — также можно представить как один из аспектов выработки этого планетарного пространства, зависящего от определенных правовых принципов. Скажем так, имела место юридификация мира, который надлежало осмыслить в организационных терминах рынка.

Другой пример появления той правительственной рациональности, горизонт которой составляет вся планета в целом, — это проекты мира и международной организации XVIII в. Если обратиться к тем из них, что существовали начиная с XVII в., можно заметить, что все эти проекты мира артикулировались преимущественно европейским балансом, то есть точным балансом взаимодействующих сил различных государств, различных крупных государств, или крупных государств и коалиций малых государств и т. п. Начиная с XVIII в. идея вечного мира и идея международной организации артикулируются, как мне кажется, совершенно иначе. Гарантией и основанием вечного мира теперь считается не столько ограничение внутренних сил каждого государства, сколько безграничность внешнего рынка. Чем шире будет внешний рынок, чем меньше будет у него границ и пределов, тем большей будет гарантия вечного мира.

Если вы возьмете, к примеру, текст Канта о проекте вечного мира, который датируется 1795 г.,[4] самым концом XVIII в., вы найдете главу, которая называется «Гарантия вечного мира».[5] Как мыслит эту гарантию вечного мира Кант? Он говорит: что такое, в сущности, этот гарантируемый самим ходом истории вечный мир, и что предвещает обретение им однажды в истории фигуры и формы? Воля людей, согласие между ними, политические и дипломатические комбинации, которые они могут создать, организация права, которое они поставят между собой? Отнюдь. Это природа,[6] так же как у физиократов природа гарантировала успешное регулирование рынка. И как же природа гарантирует вечный мир? Да очень просто, говорит Кант. Природа совершила настоящие чудеса, позаботившись, к примеру, о том, чтобы не только животные, но и люди жили в странах для этого непригодных, совершенно выжженных солнцем или скованных вечными льдами.[7] Итак, есть люди, которые живут там, несмотря ни на что, и это доказывает, что нет

ни одной части света, где не могли бы жить люди.[8] Но, чтобы люди смогли жить, нужно еще, чтобы они могли прокормиться, чтобы они могли обеспечить себе пропитание, чтобы у них была общественная организация [и] чтобы они могли обмениваться между собой или с людьми других регионов продуктами. Природа хочет, чтобы весь мир и все его ресурсы были вовлечены в экономическую деятельность — деятельность производства и обмена. А потому природа вменяет человеку определенные обязанности, каковые для человека есть обязанности юридические,[9] которые природа диктует [ему], так сказать, тайком и которыми она отмечает своего рода недостаточность в самой диспозиции вещей, географии, климата и т. п. Что же это за диспозиции?

Во-первых, чтобы отдельные люди могли вступать друг с другом в отношения обмена, основанного на собственности и т. п., что вменяет им природа, природа предписывает людям установить юридические отношения и гражданское право.[10]

Во-вторых, природа хочет, чтобы люди распределились по различным регионам мира и чтобы в каждом из этих регионов между ними установились особые отношения, которых у них не было бы с жителями других регионов, и чтобы это предписание природы люди установили в юридических терминах, создав государства, государства обособленные одни от других и поддерживающие между собой определенные юридические отношения. Таково международное право.[11] Но кроме того, природа желает, чтобы между этими государствами существовали не только гарантирующие независимость юридические отношения, но также и отношения торговые, которые пронизывают границы государств и которые, если можно так выразиться, делают пористой юридическую независимость каждого государства.[12] Эти торговые связи пронизывают мир, как того хотела природа, и в той мере, в какой природа хотела, чтобы мир был заселен полностью, и именно это создает право всемирного гражданства или торговое право. Конструкция такова: гражданское право, международное право, право всемирного гражданства есть не что иное, как повторение человеком в форме долга того, что предписывает природа.[13] Можно сказать [таким образом], что право, поскольку оно повторяет предписание природы, может гарантировать то, что было, так сказать,

уже прорисовано первым жестом природы, когда та населила весь мир,* а именно вечный мир. Вечный мир гарантируется природой, и эта гарантия манифестируется заселением всего мира и сетью торговых отношений, стремящихся пронизать весь мир. Гарантией вечного мира поистине выступает коммерческая планетаризация.

Конечно, нужно было бы многое добавить, но уж во всяком случае — ответить на одно возражение. Когда я говорю вам, что мысль физиократов, Адама Смита, Канта, а также юристов XVIII в. манифестировала новую форму политического расчета в международном масштабе, я вовсе не хочу сказать, что всякая иная форма рефлексии, расчета и анализа, всякая иная правительственная практика исчезла напрочь. Хотя и верно, что в эту эпоху открывается мировой и планетарный рынок, а по отношению к этому мировому рынку утверждается привилегированное положение Европы, хотя в эту эпоху в равной мере утверждается идея о том, что конкуренция между европейскими государствами есть фактор всеобщего обогащения, понятно — история это всемерно доказывает, — что это не означает вступления в эпоху европейского мира и мирной планетаризации политики. В конце концов, в XIX в. мы вступаем в тяжелейшую эпоху войн, таможенных тарифов, экономического протекционизма, национальных экономик, политического национализма, [самых] великих войн, которые только знал мир и т. п. Я уверен, и именно это я хотел вам показать, что в этот момент просто появляется определенная форма рефлексии, анализа и расчета, определенная форма анализа и расчета, которая интегрируется в ту политическую практику, что вполне может подчиняться другому типу расчета, другой экономии мысли, другой практике власти. Для примера достаточно взглянуть на то, что произошло с Венским договором 1815 г.[14] Перед нами, можно сказать, самое яркое проявление того, чего так долго добивались в XVII и XVIII вв., а именно, европейский баланс. О чем в действительности шла речь? Так вот, речь шла о том, чтобы покончить с воскрешенной Наполеоном имперской идеей. Ведь в этом и состоит исторический парадокс Наполеона: дело в том, что на уровне внутренней политики —

---

* М. Фуко добавляет: предвещая уже.

это проявилось и в его вмешательствах в дела Государственного совета, и в том, как он мыслил свою правительственную практику,[15] — Наполеон, очевидно, совершенно враждебен идее государства полисии, а его задача состоит в том, чтобы в точности знать, как ограничить внутреннюю правительственную практику,[16] зато во внешней политике он, можно сказать, совершенно архаичен, поскольку он стремился восстановить некую имперскую конфигурацию, против которой восставала вся Европа начиная с XVII в. По правде говоря, имперская идея Наполеона — насколько ее можно реконструировать, несмотря на поразительное молчание историков, — по-видимому, отвечала трем целям.

Прежде всего (по-моему, я говорил вам об этом в прошлом году[17]) империя в терминах внутренней политики — если судить о ней по тому, что историки и юристы XVIII в. говорили о каролингской империи,[18] — это гарантия свобод. Империя противостоит монархии не потому, что у нее больше власти, но, напротив, потому что при ней меньше власти и меньше управления. А с другой стороны, империя — очевидно, в силу безграничности революционных идей, то есть революционного изменения мира в целом, — была способом обновить тот революционный проект, который прогремел во Франции в 1792—1793 гг., воскресив идею (архаичную для того времени) имперского господства, унаследовав каролингские формы или форму Священной империи. Это смешение идей империи, внутренне гарантирующей свободы, империи, которая была бы европейской формой неограниченного революционного проекта, и, наконец, империи, которая была бы воссозданием каролингской, немецкой или австрийской формы империи, — именно такое своеобразное смешение (capharnaüm) представляет собой имперская политика Наполеона.

Проблема Венского договора заключалась, понятное дело, в том, чтобы свернуть эту имперскую безграничность. Она заключалась в том, чтобы восстановить европейское равновесие, но, по сути, с двумя различными целями. Перед нами австрийская цель и цель английская. В чем состояла австрийская цель? В том, чтобы восстановить европейский баланс в прежней форме, форме XVII и XVIII вв. Сделать так, чтобы ни одна страна в Европе не смогла возобладать над другими. Ав-

стрия настаивала на этом проекте, поскольку сама состояла из нескольких различных государств, скрепленных лишь старой формой полицейского государства; у Австрии было лишь административное правительство. Эта множественность государств полисии в центре Европы предполагала, что сама Европа формуется, в сущности, по этой старой схеме множества уравновешивающих друг друга полицейских государств. Европа должна была принять за образец Австрию, чтобы сама Австрия могла существовать такой, какой она была. И в этой мере можно сказать, что проект европейского баланса по Меттерниху[19] все еще оставался проектом XVIII в. Чем был, напротив, европейский баланс по навязанному ею Австрии Венскому договору для Англии?* Это был способ регионализировать Европу, ограничив, разумеется, власть каждого из европейских государств, но предоставив Англии политическую и экономическую роль, роль экономического посредника между Европой и мировым рынком, чтобы, так сказать, мондиализировать европейскую экономику посредством, посредничеством экономического могущества Англии. Таким образом, перед нами совсем другой проект европейского баланса, основанный на принципе, согласно которому Европа — особый экономический регион, окружаемый миром, который должен стать ее рынком. Это совершенно отличается от проекта европейского равновесия, предложенного [Австрией**] по тому же Венскому договору. Так что, как видите, внутри одной исторической реальности можно найти два совершенно различных типа рациональности и политического расчета.

Теперь я хотел бы закончить с этими спекуляциями и, прежде чем перейти к анализу современного либерализма в Германии и в Америке, немного обобщить то, что я вам говорил об основополагающих чертах либерализма, или во всяком случае определенного искусства управлять, которое вырисовывается в XVIII в.

---

* Рукопись (p. 10) уточняет: «Каслри» [Генри Роберт Стюарт Каслри (1762—1822), британский министр иностранных дел от партии *тори* с 1812 по 1822 гг., который сыграл существенную роль на Венском конгрессе, сдерживая амбиции России и Пруссии].

** М. Ф.: Англией.

Итак, я пытался выделить три черты: веридикция рынка, ограничение посредством расчета правительственной полезности и, как я только что сказал, положение Европы по отношению к мировому рынку как региона с неограниченным экономическим развитием. Именно это я назвал либерализмом.

Почему мы говорим о либерализме, почему мы говорим о либеральном искусстве управлять, в то время как совершенно очевидно, что те вещи, о которых я упоминал, и черты, которые я попытался выделить, указывают, в сущности, на гораздо более общее явление, нежели ясная и простая экономическая или политическая доктрина, или экономико-политический вариант либерализма в строгом смысле? Если копнуть немного глубже, докопаться до сути вещей, вы ясно увидите, что то, что характеризует новое искусство управлять, о котором я говорил, окажется скорее натурализмом, нежели либерализмом, поскольку та свобода, о которой говорят физиократы, Адам Смит и др., — это в гораздо большей степени спонтанность, присущая экономическим процессам внутренняя механика, нежели юридическая свобода, признаваемая как таковая за индивидами. И даже еще у Канта, который, впрочем, не столько экономист, сколько юрист, вечный мир гарантируется не правом, а природой. Действительно, в середине XVIII в. вырисовывается именно правительственный натурализм. И тем не менее, я полагаю, что мы можем говорить о либерализме. Я мог добавить — впрочем, к этому я еще вернусь,[20] — что этот натурализм, который я считаю врожденным, во всяком случае изначальным для этого искусства управлять, очень ясно проявляется в физиократической концепции просвещенного деспотизма. Я еще скажу об этом подробнее, но в двух словах речь идет вот о чем: когда физиократы обнаруживают существование спонтанных механизмов экономии, которые должно соблюдать всякое правительство, если оно не хочет получить противоположные, обратные своим целям результаты, какие выводы они из этого делают? Что надо дать людям свободу действовать так, как они хотят? Что правительства должны признать естественные, основополагающие, сущностные права индивидов? Что правление должно быть по возможности наименее авторитар-

ным? Отнюдь. Физиократы заключают из этого, что правительство должно распознать в своей сложной внутренней природе эти экономические механизмы. Как только оно о них узнает, оно, конечно, должно обязаться учитывать эти механизмы. Но учитывать эти механизмы — не значит придать себе юридический остов, признав индивидуальные свободы и основополагающие права индивидов. Это значит лишь взять на вооружение в своей политике точное, непреходящее, ясное и внятное знание того, что происходит в обществе, на рынке, в экономических оборотах, так, чтобы ограничение власти было не признанием свободы индивидов, но просто очевидностью экономического анализа, которую следует признавать.[21] Правление ограничивается очевидностью, а не свободой индивидов.

Таким образом, в середине XVIII в. появляется скорее натурализм, чем либерализм. Однако я полагаю тем не менее, что можно использовать слово «либерализм», поскольку в центре этой практики или проблем, поставленных этой практикой, оказывается свобода. Я думаю, это надо пояснить. Назвать это новое искусство управлять либерализмом не значит сказать,* что совершается переход от авторитарного руководства XVII и начала XVIII вв. к руководству более толерантному, более терпимому и более гибкому. Я не хочу сказать, что это было не так, но я не хочу сказать и того, что это было так. Я хочу сказать, что мне не кажется, будто суждение вроде этого может иметь большой исторический или политический смысл. Я не хотел сказать, что количество свободы, скажем, с начала XVIII в. и до XIX в. увеличилось. Я не говорил этого по двум причинам. Одна из них фактическая, а другая методическая и принципиальная.

Фактическая такова: имеет ли смысл говорить или просто касаться того, что административная монархия вроде той, например, что знавала Франция в XVII и XVIII вв., со всей своей напыщенной, тяжеловесной, неповоротливой, лишенной гибкости машинерией, с сословными привилегиями, с которыми ей приходилось считаться, с произволом решений, навязываемых всем и каждому, со всеми лакунами в ее

---

* М. Фуко добавляет: это не нужно понимать так.

инструментах — имеет ли смысл говорить, что эта административная монархия оставляла больше или меньше свободы, чем режим, который мы называем либеральным, но который ставит перед собой задачу непрестанно, эффективно заботиться об индивидах, об их благосостоянии, об их здоровье, об их труде, о способе их существования, об их манере поведения, вплоть до их манеры умирать и т. п.? Таким образом, в сравнении количества свободы в одной системе и в другой, мне кажется, смысла немного. Нет никакого типа доказательства, никакого шаблона или меры, которые здесь можно было бы применить.

Это подводит нас ко второй причине, которая, как мне кажется, более существенна. Не нужно думать, будто свобода — это универсалия, которая поступательно реализуется во времени или подвергается количественным изменениям, более или менее значительным сокращениям или периодам упадка. Это не универсалия, индивидуализирующаяся в зависимости от времени и географии. Свобода — это не белая доска с появляющимися там и тут и время от времени более или менее многочисленными черными клетками. Свобода никогда не есть что-либо иное — но это уже много, — как актуальное отношение между управляющими и управляемыми, при котором «слишком мало»* существующей свободы задается «еще больше»** свободы требуемой. Так что, когда я говорю «либеральный»,*** я не имею в виду соответствующую форму руководства, которая оставляла бы больше белых клеток свободе. Я имею в виду нечто иное.

Я использую слово «либеральный» прежде всего потому, что эта становящаяся правительственная практика не довольствуется тем, чтобы признавать ту или иную свободу, гарантировать ту или иную свободу. Если взглянуть глубже, она — потребительница свободы. Она — потребительница свободы, поскольку она может функционировать лишь в той мере, в какой существуют определенные свободы: свобода рынка, свобода продавца и покупателя, свободное осу-

---

* Кавычки в рукописи (р. 13).
** Кавычки в рукописи (р. 13).
*** Кавычки в рукописи (р. 13).

ществление права собственности, свобода мнения, при случае свобода слова и т. п. Таким образом, новые правительственные интересы нуждаются в свободе, новое искусство управления потребляет свободу. Потребляет свободу — значит обязано ее производить. Оно обязано ее производить, оно обязано ее организовывать. Новое искусство управлять предстает распорядителем свободы, не в смысле императива «будь свободен», с противоречием, которое непосредственно несет в себе этот императив. Либерализм формулирует не это «будь свободен». Либерализм формулирует лишь: я произведу тебя как то, что свободно (je vais te produire de quoi être libre). Я постараюсь, чтобы ты был свободен быть свободным. И вместе с тем, поскольку либерализм есть не столько императив свободы, сколько управление и организация условий, при которых можно быть свободным, в самом центре этой либеральной практики устанавливается проблематичное, всегда разное, всегда подвижное отношение между производством свободы и тем, что, производя свободу, рискуют ее ограничить и отменить. Либерализм в том смысле, в каком я его понимаю, этот либерализм, который можно охарактеризовать как сформировавшееся в XVIII в. новое искусство управлять, предполагает в своем средостении отношение производства/разрушения* свободы [...].** Нужна рука, производящая свободу, но сам этот жест предполагает, с другой стороны, установление ограничений, контроля, принуждения, поддерживаемых угрозами обязательств, и т. п.

Примеры очевидны. Свобода торговли, конечно, нужна, но как она может эффективно осуществляться, если ее не контролировать, не ограничивать, не организовывать целой серией дел, мер, предупреждений и т. п., избавляющих от результатов гегемонии одной страны над другими, гегемонии, которая привела бы к ограничению и умерению свободы торговли? Парадокс в том, что, когда в начале XIX в. все европейские страны и Соединенные Штаты пожелают провес-

---

* Рукопись. М. Фуко: по отношению к.

** В записи неразборчиво: [...] отношение [...] потребления/упразднения свободы.

ти встречу, когда, будучи убеждены экономистами конца XVIII в., правители захотят установить царство коммерческой свободы, они натолкнутся на британскую гегемонию. И для того, чтобы спасти свободу торговли, к примеру, американские правительства, сами воспользовавшиеся этой проблемой,* чтобы восстать против Англии, с начала XIX в. установят защитные таможенные тарифы, спасая свободу торговли, которую могла скомпрометировать английская гегемония. Это, конечно, тоже свобода внутреннего рынка, но для того, чтобы она действовала, нужно еще, чтобы был не только продавец, но также и покупатель. Следовательно, возникает потребность поддерживать рынок и создавать покупателей посредством механизмов вспомоществования. Чтобы достичь свободы внутреннего рынка, нужно устранить монополистические влияния. Необходимо антимонопольное законодательство. Есть свобода рынка труда, но нужно еще, чтобы были трудящиеся, достаточно много трудящихся, трудящихся достаточно компетентных и квалифицированных, трудящихся политически обезоруженных, чтобы они не оказывали давления на рынок труда. Перед нами что-то вроде притока грандиозного законодательства, грандиозного количества правительственных вмешательств, которые станут гарантией производства свободы, столь необходимого для управления.

При либеральном режиме, при либеральном искусстве управлять свобода действия предполагается, провозглашается, она необходима, она служит регулятором, но нужно еще, чтобы ее производили и чтобы ее организовывали. Таким образом, свобода для режима либерализма не является данностью, не является тем, что надо соблюдать, а если и является, то только отчасти, лишь кое-где, в том или ином случае и т. п. Свобода — это то, что изготавливается ежечасно. Либерализм — это не то, что принимает свободу. Либерализм — это то, что предполагает ее ежечасное изготовление, порождение, производство и, разумеется, [систему]** принуждений и проблем стоимости, порождаемых этим изготовлением.

---

* М. Фуко добавляет: свободы торговли.

** Конъектура. Слова неразборчивы.

Каким же должен быть принцип расчета этой стоимости изготовления свободы? Принцип расчета — это, разумеется, то, что называется безопасностью. То есть либерализм, либеральное искусство управлять, вынужден в точности определять, в какой мере и до какой степени индивидуальные интересы (индивидуальные в том отношении, что они отличны один от другого, а порой и противоположны) не должны представлять опасности для интереса всех. Проблема безопасности: отстаивать коллективный интерес вопреки интересам индивидуальным. То же самое наоборот: надо отстаивать индивидуальные интересы вопреки всему тому, что могло бы явиться по отношению к ним посягательством коллективного интереса. Нужно еще, чтобы свобода экономических процессов не представляла опасности для предприятий и для трудящихся. Свобода трудящихся не должна стать опасностью для предприятия и для производства. Отдельные случайности, все то, что может произойти в жизни кого бы то ни было, будь то болезнь или то, что приходит неизбежно и называется старостью, не должно представлять опасности ни для индивидов, ни для общества. Короче, этот императив — заботиться о том, чтобы механика интересов не порождала опасности ни для индивидов, ни для коллектива, — должен отвечать стратегиям безопасности, которые являются, так сказать, оборотной стороной и самим условием либерализма. Свобода и безопасность, игра свободы и безопасности — вот что стоит в самом центре тех новых правительственных интересов, общие черты которых я вам представил. Свобода и безопасность — именно это оживит, так сказать, интерьер проблемы того, что я называю присущей либерализму экономией власти.

В целом можно сказать так: в прежней политической системе суверенитета между правителем и подданным существовала целая серия юридических и экономических отношений, которые побуждали и даже обязывали правителя защищать подданного. Однако эта защита была, так сказать, внешней. Подданный мог просить своего правителя защитить его от внешнего или внутреннего врага. В случае либерализма все по-другому. Теперь обеспечивается не просто внешняя защита самого индивида. Либерализм порождается механизмом, который будет ежечасно судить о свободе и безопасности индиви-

дов, опираясь на понятие опасности. В сущности, если, с одной стороны (я говорил вам об этом в прошлый раз), либерализм есть искусство управлять, прежде всего манипулирующее интересами, он не может — и это оборотная сторона медали — манипулировать интересами, не управляя в то же самое время опасностями и механизмами безопасности/свободы, игрой безопасности/свободы, которая должна свидетельствовать о том, что индивиды или общность как можно меньше подвергаются опасностям.

Это, конечно, влечет за собой определенные последствия. Можно сказать, что в конце концов девиз либерализма — «жить опасно». «Жить опасно», то есть индивиды всегда находятся в опасности, или, скорее, пребывают в состоянии, в котором их положение, их жизнь, их настоящее, их будущее подвергаются значительной опасности. И эта разновидность стимула опасности, как мне кажется, является одним из основных следствий либерализма. В XIX в. появляется воспитание опасности, целая культура опасности, разительно отличающаяся от таких великих видений или угроз Апокалипсиса, как чума, смерть, война, которыми питалось средневековое политическое и космологическое воображение вплоть до XVII в. Исчезновение всадников Апокалипсиса и, напротив, появление, вторжение повседневных опасностей, непрестанно оживающих, реактуализируемых, пускаемых в обращение, — все то, что можно было бы назвать политической культурой опасности XIX в. и что имеет целую серию аспектов. Таковы, например, кампания сберегательных касс[22] начала XIX в.; с середины XIX в. мы видим появление полицейской литературы и журналистского интереса к преступлению; мы видим кампании, касающиеся болезни и гигиены; взгляните на все то, что происходит вокруг сексуальности и боязни вырождения:[23] вырождения индивида, семьи, расы, человеческого рода. Наконец, повсюду заметна эта стимуляция страха перед опасностью, которая является условием, так сказать, коррелятивным для психологии и внутренним для культуры либерализма. Без культуры опасности нет либерализма.

Второе следствие либерализма и либерального искусства управлять — это, конечно же, невиданное распространение процедур контроля, сдерживания, принуждения, которые со-

ставят замену и противовес свобод. Я уже достаточно подчеркнул тот факт, что эти пресловутые великие дисциплинарные техники, проявляющие попечение о поведении индивидов день ото дня и до самых мелочей, современны в своем развитии, в своем распространении, в своем рассеянии по всему обществу эпохе свобод.[24] Экономическая свобода, либерализм в том смысле, о котором я только что говорил, и дисциплинарные техники — вещи вполне взаимосвязанные. И тот знаменитый Паноптикон, что в начале своей жизни, в 1792—[17]95 гг., Бентам представлял как то, что должно стать процедурой, благодаря которой можно было бы надзирать за поведением индивидов внутри таких институций, как школы, мастерские, тюрьмы, увеличивая рентабельность, производительность их деятельности,[25] в конце своей жизни, в своем проекте всеобщей кодификации английского законодательства,[26] Бентам представит как то, что должно стать формулой правительства в целом, говоря: Паноптикон есть формула либерального руководства,[27] потому что, в сущности, что должно сделать правительство? Оно должно предоставить место всему тому, что может быть естественной механикой, деятельностью и производством. Оно должно предоставить место этим механизмам и не должно иметь никакой другой формы вмешательства в них, по крайней мере в первой инстанции, инстанции надзора. И только когда правительство, ограничиваясь поначалу функцией надзора, увидит, что что-то происходит не так, как велит общая механика деятельности, обменов, экономической жизни, оно должно вмешаться. Паноптизм не является механикой региональной и ограниченной институциями. Паноптизм, по Бентаму, есть общая политическая формула, характеризующая тип правления.

Третье следствие (вторым была конъюнкция между дисциплинами и либерализмом) — появление в этом новом искусстве управлять механизмов, имеющих своей функцией производить, внедрять, продвигать свободу, вводить больше свободы через больший контроль и вмешательство. То есть контроль — уже не просто необходимый противовес свободы, как в случае паноптизма. Это движущий принцип. Мы находим этому примеры хотя бы в том, что происходило в Англии и в США на протяжении XX в., скажем, в тридцатые годы, когда

развивающийся экономический кризис позволил непосредственно ощутить не только экономические, но и политические последствия этого кризиса, увидеть опасность для некоторых считавшихся основополагающими свобод. К примеру, проводимая Рузвельтом с 1932 г. политика «Welfare»[28] была способом гарантировать и производить в ситуации угрозы безработицы больше свободы: свободы труда, свободы потребления, политической свободы и т. п. Какой ценой? Ценой целой серии искусственных, волюнтаристских, непосредственно экономических вмешательств в дела рынка, которые составляли основные меры «Welfare» [и] которые станут начиная с 1946 г. — а впрочем, даже и с самого начала — характеризоваться как представляющие угрозу нового деспотизма. Демократические свободы в этом случае гарантируются только экономическим интервенционизмом, который изобличается как угроза свободам. Так мы приходим (и это тоже момент, на котором стоит остановиться) к идее о том, что это либеральное искусство управлять в конце концов обращается само на себя или становится жертвой* того, что можно назвать кризисами руководства. Кризисы могут происходить, например, из-за увеличения экономических затрат на осуществление свобод. Взгляните, например, как недавние тексты [Трехстороннего соглашения][29] пытались предсказать в экономическом плане стоимость того, что составляет следствия политической свободы. Проблема кризиса или, если хотите, осознания кризиса исходит из определения экономической стоимости осуществления свобод.

Вы можете вспомнить другую форму кризиса, когда инфляция порождается компенсаторными механизмами свободы. То есть для осуществления определенных свобод, таких, например, как свобода рынка и антимонопольное законодательство, предпринимается законодательное сдерживание, ощущаемое партнерами на рынке как избыток интервенционизма, сдерживания и принуждения. На более локальном уровне это может выразиться в мятеже, дисциплинарной нетерпимости. Наконец и главным образом, это процессы закупоривания, ведущие к тому, что механизмы, производящие свободу, призванные уп-

---

* М. Ф.: для.

рочивать и производить эту свободу, на деле будут порождать разрушительные эффекты, превосходящие даже то, что они производят. Такова, если хотите, двусмысленность всех этих диспозитивов, которые можно было бы назвать «свободопорождающими»,* диспозитивов, предназначенных для производства свободы и порой рискующих произвести нечто прямо противоположное.

Таков подлинный кризис либерализма: ансамбль механизмов, которые в 1925 и 1930 гг. пытались предложить экономические и политические формулы, защищающие государства от коммунизма, социализма, национал-социализма, фашизма, эти механизмы, гаранты свободы, призванные производить все больше свободы или во всяком случае реагировать на угрозы, нависшие над этой свободой, носили характер экономического вмешательства, то есть опирались на сдерживание или по крайней мере на принуждающее вмешательство в область экономической практики. Будь то немецкие либералы Фрайбургской школы 1927—[19]30 гг.,[30] или настоящие американские либералы, называемые либертарианцами,[31] как одни, так и другие в своем анализе исходили из такой постановки проблемы: чтобы избежать уменьшения свободы, что повлекло бы за собой переход к социализму, фашизму, национал-социализму, нужно создать механизмы экономического вмешательства. Но разве не эти механизмы экономического вмешательства обманным путем вводят типы вмешательства и способы действия, по меньшей мере столь же компрометирующие свободу, как и те явные и очевидные политические формы, которых хотят избежать? Другими словами, в центре этих разнообразных дебатов оказывается кейнсианский тип вмешательств. Можно сказать, что интервенционистская экономическая политика Кейнса,[32] проводившаяся между 1930 и 1960 гг., незадолго до войны и сразу после, привела к тому, что можно назвать кризисом либерализма, а этот кризис либерализма проявляется в определенных пересмотрах, переоценках, новых проектах искусства управлять, формулируемых в Германии перед войной и сразу после войны, а в настоящее время в Америке.

---

* Кавычки в рукописи.

Чтобы закончить, я хотел бы сказать вот что: дело в том, что, конечно же, современный мир, в конце концов модерный мир, начиная с XVIII в. непрестанно сотрясался явлениями, которые можно назвать кризисами капитализма, но нельзя ли также сказать, что были и кризисы либерализма, разумеется, не независимые от кризисов капитализма? Проблема тридцатых годов, о которой я только что упомянул, служит тому доказательством. Однако кризис либерализма — не просто чистая и простая проекция, прямая проекция кризисов капитализма на сферу политики. Можно обнаружить связь кризисов либерализма с экономическими кризисами капитализма. Можно обнаружить также их хронологический сдвиг по отношению к этим кризисам, и уж во всяком случае то, как эти кризисы проявляются, то, как эти кризисы управляются, то, какие реакции, какие перестройки вызывают эти кризисы, — все это не выводится напрямую из кризисов капитализма. Это кризис общего диспозитива руководства, и мне кажется, что можно было бы создать историю кризисов общего диспозитива руководства, появившегося в XVIII в.

Именно это я попытаюсь сделать в этом году, взглянув на вещи, так сказать, ретроспективно, то есть начав с того, что происходило на протяжении последних тридцати лет,* и сформулировав элементы кризиса диспозитива руководства, а затем [попытавшись]** обнаружить в истории XIX в. некоторые из элементов, позволяющие прояснить то, каким образом сегодня ощущается, переживается, осуществляется, формулируется кризис диспозитива руководства.

Примечания

[1] См.: *Foucault M.* Sécurité, Territoire, Population. Лекция 22 марта 1978 г. (P. 295 и далее).

[2] См. одну из формулировок этого закона в «Mercure de France» (апрель 1720 г.) в связи с внешней торговлей: «Обычно один выигрывает столько, сколько другой теряет» (цит. по: *Larrère C.* L'Invention de l'économie au XVIII[e] siècle. Paris: PUF («Léviathan»),

---

* М. Фуко: или как это осознавалось.

** М. Ф.: попытаюсь.

1992. P. 102, где речь идет о меркантилистской концепции внешней торговли).

[3] М. Фуко намекает на метод рационального расчета случайности, предложенный Паскалем в 1654 г., точнее на проблему «пропорции последних или первых частей»: «в множестве n частей какое правило позволяет определить долю богатства другого, которую необходимо внести игроку A, чтобы игра была прервана *преждевременно*» или «*сразу после первой выигранной партии*» (*Chevalley C. Pascal.* Contingence et probabilités. Paris: PUF («Philosophies»), 1995. P. 88). См.: *Pascal B.* Lettres à Fermat du 29 juillet et du 24 août 1654 / Œuvres complètes / Éd. L. Lafuma. Paris: Seuil, 1963. P. 43—49.

[4] *Kant I.* Zum ewigen Frieden. Königsberg: Friedrich Nicilovius, 1795; *Kant I.* Academie Ausgabe. Berlin, 1912. T. VIII. S. 341—386; *Kant I.* Projet de paix perpétuelle / Trad. J. Gibelin. 5e éd. Paris: Vrin, 1984. (М. Фуко использует первое издание этого перевода, выпущенное в 1948 г.); *Кант И.* К вечному миру // Сочинения. В 6-ти т. Т. 6. М.: АН СССР, ИФ; Изд-во «Мысль», 1966. С. 257—309.

[5] Добавление 1: «О гарантии вечного мира» (Ibid. P. 35—48) (Там же. С. 278—288).

[6] Ibid. P. 35 (Там же. С. 278): «Эту гарантию дает великая в своем искусстве природа, в механическом процессе которой с очевидностью обнаруживается целесообразность…».

[7] Ibid. P. 38—39 (Там же. С. 281): «…Что в холодных пустынях у Ледовитого океана все же растет мох, выкапываемый из-под снега северным оленем, который сам в свою очередь служит пищей или упряжным животным остякам или самоедам; или то, что в солончаковых песчаных пустынях водится верблюд, который как бы создан для путешествия по ним, чтобы и они не остались неиспользованными».

[8] Ibid. P. 38 (Там же. С. 281): «Предварительное установление природы состоит в следующем: она позаботилась о том, чтобы люди имели возможность жить во всех краях земли…».

[9] Ibid. (Там же. С. 282): «[Третье предварительное установление природы состоит в] том, чтобы [принудить людей] вступать в отношения, в большей или меньшей степени основанные на законе».

[10] Ibid. P. 43—46 (Там же. С. 282—284).

[11] Ibid. P. 46—47 (Там же. С. 286): «Идея международного права предполагает раздельное существование (Absonderung) многих соседних государств, независимых друг от друга».

[12] Ibid. P. 46—47 (Там же. С. 287): «Так же, как природа, с одной стороны, мудро разделяет народы, которые воля каждого государства на основе самого международного права охотно подчинила бы своей

хитростью или силой, так, с другой стороны, она соединяет через взаимный корыстолюбивый интерес те народы, которых понятие права всемирного гражданства не оградило бы от насилия и войны. Дух торговли, который рано или поздно овладевает каждым народом, — вот что несовместимо с войной».

[13] Ibid. P. 43 (Там же. С. 284—285): «...Что делает природа для достижения цели, которую человеку вменяет в обязанность его собственный разум, стало быть для содействия его моральной цели; и как она добивается того, что человек благодаря ее принуждению, хотя и не во вред своей свободе, будет делать то, к чему его обязывают законы свободы, но чего он не делает, — добивается во всех трех аспектах публичного права: права государственного гражданства, международного права и права всемирного гражданства?»

[14] Конгресс, состоявшийся в Вене в сентябре 1814 г. и в июне 1815 г. и объединивший союзнические силы, выступавшие против Франции (Россию, Великобританию, Австрию и Пруссию). Речь шла о том, чтобы установить прочный мир после наполеоновских войн и о том, чтобы перекроить политическую карту Европы. См.: *Webster Ch. K.* The Congress of Vienna: 1814—1815. Londres; New York: H. Milford, Oxford University Press, 1919 (repr. Londres: Thames and Hudson, 1963).

[15] См.: *Marquiset A.* Napoléon sténographié au Conseil d'État. Paris: H. Champion, 1913; *Bourdon J.* Napoléon au Conseil d'État. Notes et procès-verbaux inédits de J.-G. Locré, secrétaire général au Conseil d'État. Paris: Berger-Levrault, 1963; *Durand Ch.* Études sur le Conseil d'État napoléonien. Paris: PUF, 1947; *Durand Ch.* Le fonctionnement du Conseil d'État napoléonien, *Bibliothèque de l'université d'Aix-Marseille.* Série I, Cap, Impr. Louis Jean, 1954; *Durand Ch.* Napoléon et le Conseil d'État pendant la seconde moitié de l'Empire // Études et Documents du Conseil d'État. 1969. N XXII. P. 269—285.

[16] См. беседу 1982 г. (*Foucault M.* Espace, savoir et pouvoir // Dits et Écrits. T. IV, № 310. P. 272 (См. русский перевод: *Фуко М.* Пространство, знание и власть // Интеллектуалы и власть: Избранные политические статьи, выступления и интервью. Ч. 3 / Пер. Б. М. Скуратова. М.: «Праксис», 2006. С. 215—236.)), где Фуко объясняет, что Наполеон располагается «в точке разрыва между старой организацией государства полисии XVIII в. [...] и формами современного государства, изобретателем которого он был». В «Надзирать и наказывать», впрочем, Фуко еще ситуировал наполеоновского персонажа «на стыке монархического, ритуального отправления власти суверена и иерархического, постоянного отправления неопределенной дисциплины» (*Фуко М.* Надзирать и наказывать. С. 318; см. при-

водимую Фуко цитату из: *Treilhard J. B.* Exposé des motifs des lois composant le code de procédure criminelle. Paris, 1808. P. 14).

[17] М. Фуко рассматривал этот момент не в 1978 г., а в 1976 («Нужно защищать общество», лекция 3 марта 1976 г. (С. 222—224)), опираясь на Дюбо: *Dubos J.-B.* Histoire critique de l'établissement de la monarchie française dans les Gaules. Paris, 1734.

[18] См., например: *Mably.* Observations sur l'histoire de France. Genève, 1765. Livre VIII. Ch. 7: «...Появится ли среди нас новый Карл Великий? Следует этого желать, но нельзя на это надеяться» (*Mably.* Sur la théorie du pouvoir politique, textes choisis. Paris: Éditions sociales, 1975. P. 194).

[19] Клемент Венцель Непомук Лотар, князь Меттерних-Виннебург, именуемый Меттерних (1773—1859), австрийский министр иностранных дел во время Венского конгресса.

[20] В настоящем курсе М. Фуко больше не возвращается к этой теме.

[21] Об этой очевидности как принципе правительственного самоограничения см: *Foucault M.* Sécurité, Territoire, Population. Лекция 5 апреля 1978 г. P. 361.

[22] Первая сберегательная касса, задуманная как превентивное средство от легкомысленности низших классов, была основана в Париже в 1818 г. См.: *Castel R.* Les Métamorphoses de la question sociale. Paris: Fayard, 1995; rééd. Gallimard («Folio Essais»), 1999. P. 402—403.

[23] См.: *Les Anormaux.* Cours au Collège de France, 1974—1975 / Ed. par V. Marchetti & A. Salomoni. Paris: Gallimard-Seuil («Hautes Etides»), 1999. Лекция 19 марта 1975 г. P. 297—300 *(Фуко М.* Ненормальные: Курс лекций, прочитанных в Коллеж де Франс в 1974—1975 учебном году / Пер. А. В. Шестакова. СПб.: Наука, 2004. С. 375—378).

[24] Вспомним о том, как в предыдущем году Фуко подправил свой прежний анализ отношений между дисциплинарными техниками и личными свободами (см.: *Foucault M.* Sécurité, Territoire, Population. Лекция 18 января 1978 г. P. 49—50). Именно в такую установку, делающую из свободы «коррелят [...] диспозитивов безопасности», вписывается настоящее развитие.

[25] Следует напомнить, что Паноптикон, или наблюдательный дом, представлял собой не просто модель пенитенциарной организации, но «идею нового конструктивного принципа», применимого для любого рода учреждений. См. название первого издания: «Panopticon, or the Inspection-House: Containing the idea of a new principle of construction applicable to any sort of establishment, in which persons of any description are to be kept under inspection; ad in particu-

lar to penitentiary-houses, prisons, houses of industry, work-houses, poor-houses, manufactories, mad-houses, lazarettos, hospitals, and schools; with a plan adapted to the principle («Паноптикон, или Наблюдательный дом, включающий идею нового принципа конструкции, применимого к сооружению любых учреждений, в коих должны содержать лиц любых сословий под наблюдением, и в особенности, исправительных заведений, тюремных замков, промышленных предприятий, работных домов, богаделен, мануфактур, домов умалишенных, лазаретов, госпиталей, школ, а также руководство по управлению, приспособленному к упомянутому принципу»). Dublin: Thomas Byrne, 1791 (The Works of J. Bentham / Ed. J. Bowring. Edinburgh: W. Tait, 1843. T. IV. P. 37—66). См. французский перевод 21 письма, опубликованных в Дублине и Лондоне в 1791 г. и составляющих первую часть «Паноптикона»: *Bentham J.* Le Panoptique / Trad. par M. Sissung. Paris: Belfond, 1977. P. 97—168 (особенно см. письма XVI—XXI). Название французского перевода 1791 г. (не включающего 21 письмо) не столь ясно: «Panoptique, Mémoire sur un nouveau principe pour construire des maisons d'inspection, et nommément des maisons de force» («Паноптикон, Записка о новом принципе устроения наблюдательных домов, в особенности тюрем») (Paris: Imprimerie nationale). См.: *Foucault M.* Le Pouvoir psychiatrique. Cours au Collège de France, 1973—1974 / Éd. Par J. Lagrange. Paris: Gallimard-Seuil («Hautes Étides»), 2003. Лекция 28 ноября 1973 г. P. 75—76 (*Фуко М.* Психиатрическая власть: Курс лекций, прочитанных в Коллеж де Франс в 1973—1974 учебном году / Пер. А. В. Шестакова. СПб.: Наука, 2007. С. 93—94).

[26] М. Фуко, конечно же, ссылается на Constitutional Code // Works / Ed. Bowring. 1849. T. IX (rééd. F. Rosen & J. H. Burns. Oxford: Clarendon Press, 1983), хотя речь, собственно говоря, не идет о кодификации английского законодательства. В этой книге, составление которой началось в 1820-х гг. (см.: Codification Proposal, Addressed to All Nations Professing Liberal Opinions. Londres: J. M'Creery, 1822) и первый том которой вышел в 1830 г. (Constitutional Code for Use of All Nations and Governments Professing Liberal Opinions. Londres: R. Heward), Бентам развивал свою теорию либерального правления.

[27] Фраза, по-видимому, не принадлежит Бентаму, но представляет собой довольно свободную интерпретацию, которую Фуко дает экономико-политической мысли Бентама после 1811 г. (времени провала проекта Паноптикона). Кажется, что Фуко осуществляет здесь изъятие различия между agenda/non agenda, о котором неоднократно упоминается в курсе (см. лекции 10 января 1979 г. (с. 26 наст.

изд.), 14 февраля 1979 г. (с. 174 наст. изд.) и 7 марта 1979 г. (с. 249 наст. изд.)), и принципа наблюдения, т. е. надзора, применяемого к правительству. В «Constitutional Code» тем не менее само правительство является объектом этого наблюдения со стороны «суда общественного мнения». (См.: *Foucault M.* Le Pouvoir psychiatrique. Лекция 28 ноября 1973 г. P. 78 (*Фуко М.* Психиатрическая власть. С. 96), о демократизации осуществления власти согласно диспозитиву Паноптикона: акцент делается на видимости, а не на контроле со стороны «общественности»). К тому же, мы не уверены, что Бентам в своих экономических сочинениях, как и в «Constitutional Code», проявляет себя таким приверженцем либерализации экономики, как утверждает здесь Фуко (см.: *Hume L. J.* Jeremy Bentham and the nineteenth-century revolution in government // The Histoical Journal. 1967. Vol. 10 (3). P. 361—375). Ср. с определением *sponte acta* в тексте 1801—1804 гг. (лекция 10 января, с. 42 наст. изд., примеч. 9).

[28] Речь идет об экономической и социальной программе борьбы с кризисом «New Deal» («Новый курс»), выработанной Франклином Рузвельтом сразу после его избрания президентом США в ноябре 1932 г.

[29] М. Фуко: «Трехконтинентального». Основанная в 1973 г. «Трехсторонняя комиссия», объединившая представителей Северной Америки (США и Канада), Европы и Японии, была создана для усиления сотрудничества между этими тремя регионами перед лицом новых вызовов конца столетия. «Трехконтинентальная» — название конференции, созванной Фиделем Кастро в Гаване в декабре 1965—январе 1966 гг. для разрешения противоречий между революционными организациями Старого и Нового Света.

[30] См. лекции 31 января, 7 февраля, 14 февраля и 21 февраля 1979 г.

[31] См. лекции 14 марта и 21 марта 1979 г.

[32] См. лекцию 31 января 1979 г., прим. 10 (с. 124—125 наст. изд.).

Лекция 31 января 1979 г.

Страх перед государством. — Вопросы метода: смыслы и цели парентезиса теории государства в исследовании механизмов власти. — Неолиберальные правительственные практики: немецкий либерализм 1948—1962 гг.; американский неолиберализм. — Немецкий неолиберализм (I). — Его политико-экономический контекст. — Научный совет, созванный Эрхардом в 1947 г. Его программа: либерализация цен и ограничение правительственных вмешательств. — Средний путь между анархией и «государством-муравейником», обозначенный Эрхардом в 1948 г. — Его двойное значение: (a) соблюдение экономической свободы как условие политической репрезентативности государства; (b) установление экономической свободы как начальная стадия формирования политического суверенитета. — Основополагающий характер современного немецкого руководства: экономическая свобода, источник юридической легитимности и политического консенсуса. — Экономический рост, стержень нового исторического сознания, делающий возможным разрыв с прошлым. — Присоединение христианских демократов и SPD к либеральной политике. — Принципы либерального правления и отсутствие социалистической правительственной рациональности.

Все вы, конечно, знаете Беренсона, историка искусства.[1] Будучи уже почти столетним, то есть незадолго до смерти, он сказал примерно следующее: «Бог знает, как я боюсь уничтожения мира атомной бомбой, однако есть по крайней мере еще одна вещь, которой я боюсь в такой же степени — это поглощение человечества государством».[2] Мне

кажется, перед нами наиболее чистое, наиболее ясное выражение страха перед государством, соединение которого со страхом перед атомной угрозой — одна из наиболее постоянных черт. Государство и атомная угроза, лучше уж атомная угроза, чем государство, или государство, которое не лучше атомной угрозы, или государство, предполагающее атомную угрозу, или атомная угроза, предполагающая и с необходимостью влекущая за собой государство, — перед нами тематика, с которой вы хорошо знакомы и которая, как видите, возникла не сегодня, поскольку Беренсон формулирует ее в 1950—[19]52 гг. Таким образом, страх перед государством, пронизывающий многие современные темы, издавна находил для себя пищу, будь то советский опыт 1920-х гг., немецкий опыт нацизма, послевоенная английская планификация и т. п. Страх перед государством, разносчики которого также были весьма многочисленны, от вдохновлявшихся австрийским неомаржинализмом преподавателей политической экономии[3] до политических эмигрантов, которые с 1920 и 1925 гг. играли в формировании политического сознания современного мира весьма значительную роль, которая, быть может, до сих пор недостаточно изучена. Следует создать целую политическую историю эмиграции или историю политической эмиграции со всеми ее идеологическими, теоретическими и практическими следствиями. Политическая эмиграция конца XIX в., конечно же, была одним из основных агентов распространения социализма. Так вот, я полагаю, что политическая эмиграция, политическое диссидентство XX в. было в свою очередь значимым фактором распространения того, что можно было бы назвать антиэтатизмом или страхом перед государством.

По правде говоря, мне бы не хотелось говорить об этом страхе перед государством прямо и в лоб, потому что мне он представляется одним из главных признаков тех кризисов управления, о которых я говорил вам в прошлый раз и примеры которых наблюдаются в XVI в. (об этом я вам говорил в прошлом году[4]); примеры XVIII в. — вся та необъятная, трудная и запутанная критика деспотизма, тирании, произвола, которая отражала кризис руководства во второй половине

XVIII в. Так вот, так же, как существовала критика деспотизма и страх перед деспотизмом — в конце концов двусмысленный страх перед деспотизмом в конце XVIII в.,— так и сегодня по отношению к государству ощущается страх, быть может, столь же двусмысленный. Во всяком случае, я хотел бы пересмотреть эту проблему государства, или вопрос о государстве, или о страхе перед государством, исходя из того анализа руководства, о котором я вам уже говорил.

Конечно, вы поставите передо мной вопрос, вы мне возразите: вы снова занимаетесь экономией теории государства. Так вот, я вам отвечу: да, я занимаюсь, хочу заниматься и должен заниматься экономией теории государства, как можно и нужно заниматься экономией несварения. Я хочу сказать: что значит заниматься экономией теории государства? Когда мне говорят: на самом деле в своих исследованиях вы затушевываете присутствие и эффект государственных механизмов, я отвечаю: это ошибка, вы ошибаетесь или хотите ошибиться, так как, по правде говоря, я не занимался ничем иным, кроме как совершенно обратным этому затушевыванию. И когда речь шла о безумии, о конституировании той категории, того естественного квазиобъекта, каким является психическая болезнь, речь также шла об организации клинической медицины; когда речь шла и об интегрировании дисциплинарных механизмов и технологий в уголовную систему, так или иначе это всегда было поступательной этатизацией некоторой распадающейся на этапы, но продолжающейся практики и закреплением способа действовать и, если хотите, руководства. Проблема этатизации помещается в самом центре вопросов, которые я пытался поставить.

Но если, напротив, сказать, что «заниматься экономией теории государства», — это значит не исследовать в-себе и для-себя его природу, структуру и функции, если заниматься экономией теории государства, — это значит не пытаться выводить из того, что представляет собой государство как разновидность политической универсалии, и его последовательных расширений то, каким мог бы быть статус безумцев, больных, детей, преступников и т. п. в таком обществе, как наше, тогда я отвечу: да, конечно, в этой форме исследования я решил заняться экономией. Это не значит выводить ан-

самбль практик из предполагаемой сущности государства в-себе и для-себя. Сперва нужно создать экономию подобного исследования, просто потому что история — не дедуктивная наука, а во-вторых, по другой причине, более важной и, конечно, более значительной: дело в том, что у государства нет сущности. Государство — это не универсалия, государство — это не автономный источник власти в-себе. Государство — это не что иное, как эффект, контур, подвижный срез непрестанной этатизации или этатизаций, непрестанных взаимодействий, которые изменяют, смещают, сотрясают, коварно заставляют перемещаться источники финансирования, способы инвестирования, центры принятия решения, формы и типы контроля, отношения между местными властями и центральной властью и т. п. Короче, у государства, как известно, нет сердца, не просто потому, что у него нет чувств — ни хороших, ни плохих, — у него нет сердца в том смысле, что у него нет внутренностей. Государство — это не что иное, как меняющееся следствие сложного режима руководств. Поэтому ту боязнь государства, тот страх перед государством, который представляется мне одной из характерных черт нашей эпохи, я предлагаю исследовать или, скорее, поверять, не пытаясь вырвать у государства тайну того, что оно есть, как Маркс пытался вырвать тайну у товара. Речь идет не о том, чтобы вырвать у государства его тайну, речь о том, чтобы подступиться снаружи и изнутри к проблеме государства, предпринять изучение проблемы государства, исходя из практик руководства.

В этой перспективе, продолжающей нить анализа либерального руководства, я бы хотел взглянуть на то, как оно представляется, как оно осмысляется, как оно одновременно творит себя и само себя анализирует; короче, как оно проектируется в настоящее время. Я уже обозначил кое-что из того, что представляется мне, так сказать, первичными признаками либерального руководства, каким оно возникает в середине XVIII в. Я намерен перескочить через два столетия, поскольку я не претендую на то, чтобы представить полную, всеобщую и непрерывную историю либерализма от XVIII до XX в. Я хотел бы просто, исходя из того способа, каким проектируется либеральное руководство в настоящее время, попытаться нащупать

и прояснить некоторые проблемы, повторяющиеся с XVIII до XX в. Если вы согласитесь на изменения, — вы ведь знаете, я, как рак, двигаюсь боком, — я надеюсь успешно разобраться с проблемой закона и порядка, *law and order*, с проблемой государства в его противостоянии гражданскому обществу, или, скорее, с анализом приемов этой игры и того, как разыгрывается это противостояние. И тогда наконец, если удача мне улыбнется, обратиться к проблеме биополитики и жизни. Закон и порядок, государство и гражданское общество, политика и жизнь — вот три темы, которые я хотел бы выделить в этой обширной и долгой истории, в этой двухвековой истории либерализма.[5]

Итак, если позволите, обратимся к положению дел на современном этапе. Какой представляется либеральная или, как ее называют, неолиберальная программа в нашу эпоху? Как вы знаете, она имеет две основные формы с различной привязкой и историческим контекстом; а именно: немецкая форма, сопряженная с Веймарской республикой, с кризисом 29 г., с развитием нацизма, с его критикой и, наконец, с послевоенным восстановлением. Другая форма — американская, то есть неолиберализм, который отсылает к политике «New Deal», к критике политики Рузвельта,[6] и который развивается и организуется главным образом после войны, будучи направлен против федерального интервенционизма, а затем и программ помощи и других программ, разработанных преимущественно демократическими администрациями Трумэна,[7] Кеннеди,[8] Джонсона[9] и др. Между этими двумя формами неолиберализма, которые я разделяю несколько произвольно, конечно же, целая куча общего: во-первых, общий враг, главный доктринальный противник, каковым, разумеется, был Кейнс,[10] почему критика Кейнса и будет циркулировать от одного к другому из этих двух неолиберализмов; во-вторых, общие объекты отторжения, а именно управляемая экономика, планирование, государственный интервенционизм, интервенционизм вообще, в котором Кейнс играл теоретическую и, что еще важнее, практическую роль; и наконец, между этими двумя формами неолиберализма циркулировал целый ряд личностей, фигур, теорий, книг, главные из которых относились к австрийской школе, к авст-

рийскому неомаржинализму, во всяком случае оттуда вышли такие люди, как фон Мизес,[11] Хайек[12] и др. Впрочем, главным образом я хотел бы поговорить о первой форме — говоря очень схематично, о немецком неолиберализме, одновременно и потому, что мне он представляется теоретически более важным нежели другие, и потому что я не уверен, что у меня будет достаточно времени, чтобы поговорить об американцах.

Итак, если позволите, поговорим о немецком примере, о немецком неолиберализме.[13] Апрель 1948 г. — хоть мне и стыдно напоминать вам архиизвестные вещи, — это время почти неоспоримого господства во всей Европе экономической политики, руководствующейся рядом хорошо известных требований.

Во-первых, требование восстановления, то есть реконверсии военной экономики в экономику мирную, восстановление разрушенного экономического потенциала, а также интеграция новых технологических показателей, которые смогли возникнуть во время войны, новых демографических, а также геополитических показателей.

Требование восстановления, требование планирования как главного инструмента реконструкции вызывалось одновременно внутренней необходимостью и давлением, оказываемым Америкой, американской политикой и планом Маршалла,[14] и практически предполагало — за исключением Германии и Бельгии, к которым мы сейчас вернемся, — планификацию каждой страны и определенную координацию различных планов.

Наконец, третье требование, сформулированное в Париже CNR,[15] обусловлено социальными целями, считавшимися политически необходимыми для избежания того, что только что случилось в Европе, а именно фашизма и нацизма.

Эти три требования — восстановление, планирование, а также социализация и социальные цели — все это предполагало политику вмешательства в ассигнование ресурсов, в равновесие цен, в уровень сбережений, в инвестиционный выбор и политику полной занятости, короче — еще раз прошу прощения за все эти банальности — всецело кейнсианскую политику. Итак, Научный совет, образованный при

немецкой экономической администрации,[16] существовавшей в так называемой «бизоне», то есть в англо-американской зоне, в апреле 1948 г. выпустил доклад, и в этом докладе устанавливался следующий принцип. Сформулирован он так: «Совет считает, что функция управления экономическим процессом должна по возможности обеспечиваться ценовым механизмом».[17] Решение, ставшее впоследствии принципом, было принято единодушно. Принятие большинством голосов Совета этого принципа имело следующее простое следствие: требование немедленной либерализации цен, [сопоставимых с]* мировыми. То есть принцип свободы цен и требование их немедленной либерализации. Перед нами область решений или во всяком случае рекомендаций (поскольку этот Научный совет, конечно же, имел только совещательный голос), которые своей наивной простотой заставляют задуматься о том, чего могли требовать физиократы, или о том, какое решение мог принять Тюрго в 1774 г.[18] Это произошло 18 апреля 1948 г. Десять дней спустя, 28-го, Людвиг Эрхард,[19] который отвечал не за группировавшийся вокруг него Научный совет, а за экономическую администрацию бизоны, или, во всяком случае, за немецкую часть экономической администрации бизоны, произнес на ассамблее во Франкфурте[20] речь, в которой воспроизвел заключения этого доклада.[21] Он намерен установить принцип свободы цен и требовать их постепенной либерализации, но из этого принципа, из такого заключения он извлекает весьма значимое соображение. Он говорит так: «Надо освободить экономику от государственного принуждения».[22] Необходимо избежать, — продолжает он, — и анархии, и «государства-муравейника», поскольку, утверждает он, «только государство, устанавливающее одновременно и свободу, и ответственность граждан, может легитимно высказываться от имени народа».[23] Как видите, этот экономический либерализм, этот принцип верности рыночной экономике, сформулированный Научным советом, вписывается в нечто более обширное — в принцип, согласно которому следует ограничить вмешательства государства. Следует в точности зафиксировать границы и пределы этати-

---

* М. Ф.: достижение сопоставимости с.

зации и урегулировать отношения между индивидами и государством. Речь Людвига Эрхарда очень четко отличает этот либеральный вариант, предложенный на ассамблее во Франкфурте, от некоторых других экономических практик, которые осуществлялись в ту эпоху и которые, несмотря на дирижистскую, интервенционистскую и кейнсианскую обстановку в Европе, могли иметь место. То есть от того, что произошло в Бельгии, где также избрали либеральную политику, от того, что отчасти произошло в Италии, где под влиянием Луиджи Эйнауди,[24] в то время директора Банка Италии, был принят ряд либеральных мер — но в Бельгии и в Италии это были чисто экономические мероприятия. Речь Эрхарда и предложенный им в тот момент выбор подразумевали нечто совсем иное. Речь шла, как говорит сам текст, о легитимности государства.

Что имеет в виду Людвиг Эрхард, когда говорит, что надо освободить экономику от государственного принуждения, избегая и анархии, и государства-муравейника, поскольку «только государство, устанавливающее одновременно и свободу, и ответственность граждан, может легитимно высказываться от имени народа»? На самом деле эта фраза довольно двусмысленна, в том отношении, что ее можно и, я полагаю, нужно понимать на двух уровнях. С одной стороны, на уровне тривиальном. Речь идет всего лишь о том, что государство, допускающее злоупотребление властью в экономическом отношении, а значит и в отношении политической жизни, попирая основополагающие права, посягает тем самым на важнейшие свободы, и что в силу этого обстоятельства оно, так сказать, лишается своих собственных прав. Государство не может быть легитимным, если оно попирает свободу индивидов. Оно лишается своих прав. Текст не говорит, что оно лишается всех своих прав. Он не говорит, что оно лишается, например, прав суверенитета. Он говорит, что оно лишается своих прав представительства. То есть государство, попирающее основополагающие свободы, важнейшие права граждан, больше не представляет своих граждан. Нетрудно заметить, какой тактической цели отвечает эта фраза. Речь идет о том, что национал-социалистическое государство, поправшее все эти права, не было, не могло ретроспективно считаться не

осуществлявшим свой суверенитет легитимно, то есть порядок в целом, права, регламентация, навязанная немецким гражданам, не отрицаются, и в то же время нельзя возлагать на немцев ответственность за то, что было сделано в законодательных или нормативных рамках нацизма; ретроспективно он оказался лишен своих прав представительства, то есть то, что он сделал, не может считаться сделанным во имя немецкого народа. Вся эта чрезвычайно трудная проблема, как она представлена в этой фразе, сводится к легитимности и юридическому статусу, который следует придать принятым нацизмом мерам.

Но есть [также] смысл одновременно более широкий, более общий и более софистичный. На самом деле, когда Людвиг Эрхард говорит, что только то государство, которое признает экономическую свободу и, следовательно, дает место свободе и ответственности индивидов, может говорить от имени народа, он хочет сказать, как мне кажется, следующее. В сущности, говорит Эрхард, при современном положении вещей — то есть в 1948 г., пока немецкое государство не восстановлено, пока немецкое государство не создано, — очевидно, невозможно требовать для Германии, которая не восстановлена, и для немецкого государства, которое не создано, исторических прав, утраченных ими в силу самой истории. Невозможно требовать юридической легитимности, поскольку нет аппарата, нет консенсуса, нет коллективной воли, которые могли бы проявиться в ситуации, при которой Германия, с одной стороны, разделена, а с другой — оккупирована. Таким образом, нет никаких исторических прав, никакой юридической легитимности, чтобы основать новое немецкое государство.

Но давайте представим себе — именно это имплицитно говорится в тексте Людвига Эрхарда — такую институциональную структуру, природа или происхождение которой несущественны, институциональную структуру X. Давайте представим, что эта институциональная структура X имеет своей функцией не осуществлять суверенитет, поскольку при современном положении вещей юридической власти принуждения не на чем основываться, но просто обеспечивать свободу. Не принуждать, но просто создавать про-

странство свободы, обеспечивать свободу, обеспечивать ее именно в экономической сфере. Давайте представим себе теперь, что в этой институции X, функция которой не в том, чтобы безраздельно осуществлять власть принуждения, но в том, чтобы просто учреждать пространство свободы, некоторое количество индивидов свободно соглашается играть в эту игру экономической свободы, обеспечиваемой им этой институциональной структурой. Что произойдет? Что означает осуществление этой свободы индивидами, которых не принуждают ее осуществлять, но которым просто предоставляется возможность ее осуществлять, свободное осуществление свободы? Какова цена включения в эту рамку, какова цена согласия на то или иное решение, которое может быть принято, и ради чего оно может быть принято? Ради того, чтобы обеспечить экономическую свободу, или ради того, чтобы обеспечить то, что может вернуть эту экономическую свободу. Иначе говоря, установление экономической свободы должно стать обязанностью, во всяком случае должно функционировать как своего рода сифон, как затравка для формирования политического суверенитета. Конечно, к этой с виду банальной фразе Людвига Эрхарда я прибавляю целый ряд значений, которые лишь предполагаются и которые обретут свои ценность и влияние лишь впоследствии. Я прибавляю всю значимость истории, которой еще нет, однако я полагаю (я попытаюсь объяснить вам, как и почему), что этот одновременно теоретический, политический, программный смысл содержался или в голове того, кто произнес фразу, или по крайней мере в головах тех, кто написал для него эту речь.

Эта идея обоснования легитимации государства гарантированным осуществлением экономической свободы представляется мне очень важной. Конечно, нужно заново рассмотреть эту идею и формулировку этой идеи с учетом контекста, в котором она появляется, и тогда легко будет распознать ее тактическую и стратегическую хитрость. Речь шла о том, чтобы найти юридический паллиатив для того, чтобы запустить в экономическом режиме то, что не могли запустить прямо либо через конституционное право, либо через международное право, либо просто через политических партнеров.

Это была, к тому же, уловка против американцев и Европы, поскольку, гарантируя экономическую свободу Германии, двигающейся по пути восстановления прежде всего государственного аппарата, американцам и, скажем так, различным американским лобби, гарантировалась уверенность в том, что они могут иметь с немецкой индустрией и экономикой свободные отношения, которые сами же изберут. А кроме того, успокаивали Европу, как Западную, так и Восточную, заверяя, что формирующийся институциональный эмбрион ни в коем случае не представлял тех опасностей сильного государства или государства тоталитарного, которые она познала в предыдущие годы. Однако помимо этих императивов непосредственной тактики в той речи, на которую я ссылаюсь, мне кажется, было что-то, что в конечном счете выбивалось из контекста и непосредственной ситуации 1948 г., оставаясь одной из основополагающих черт современного немецкого руководства:* не стоит думать, будто в современной Германии, с 1948 г. и по сей день, то есть на протяжении тридцати лет, экономическая деятельность была лишь одной из ветвей деятельности нации. Не стоит думать, будто хорошее экономическое управление имело другой результат и другой предвидимый и просчитанный исход, нежели обеспечение преуспевания всех и каждого. Действительно, в экономике, в экономическом развитии современной Германии экономический рост порождает суверенитет, производит политический суверенитет посредством институции и институциональной игры, задаваемой функционированием экономики. Экономика производит легитимность государства, выступающего ее гарантом. Иначе говоря (и это чрезвычайно важный феномен, хотя, конечно, и не единственный в истории, но тем не менее весьма необычный, по крайней мере, для нашей эпохи), экономика — создательница публичного права. В современной Германии имеет место непрестанная циркуляция, идущая от экономической институции к государству; если и есть обратная циркуляция, идущая от государства к экономической ин-

* М. Фуко добавляет: поскольку это, как мне кажется, одна из сущностных черт, о которой следует поразмыслить и присутствие которой представляется мне [одной из] основных [характеристик] немецкого неолиберализма.

ституции, не нужно забывать, что основной элемент такого рода сифона располагается в экономической институции. Генезис, перманентная генеалогия государства начинается с экономической институции. И когда я об этом говорю, я полагаю, что этого все еще недостаточно, поскольку экономика дает немецкому государству, история которого была отброшена, не только юридическую структуру или правовую легитимацию. Эта экономическая институция, экономическая свобода, которая играет в этой институции роль начального обеспечения и поддержки, производит нечто куда более реальное, более конкретное, более непосредственное, нежели правовая легитимация. Она производит перманентный консенсус, перманентный консенсус всех тех, кто может выступать агентами этих экономических процессов. Такими агентами, как инвесторы, рабочие, патроны, профсоюзы. Все эти экономические партнеры в той мере, в какой они принимают свободную экономическую игру, производят консенсус, который есть консенсус политический.

Скажем еще вот что: предоставляя людям свободу действия, позволяя им говорить, оставляя им полную свободу действий, чего хочет немецкая неолиберальная институция, что она позволяет им говорить? Так вот, им позволяют говорить о том, что им позволяют действовать. То есть вступление в эту либеральную систему производит в качестве сверхпродукта, помимо юридической легитимации, консенсус, постоянный консенсус, так что экономический рост, производство благосостояния за счет этого роста ведет, симметрично генеалогии экономической институции (государства, производимого циркуляцией экономической институции) к всецелому включению населения в его режим и в его систему.

Если верить историкам XVI в., Максу Веберу[25] и др., обогащение частного лица в протестантской Германии XVI в. представляется знаком произвольной избранности индивида Богом. Богатство служит знаком, но знаком чего? Того, что Бог жалует этому индивиду свое покровительство и тем самым манифестирует гарантию спасения, которое в конце концов ничто в конкретных и реальных трудах индивида гарантировать не могло. Дело не в том, что ты будешь спасен, если пытаешься разбогатеть, но в том, что, если ты действительно разбогател,

Бог тем самым посылает тебе на земле знак того, что ты спасешься. Обогащение, таким образом, включается в систему знаков Германии XVI в. В Германии XX в. речь идет не о частном обогащении, служащем знаком произвольной избранности Богом, но о всеобщем обогащении; знаком чего оно служит? Конечно, не избранности Богом, [но] будничным знаком включенности индивидов в государство. Другими словами, экономика всегда означает — вовсе не в том смысле, что она непрестанно производит знаки эквивалентности и рыночной стоимости вещей, в своих иллюзорных структурах, в своих структурах симулякра, не имеющих ничего общего с потребительной стоимостью вещей; экономика производит знаки, она производит политические знаки, позволяющие функционировать структурам, механизмам и оправданиям власти. Свободный, экономически свободный рынок налагает и манифестирует политические обязанности. Твердая дойчмарка, удовлетворительный темп роста, растущая покупательная способность, благоприятный платежный баланс — все это, конечно, результаты хорошего руководства современной Германии, но также (и в определенном смысле более того) — выражение основополагающего консенсуса в государстве, которое история, или поражение, или решение победителей, как угодно, поставили вне закона. Государство обретает свой юридический принцип и свое реальное основание в существовании и практике экономической свободы. История сказала «нет» немецкому государству. Отныне ему позволяет утвердиться экономика. Непрерывный экономический рост приходит на смену отжившей истории. Разрыв с историей переживается и воспринимается как разрыв с памятью, ибо в Германии устанавливается новая размерность темпоральности, которая будет теперь не исторической размерностью, но размерностью экономического роста. Ниспровержение оси времени, уход в забвение, в экономический рост: вот что, как мне кажется, располагается в самом центре функционирования немецкой экономико-политической системы. Экономическая свобода совокупно производится ростом, благосостоянием, государством и забвением истории.

Государство в современной Германии можно назвать государством радикально экономическим, используя термин «ра-

дикальный» в строгом смысле: дело в том, что у него как раз экономический корень. Фихте, как вы знаете — вообще-то это все, что знают о Фихте, — говорил о закрытом коммерческом государстве.[26] К этому я еще вернусь немного позже.[27] Скажу лишь, ради немного искусственной симметрии, что перед нами нечто обратное закрытому коммерческому государству. Это начало коммерческой этатизации. Разве это не первый в истории пример экономического, радикально экономического государства? Следовало бы обратиться к историкам, которые понимают в истории куда больше меня. Но в конце концов, была ли Венеция радикально экономическим государством? Можно ли сказать, что Соединенные Провинции в XVI и даже в XVII вв. были экономическим государством? Во всяком случае, мне кажется, что, по сравнению с тем, что начиная с XVIII в. было одновременно функционированием, обоснованием и планированием руководства, перед нами нечто новое. И если верно, что перед нами по-прежнему руководство либерального типа, вы видите, какое смещение произошло по сравнению с тем, чем был либерализм в представлении физиократов, Тюрго, экономистов XVIII в., проблема которых была прямо противоположна, поскольку в XVIII в. им нужно было решить следующую задачу: предположим, что существует государство легитимное, уже исправно функционирующее и имеющее завершенную административную форму полицейского государства. Проблема была такова: перед нами государство; как можно ограничить это существующее государство, а главное — предоставить в его пределах место необходимой экономической свободе? Так вот, немцам нужно было решить прямо противоположную проблему. Перед нами государство, которого нет; как можно заставить его существовать исходя из того не-государственного пространства, которое есть пространство экономической свободы?

Именно это, как мне представляется, комментирует — это, опять-таки, преувеличение, но я попытаюсь показать вам, что это преувеличение не произвольно, — короткая, очевидно банальная фраза будущего канцлера Эрхарда, сказанная 28 апреля 1948 г. Конечно, эта идея, эта формулировка 1948 г. не могла получить той исторической значимости, о которой я вам гово-

рил, поскольку она была вписана, и очень быстро, в целую сеть решений и последующих событий.

Итак, 18 апреля — отчет Научного совета; 28 апреля — речь Эрхарда; 24 июня [19]48 г.[28] — либерализация промышленных цен, а затем цен на продукты питания, постепенная либерализация всех цен, впрочем, относительно медленная. В [19]52 г. — либерализация цен на уголь и электроэнергию, которая, я полагаю, станет одной из последних либерализаций цен, имевших место в Германии. И только в [19]53 г. в отношении внешней торговли произошла либерализация таможенных тарифов, которые достигали почти 80 [%] — 95 %. Таким образом, в [19]52—53 гг. произошла почти полная либерализация.

С другой стороны, необходимо отметить, что эта политика либерализации, более или менее явно поддержанная американцами по соображениям, о которых я вам только что говорил, вызвала со стороны других оккупантов, особенно англичан, вступивших в лейбористский, кейнсианский и т. п. период,[29] большое недоверие. Она вызвала значительное сопротивление и в самой Германии: первые меры по либерализации цен встретили неприятие, потому что цены, конечно же, начали расти. В августе 1948 г. немецкие социалисты требуют сместить Эрхарда. В ноябре 1948 г. проходит всеобщая забастовка против экономической политики Эрхарда и за возвращение к управляемой экономике. В декабре 1948 г. — провал забастовки и стабилизация цен.[30]

Третья серия фактов, важных для понимания того, как вписывалась в реальность та программа, о которой я вам только что говорил, была серией присоединений: сперва, и почти сразу, присоединение Христианской демократии, несмотря на ее связи со всей социальной, христианской экономикой, которая была не столь либеральна. Присоединение, вместе с Христианской демократией, христианских теоретиков социальной экономики, и в особенности мюнхенского теоретика, знаменитого иезуита Освальда Нелл-Брюнинга,[31] преподававшего политическую экономию в Мюнхене.[32] Что намного важнее, присоединение профсоюзов. Первым значительным присоединением, самым официальным, самым явным, было присоединение Теодора Бланка,[33] вице-президента профсоюза горнорабочих, который утверждал, что либеральный порядок составляет дейст-

венную альтернативу капитализму и планированию.[34] Можно сказать, что это фраза совершенно лицемерная или наивно играет на двусмысленностях, поскольку, когда говорят, что либеральный порядок составляет альтернативу капитализму и планированию, становятся ясно видны все те диссимметрии, на которых он играет, поскольку, с одной стороны, либеральный порядок в устах будущего канцлера Эрхарда, конечно же, никогда не претендовал и не собирался претендовать на то, чтобы быть альтернативой капитализму, но определенным способом заставить капитализм функционировать. И если верно, что он противостоял планированию, такие люди, как Теодор Бланк со своим профсоюзным представительством, со своими истоками, со своей социально-христианской идеологией и т. д., не могли критиковать его столь прямо. В действительности он хотел сказать, что неолиберализм давал надежду, реализуемую в конце концов в синтезе, или в среднем пути, или в третьем порядке, между капитализмом и социализмом. Еще раз подчеркну: вопрос заключался не в этом. Эта фраза [была призвана] лишь заставить вдохновлявшиеся христианством профсоюзы той эпохи проглотить эту пилюлю.

Наконец, самое главное, присоединение SPD, социал-демократов, явно происходившее куда медленнее прочих, поскольку, практически до 1950 г., немецкая социал-демократия оставалась верна большей части своих принципов, которые с конца XIX в. были принципами социализма, вдохновлявшегося марксизмом. На конгрессе в Ганновере,[35] а также на конгрессе в Бад Дюркгейме в 1949 г. Немецкая социалистическая партия признала историческую и политическую верность принципа классовой борьбы и неизменно ставила своей целью обобществление средств производства.[36] Хорошо. Это [19]49, и даже еще [19]50 гг. В 1955 г. Карл Шиллер,[37] который позже станет министром экономики и финансов Федеративной Германии,[38] пишет книгу, которая, конечно, вызовет значительный резонанс, поскольку она носит не менее значительное название «Социализм и конкуренция»,[39] то есть не социализм или конкуренция, а социализм *и* конкуренция; я не знаю, в первый ли раз она была предложена, но во всяком случае наибольший отклик получила эта формулировка, которая отныне станет формулировкой немецкого социализма:

«конкуренция насколько возможно и планирование в надлежащей и необходимой мере»,[40] Это было в 1955 г. В 1959 г. состоялся конгресс в Бад Годесберге,[41] на котором немецкая социал-демократия, во-первых, отказалась от принципа перехода к обобществлению средств производства, а во-вторых, соответственно, признала, что частная собственность на средства производства не только вполне законна, но и имеет право на защиту и поощрение со стороны государства.[42] То есть одна из сущностных и основополагающих задач государства состоит в том, чтобы защищать не только частную собственность в целом, но частную собственность на средства производства, при условии, добавляет резолюция конгресса, ее совместимости со «справедливым общественным порядком». Наконец, в-третьих, конгресс в Бад Годесберге одобряет принцип рыночной экономики повсюду — здесь делается оговорка — по крайней мере повсюду «где соблюдается условие подлинной конкуренции».[43]

Очевидно, что, если мыслить в марксистских терминах, или если мыслить исходя из марксизма или отталкиваясь от традиции немецких социалистов, существенной в этих предложениях конгресса в Бад Годесберге оказывается серия отречений — отречений, ересей, если угодно, измен — классовой борьбе, обобществлению средств производства и т. п. Существенны эти отказы, отречения, эти досадные издержки жанра: следует нацеливаться на справедливый общественный порядок, реализовывать условия подлинной конкуренции — все это является опять-таки в перспективе марксизма, функционирующего исходя из собственной ортодоксии, все тем же лицемерием. Но для того, кто слушает те же самые фразы другим ухом или исходя из другого теоретического «бэкграунда», эти слова — «справедливый общественный порядок», «условие подлинной экономической конкуренции» — звучат совсем иначе, указывая (и это еще одна вещь, которую я хотел бы объяснить вам в следующий раз) на присоединение целого доктринального и программного ансамбля, который не сводится лишь к экономической теории эффективности и полезности свободы рынка. Присоединение к тому типу руководства, для которого немецкая экономика служила основанием легитимного государства.

Почему произошло присоединение немецкой социал-демократии и почему присоединение к этим тезисам, практике и программам неолиберализма, хотя и немного запоздалое, было довольно легким? Существует по меньшей мере две причины. Одна, конечно же, заключается в необходимой и вынужденной политической тактике, потому что, если бы SPD под руководством старого Шумахера[44] отстаивала традиционную позицию социалистической партии, которая, с одной стороны, [принимала] режим, называемый либеральной демократией — то есть систему государства, конституции, юридических структур, — но, с другой стороны, теоретически и в принципе отвергала капиталистическую экономическую систему, а следовательно, ставила перед собой задачу в этих юридических рамках, считавшихся достаточными для утверждения основополагающей игры неотъемлемых свобод, всего лишь подправлять существующую систему в зависимости от определенных отдаленных целей, совершенно понятно, что в том новом экономико-политическом государстве, которое вот-вот должно было родиться, для SPD не было места. Для нее не было места, потому что это было нечто прямо противоположное. [Изначально] речь шла не о том, чтобы продаться и принять юридические или исторические рамки, задаваемые государством или неким народным консенсусом, а затем экономически, изнутри работать над определенными сглаживаниями. Все было наоборот. В этом новом немецком экономико-политическом режиме начинали с того, чтобы обеспечить себе определенное экономическое функционирование, которое было бы основанием самого государства, его существования и его международного признания. Сперва задавали себе эти экономические рамки, а затем лишь появлялась, так сказать, легитимность государства. Как же вы хотите, чтобы социалистическая партия, которая ставила своей ближайшей целью совсем иной экономический режим, включилась в эту политическую игру, так сказать, извратив свою сущность и поставив в основание своего отношения к государству экономическое, а не преобладание историко-юридических рамок в государстве с той или иной экономикой? Следовательно, для того чтобы включиться в политическую игру новой Германии, было необходимо, чтобы SPD присоединилась к тезисам нео-

либерализма, иначе говоря, к тезисам экономическим, научным или теоретическим, по крайней мере в отношении общей практики как правительственной практики неолиберализма. Так что конгресс в Бад Годесберге, этот знаменитый конгресс абсолютного отречения от наиболее традиционных тем социал-демократии, был, конечно же, разрывом с марксистской теорией, разрывом с марксистским социализмом, но в то же время это было (именно потому то была не просто измена — таковой она может быть только в расплывчатых исторических терминах) принятием того, что должно было функционировать уже как экономико-политический консенсус немецкого либерализма. Это был не столько отказ от той или иной части программы, общей для большей части социалистических партий, сколько вхождение наконец в игру руководства. Социал-демократии ничего не оставалось, как порвать с английской моделью и со всеми отсылками к кейнсианской экономике. В 1963 г. это снова сделал Карл Шиллер, отказавшийся даже от формулы «конкуренция насколько возможно и планирование в необходимой мере». В [19]63 г. он выдвинул принцип, согласно которому всякое планирование, даже гибкое, опасно для либеральной экономики.[45] Вот так. Социал-демократия полностью включилась в экономико-политический тип руководства, который Германия приняла с 1948 г. Она так хорошо включилась в игру, что шесть лет спустя Вилли Брандт[46] стал канцлером федеральной Германии.

Конечно, это одна из причин, и не самая малая, однако я полагаю, что нужно попытаться немного подробнее изучить эту проблему отношений немецкого социализма с неолиберальным руководством, дефинированным в 1948 г. Людвигом Эрхардом или по крайней мере его замечательными советниками, о которых я постараюсь сказать немного больше в следующий раз. Попытаемся немного лучше понять то, что произошло, и то, почему это произошло именно так. Несомненно, существует иная причина, нежели тот вид тактического отступления, к которому немецкая социалистическая партия прибегла начиная с 1948 г. Часто говорят, что у Маркса (в конце концов так говорят люди, которые его знают) нет анализа власти, что его теория государства несостоятельна и что настало время заняться ею. Но так ли уж нужно

создавать теорию государства? В конце концов англичанам не так уж плохо живется, и в целом они, по крайней мере до последнего времени, вполне сносно управляются без теории государства. Последняя из теорий государства обнаруживается у Гоббса,[47] то есть у того, кто был одновременно современником и «сторонником» того типа монархии, от которого англичане в тот момент как раз избавились. А после Гоббса пришел Локк.[48] Локк больше не занимается теорией государства, он занимается теорией правления. Таким образом, можно сказать, что английская политическая система и либеральная доктрина никогда не функционировали исходя из или задавая себе теорию государства. Они обращались к принципам правления.

В конце концов, была ли теория государства у Маркса, решать марксистам. Я же скажу лишь: чего не хватает социализму, так это не столько теории государства, сколько правительственного мышления, ведь определением правительственной рациональности для социализма была разумная и рассчитанная мера степени, способов и целей правительственных действий. Социализм задает или во всяком случае предполагает историческую рациональность. Вы знаете, что это такое, так что говорить об этом дальше бессмысленно. Он предполагает экономическую рациональность. Одному Богу известно, как спорили, особенно в 1920—1930-е гг., о том, нужна или не нужна эта рациональность. Те неолибералы, о которых я вам говорил, такие как фон Мизес, Хайек и др., в те годы отрицали (особенно фон Мизес[49]) что существует экономическая рациональность социализма. Впрочем, об этом мы уже говорили. Скажем так, проблема экономической рациональности социализма — вопрос спорный. Во всяком случае, он предполагает экономическую рациональность так же, как и рациональность историческую. Можно сказать также, что он сохраняет, демонстративно сохраняет рациональные техники административного вмешательства в таких областях, как здравоохранение, социальное обеспечение и т. п. Историческая, экономическая, административная рациональность: все эти рациональности отличают социализм; во всяком случае, проблема это спорная, и устранить единым жестом все эти

формы рациональности невозможно. Однако я полагаю, что самостоятельного социалистического руководства не существует. Не существует правительственной рациональности социализма. В действительности, как показала история, социализм может существовать, лишь подключаясь к различным типам руководства. Либерального руководства, по отношению к которому социализм и его формы рациональности играют роль противовесов, корректива, паллиатива внутренней опасности. Можно, конечно [упрекать его, как это делают либералы],* в том, что он сам является опасностью, но в конце концов он существует, он эффективно функционирует, чему есть примеры, внутри либерального руководства и будучи подключен к нему. Мы видели и видим, что он всегда функционирует в тех руководствах, которые, несомненно, более релевантны, чем те, о которых мы говорили в прошлом году, — в полицейском государстве,[50] то есть в гиперадминистративном государстве, в котором руководство и администрация образуют, так сказать, сплав, целостность, составляя своего рода массивный блок; и здесь, в этом полицейском государстве, социализм функционирует как внутренняя логика административного аппарата. Возможно, существуют и другие руководства, к которым подключается социализм. Их надлежит рассмотреть. Но, во всяком случае, я не думаю, что когда-либо возникнет самостоятельное руководство социализма.

Давайте взглянем на вещи еще и под другим углом и скажем так: когда мы пересекаем границу, разделяющую две Германии, Германию Хельмута Шмидта[51] и Германию [Эриха Хонеккера[52]],** когда мы пересекаем эту границу, вопрос, который ставит всякий порядочный западный интеллектуал, конечно же, таков: где подлинный социализм? Там, откуда я пришел, или там, куда я иду? Справа или слева? По эту сторону или по ту? Где подлинный социализм?*** Но имеет ли смысл вопрос «где подлинный социализм»? В сущности, не стоило бы говорить, что социализм здесь не такой настоящий, чем там,

---

* М. Ф.: в чем его упрекают либералы.

** М. Ф.: не помню, как его зовут, ну да ладно, неважно.

*** М. Фуко повторяет: где подлинный социализм?

просто потому, что социализм не бывает подлинным. Я хочу сказать следующее: дело в том, что в любом случае социализм подключен к руководству. Здесь он подключен к такому правлению, там он подключен к другому, давая здесь и там совсем не схожие плоды, по воле случая пуская более или менее нормальный побег или же принося ядовитые плоды.

Однако либерализм задает этот вопрос, который всегда ставится в связи и по поводу социализма, а именно подлинный или ложный? Либерализм не бывает подлинным или ложным. О либерализме спрашивают, чистый ли он, радикальный ли, последовательный ли, умеренный ли и т. п. То есть у него спрашивают, какие правила он задает самому себе, как он компенсирует механизмы компенсации, как он умеряет механизмы умерения, которые он устанавливает в своем правлении. Мне представляется, что если перед социализмом, напротив, жестко ставят этот нескромный вопрос о подлинности, которого никогда не ставят перед либерализмом: «Подлинный ты или ложный?», — так это как раз потому, что у социализма нет собственной правительственной рациональности, а это [отсутствие] правительственной рациональности, которое ему присуще и, мне кажется, не преодолено до настоящего времени, заменяет проблему внутренней правительственной рациональности соответствием тексту. А это соответствие тексту или серии текстов скрывает отсутствие правительственной рациональности. Предлагается способ прочтения и интерпретации, на котором должен основываться социализм, который должен указать ему, каковы его пределы, возможности и вероятные действия, тогда как то, что ему сущностно необходимо, так это определить для самого себя способ действовать и способ управлять. Значимость текста для социализма, как мне кажется, обусловлена лакуной, создаваемой отсутствием социалистического искусства управлять. Таким образом, у любого реального социализма, у всякого социализма, осуществленного в политике, нужно спрашивать не к какому тексту ты отсылаешь, не предаешь ли ты текст, соответствуешь ли ты тексту, подлинный ты или ложный? Его всегда нужно спрашивать лишь, каково то по необходимости внешнее руководство, которое заставляет тебя функционировать и внутри которого ты только и можешь функционировать? А если такого рода вопросы кажутся чересчур отдающими злопамятностью, давайте

поставим более общий вопрос, в большей степени обращенный к будущему, который звучит так: каким могло бы быть адекватное социализму руководство? Существует ли адекватное социализму руководство? Какое руководство может быть руководством строго, внутренне, самостоятельно социалистическим? Во всяком случае давайте иметь в виду лишь то, что, если и существует подлинно социалистическое правление, оно не скрывается внутри социализма и его текстов. Его нельзя вывести из социализма. Его нужно изобрести.[53] *

Таковы исторические рамки, в которых обретает свою плоть то, что называется немецким неолиберализмом. Во всяком случае, мы имеем дело с целым ансамблем, который, как мне кажется, невозможно свести к чистому и простому проекту политических групп или отдельных политиков Германии назавтра после разгрома, поскольку абсолютно решающими были само существование, давление обстоятельств, возможные стратегии, определяемые этой ситуацией. Это нечто отличное от политического расчета, даже если оно пронизывается политическим расчетом. Это и не идеология, хотя все идеи, аналитические принципы и т. п. всецело взаимосвязаны. Фактически речь идет о новом планировании либерального руководства. Внутренняя реорганизация, которая, опять-таки, не ставит перед государством вопрос: какую свободу ты предоставишь экономике? но ставит вопрос перед экономикой: как твоя свобода может выполнять функцию этатизации в том смысле, что позволит эффективно обосновать легитимность государства?

Итак, на этом я должен остановиться.* В следующий раз я буду говорить о формировании неолиберальной доктрины около 1925 г. и о ее воплощении около 1952 г.

---

* В рукописи М. Фуко добавляет: «Социализм не является альтернативой либерализма. Он не принадлежит к тому же уровню, даже если и существуют уровни, на которых они сталкиваются, или на которых они не составляют общего ансамбля. Отсюда возможность их злосчастного симбиоза».

* М. Фуко не стал читать последние страницы рукописи (p. 22—25):

«[p. 22] Обращение к "либерализму", как его определяли д'Аржансон или Тюрго.

— Возьмем государство: если оно хочет обогащаться, не нужно, чтобы им управляли слишком много. Отсюда свобода рынка.

— Возьмем несуществующее государство. Как сделать, чтобы оно существовало? Отсюда свободный рынок.

Вывести из веридикции рынка юрисдикцию государства: таково немецкое чудо.

[p. 23] Был прецедент, *Zollverein*, но он кончился неудачей. А немецкий национализм строился вопреки экономическому либерализму,

— потому, что нужно было защитить себя от французского империализма: Фихте,

— потому, что начиная с 1840 г. взаимосвязь между экономическим либерализмом и либерализмом политическим была разорвана. Либеральная экономическая политика, которая должна была сделать возможным германское единство (против Австрии), на деле служила Англии. Обнаружилось, что единства можно достичь лишь революционной политикой и что экономика должна вписываться в националистические рамки. Лист: *National Ökonomie*.

[p. 24] N. B. Национализм мыслится здесь лишь как инструмент → грядущая эпоха либерализма.

— Начиная с 70-х отказываются от экономического либерализма/рыночной экономики, опирающихся на свободную конкуренцию,

— что касается внешней политики: борьба с Англией; свобода рынка — инструмент господства Англии;

— что касается внутренней политики: нужно реинтегрировать пролетариат в немецкое общество;

— что касается историцистской доктрины, отвергающей пресуппозиций природы, природного закона как основополагающего принципа экономики. Экономика никогда не составляет измерения последовательных исторических конфигураций.

— В конце концов, после 18-го от либерализма отказываются

— ради развития военной экономики и ее методов планирования;

— ради развития *экономики Welfare*, которая, как кажется, теоретизирует и оправдывает на новых основаниях бисмарковские практики (или по крайней мере их [...])

p. 25] наконец, ради развития принципа политики полной занятости и государственного вмешательства.

Короче, экономика равновесия [...]

Все это создает огромную инерцию, наследуемую социализмом. Случались попытки преодолеть ее (Луйо Брентано). Были и теоретические инструменты для этого (австрийцы). Но что интересно, так это то, что Фрайбургская школа не развила ни экономической теории, ни собственной доктрины. Она полностью переосмыслила отношения экономики и политики, все искусство управлять. По вполне понятной причине: ей пришлось столкнуться с общеизвестным историческим явлением. Нацизм в действительности не был просто аккумуляцией и кристаллизацией препятствовавших либерализму национализма, дирижизма, протекционизма, планирования...» (*конец страницы*).

Примечания

[1] *Бернард Беренсон* (1865—1959), американский коллекционер, эксперт и критик литовского происхождения, специалист по живописи итальянского Ренессанса. Автор книг: *Berenson B.* The Italian Painters of the Renaissance. Londres: Phaidon Press, 1953; *Berenson B.* Drawings of the Florentine Painters. Chicago: University of Chicago Press, 1970, и книги воспоминаний: *Berenson B.* Sketch for a Self-Portrait. New York: Pantheon, 1949.

[2] Цитата, как признает сам М. Фуко, представляет собой довольно свободное изложение. В рукописи просто: «Беренсон: атомное уничтожение, поглощение государством».

[3] Чуть ниже в этой же лекции будут названы их имена: фон Мизес, Хайек (см. примеч. 11).

[4] См.: *Foucault M.* Sécurité, Territoire, Population. Лекция 1 февраля 1978 г. (P. 105).

[5] На протяжении этого курса М. Фуко успеет обсудить только первые две темы. См. лекцию 10 января 1979 г. (с. 39 наст. изд.), где говорится о соображениях, оправдывающих их исследование, выступающих условием постижимости третьей темы («как только мы выясним, что такое этот правительственный режим, называемый либерализмом, мы сможем, как мне кажется, уловить, что такое биополитика»), и ремарку в начале лекции 7 марта 1979 г. (с. 238 наст. изд.): «Несмотря ни на что, я хотел бы заверить вас, что вначале у меня действительно было намерение говорить о биополитике, а затем о том, что это такое, но я долго, быть может, чересчур долго говорил о неолиберализме, в частности, о его немецкой форме».

[6] См. с 91 наст. изд.

[7] *Гарри С. Трумэн* (1884—1972), президент США с 1945 по 1953 гг.

[8] *Джон Ф. Кеннеди* (1917—1963), президент США с 1961 по 1963 гг.

[9] *Линдон Б. Джонсон* (1908—1973), президент США с 1963 по 1969 гг.

[10] *Джон Мейнард Кейнс* (1883—1946) — британский экономист, автор книги: A Treatise on Money. Londres; New York: Harcourt, Brace & Co., 1930, а главное: The General Theory of Employment, Interest and Money. Londres: Macmillan & Co., 1936 (Théorie générale de l'emploi, de l'intérêt et de la monnaie / Trad. J. de Largentaye. Paris: Payot, 1942. В этом труде, выход которого знаменует существенный момент в истории экономической мысли («кейнсианская революция»), Кейнс обращается к проблематике незанятости и, критикуя среди прочих теорию безработицы А. С. Пигу (The Theory of Unemployment.

Londres: Macmillan, 1933), объясняет современный кризис капитализма снижением предельной эффективности капитала и чрезмерным повышением процентных ставок, влекущим за собой снижение инвестиций. Этот анализ побудил его рекомендовать вмешательство публичной власти для обеспечения полной занятости, принятие мер, благоприятствующих потреблению (отход от золотого стандарта, привлечение частных и общественных инвестиций). Традиционное «микроэкономическое» видение, основанное на взаимодействии между ценами и заработной платой, должно было, таким образом, смениться видением «макроэкономическим», основанным на отношениях между агрегатами или «общими количествами» и выступающим как экономичная политика, влияющая на национальный доход, всеобщее потребление, объемы сбережений и инвестирование. Назначенный заместителем управляющего Английского банка, Кейнс участвовал в Бретон-Вудской конференции 1944 г., которая привела к созданию Международного валютного фонда и Международного банка реконструкции и экономического развития.

[11] *Людвиг Эдлер фон Мизес* (1881—1973). После изучения права в Венском университете под влиянием Ф. фон Визера и Е. Бем-Баверка («Австрийская школа») обратился к политической экономии. В 1927 г. совместно с Хайеком основал в Вене «Österreichisches Institut für Konjunkturforschung». Назначенный в 1934 г. в Университетский институт высшего международного образования, в 1940 г. он уезжает в Нью-Йорк. В качестве «приглашенного профессора» преподает в Университете Нью-Йорка с 1945 по 1973 гг. Основные работы: Die Gemeinwirtschaft. Untersuchungen über den Sozialismus. Iens: G. Fischer, 1922 (Le Socialisme. Étude économique et sociologique / Trad. De l'allemand par P. Bastier, A. Terrasse & F. Terrasse. Préface de F. Perroux. Paris: Librairie de Médicis, 1938), в которой он доказывает, «что в отсутствие рынка производительные силы не могут рационально распределяться по индустриальным предприятиям и что, следовательно, плановая экономика не может функционировать» (*Polanyi M.* La Logique de la liberté / Introd. et trad. de Ph. Nemo. Paris: PUF («Libre échange»), 1989. P. 161); Liberalismus. Iena: G. Fischer, 1927; Nationalökonomie, Theorie des Handelns und Wirtschafttens. [S. l.]: Éditions Union, 1940; Human Action: Atreatise on economics. Yale University Press, 1949; 3e éd. revue et corrigée. Chicago: Contemporary Books, Inc., 1966 (L'Action humaine / Trad. R. Audouin. Paris: PUF («Libre échange»), 1985.

[12] См. лекцию 7 февраля 1979 г. (с. 162 наст. изд., примеч. 24).

[13] Об этом течении мысли см., например: *Kunz P.-A.* L'Expérience néoliberale allemande dans le contexte international des

idées. Thèse de doctorat en sciences politiques. Université de Genève. Lausanne: Imprimerie centrale, 1962, а особенно *Bilger F.* La Pensée économique libérale de l'Allemagne contemporaine. Paris: Librairie Générale de Droit, 1964 и *François-Poncet J.* La Politique économique de l'Allemagne occidentale. Paris: Sirey, 1970; эти работы использовались М. Фуко, о чем свидетельствуют его подготовительные заметки.

[14] Программа восстановления Европы («European Recovery Program»), предложенная в 1947 г. государственным секретарем США Г. Маршаллом и принятая в 1948 г. 16-ю странами Западной Европы.

[15] Национальный совет Сопротивления (Le Conseil national de la Résistance) был создан весной 1943 г. для объединения нескольких политически раздробленных движений Сопротивления. Его возглавлял Жан Мулен, а затем Жорж Бидо. «Во время пленарного заседания 15 марта 1944 г. все пришли к соглашению сохранять единство после Освобождения. Устав Сопротивления, ставший результатом этих заседаний, обсужденный и одобренный различными группами, составлявшими CNR, содержал смелую социальную и экономическую программу. Среди прочих реформ, она требовала "полного плана социальной защиты, направленного на обеспечение всех граждан средствами к существованию в тех случаях, когда они неспособны добыть их трудом, осуществляемого заинтересованными представителями и государством"» (*Galant H. G.* Histoire politique de la sécurité sociale française, 1945—1952. Paris: Librairie A. Colin («Cahiers de la Fondation nationale des sciences politiques»), 1955. P. 24). О французском плане социальной защиты см. лекцию 7 марта 1979 г. (с. 268 наст. изд., примеч. 25).

. [16] Созданный 19 декабря 1947 г., этот Научный совет (wissenschaftliche Beirat) наполовину состоял из представителей Фрайбургской школы (В. Эйкен, Ф. Бём, А. Мюллер-Армак, Л. Микш, А. Лампе, О. Фейт...) и наполовину — из представителей христианско-социальных доктрин, таких как иезуит О. фон Нелл-Брюнинг, и социалистов, таких как К. Шиллер, Г. Вайссер, Г. Петер.

[17] Цит. по: *Bilger F.* La Pensée economique libérale de l'Allemagne contemporaine. Op. cit. P. 211. См.: Der wissenschaftliche Beirat beim Bundeswirtschaftsministerium. Göttingen: Schwartz, 1950—1961. 5 vol.

[18] Генеральный инспектор финансов с 1774 по 1776 гг., во времена правления Людовика XVI, Тюрго, опираясь на учение экономистов и физиократов, провел декрет о свободе торговли зерном (принят в сентябре 1774 г.) (см.: *Weulersse G.* La Physiocratie sous le ministère de Turgot et de Necker (1774—1781). Poitiers: Impr. du Poitou,

1925; rééd. PUF, 1950). См.: *Bilger F.* Op. cit. P. 215: «...Если бы Эрхард не был человеком партии, он стал бы Тюрго экономической доктрины».

[19] Людвиг Эрхард (1897—1977). Ассистент, а впоследствии директор Института экономического анализа, подчиненного Высшей экономической школе Нюрнберга, он держался в стороне от нацизма во времена Третьего рейха и посвятил себя экономическим исследованиям. Он руководил экономической администрацией бизоны начиная с февраля 1948 г. Будучи депутатом христианских демократов, он в значительной степени способствовал принятию CDU (Christlich-Demokratische-Union) принципов «общественной экономики рынка». В 1948 г. на четырнадцатом пленарном заседании Экономического совета он очертил основные ориентиры своей будущей политики (примат монетарной политики и политики роста, выравнивание цен на предлагаемые товары, справедливое и постепенное распределение роста благосостояния). Назначенный Аденауэром в 1951 г. министром экономики, он считается отцом «немецкого экономического чуда (Wirtschaftswunder)». См.: *François-Poncet J.* La Politique économique de l'Allemagne de l'Ouest (1945—1969). SEDES, 1987. P. 44—45; *Bark D. L., Gress D. R.* Histoire de l'Allemagne depuis 1945. Paris: R. Laffont («Bouquins»), 1992. P. 199—200. Основные работы Эрхарда: Wohlstand für alle. Düsseldorf: Econ Verlag, 1957 (La prodpérité pour tous / Trad. F. Brière. Préface de J. Rueff. Paris: Plon («Tribune libre»), 1959) и Deutsche Wirtschaftspolitik der Weg der sozialen Markwirtschaft. Frankfurt/M.: Knapp, 1962. Une politique de l'abondance (recueil d'articles et de discourse, 1945—1962) / Trad. L. Mozère. Paris: R. Laffont, 1963.

[20] Четырнадцатое пленарное заседание Экономического совета состоялось 21 апреля, а не 28-го, как говорит Фуко, опираясь на *Bilger F.* La Pensée economique libérale... P. 211.

[21] Rede vor der 14. Vollversammlung des Wirtschaftsrates des Vereinigten Wirtschaftsgebietes am 21. April 1948 in Frankfurt/Main. Речь воспроизводится в: *Erhard L.* Deutsche Wirtschaftspolitik. Op. cit. и в Grundtexte zur Sozialen Marktwirtschaft. Zeugnisse aus zweihundert Jahren ordnungspolitischer Diskussion / Eds W. Stützel et al. Bonn-Stutgart-New York, Ludwig-Erhard-Stiftung, 1981. P. 39—42.

[22] Ibid. (Grundtexte). S. 40: «Wenn auch nicht im Ziele völlig einig, so ist doch die Richtung klar, die wir einzuschlagen haben — die Befreiung von der staatlichen Befehlswirtschaft, die alle Menschen in das Entwürdigende Joch einer alles Leben überwuchernden Bürokratie zwingt...» («Даже если наши цели не во всем совпадают, все-таки ясно, что направление, которому мы должны следовать, — осво-

бождение от командной государственной экономики, навязывающей всем людям унизительное иго удушающей всякую жизнь бюрократии...»). Французский перевод: «*Bilger F.* La Pensée economique libérale... P. 211.

[23] Ibid.: «Es sind aber weder die Anarchie noch der Termitenstaat als menschliche Lebensformen geeignet. Nur wo Freiheit und Bindung zum verpflichtenden Gesetz werden, findet der Staat die sittliche Rechtfertigung, im Namen des Volkes zu sprechen und zu handeln» («Однако ни анархия, ни государство-муравейник не годятся для человеческого образа жизни. Только там, где свобода и ответственность станут обязательным законом, государство получает моральное право говорить и действовать от имени народа»). Следовало бы переводить «Termitenstaat» как «государство муравьев»; это выражение в 1944 г. уже использовал В. Рёпке в «Civitas Humana» (см. с. 161 наст. изд., примеч. 21), говоря об «опасности коллективизма» (P. 26): «Это государство муравьев, очевидно, разрушает не только все ценности и завоевания прогресса, которые после трех тысяч лет эволюции составляют то, что мы гордо называем западной цивилизацией, [...] но, самое главное, отбирают у человеческой жизни ее подлинный смысл, заключающийся единственно в свободе».

[24] *Луиджи Эйнауди* (1874—1961), преподаватель политической экономии в Турине и в Милане. Его оппозиция фашизму и приверженность либерализму вынудили его эмигрировать в Швейцарию (1943—44). Управляющий Банка Италии (1945), депутат (1946), а затем министр финансов (1947); был избран президентом Республики (1948—1955). См.: *Einaudi L.* Lezioni di politica economics. Turin: G. Einaudi, 1944.

[25] См.: *Weber M.* Die protestantische Ethik und der «Geist» des Kapitalismus (1905) // Gesammelte Aufsütze zur Religionssoziologie. Tübingen: J. C. B. Mohr, 1920. Vol. I. P. 1—236 (L'Éthique protestante et l'Esprit du capitalisme / Trad. J. Chavy. Paris: Plon, 1964; новые переводы: *Kalinowski I.* Paris: Flammarion («Champs»), 2000 и *J.-P. Grossein.* Paris: Gallimard («Bibliothèque des sciences humaines»), 2003; *Вебер М.* Протестантская этика и дух капитализма // Избранные произведения / Пер. с нем. Сост., общ. ред. и послесл. Ю. Н. Давыдова. Предисл. П. П. Гайденко. М.: Прогресс, 1990. С. 44—271).

[26] См.: *Foucault M.* Sécurité, Territoire, Population. Лекция 22 января 1978 г. P. 17, 27, примеч. 26.

[27] В этом курсе М. Фуко больше не обращается к Фихте. Тем не менее он упоминает его на страницах рукописи, соответствующих окончанию этой лекции, но не использованных им, в связи с Zollverein (см. примечание с. 123 наст. изд.).

[28] Эту дату, 24 июня 1948 г., отмечающую поистине решающий поворот в истории послевоенной Германии (Эрхард, поддерживаемый Экономическим советом, отменил всякий контроль над ценами, не испросив предварительно согласия военных властей), следует связать с датой 18 июня, «днем J», обозначившим благодаря денежной реформе (созданию немецкой марки) первый этап — и решающее условие — этого процесса преобразования (см.: *Bark D. L., Gress D. R.* Histoire de l'Allemagne depuis 1945. Op. cit. P. 191—194; *Pietri N.* L'Allemagne de l'Ouest. Op. cit. P. 46—48). Как пишет Эрхард, «великий шанс Германии» в середине 1948 г. заключался в «денежной реформе, которая должна была сопровождаться реформой экономической» (Wohlstand für alle. Op. cit. P. 21 / Trad. citée. P. 13). Закон от 24 июня 1948 г., впрочем, носит название «Закон о принципах управления и о ценовой политике после денежной реформы» (см.: *Schneilin G., Schumacher H.* Économie de l'Allemagne depuis 1945. Paris: A. Colin, 1992. P. 24; François-Poncet J. La Politique économique... P. 71—73). Этот момент тем более важен, что валютная стабильность представляет самый главный после основополагающего («реализация всецело конкурентной системы цен») принцип ордолиберальной программы. См. лекцию 14 февраля 1979 г., с. 178 наст. изд.

[29] Провалившегося на выборах 1945 г. Черчилля сменил К. Р. Эттли, глава лейбористской партии с 1935 г. Его правление (1945—1951) отличал жесткий контроль государства над экономикой (национализация, строгое планирование, социальная защита).

[30] Об этой всеобщей забастовке см.: *Erhard L.* Wohlstand für alle. Op. cit. P. 24—32 / Trad. citée. P. 15—22.

[31] *Освальд фон Нелл-Брюнинг* (1890—1991) из Общества Иисуса, член Научного совета при министерстве экономики с 1948 по 1965 гг. Теоретик «подлинно христианского социализма», опиравшегося на социальные энциклики папы Льва XIII и Пия XI (он был редактором энциклики «Quadragesimo Anno» (15 мая 1931 г.); см.: *Nell-Breuning O. von.* Die soziale Enzyklika. Erläuterungen zum Weltrundschreiben Papst Pius' XI über die gesellschaftliche Ordnung. Cologne: Hermann, 1932); он опубликовал: Gesellschaftsordnung. Wesensbild und Ordnungsbild der menschlichen Gesellschaft. Nuremberg-Bamberg-Passau: Glock & Lutz, 1947 и (в соавторстве с *Г. Захером*) Beiträge zu einem Wörterbuch der Politik. Heft 2: Zur christlichen Staatslehre. Fribourg-en-Brisgau: Herder, 1948, а также несколько статей (о справедливой заработной плате, о понятии пролетариата и др.), развивая положения энциклики «Quadragesimo Anno». «...Убежденный во внутренней справедливости социализма, [он]

утверждал, что современный человек может вести достойную жизнь, только если принимает участие в руководстве своим предприятием, что означает не только совместное управление, но, коротко говоря, профсоюзный контроль над всей частной индустрией» (*Bark D. L., Gress D. R.* Histoire de l'Allemagne depuis 1945... P. 145); см.: *Bilger F.* La Pensée économique libérale... P. 248—253 (о сочетании конкуренции и корпоративной организации, предлагаемой Нелл-Брюнингом). Выражение (весьма относительное) «присоединение» употребляется в статье Neoliberalismus und katholische Soziallehre // Der Christ und die soziale Marktwirtschaft / Éd. P. M. Boarman. Stuttgart-Cologne: Kohlhammer, 1955. P. 101—122.

[32] Освальд Нелл-Брюнинг начиная с 1948 г. совмещал различные преподавательские должности в Университете Иоганна Вольфганга Гете во Франкфурте, а не в Мюнхене.

[33] *Теодор Бланк* (1905—1972) — депутат от CDU, бывший католический профсоюзный лидер. 26 октября 1950 г. Аденауэр поручил ему руководство тем, что должно было стать министерством обороны, с титулом «генеральный советник федерального канцлера, ответственный за дела, связанные с увеличением вооруженных сил».

[34] См.: *Bilger F.* La Pensée économique libérale... P. 211: «Христианский синдикалист, вице-президент профсоюза горнорабочих, который познакомился с трудами Фрайбургской школы и признал, что либеральный порядок составляет действенную альтернативу капитализму и планированию, которые он в равной степени отвергал».

[35] 9—11 мая 1946 г.: первый конгресс SPD (Sozialdemokratische Partei Deutschlands). Здесь Шумахер был утвержден на пост председателя.

[36] См. уже цитированный текст: *Bilger F.* La Pensée économique libérale... P. 271.

[37] *Карл Шиллер* (1911—1994) — преподаватель экономики в Гамбургском университете, был членом гамбургского парламента от SPD (1949—1957), ректором своего университета (1958—[19]59), затем отвечал за экономику Западного Берлина (1961—1965), был депутатом Бундестага (1965—1972) и федеральным министром экономики (см. след. примеч.). С 1947 г. был членом Научного совета по экономическому управлению, созданного Эрхардом.

[38] В правительстве объединявшей CDU/CSU и SPD «большой коалиции», сформированном христианско-демократическим канцлером Кизингером в декабре 1966 г., он осуществлял эту функцию

до 1972 г. (совмещая портфели экономики и финансов с 1971 по 1972 гг.). О его экономической политике см.: *Bark D. L., Gress D. R.* Histoire de l'Allemagne depuis 1945... P. 584—586.

[39] *Schiller K.* Sozialismus und Wettbewerb. Hambourg: Verlagsges, deutscher Konsumgenossenschaften, 1955.

[40] «В 1953 г. он употребил относительно социальной экономики рынка выражение, определяющее поправки, приемлемые для социал-демократов: "конкуренция насколько возможно и планирование в надлежащей и необходимой мере"» см.: *Körner [H.] et al.* Wirtschaftspolitik, Wissenschaft und politische Aufgabe. Bern: Paul Haupt, 1976. P. 86» (*Bark D. L., Gress D. R.* Histoire de l'Allemagne depuis 1945... P. 428—429). Этот знаменитый лозунг он сформулировал во время заседания SPD по экономической политике, состоявшегося в Бохуме в феврале 1953 г. Формулировка воспроизводится в программе SPD 1959 г. (см. след. прим.; *Bark D. L., Gress D. R.* Ibid. P. 430). См.: *Bilger F.* La Pensée économique libérale... Préface de D. Villey. P. XIV, 257—258.

[41] Собравшиеся на внеочередном конгрессе SPD, состоявшемся 13 ноября 1959 г. в Бад Годесберге, приняли большинством в 324 голоса против 16 «принципиальную программу» (Grundsatzprogramm), которая, порвав с вдохновлявшейся марксизмом программой, принятой в Гейдельберге (1925), ознаменовала решающий поворот линии партии.

[42] «Частная собственность на средства производства заслуживает защиты и поощрения, поскольку она не препятствует установлению справедливого общественного порядка. Эффективность мелких и средних предприятий заслуживает упрочения, чтобы они могли утвердиться в экономическом плане перед лицом крупных предприятий» (Programme fundamental du Parti social-démocrate allemande / Trad. officielle publiée par le SPD. Bonn, [s.d.]. P. 21; цит. по: *Bark D. L., Gress D. R.* Histoire de l'Allemagne depuis 1945... P. 430). См.: *Bilger F.* La Pensée économique libérale... P. 273, который отсылает к статье *Kreiterling W.* La social-démocratie révise sa doctrine // Documents. Revue des questions allemandes. 1959. P. 652 и далее.

[43] «Тоталитарная или диктаторская экономика разрушает свободу. Поэтому Немецкая социал-демократическая партия одобряет свободную экономику рынка повсюду, где утверждается конкуренция. Тем не менее, когда над рынками доминируют индивиды или группы, необходимо принимать множественные меры для сохранения свободы экономики. Конкуренция насколько возможно — планирование в необходимой мере» (Programme fun-

damental... Op. cit. P. 11; *Bark D. L., Gress D. R.* Loc. cit.). См.: *Bilger F.* Loc. cit.

[44] *Курт Шумахер* (1895—1952) — депутат Рейхстага с 1930 по 1933 гг. и председатель SPD с 1932 г. до запрета партии годом позже, при нацистском режиме десять лет провел в концентрационном лагере. В 1945 г. возродил в Ганновере центр воскреснувшей SPD, заявляя: «Либо мы сумеем сделать из Германии страну социалистическую в отношении экономики и демократическую в отношении политики, либо мы перестанем быть немецким народом» (цит. по: *Bark D. L., Gress D. R.* Op. cit. P. 188).

[45] См.: *Bilger F.* La Pensée économique libérale... P. 275: «В конце 1961 г. Вилли Брандт пригласил профессора Шиллера исполнять функции "Wirtschaftssenator" [экономический сенатор, т. е. министр экономических дел] в Западном Берлине, и в принципе считается, что он стал бы министром экономических дел в вероятном федеральном социалистическом правительстве. Шиллер, исполняя свои новые функции, систематически применял либеральную политику, а одна из его последних речей во время «экономического» заседания S. P. D. в Эссене в октябре 1963 г., в которой он очень четко утверждал свою приверженность рыночной экономике и категорически отвергал даже гибкое планирование, вызвала по всей Германии настоящую сенсацию».

[46] *Карл Герберт Фрам Брандт*, известный как Вилли Брандт (1913—1992) — депутат SPD в Бундестаге с 1950 по 1957 гг., затем мэр Западного Берлина с 1957 по 1966 гг., в 1966 г. стал министром иностранных дел в коалиционном правительстве Кизингера, а в 1969 г. был избран канцлером.

[47] *Томас Гоббс* (1588—1679). Hobbes Th. Leviathan. Londres: A. Crooke, 1651 / Trad. F. Tricaud. Paris: Sirey, 1971; *Гоббс Т.* Левиафан, или Материя, форма и власть государства церковного и гражданского // Сочинения. В 2-х т. Т. 2. М.: Мысль, 1991. С. 5—285.

[48] *Джон Локк* (1632—1704). *Locke J.* Two Treatises of Government, написаны около 1680—1683 гг., опубликованы в 1690 г. (Londres: A. Churchill); первый трактат был переведен на французский Ф. Лессе (PUF, 1998), второй — Д. Мазелем (Amsterdam, 1691), Ж. Фьо (PUF, 1953), Б. Жильсоном (Vrin, 1967) и Ж.-Ф. Спитцем (PUF, 1994) (*Локк Дж.* Два трактата о правлении // Сочинения. В 3-х т. Т. 3. М.: Мысль, 1988. С. 137—405).

[49] См. работу: *Мизес фон.* Die Gemeinwirtschaft. Untersuchungen über den Sozialismus. Op. cit. [С. 125—126 наст. изд., примеч. 11.]

[50] См.: *Foucault M.* Sécurité, Territoire, Population. Лекции 29 марта и 5 апреля 1978 г.

[51] См. лекцию 10 января 1979 г., с. 44 наст. изд., примеч. 18.

[52] *Эрих Хонеккер* (1912—1994), назначен Первым секретарем в 1971 г., после смещения Вальтера Ульбрихта.

[53] В продолжение этих исследований М. Фуко в 1983 г. задумал проект «белой книги» о политике социалистов: «Есть ли у социалистов проблематика правительства или у них есть лишь проблематика государства?» (Цит. по: *Defert D.* Chronologie // Foucault M. Dits et Écrits. I. P. 62). Этот проект, по-видимому, опирался не на вырезки из прессы, а на сделанные Фуко в то время выписки (Жорес, Блюм, Миттеран).

Лекция 7 февраля 1979 г.

Немецкий неолиберализм (II). — Его проблема: как либеральная экономика может одновременно обосновывать и ограничивать государство? Неолиберальные теоретики: В. Эйкен, Ф. Бём, А. Мюллер-Армак, Ф. фон Хайек. — Макс Вебер и проблема иррациональной рациональности капитализма. Ответы Франкфуртской и Фрайбургской школ. — Нацизм как неизбежное зло, необходимое для определения неолиберальной цели. — Препятствия либеральной политике в Германии начиная с XIX в.: (a) протекционистская экономика по Листу; (b) бисмарковский государственный социализм; (c) утверждение плановой экономики во время Первой мировой войны; (d) дирижизм кейнсианского типа; (e) экономическая политика национал-социализма. — Неолиберальная критика национал-социализма, опирающаяся на эти элементы немецкой истории. — Теоретические следствия: распространение этой критики на New Deal и план Бевериджа; дирижизм и рост мощи государства; массификация и унификация, следствия этатизма. Сущность неолиберализма: новация по отношению к классическому либерализму. Теория чистой конкуренции.

Сегодня я попытаюсь закончить то, что начал говорить вам о послевоенном немецком неолиберализме, о том неолиберализме, современниками которого мы являемся и в который мы фактически вовлечены.

Как вы помните, я пытался показать вам, что за проблема была поставлена в XVIII в. вопросом о рынке. Проблема была такова: как в данном государстве, легитимность которого, по

крайней мере в то время, не ставилась под вопрос, можно было дать место свободе рынка, исторически, а также юридически предстающей как нечто новое, поскольку в полицейском государстве, как оно функционировало в XVIII в., свобода определялась лишь как свобода привилегий, свобода ограниченная, связанная со статусом, с родом занятий, с уступками власти и т. п. Как возможна свобода рынка как свобода *laissez faire* в полицейском государстве? Такова была проблема, и ответ, данный в XVIII в., как вы помните, был очень прост и состоял в следующем: то, что должно дать место свободе рынка, что должно сделать возможным включение свободы рынка в государственные интересы и в функционирование полицейского государства, это попросту сам рынок, предоставленный самому себе, рынок, которому позволяют действовать, управляемый принципом обогащения, роста, а следовательно могущества государства. К возрастанию государства через уменьшение руководства: таков в целом ответ XVIII в.

Проблема, которая встала перед Германией в 1945 г. (точнее, в 1948 г., если сослаться на те тексты и решения, о которых я говорил вам в прошлый раз) была, очевидно, проблемой весьма и весьма отличной и прямо противоположной (именно это я пытался объяснить в прошлый раз). Проблема была такова: возьмем, если можно так выразиться, государство, которого не существует. Поставим задачу заставить государство существовать. Как легитимировать, так сказать, авансом, это будущее государство? Как сделать его приемлемым исходя из экономической свободы, которая одновременно ограничивает его и позволяет ему существовать? Это именно та проблема, именно тот вопрос, которые я пытался определить в прошлый раз и которые составляют, если угодно, первую цель (первую исторически и политически) неолиберализма. А теперь надо немного тщательнее разобраться с ответом. Каким образом экономическая свобода может быть одновременно основанием и ограничением, гарантией и залогом государства? Очевидно, это предполагает пересмотр некоторых основополагающих элементов либеральной доктрины — я говорю не столько об экономической теории либерализма, сколько о либерализме как искусстве управлять, или, если хотите, о доктрине управления.

Итак, я намерен слегка изменить своему обыкновению, то есть я собираюсь сказать вам два-три слова о биографии тех людей, которые окружали будущего канцлера Эрхарда, тех, кто планировал эту новую экономическую политику, этот новый способ сочленять экономику и политику, который характеризует современную Немецкую Федеративную Республику. Кем были эти люди? В научной комиссии, собранной Эрхардом в 1948 г., было много людей, главный из которых — Вальтер Эйкен,[1] экономист по профессии, в начале XX в. учившийся у Альфреда Вебера, брата Макса Вебера. В 1927 г. Эйкен был назначен профессором экономики во Фрайбург, где он познакомился с Гуссерлем,[2] соприкоснулся с феноменологией, познакомился с некоторыми юристами, которые в конечном счете сыграли важную роль в теории права Германии XX в., которые сами соприкоснулись с феноменологией и которые пытались пересмотреть теорию права, избегая как противоречий историцизма XIX в., так и формалистской, аксиоматической, этатистской концепции Кельзена.[3] В 1930 или [19]33 г., точной даты я не знаю, Эйкен пишет получившую в то время большой отклик статью против возможного применения кейнсианских методов для разрешения кризиса в Германии,[4] а кейнсианские методы, как известно, в ту эпоху в Германии превозносили такие люди, как Лаутенбах[5] или доктор Шахт.[6] Эйкен хранил молчание на протяжении всего нацистского периода.[7] Он оставался профессором во Фрайбурге. В 1936 г. он основал журнал под названием «Ordo»,[8] а в 1940 г. опубликовал книгу, носившую несколько парадоксальное название «Grundlagen der Nationalökonomie»,[9] тогда как в действительности в этой книге речь идет не о национальной экономике, но о том, что фундаментально, доктринально, политически ей противоположно. И именно вокруг журнала «Ordo», которым он руководит, складывается та школа экономистов, которую называют Фрайбургской или «ордолиберальной» школой. Таким образом, это и есть один из советников, и, без сомнения, самый главный из ученых советников, которых Эрхард[10] собрал в 1948 г. Итак, в эту комиссию входит Эйкен. Есть еще Франц Бём,[11] фрайбургский юрист, получивший феноменологическое образование, или во всяком случае в определенной степени ученик Гуссерля. Франц Бём впоследствии стал депутатом Бундестага и до

семидесятых годов оказывал решающее влияние на экономическую политику Германии. В эту комиссию входил также Мюллер-Армак,[12] который был историком экономии, преподавал, кажется, во Фрайбурге[13] ([но] в этом я не вполне уверен), и в 1941 г. написал очень интересную книгу, носившую курьезное название «Генеалогия экономического стиля»,[14] где он попытался определить облик сугубо экономической теории и политики, того, что сводится, так сказать, к искусству управлять экономически, управлять экономично, и что он называет экономическим стилем.[15] Мюллер-Армак станет государственным секретарем при Людвиге Эрхарде и одновременно министром экономики, это один из участников Римского договора. Вот среди прочих некоторые персонажи этой научной комиссии.

Кроме них, конечно, надо было бы назвать и несколько других людей, которые также [сыграли важную роль]* в этом новом определении либерализма, либерального искусства управлять. Они не входили в комиссию, но в действительности были ее вдохновителями, по крайней мере некоторые, и главный из них, конечно же, Вильгельм Рёпке,[16] который был экономистом в Веймарский период, который был одним из советников Шлейхера[17] и который [стал бы] министром Шлейхера, если бы Шлейхера не сместили ради Гитлера в начале 1933 г. Рёпке тоже был антикейнсианцем и в 1933 г. был вынужден отправиться в изгнание. Он уехал в Истанбул,[18] затем обосновался в Женеве.[19] Там он и оставался до конца своей карьеры, а в 1950 г. опубликовал небольшую книгу с предисловием Аденауэра, носившую заглавие «Направленность немецкой экономической политики»[20] и представлявшую собой, можно сказать, самый ясный, самый простой, самый решительный манифест новой экономической политики. Надо было бы сказать и о других. Кстати, Рёпке написал в предвоенный период и сразу после войны что-то вроде большой трилогии, наряду с «Grundlagen der Nationalökonomie» являющейся своего рода библией ордолиберализма, неолиберализма, трехтомный труд, первая часть которого носит название «Gesellschaftskrisis» («Кризис общества»)[21] — выражение, печальную судьбу кото-

---

* М. Ф.: имевших непосредственное значение для.

рого в современном политическом словаре вы знаете и которое, конечно же, явно отсылает к «Кризису европейских наук» Гуссерля.[22] Был еще Рюстов[23]. Был еще один персонаж, очевидно, очень важный, который тоже не входил в комиссию, но чья карьера, чья траектория в конце концов оказалась чрезвычайно важна для определения современного неолиберализма. Это австриец фон Хайек.[24] Он происходит из Австрии, он развивает неолиберализм, эмигрирует во время Аншлюса или прямо перед Аншлюсом. Он уезжает в Англию. Потом в США. Совершенно очевидно, что он был одним из вдохновителей современного американского либерализма, или, если угодно, анархо-капитализма, а в 1962 г. он возвращается в Германию, где становится профессором во Фрайбурге, и таким образом круг замыкается.

Я напоминаю вам эти биографические детали в силу нескольких причин. Прежде всего, дело в проблеме, вставшей перед Германией в 1948 г., а именно как совместить друг с другом легитимность государства и свободу экономических партнеров, притом что вторая должна обосновывать первую или служить залогом первой; очевидно, что те, кто с этой проблемой столкнулся и кто пытался ее разрешить в ту эпоху, уже обладали некоторым опытом. Со времен Веймарской Республики,[25] государственная легитимность которой постоянно подвергалась сомнению и которой пришлось бороться с присущими ей внутренними экономическими проблемами, в эпоху Веймарской Республики эта проблема уже была поставлена, и именно с ней начиная с 1925—1930 гг. пришлось столкнуться Эйкену, Бёму, Рёпке.

Кроме того, я набросал несколько биографических штрихов, чтобы указать вам на то, что, быть может, заслуживает несколько более тщательного изучения (теми, кто интересуется современной Германией). Любопытна эта близость (а то и параллелизм) между тем, что получило название Фрайбургской или ордолиберальной школы, и, так сказать, ее соседкой, Франкфуртской школой. Параллелизм в датах, а также в судьбах, поскольку Фрайбургскую школу, так же как и Франкфуртскую, по крайней мере частично, разогнали и принудили к изгнанию. Тот же тип политического опыта и та же самая точка отсчета, поскольку, как мне представляется, и та, и дру-

гая, Фрайбургская и Франкфуртская школы исходили из общей проблематики, которую я бы назвал политико-университетской, которая господствовала в Германии в начале XX в. и которую в определенном смысле можно назвать веберизмом. Наконец, я хочу указать на послужившего точкой отсчета той и другой Макса Вебера,[26] о котором можно было бы сказать, решительно схематизируя его позицию, что в Германии начала XX в. он был тем, кто сместил проблему Маркса.[27] Если Маркс пытался определить и проанализировать то, что можно назвать противоречивой логикой капитала, то проблема Макса Вебера и то, что Макс Вебер ввел одновременно в немецкое социологическое, экономическое и политическое мышление, было не столько проблемой противоречивой логики капитала, сколько проблемой иррациональной рациональности капиталистического общества. Этот переход от капитала к капитализму, от логики противоречия к разделению на рациональное и иррациональное, как мне кажется, и есть то, что (опять-таки очень схематически) характеризует проблему Макса Вебера. В целом же можно сказать, что как Франкфуртская школа, так и школа Фрайбургская, как Хоркхаймер,[28] так и Эйкен просто воспроизводили эту проблему в двух различных смыслах, поскольку (опять же схематично) проблема Франкфуртской школы состояла в том, чтобы определить, какой могла бы быть новая общественная рациональность, определяемая и формируемая таким образом, чтобы устранить экономическую иррациональность. В свою очередь изучение этой иррациональной рациональности капитализма стало проблемой Фрайбургской школы, и такие люди, как Эйкен, Рёпке и др., будут пытаться разрешить ее по-другому. Не открывать, изобретать, определять новую форму общественной рациональности, но определять или переопределять, или переоткрывать экономическую рациональность, которая позволит устранить общественную иррациональность капитализма. Таковы два противоположных пути разрешения одной и той же проблемы. Рациональность, иррациональность капитализма — неважно. Во всяком случае, результат был таков: и те, и другие, как вы знаете, вернулись в Германию после изгнания в 1945, [19]47 гг. — я говорю, конечно же, о тех, кого вынудили к изгнанию, — а история привела к тому, что

последние последователи Франкфуртской школы в 1968 г. сшиблись с полицией того самого правительства, которое вдохновлялось Фрайбургской школой, так что они оказались по разные стороны баррикад, поскольку таково было одновременно параллельное, перекрещенное и антагонистическое удвоение судьбы веберизма в Германии.

Есть и третья причина, по которой я упомянул детали карьеры этих людей, вдохновлявших становление неолиберальной политики в Германии, пожалуй, самая важная. Дело в том, что в самом центре их рефлексии находился нацистский опыт. Однако можно сказать, что для Фрайбургской школы нацизм был своего рода эпистемологической и политической «дорогой в Дамаск»,* то есть нацизм был для них тем, что позволило им определить то, что я назвал бы неизбежным злом, которое они должны были дефинировать и преодолеть ради достижения своей цели. Предлагая лишь стратегический анализ, никоим образом не исчерпывающий их дискурс, я скажу, что, в сущности, они должны были сделать три вещи.

Во-первых, определить цель. Эта цель, которую, как вы помните, мы анализировали в прошлый раз,[29] заключалась в обосновании легитимности государства, исходя из пространства свободы экономических партнеров. Вот что это за цель. Такова цель [19]48 г. В сущности, эта цель была поставлена уже в 1925—1930 гг., хотя тогда она и представлялась не столь настоятельной, не столь ясной и прозрачной.

Во-вторых, что им следовало определить не просто ряд противников, с которыми они могли столкнуться при достижении этой цели, но, скорее, ту систему, с которой они могли столкнуться при достижении этой цели, то есть вражеские козни, составляющие то неизбежное зло, с которым они имели дело.

А третье действие состояло в том, чтобы пересечь это вражеское поле и достичь своей цели: распределить или перераспределить имевшиеся в их распоряжении концептуальные и технические ресурсы. Именно эти два последних пункта «стратегического»** исследования я хотел бы немного проработать сегодня.

---

* Кавычки поставлены в рукописи.

** М. Фуко уточняет: в кавычках.

Как они обозначили неизбежное зло, то есть как они распознали общую логику совокупности вражеских козней или препятствий, с которыми они имели дело? Мне кажется, очень важным здесь был опыт нацизма. Конечно, немецкая либеральная мысль, даже относительно дискретная, родилась не во Фрайбургской школе. Уже многие годы такие люди, как, например, Луйо Брентано,[30] пытались поддерживать, сохранять темы классического либерализма в атмосфере, для них не слишком благоприятной. Схематизируя, можно сказать, что в Германии начиная с середины XIX в. существовало и успешно выступало на исторической сцене несколько главных препятствий, главных критик либерализма, либеральной политики. Они таковы.

Во-первых, практически сформулированный в 1840 г. Листом[31] принцип, согласно которому национальная политика и либеральная экономика несовместимы, по крайней мере в Германии. Поражение *Zollverein*[32] в попытке создать немецкое государство исходя из экономического либерализма, было тому своего рода доказательством. И Лист, и последователи Листа отстаивали принцип, согласно которому либеральная экономика, не будучи общей формулой, универсально применимой ко всякой экономической политике, никогда не могла быть и действительно не была ничем иным, как тактическим инструментом или стратегией в руках некоторых стран для обретения позиции экономической гегемонии и империалистической политики в отношении остального мира. Говоря просто и ясно, либерализм не есть общая форма, которую должна принимать всякая экономическая политика. Либерализм — это всего лишь английская политика, политика английского доминирования. В силу этого Германия со своей историей, со своим географическим положением, со всеми ее сложностями, не может позволить себе либеральную экономическую политику. Ей нужна протекционистская экономическая политика.

Вторым одновременно теоретическим и политическим препятствием, с которым столкнулся немецкий либерализм в конце XIX в., был бисмарковский государственный социализм: чтобы немецкая нация существовала в единстве, нужно, чтобы она не просто была защищена извне протекционистской поли-

тикой, нужно еще подавить, пресечь все то, что может скомпрометировать национальное единство изнутри, то есть чтобы пролетариат как угроза национальному и государственному единству эффективно реинтегрировался в социальный и политический консенсус. Такова основная идея бисмарковского государственного социализма. Итак, это второе препятствие либеральной политике.

Третьим препятствием было развитие в связи с началом войны плановой экономики, то есть техники (к которой Германию вынудило военное положение), [заключавшейся] в организации централизованной экономики вокруг административного аппарата, принимавшего основную часть решений в порядке экономии редких ресурсов, фиксации уровня цен и обеспечения всеобщей занятости. Германия не отказалась от плановой экономики и в конце войны, поскольку это планирование продолжали и социалистические правительства, и правительства не социалистические. Практически начиная с Ратенау[33] и до 1933 г. Германия жила с экономикой, которой так или иначе было присуще планирование, экономическая централизация как устойчивая или по крайней мере возвратная форма.

Наконец, четвертым препятствием, выступившим на историческую сцену Германии сравнительно недавно, был дирижизм кейнсианского типа. С 1925 и почти [...]* до 1930 гг. такие немецкие кейнсианцы, как например Лаутенбах,[34] адресовали либерализму тот тип критики, который вообще адресуют ему кейнсианцы, и предлагали определенные вмешательства государства во всеобщий баланс экономики. Таким образом, еще до захвата власти нацистами перед нами четыре элемента: протекционистская экономика, государственный социализм, плановая экономика, вмешательства кейнсианского типа; четыре элемента, составляющих столько же препятствий для либеральной политики, и именно вокруг этих четырех препятствий, начиная с конца XIX в., ведут целый ряд дискуссий все сторонники либерализма, сколько их есть в Германии. И это, так сказать, дисперсное наследие, эти дискуссии наследуют немецкие неолибералы.

---

* Одно или два слова неразборчивы.

Я знаю, что представляю ситуацию в карикатурном виде и что в действительности между этими элементами существовала не прерывность, но что-то вроде непрерывного перехода, сплошной сетки. Переход от протекционистской экономики к экономике вспоможения совершенно естествен. К примеру, планирование того типа, который предложил Ратенау, более или менее воспроизводилось в кейнсианской перспективе в конце [19]20-х [и] в 1930-х гг. Они, конечно, сообщались, но не формировали системы. Итак, что в конце концов принес нацизм, так это жесткое соединение различных элементов, то есть организацию экономической системы, в которой протекционистская экономика, экономика вспоможения, плановая экономика, кейнсианская экономика образовывали единое целое, жестко связанное целое, чьи различные части были надежно привязаны к установившейся экономической администрации. Кейнсианская политика доктора Шахта[35] сменилась в 1936 г.* четырехлетним планом, за который отвечал Геринг,[36] — впрочем, ему помогали несколько бывших советников Ратенау.[37] Планирование преследовало двойную цель: с одной стороны, обеспечить экономическую автаркию Германии, то есть абсолютный протекционизм, а с другой — осуществлять политику вспоможения, и все это, конечно, влекло за собой инфляцию, позволившую окупить подготовку к войне (это была, если угодно, милитаризованная экономика). Все это образовывало единство.

Я бы сказал, что теоретический, спекулятивный акт насилия, которым немецкие либералы были обязаны нацистской системе, состоял в том, чтобы не говорить, как говорило в то время большинство людей, и особенно, конечно же, кейнсианцы: установленная нацистами экономическая система — это чудовищно. Они вознамерились скомбинировать поистине разнородные элементы, которые придали бы немецкой экономике жесткую форму за счет внутреннего каркаса, чьи элементы противоречили и не соответствовали друг другу. Ордолиберальный акт насилия состоял в том, чтобы не говорить: нацизм — это продукт государства, оказавшегося в кризисе,

---

* М. Ф.: в 1934 г.

это последнее, к чему могли прибегнуть экономика и политика, не сумевшие преодолеть свои противоречия, и нацизм как крайняя мера не может служить аналитической моделью для всеобщей истории, или, во всяком случае, для прежней истории капитализма* в Европе. Ордолибералы отказываются видеть в нацизме чудовищность, распад экономики, крайнюю меру, применяемую на пике кризиса. Они говорят: нацизм — это истина; или, скорее: нацизм — это просто разоблачение системы взаимозависимостей между этими различными элементами. Неолибералы говорят: возьмите любой из этих элементов. Обратитесь к протекционистской экономике или к вмешательству кейнсианского типа. Конечно, это явно различные вещи, однако вы никогда не сможете развивать одну из них, не переходя к другой. То есть эти четыре элемента, которые экономическая и политическая немецкая история успешно представила на сцене правительственной деятельности, эти четыре элемента, говорят неолибералы, экономически связаны друг с другом, и, если вы принимаете один, вы не избежите трех других.

И, вновь обращаясь к этой схеме и принципу, они успешно изучают различные типы экономики, например советское планирование. Одни из них, такие как Хайек, хорошо знавший Соединенные Штаты, вновь обратились к примеру *New Deal*, другие пересмотрели английский пример, и в особенности примеры кейнсианской политики в грандиозных планах Бевериджа, выработанных во время войны.[38] Они пересмотрели все это и сказали: как бы то ни было, во-первых, в дело идут одни и те же принципы, а во-вторых, каждый из этих элементов влечет за собой три других. Также и Рёпке в 1943 или 44 г., точно не помню, опубликовал, не испытывая недостатка ни в отваге, ни в дерзости, анализ выработанного в Англии во время войны плана Бевериджа и сказал англичанам: то, что вы готовите себе с вашим планом Бевериджа, это просто нацизм. С одной стороны, вы сражаетесь с немцами на войне, но экономически, а следовательно, и политически, вы собираетесь в точности повторить их уроки. Английский лейборизм приведет вас к нацизму немецкого типа. План Бевериджа — это то, что приведет вас к

---

* М. Фуко добавляет: и для нашей истории.

плану Геринга, четырехлетнему плану 1936 г.* [39] Следовательно, они пытались нащупать что-то вроде экономико-политического инварианта, который можно обнаружить в столь различных политических режимах, как нацизм и парламентская Англия, Советский Союз и Америка *New Deal*; пытались нащупать этот соотносительный инвариант в разных режимах, в различных политических ситуациях, и установили принцип, согласно которому между социализмом и капитализмом, между одной конституциональной структурой и другой существенного различия нет. Подлинная проблема либеральной политики и любой другой формы экономического интервенционизма в том, принимает ли она относительно умеренную форму кейнсианства или резкую форму автаркического плана, как это было в Германии. Таким образом, перед нами некий инвариант, который, если угодно, можно было бы назвать антилиберальным инвариантом с присущей ему логикой и внутренней необходимостью. Именно это ордолибералы разгадали в опыте нацизма.

Второй урок, который они извлекли из нацизма, был таков. Что такое нацизм, спрашивали они. По существу и прежде всего — это бесконечный рост государственной власти. По правде говоря — сегодня это представляется общим местом, — это составляет определенный парадокс и теоретический или аналитический акт насилия, поскольку, если посмотреть на то, как функционировала национал-социалистическая Германия, думаю, наименьшее, что можно сказать, по крайней мере в первом приближении, — что это была попытка сверхсистематического утверждения ослабленного государства. Нацизм есть ослабленное государство по нескольким причинам. Это проявляется, во-первых, в самой юридической структуре национал-социалистической Германии, поскольку, как известно, государство в национал-социалистической Германии утратило свой статус юридического лица, ведь в правовом отношении государство определялось только как инструмент того, что выступало подлинным основанием права, а именно народа, *Volk*.[40] *Volk* с его организацией сообщества, народ как *Gemeinschaft*: это одновременно и правовой

---

* М. Фуко опять говорит: 1934.

принцип, и конечная цель всякой организации, всякой юридической институции, включая государство. Государство может представлять *Volk*, может представлять *Gemeinschaft*, оно может быть формой, в которой этот *Gemeinschaft* одновременно манифестирует себя и производит свои действия, однако государство — не более чем форма или, скорее, инструмент.

Во-вторых, при нацизме государство оказывается дисквалифицировано, так сказать, изнутри, поскольку принципом внутреннего функционирования аппаратов, всех аппаратов, была не иерархия административного типа с игрой власти и ответственности, характерная для европейской администрации XIX в. Это был принцип *Führertum*, принцип ведóмости, которому должны были соответствовать верность и повиновение, то есть в самой форме государственной структуры не должно было сохраняться ничего от вертикальной коммуникации, снизу вверх и сверху вниз, между различными элементами этого *Gemeinschaft*, этого *Volk*.

Наконец, в-третьих, существование партии и всего законодательного ансамбля, регламентировавшего отношения между административным аппаратом и партией, отдавало значительную часть власти партии в ущерб государству. Систематическая деструкция государства, во всяком случае его миноризация в качестве чистого и простого инструмента народного сообщества, которая была принципом фюрера, принципом существования партии, эта [миноризация]* государства обозначает его подчиненное положение.

Итак, разбирая эту ситуацию, либералы говорят: не обманывайтесь. Действительно, государство исчезает, ставится в подчиненное положение, отвергается. Тем не менее, если государство и ставится в подчиненное положение, то просто потому, что традиционные формы государства XIX в. не могут противостоять тому новому требованию этатизации, которое как раз и выдвигала экономическая политика III Рейха. Действительно, если вы принимаете ту экономическую систему, о которой я говорю, вам необходимо заставить функционировать что-то вроде сверхгосударства, надстройку над государством, чего известные на тот момент организационные и институцио-

---

* М. Ф.: субординация.

нальные формы обеспечить не могут. Отсюда необходимость для этого нового государства выйти за пределы известных форм и создать типы надгосударственных надстроек, усилителей государственной власти, которые репрезентирует тема *Gemeinschaft*, принцип повиновения фюреру, существование партии. Таким образом, надгосударственные надстройки, рождающееся государство, подвергающиеся этатизации институции являют собой все то, что нацисты, напротив, представляют как разрушение буржуазного и капиталистического государства. Следовательно, что позволяет им сделать другое заключение, так это то, что в действительности между той экономической организацией, о которой я только что говорил, и ростом государства существует необходимая связь, являющаяся причиной того, что ни один из элементов экономической системы не может быть принят без того, чтобы потом мало-помалу не просочились три другие, и того, что каждый из этих элементов необходим для становления, функционирования и роста государственной власти. Экономический инвариант, с одной стороны, и рост государственной власти, даже в очевидно нелепых по сравнению с классическим государством формах — с другой,— вещи абсолютно взаимосвязанные друг с другом.

Наконец, третий акт насилия, который нацизм позволил ордолибералам совершить по отношению к проблеме, которую они хотели разрешить, таков. Критику, направленную нацистами на капиталистическое, буржуазное, утилитаристское, индивидуалистическое общество, можно возводить к Зомбарту,[41] поскольку Зомбарт, следуя траектории между квазимарксизмом [и] квазинацизмом, между 1900 и 1930 гг. сформулировал и обобщил... исчерпывающее резюме обнаруживается в его книге «Der deutsche Sozialismus».[42] Что породили буржуазные и капиталистические экономика и государство? Они породили общество, в котором индивиды вырваны из своего естественного сообщества и объединены друг с другом, так сказать, в плоской и анонимной форме, являющейся формой массы. Капитализм производит массу. Следовательно, капитализм производит то, что Зомбарт не называет одномерностью,[43] но чему он дает именно такое определение. Капитализм и буржуазное общество лишили индивидов прямого и непосредственного общения друг с другом и заставили их общаться лишь при по-

средстве административного и централизованного аппарата. Таким образом, индивиды сводятся к положению атомов, покорных абстрактной власти, в которой они не узнают себя. Кроме того, капиталистическое общество принуждает индивидов к массовому потреблению, чьи функции — унификация и нормализация. Наконец, буржуазная и капиталистическая экономика, по сути, обрекает индивидов на общение друг с другом посредством игры знаков и видимостей.* [44] Зомбарт фактически с 1900-х гг.[45] развивал эту критику, ставшую теперь, как вы знаете, одним из общих мест мысли, над артикуляцией и основанием которой мы не задумываемся и которая выступает критикой массового общества, общества одномерного человека, авторитарного общества, общества потребления, общества спектакля[46] и т. п. Вот что говорил Зомбарт. Нацисты, впрочем, приняли все это на свой счет. И в противоположность разрушению общества [капиталистическими]** экономикой и государством нацисты предложили сделать то, что они хотели сделать.

Однако, говорят неолибералы, если мы присмотримся к нацистам с их организацией, с их партией, с их принципом *Führertum*, чем они занимаются? На самом деле они не занимаются не чем иным, как акцентированием этого массового общества, общества унифицированного и нормализованного потребления, общества знаков и спектаклей. Давайте посмотрим, что такое нацистское общество в своем функционировании. Оно всецело принадлежит порядку массы, массы Нюрнберга, Нюрнбергских спектаклей, унифицированного потребления для всех, идеи Фольксвагена и т. п. Все это лишь возобновление, интенсификация черт буржуазного капиталистического общества, которое разоблачал Зомбарт и над которым претендовали возвыситься нацисты. А почему это так? Почему они только и делают, что воспроизводят то, что намеревались разоблачить? Потому ли, что, как утверждал Зомбарт и как утверждают после него нацисты, все эти элементы не являются результатом и продуктом буржуазного капиталистического общества? Напротив, это продукт и результат общества, для которого экономически неприемлем либерализм, общества

---

* В рукописи: «видимости».

** В рукописи: социалистическими.

или, скорее, государства, избравшего протекционистскую политику, политику планирования, в которой рынок не играет никакой роли и при которой администрация, государственная или парагосударственная администрация, заботится о повседневном существовании индивидов. Эти феномены массовости, феномены унификации, феномены спектакля — все это связано с этатизмом, с антилиберализмом и не связано с рыночной экономикой.

Обобщая все то, что сделало нацистский опыт поворотным моментом для либералов Фрайбурга, можно сказать: они были уверены, что смогли установить (таков, если угодно, их выбор противника, то, как они артикулировали необходимое для определения их стратегии зло), что нацизм, во-первых, представлял собой экономический инвариант, индифферентный и независимый от оппозиции социализм/капитализм и от конституциональной организации государства; во-вторых, они были уверены, что им удалось установить, что национал-социализм был инвариантом, связанным одновременно как причина и как следствие с бесконечным ростом государственной власти; в-третьих, что этот инвариант, связанный с ростом государства, имел своим основным, первым и зримым следствием разрушение сети, ткани социальной общности, вызвавшее что-то вроде цепной реакции, циклической реакции — и протекционизм, и дирижистскую экономику, и рост государственной власти.

Все то, что противостоит либерализму, все то, что рассчитывает управлять экономикой этатистски, составляет, таким образом, инвариант, историю которого можно проследить через развитие европейских обществ начиная с конца XIX в., а точнее с начала XX в., то есть с того момента, когда либеральное искусство управлять, так сказать, само себя запугало своими собственными последствиями и когда оно попыталось ограничить следствия, которые должно было бы извлечь из своего собственного развития. Как оно пыталось ограничить их? Посредством техники вмешательства, состоявшей в том, чтобы применить к обществу и к экономике тип рациональности, считавшийся пригодным для наук о природе. Короче, то, что называется техникой. Технизация этатистского руководства, контроль над экономикой, а также технизация самого анализа

экономических явлений: именно это ордолибералы называют «вечным сен-симонизмом»,[47] а Сен-Симон[48] порождает у них характерное для либерального искусства управлять головокружение, заставляющее подыскивать для общества схемы рациональности, присущие природе, принцип ограничения, принцип организации, который в конечном итоге привел к нацизму. Таким образом, от Сен-Симона до нацизма перед нами цикл рациональности, влекущей за собой вмешательства, рост государства, становление администрации, которая сама функционирует согласно типам технической рациональности, что представляет генезис нацизма на протяжении двухвековой, во всяком случае полуторавековой, истории капитализма.

Как видите, предприняв такое исследование в рамках политической мысли, экономического и социологического анализа (я, конечно, схематизирую все то, что они сказали между 1935 и 1945 или [19]50 гг.), ордолибералы подбросили хорошенький подарок, поскольку именно вслед за этим жанром исследования обрушился целый вал дискурсов и исследований, которые вам хорошо знакомы: традиционные критики буржуазного общества, исследования бюрократии; тема нацизма, которая у всех у нас в голове, тема нацизма как разоблачения и последней точки в развитии исторической природы капитализма; негативная теология государства как абсолютного зла; возможность развертывания такой же критики происходящего в Советском Союзе и США, нацистских концентрационных лагерей и карточек социального обеспечения и т. п. Все это вам хорошо знакомо, и эта серия теоретических и аналитических актов насилия, как мне кажется, берет начало в ордолиберализме.

Но самое существенное, на мой взгляд, не в этом, а скорее в том следствии, которое ордолибералы выводили из серии исследований, а именно: поскольку изъян, поставленный в упрек рыночной экономике, поскольку разрушительные эффекты, которыми традиционно попрекали рыночную экономику, как показывает нацизм, приписывать нужно вовсе не рыночной экономике, но, напротив, ответственность за них нужно возложить на государство и, так сказать, на внутренние изъяны государства с присущей ему рациональностью, нужно полностью изменить ход исследований. И вместо того чтобы говорить, как

должно ограничивать государство относительно свободную рыночную экономику, чтобы ее результаты были наименее вредоносны? — нужно рассуждать совсем иначе. Нужно сказать: ничто не доказывает, что у рыночной экономики есть недостатки, ничто не доказывает, что у нее есть внутренние изъяны, поскольку все, что ей приписывают как недостаток и как следствие изъяна, следует приписывать государству. Итак, давайте сделаем обратное, давайте потребуем от рыночной экономики намного больше, чем требовали от нее в XVIII в. А чего требовали от рыночной экономики в XVIII в.? Говорили о государстве: начиная с такого-то ограничения, когда речь идет о таком-то вопросе, и начиная с границ такой-то области ты больше не вмешиваешься. Этого недостаточно, говорят ордолибералы. Поскольку оказывается, что любого рода государство есть носитель внутренних изъянов, и ничто не доказывает, что это изъяны рыночной экономики, давайте будем требовать от рыночной экономики, чтобы она стала не принципом ограничения государства, но принципом внутреннего регулирования государства от края до края его существования и его деятельности. Иначе говоря, вместо того чтобы принимать свободу рынка, определяемую государством и удерживаемую, так сказать, под государственным надзором (что было своего рода исходной формулой либерализма: установим пространство экономической свободы, ограничим его рамками государства, которое будет за ним надзирать), говорят ордолибералы, следует полностью перевернуть эту формулу и предоставить свободу рынку как организационному и регулятивному принципу государства с самого начала его существования и до последних форм его вмешательств. Другими словами, скорее государство под надзором рынка, чем рынок под надзором государства.

Мне представляется, что такого рода переворачивание ордолибералы могли произвести, лишь исходя из предпринятого ими анализа нацизма, опираясь на который, они в 1948 г. попытались разрешить стоявшую перед ними проблему, а именно: несуществующее государство, государство, которое нужно легитимировать, сделать приемлемым в глазах тех, кто питал к нему наибольшее недоверие. Итак, давайте примем свободу рынка, и мы получим механизм, который сможет обосновать государство и который, контролируя его, даст всем, кто небез-

основательно сомневается, требуемые ими гарантии. Вот чем было, как мне кажется, это переворачивание.

И здесь, как мне кажется, можно ситуировать то, что оказалось самым важным, решающим для современного неолиберализма. Не нужно питать иллюзии, будто современный либерализм, как это слишком часто говорят, представляет собой воскрешение,* возврат старых форм либеральной экономики, сформулированных в XVIII и XIX вв., которые в настоящее время капитализм якобы реактивировал в силу определенных обстоятельств, таких как его слабость, сотрясающие его кризисы, определенные политические или более или менее локальные и конкретные цели. В действительности задача современного неолиберализма, принимает ли он немецкую форму, о которой я сейчас говорю, или американскую форму анархо-либерализма, гораздо важнее. Эта задача состоит в том, чтобы выяснить, может ли рыночная экономика служить принципом, формой и моделью государства, чьи изъяны в настоящее время вызывают недоверие у всего мира как у правых, так и у левых. Все сходятся в критике государства, в разоблачении разрушительных и вредоносных эффектов государства. Но внутри этой всеобщей критики, этой путаной критики, не обнаруживающей большого различия от Зомбарта до Маркузе, так сказать, наперекор и вопреки этой критике, не норовит ли либерализм протащить то, что является его подлинной целью, то есть всеобщую формализацию государственной власти и организацию общества, исходя из рыночной экономики? Может ли рынок выступать эффективной силой формализации и для государства, и для общества? Такова важнейшая проблема, основание современного либерализма, и именно в силу этого он представляет значительнейшую мутацию по отношению к традиционным либеральным проектам, рождение которых мы видели в XVIII в. Речь идет не просто о допущении свободной экономики. Речь идет о том, чтобы выяснить, как далеко распространяется информационное, политическое и социальное влияние рыночной экономики. Такова цель. Итак, для того чтобы ответить: да, рыночная экономика действительно способна и ин-форми-

---

* М. Ф.: la resurgescence [?].

ровать государство, и ре-формировать общество, или ре-формировать государство и ин-формировать общество, ордолибералы произвели определенные смещения, трансформации, инверсии традиционной либеральной доктрины, и именно эти трансформации я хотел бы объяснить немного подробнее.*

Итак, первое смещение — это смещение обмена, смещение от обмена к конкуренции как принципу рынка. Говоря в самых общих чертах, чем определялся или, вернее, исходя из чего описывался рынок в либерализме XVIII в.? Он определялся и описывался исходя из обмена, свободного обмена между двумя партнерами, которые своим обменом устанавливают эквивалентность между двумя ценностями. Моделью и принципом рынка был обмен, и для того чтобы рынок был приемлемым, чтобы эквивалентность в самом деле была эквивалентностью, конечно же, требовались свобода рынка, невмешательство третьего лица, какой бы то ни было власти, a fortiori государственной власти. Самое большее, что требовалось от государства, — следить за бесперебойной работой рынка, то есть сделать так, чтобы соблюдалась свобода обменивающихся. Таким образом, государство не должно вмешиваться во внутренние дела рынка. Вместо этого от государства требовали вмешиваться в производство в том смысле, в каком либеральные экономисты середины XVIII в. говорили, что, когда что-то производится, то есть когда во что-то вкладывается труд, нужно, чтобы всеми соблюдалась частная собственность на то, что производится. И тогда, в силу этой необходимости частной собственности на продукцию, возникала потребность в государственной власти. Однако рынок должен был быть, так сказать, неприкосновенным и свободным местом.

Так вот, для неолибералов сущность рынка заключается не в обмене этой разновидности первобытной и фиктивной ситуации, которую задавали либеральные экономисты XVIII в. Она в другом. Сущность рынка заключается в конку-

---

* Здесь М. Фуко прерывается, чтобы сказать:

Я заметил, что уже поздно, я не уверен, что стоит обращаться к подробностям... Как вы полагаете? [*Из зала слышится «да».*] Пять минут, не больше.

ренции. Впрочем, в этом отношении неолибералы только и делают что следуют эволюции либеральной мысли, доктрины и теории XIX в. Практически повсеместно в либеральной теории с конца XIX в. признается, что сущность рынка есть конкуренция, то есть не эквивалентность, а, напротив, неравенство.[49] А проблема конкуренции/монополии куда в большей степени составляет сущностный каркас теории рынка, чем проблема ценности и эквивалентности. Таким образом, ордолибералы не выходят за рамки исторической эволюции либеральной мысли. Они повторяют классическую концепцию и принцип, согласно которому конкуренция и только конкуренция может обеспечить экономическую рациональность. Как она может обеспечить экономическую рациональность? Посредством формирования цен, способного в той мере, в какой существует повсеместная и всеобщая конкуренция, соразмерять экономические величины, а следовательно, регулировать выбор.

В отношении либерализма, сосредоточенного на проблеме конкуренции, в свою очередь центрированной на конкуренции теории рынка, ордолибералы намереваются предложить нечто, как мне представляется, специфичное [для них].*

Маржиналистская и неомаржиналистская концепция рыночной экономики XIX [и] XX вв. говорит так: поскольку рынок может функционировать только за счет свободной и всеобщей конкуренции, нужно, следовательно, чтобы государство воздерживалось от видоизменения конкуренции, такой, как она существует, и от введения элементов монополии, конкуренции и т. п., которые изменили бы это состояние конкуренции. Самое большее, оно должно вмешиваться, чтобы воспрепятствовать нарушению этой конкуренции теми или иными феноменами, например феноменом монополии. Таким образом, они продолжают выводить из принципа рыночной экономики то же самое следствие, которое выводилось из него в XVIII в., когда рыночная экономика определялась обменом, точнее *laissez-faire*. Иначе говоря, либералы XVIII в., как и либералы XIX** в., из принципа рыночной эко-

---

* М. Ф.: что, как мне кажется, специфично для них.

** М. Ф.: XX.

номики выводили необходимость *laissez-faire*. Одни выводят ее из обмена, другие — из конкуренции, но во всяком случае логическое, политическое следствие рыночной экономики — это *laissez-faire*.

Итак, здесь ордолибералы порывают с традицией либерализма XVIII и XIX вв. Они говорят: из принципа конкуренции как организующей формы рынка не может и не [должно]* выводиться *laissez-faire*. Почему? Потому, говорят они, что когда из рыночной экономики вы выводите принцип *laissez-faire*, в сущности, вы все еще следуете тому, что можно было бы назвать «натуралистической наивностью»,** то есть вы считаете, что рынок, определяется ли он обменом или конкуренцией, так или иначе есть что-то вроде природной данности, что-то, что производится спонтанно и что́ государство должно признавать, поскольку это природная данность. Но это, говорят ордолибералы, (здесь нетрудно заметить влияние Гуссерля),[50] натуралистическая наивность. Ведь что такое конкуренция? Это не обязательно природная данность. Конкуренция с ее игрой, с ее механизмами и позитивными результатами, которые признаются и ценятся, — это не явление природы, не результат естественной игры аппетитов, инстинктов, поступков и т. п. В действительности конкуренция не обязана своими результатами сущности, которой она обладает, которая ее характеризует и которая ее конституирует. Этими благотворными результатами конкуренция обязана не предсуществованию природы, природной данности, которую она несет с собой. Она обязана ими формальной привилегии. Конкуренция — это сущность. Конкуренция — это *эйдос*.[51] Конкуренция — это принцип формализации.[52] У конкуренции своя собственная логика, своя собственная структура. Следствия выводятся только при условии, что эта логика соблюдена. Это, так сказать, формальная игра между неравенствами, а не природная игра между индивидами и поступками.

И так же, как у Гуссерля формальная структура не дается в усмотрении без определенных условий, так и конкуренция как

---

* М. Фуко повторяет: может.

** Кавычки в рукописи.

сущностная экономическая логика появляется и производит свои результаты только при определенных, тщательно и детально соблюдаемых условиях. Таким образом, чистая конкуренция не является изначальной данностью. Она может быть лишь результатом длительного усилия и, по правде говоря, никогда не достигается. Она должна и может быть лишь целью, предполагающей как следствие политику бесконечной активизации. Конкуренция, таким образом, есть историческая цель искусства управления, а не природная данность, которую нужно признавать. В такого рода анализе обнаруживается и влияние Гуссерля, и что-то вроде веберовского схождения истории и экономики.[53] Они говорят: экономическая теория должна заниматься анализом конкуренции как формального механизма и определением ее оптимальных результатов. Но то, что действительно происходит в известных нам обществах, можно [анализировать],* лишь исходя из теории конкуренции. Анализировать это можно, лишь обращаясь к реальным историческим системам, внутри которых формируется или деформируется игра формальных экономических процессов. А значит необходим исторический анализ систем, так сказать, пересекающийся, как горизонталь пересекается с вертикалью, с формальным анализом экономических процессов. Экономика анализирует формальные процессы, история должна анализировать системы, делающие возможным или невозможным функционирование этих формальных процессов.[54]

Разрыв (и это третье следствие, выводимое ими отсюда) между конкурентной экономикой и государством, взаимное разграничение различных областей более, как видите, невозможны. Больше нет рыночной игры, которую оставляют свободной с тем, чтобы потом в нее вмешивалось государство, поскольку рынок, или, скорее, чистая конкуренция как сущность рынка, может возникнуть, только если ее производят, и если ее производят посредством правительственной деятельности. Таким образом, перед нами своего рода наложение рыночных механизмов, упорядочиваемых конкуренцией, и правительственной политики. Правление должно от начала до конца сопутствовать рыночной экономике. Рыночная экономика ни в чем не

---

* М. Ф.: делать.

ускользает от правления. Напротив, она служит индикатором, составляет общий индекс, под которым следует расположить правило, определяющее все правительственные действия. Следует править ради рынка, а не из-за рынка. Так что, как видите, это полный переворот по отношению к либерализму XVIII в. Проблема такова: каким должен быть тип ограничения, или, скорее, каким должно быть в отношении искусства управлять, следствие того общего принципа, согласно которому рынок — это то, что в конечном итоге должно производить правление? И, как в хорошем фельетоне, это именно то, что я попытаюсь объяснить вам в следующий раз.

Примечания

[1] *Вальтер Эйкен* (1891—1950) — глава немецкой школы неолиберализма (Фрайбургской школы), позиции которой были представлены в журнале «Ordo» (см. примеч. 8). После изучения экономики в Бонне и в Берлине, где он был учеником противника исторической школы Генриха Дитцеля, и одного из последних представителей этого направления Генриха Шумахера, преемника Густава Шмоллера в Берлинском университете (ставший его ассистентом Эйкен порвал с ним в 1923 г., констатировав неспособность историзма ответить на проблему инфляции), в 1925 г. он был назначен профессором в Тюбинген, затем, в 1927-м, во Фрайбург, где оставался до самой смерти. См.: *Bilger F.* La Pensée économique libérale de l'Allemagne contemporaine. Op. cit. P. 39—70.

[2] Об отношениях Эйкена с Гуссерлем см.: *Bilger F.* Ibid. P. 47 («С самого его прибытия в город Эйкена связывала крепкая дружба с Гуссерлем, духовно близким Рудольфу Эйкену. У них сложились тесные отношения, к сожалению, скоро прерванные смертью философа. А Вальтер Эйкен в своих трудах признавал влияние создателя феноменологии на формирование своего экономического метода. В частности, он нередко ссылается на главную книгу Гуссерля «Die logische Untersuchungen» [Halle: S. Niemeyer, 1928], критический и позитивный аспект которой он перенес в политическую экономию»). Подробнее см.: *Klump R.* On the phenomenological roots of German *Ordnungstheorie*: what Walter Eucken owes to Edmund Husserl // L'Ordolibéralisme allemande: aux sources de l'économie sociale de marché / Dir. P. Commun. Université de Cergy-Pontoise, CIRAC/CICC, 2003. P. 149—162.

[3] Среди которых Ганс Гроссман-Доерт и Франц Бём (об этом последнем см. примеч. 11). См.: *Bilger F.* Op. cit. P. 47—48 и 71—74. О Кельзене см.: *Foucault M.* Sécurité, Territoire, Population. Лекция 25 января 1978 г. P. 81 n. 1.

[4] *Eucken W.* Staatliche Strukturwandlungen und die Krisis des Kapitalismus («Структурные изменения государства и кризис капитализма») // Weltwirtschaftliches Archiv. Iéna. Vol. 36 (2). 1932. P. 297—321.

[5] *Вильгельм Лаутенбах* (1891—1948). См. в особенности его статью: *Lautenbach W.* Auswirkungen der unmittelbaren Arbeitsbeschaffung // Wirtschaft und Statistik. 1933. Vol. 13, N 21 (Переиздано в Der Keynesianismus / Ed. G. Bombach et al. Berlin: Springer, 1981. P. 302—308) и его посмертно изданный труд: Zins, Kredit und Produktion. Tübingen: J. C. B. Mohr, 1952.

[6] *Ялмар Грили Горас Шахт* (1877—1970) — сперва, с ноября 1923 г. по март 1930 г., президент Reichsbank, затем, с июля 1934 г. по ноябрь 1937 г., министр экономики. Выступал против Геринга и расходов на вооружение (см. примеч. 36), однако сохранял звание министра без портфеля до 1943 г. См.: *François-Poncet J.* La Politique économique de l'Allemagne occidentale. Op. cit. P. 21—22.

[7] Совсем наоборот, с конца 1933 г. В. Эйкен участвовал в семинаре, организованном экономистом Карлом Диллем и объединившем противников нацизма с разных факультетов (среди которых — историк Герхард Риттер и теолог Клеменс Бауер). Он решительно выступал против политики, проводимой Хайдеггером на посту ректора Фрайбургского университета. Соучредитель вместе с некоторыми католическими и протестантскими теологами, *Freiburger Konzil*, составлявшего, без сомнения, единственную оппозиционную нацизму группу, созданную университетскими преподавателями после погромов 1938 г., во время войны он принимал участие в дискуссиях *Arbeitsgemeinschaft Volkwirtschaftslehre*, воодушевляемого Эрвином фон Бекератом из *Gruppe IV* (занимавшейся экономическими вопросами) *Akademie für Deutsches Recht*, основанной нацистами в 1933—34 гг. для германизирования права. *Gruppe IV* была создана в январе 1940 г. Ее организатор, Йенс Йессен, пламенный противник национал-социализма, был казнен в ноябре 1944 г. за участие в июльском заговоре против Гитлера. Сама *Gruppe IV*, представлявшая собой подпольный оппозиционный форум, была распущена в марте 1943 г., но дебаты между экономистами — о переходной экономике послевоенного периода — продолжались в частном порядке внутри «кружка Бекерата». В этот период Эйкен опубликовал несколько статей. См.: *Rieter H., Schmolz M.* The ideas of German

Ordoliberalism 1938—1945: pointing the way to a new economic order // The European Journal of the History of Economic Thought. 1993. I (1). P. 87—114; *Klump R.* On the phenomenological roots of German *Ordnungstheorie*... Op. cit. P. 158—160.

[8] М. Фуко путает дату публикации предисловия, подписанного Ф. Бёмом, В. Эйкеном и Г. Гроссман-Доертом и озаглавленного «Наша задача» в первом томе серии «Die Ordnung der Wirtschaft», которой руководили эти три автора (см. английский перевод этого текста под названием «The Ordo Manifesto of 1936» (Germany's Social Market Economy: Origins and evolution / Eds A. Peacock & H. Willgerodt. Londres: Macmillan, 1989. P. 15—26)), с датой выхода первого номера журнала «Ordo» в 1948 г. Этот последний выходил в виде ежегодника с 1948 по 1974 гг. у Хельмута Кюппера в Дюссельдорфе, а затем, начиная с 1975 г., у Густава Фишера в Штутгарте.

[9] *Eucken W.* Die Grundlagen der Nationalökonomie. Iéna: G. Fischer, 1940. 2e éd. 1942 (The Foundations of Economics: History and theory in the analysis of economic reality / Transl. T. W. Hutchison. Londres: William Hodge, 1950).

[10] См. с. 127 наст. изд., примеч. 19.

[11] *Франц Бём* (1895—1977). Юридический консультант в министерстве экономики в 1925—1932 гг., преподавал право в университетах Фрайбурга и Йены с 1933 по 1938 гг., но был вынужден уйти в отставку из-за неприятия политики антисемитизма. После войны он стал министром культуры Гессена (1956—1946), затем профессором гражданского и экономического права во Франкфуртском университете. Был членом Бундестага (CDU) с 1953 по 1965 гг. а с 1948 по 1977 гг. играл активную роль в Научном совете «Verwaltung für Wirtschaft des Vereinigten Wirtschaftsgebietes» во Франкфурте. В 1965 г. он стал первым германским посланником в Израиле. Основные труды: Wettbewerb und Monolkampf. Berlin: C. Heymann, 1933; Die Ordnung der Wirtschaft als geschichtliche Aufgabe und rechtsschöpferische Leistung. Stuttgart-Berlin: Kohlhammer, 1937; Wirtschaftsordnung und Staatsvertfassung. Tübingen: J.C.B. Mohr, 1950. См. также: Reden und Schriften. Karlsruhe: C. F. Müller, 1960. Вместе с В. Эйкеном и Г. Гроссман-Доертом, он был одним из тех, кто подписался под «ордолиберальным манифестом» 1936 г. (см. примеч. 8).

[12] *Альфред Мюллер-Армак* (1901—1978) — ассистент отделения экономики Кельнского университета с 1926 г., в 1940 г. получил профессорское кресло в Мюнстере, а затем, в 1950 г., опять в Кельне. В 1933 г. вступил в национал-социалистическую партию, отрекся от своей расовой доктрины (см. его книгу Staatsidee und Wirtschaftsordnung im neuen Reich. Berlin: Junker & Dünnhaupt, 1933), за-

тем стал все дальше отходить от своих религиозных убеждений. С 1952 по 1963 г. был управляющим министерства экономики и государственным секретарем по европейским проблемам. В этой должности принимал участие в редакции Римского договора. Вышел в отставку в 1963 г., чтобы занимать посты административных советников некоторых крупных предприятий. Кроме того, был членом группы Мон-Пелерин, созданной в 1947 г. в Швейцарии по инициативе Ф. Хайека с тем, чтобы защищать свободное предпринимательство, в которой также принимали участие Л. фон Мизес, В. Рёпке и М. Фридман. См.: *Bilger F.* La Pensée économique libérale... P. 111—112. Основные труды (помимо Genealogie der Wirtschaftsstile: см. примеч. 14): Wirtschaftslenkung und Marktwirtschaft. Düsseldorf: Verlag Wirtschaft und Finanzen, 1946, 2e éd. 1948; Diagnose unserer Gegenwart. Zur Bestimmung unseres geistesgeschichtlichen Standortes. Gütersloh: Bertelsmann, 1949; Religion und Wirtschaft. Geistesgeschichtliche Hintergründe unserer europäischen Lebensform. Stuttgart: Kohlhammer, 1959.

[13] В действительности в Кельне (см. предыдущее примечание).

[14] *Müller-Armack A.* Genealogie der Wirtschaftsstile: die geistesgeschichtlichen Ursprünge der Staats- und Wirtschaftsformen bis zum Ausgang des 18. Jahrhunderts. Stuttgart: Alfred Kohlhammer, 1941. 3e éd. 1944. Автор «пытается показать, что экономическая организация времени есть экономический перевод господствующей "Weltanschauung" ("Идеологии")» и «выводит из этого необходимость строить после войны экономику, соответствующую новому "стилю жизни", который должны принять немцы» (*Bilger F.* La Pensée économique libérale... P. 109—110).

[15] Понятие «экономического стиля» (*Wirtschaftsstil*), обозначающее глобальную социоэкономическую форму общества в данную эпоху, выработал А. Спиетхофф (Spiethoff A. Die allgemeine Volkswirtschaftslehre als geschichtliche Theorie. Die Wirtschaftsstile // Schmollers Jahrbuch für Gesetzgebung, Verwaltung und Wirtschaft im Deutschen Reich. 1932. II. 56) для углубления и уточнения понятия «экономическая система» (*Wirtschaftssystem*), а в оборот ввел В. Зомбарт в 1920-е гг. (Die Ordnung des Wirtschaftslebens. Berlin: Julius Springer, 1927; Die drei Nationalökonomien — Geschichte und System der Lehre von der Wirtschaft. Berlin: Duncker & Humblot, 1930). Таким образом, оно отчасти вписывалось в продолжение проблематики немецкой исторической школы, выражая озабоченность более строгим изучением типологии. Это понятие стало объектом критического исследования *В. Эйкена* «Die Grundlagen der Nationalökonomie». Op. cit. P. 71—74. См.: *Möller H.* Wirtschaftsordnung, Wirtschaftssystem und Wirtschaftsstil:

ein Vergleich der Auffassungen von W. Eucken, W. Sombart und A. Spiethoff // Schmollers Jahrbuch für Gesetzgebung, Verwaltung und Volkswirtschaft. Berlin: Duncker & Humblot, 64, 1940. P. 75—98. В своих статьях 1950—1960-х гг. Мюллер-Армак часто использует понятие стиля для определения программы действий общественной рыночной экономики (см., напр.: Müller-Armack A. Stil und Ordnung der sozialen Marktwirtschaft (1952) // Wirtschaftsordnung und Wirtschaftspolitik. Fribourg-en-Brisgau: Rombach, 1966. P. 231—242). См.: *Broyer S. Ordnungstheorie* et ordolibéralisme: les leçons de la tradition // L'Ordolibéralisme allemande... Dir. P. Commun. Op. cit. P. 90—95.

[16] *Вильгельм Рёпке* (1899—1966) — преподаватель экономики в Марбургском университете, был уволен по политическим соображениям. Убежденный сторонник неомаржинализма, в 1930—31 гг. он был назначен членом официальной комиссии по изучению безработицы. См.: *Bilger F.* La Pensée économique libérale... P. 93—103; *François-Poncet J.* La Politique économique... P. 56—57.

[17] *Курт фон Шлейхер* (1882—1934) — министр Рейхсвера (июнь 1932 г.), стал канцлером после отставки фон Папена (декабрь 1932 г.), однако в январе 1933 г. был вынужден уступить место Гитлеру. В следующем году он был убит нацистами. По-видимому, Фуко здесь путает Рёпке и Рюстова (см. примеч. 23). Именно этому последнему в январе 1933 г. Шлейхер хотел доверить министерство экономики.

[18] ...где и познакомился с социологом Александром Рюстовом, тоже эмигрировавшим (см. примеч. 23).

[19] В 1937 г. Там он преподавал в Институте высшего международного образования. Кроме того, с 1960 по 1962 г. он возглавлял Общество Мон-Пелерин.

[20] *Röpke W.* Ist die deutsche Wirtschaftspolitik richtig? Analyse und Kritik. Stuttgart: Kohlhammer, 1950 (см.: *Bilger F.* La Pensée économique libérale... P. 97): rééd. in Grundtexte zur Sozialen Marktwirtschaft / Eds W. Stützel et al. Op. cit. [см. с. 128 наст. изд., примеч. 21] P. 49—62.

[21] *Röpke W.* Die Gesellschaftskrisis der Gegenwart. Erlenbach-Zurich: E. Rentsch, 1942, 4[e] éd. 1945 (издание снабжено многочисленными примечаниями и указателем); rééd. «Petite Bibliothèque Payot», 1962. В Германии труд был запрещен вскоре после его публикации (см. «Völkische Beobachter» от 11 июля 1942 г.). Другие тома, дополняющие эту книгу: Civitas Humana: Grundfragen der Gesellschafts- und Wirtschaftsreform. Erlenbach-Zurich: E. Rentsch, 1944 (Civitas Humana, ou les Questions fondamentales de la Réforme économique et sociale: capitalisme, collectivisme, humanisme écono-

mique, État, société, économie / Trad. P. Bastier. Paris: Librairie de Médicis, 1946) и Internationale Ordnung. Erlenbach-Zurich: E. Rentsch, 1945 (La Communauté internationale / Trad. [anon.]. Genève: C. Bourquin («Bibliothèque du cheval ailé»), 1947. Кроме того, в 1945 г. Рёпке опубликовал книгу о «немецком вопросе» «Die deutsche Frage» (Erlenbach-Zurich: E. Rentsch), в которой рекомендовал конституционную монархию как средство восстановления *Rechtsstaat*.

[22] *Husserl E.* Die Krisis der europäischen Wissenschaften und die transzendentale Phänomenologie. W. Biemel, 1954 (*Husserl E.* La Crise des sciences européenes et la Phénoménologie transcendantale / Trad. G. Granel. Paris: Gallimard, 1976; *Гуссерль Э.* Кризис европейских наук и трансцендентальная феноменология // Логические исследования. Картезианские размышления. Кризис европейских наук и трансцендентальная феноменология. Кризис европейского человечества и философия. Философия как строгая наука. Минск: Харвест; М.: АСТ, 2000). Окончательная версия этого труда относится к посмертным произведениям Гуссерля, но первая часть, представленная в двух выступлениях в Вене и в Праге в 1935 г., была опубликована в 1936 г. в Белграде, в журнале Артура Либерта «Philosophia». Так что Рёпке мог познакомиться с этим текстом. Однако он не дает никакой явной отсылки. Его источник или его явная отсылка скорее религиозная, нежели философская. См. Civitas Humana / Trad. citée. P. 12.: «[...] Внимательный читатель знаменитой и слишком часто недооцениваемой энциклики "Quadragesimo Anno" (1931) найдет в ней экономическую и социальную философию, которая, в сущности, ведет к тому же выводу [что и "Кризис нашего времени"]». Об этой энциклике см. с. 130 наст. изд., примеч. 31.

[23] *Александр Рюстов* (1885—1963) — сын прусского генерала. Сторонник радикального социализма, он принадлежал к первому поколению *Jugendbewegung*. После Первой мировой войны служил в министерстве экономики, в 1924 г. стал научным консультантом «*Verein deutscher Maschinenbauanstalen*» (VDMA, Конфедерация немецких машиноконструкторов). Отстаиваемая им позиция социального либерализма сделала его мишенью для коммунистов и национал-социалистов. После эмиграции в 1933 г. он благодаря помощи Рёпке получил место преподавателя экономической и социальной истории в Истанбуле, где и прожил до 1947 г. В 1950 г. сменил Альфреда Вебера на посту заведующего кафедрой экономической социологии. Основные труды: Das Versagen des Wirtschaftsliberalismus als religionsgeschichtliches Problem (Крах экономического либерализма как проблема истории религии). Istanbul, 1945, и его монументальная трилогия: Ortsbestimmung der Gegenwart [Определение места настоящего].

Erlenbach-Zurich: E. Rentsch. T. I: Ursprung der Herrschaft [Происхождение господства], 1950; T. II: Weg der Freiheit [Путь свободы], 1952; Herrschaft oder Freiheit [Господство или свобода], 1955 (см. рецензию: *Friedrich C. J.* The political thought of Neo-liberalism // The American Political Science Review. 1955. N 49 (2) (june). P. 514—525).

[24] Фридрих фон Хайек родился в Вене 8 мая 1899 г.; изучал право и политические науки в Вене, где посещал курс политической экономии Ф. фон Визера (1851—1926) и принимал участие в неформальных семинарах, которые проводил в своем кабинете Людвиг фон Мизес, в то время служащий торговой палаты. Хайек, склонявшийся тогда к мысли об обобществлении благ, вскоре стал склоняться к ультралиберальным тезисам, которые Мизес отстаивал в своей книге «Социализм» (1922) (Die Gemeinwirtschaft. Untersuchungen über den Sozialismus. Op. cit. P. 98, note 11). Директор Венского института экономических исследований (вице-президентом которого был Мизес), в 1931 г. он уезжает из Австрии в Лондон. Назначенный профессором социологии и морали в Чикагском университете, в 1962 г. он возвращается в Германию, чтобы завершить свою карьеру во Фрайбургском университете. Помимо уже указанных трудов (с. 41 наст. изд., примеч. 3), Хайек — автор книг: Prices and Production. Londres: Georges Routledge & Sons, 1931 (Prix et Production / Trad. TRADECOM. Paris: Calmann-Lévy, 1975, rééd. Presses-Pocket («Agora»), 1985); Individualism and Economic Order. Chicago-Londres: University of Chicago Press — Routledge & Kegan Paul, 1949; The Counter-Revolution of Science: Studies of the abuse of reason. Glencoe (Ill.): Free Press, 1952 (Scientisme et Sciences socials. Essai sur le mauvais usage de la raison / Trad. (partielle) R. Barre. Paris: Plon, 1953, rééd. Presses-Pocket («Agora»), 1986); Law, Legislation and Liberty. Vol. I: Rules and Order, vol. II: The Mirage of Social Justice, vol. III: The Political Order of a Free People. Chicago: University of Chicago Press; Londres: Routledge & Kegan Paul, 1973—1979 (Droit, Législation and Liberté / Trad. R. Audouin. Paris: PUF, 1980—1983. 3 vol.).

[25] Провозглашенная 9 ноября 1918 г., о чем возвестило отречение Вильгельма II, получившая конституцию в 1919 г., Веймарская Республика (1919—1933) столкнулась со значительными экономическими трудностями, в особенности связанными с инфляцией, усиленной расходами на репарации и шоком от кризиса 1929 г., что благоприятствовало росту экстремистских движений.

[26] *Макс Вебер* (1864—1920). Скорее всего, здесь Фуко имеет в виду не его главный труд Wirtschaft und Gesellschaft (Tübingen: J.C.B. Mohr, 1922; 4e éd. par J. Winckelmann, 1956 (Économie et Société I / Trad. partielle par J. Chavy & E. de Dampierre. Paris: Plon, 1971)), но

уже упоминавшуюся «Протестантскую этику и дух капитализма» (см. с. 129 наст. изд., примеч. 25).

[27] Об обширной литературе, трактующей отношение Вебера к Марксу, и встречающихся в ней противоречивых точках зрения см.: *Colliot-Thélène C.* Max Weber et l'héritage de la conception matérialiste de l'histoire // Études wébériennes. Paris: PUF («Pratiques théoriques»), 2001. P. 103—132.

[28] *Макс Хоркхаймер* (1895—1973) — соучредитель Institut für Sozialforschung (Института социальных исследований), созданного во Франкфурте в 1923 г., который он преобразовывал начиная с 1931 г. Смещенный в 1933 г., руководил его филиалом, женевским Институтом, затем, в 1934 г., обосновался в Нью-Йорке. Вернулся в Германию в апреле 1948 г.

[29] См. лекцию 31 января 1979 г., с. 108—110 наст. изд.

[30] *Людвиг Йозеф (Луйо) Брентано* (1844—1931) — представитель Новой исторической школы, возглавляемой Густавом фон Шмоллером (1838—1917). См.: *Schumpeter J. A.* Histoire de l'analyse économique / Trad. citée. T. III. P. 87—88. Ф. Бильжер (La Pensée économique libérale... P. 25—26) представляет его как «основателя немецкого либерализма»: «Он проповедовал либерализм, который должен был отличаться от английского либерализма не только негативной, но и позитивной программой, особенно в социальной области. Таким образом, государство должно было выступать посредником, и Брентано участвовал в «Verein für Sozialpolitik» («Обществе социальной политики»), основанном государственными социалистами; он поддерживал социальную политику, осуществляемую Империей, одобрял создание рабочих профсоюзов, каковое, по его мнению, позволяло восстановить равновесие сил на рынке труда».

[31] *Фридрих Лист* (1789—1846). *List F.* Das nationale System der politischen Ökonomie. Stattgart-Tübingen: Cotta, 1841 (Systéme national d'économie politique / Trad. H. Richelot. Paris: Capelle, 1857; rééd. «Tel», 1998.) О роли Листа в происхождении «доктрины воспитательного протекционизма» см.: *Röpke W.* La Crise de notre temps / Trad. citée. [см. примеч. 21], éd. 1945. P. 78—87.

[32] *Deutscher Zollverein* — Таможенный союз немецких государств, созданный в XIX в. под руководством Пруссии. Провозглашенный в 1818 г., распространившийся к 1954 г. почти на всю Германию, он превратился в значительную экономическую силу. См. по этому поводу заметки Фуко на последних страницах рукописи предыдущей лекции (с. 123 наст. изд.).

[33] *Вальтер Ратенау* (1867—1922) — еврейский промышленник, который начиная с 1915 г. занимался организацией немецкой

военной экономики. Министр иностранных дел в 1922 г., он был убит двумя крайне правыми радикалами. См.: *Röpke W.* Civitas Humana / Trad. citée. P. 144, note 1 de la p. 120: «Вечный сен-симонизм, унаследовавший от своего основателя идею деспотического планизма, является нам в фигуре Вальтера Ратенау; пребывая во власти трагического разрыва, он сам стал жертвой разорванной эпохи. Он был тем, что позже стали называть "технократ"». См. также: *Hayek F.* The Road to Serfdom. Chicago: Chicago University Press — Londres: Routledge, 1944 (La Route de la servitude / Trad. G. Blumberg. Paris: Librairie de Médicis, 1946; rééd. Paris: PUF («Quadrige»), 1993. P. 126.), где подчеркивается влияние его идей на экономические предпочтения нацистского режима.

[34] См. примеч. 5.

[35] См. примеч. 6.

[36] Четырехлетний план утверждал абсолютный приоритет перевооружения. О роли и об организации бюро четырехлетнего плана, возглавляемого Герингом, см.: *Neumann F.* Behemoth: The structure and practice of National Socialism. Toronto: Oxford University Press, 1944 (Béhémoth. Structure et pratique du national-sicialisme / Trad. G. Dauvé & J.-L. Boireau. Paris: Payot («Critique de la politique»), 1987. P. 239—242 (таблица — p. 244)). См. сводку последних на сегодняшний день работ по немецкой экономической политике: *Kershaw I.* Nazi Dictatorship: Problems and perspectives of interpretation. Londres — New York: E. Arnold, 1996 (Qu'est-ce que le nazisme? Problèmes et perspectives d'interprétation / Trad. J. Carnaud. Paris: Gallimard («Folio Histoire»), 1997. P. 113—115). См. также: *James H.* The German Slump: Politics and economics, 1924—1936. Oxford: Clarendon Press; New York: Oxford University Press, 1986.

[37] См.: *Hayek F.* La Route de la servitude. Loc. cit. [см. примеч. 33]: «Сочинения [Ратенау] больше, чем какие-либо другие, способствовали формированию экономических взглядов целого поколения до и после последней войны в Германии. Некоторые из самых близких его сотрудников стали позже частью штаба администрации четырехлетнего плана Геринга».

[38] Назначенный в 1940 г. Черчиллем президентом межведомственного комитета, который должен был предложить меры по улучшению английской системы социальной защиты, Уильям Беверидж (1879—1963) в 1942 г. опубликовал первый отчет «Social Insurance and Allied Services» (New York: Agathon Press, 1969), в котором ратовал за создание единой централизованной системы всеобщей социальной защищенности, а также за создание бесплатной и доступной для всех службы здравоохранения, затем, в 1944 г., второй, «Full

Employment in a Free Society» (Du travail pour tous dans une société libre / Trad. H. Laufenburger & J. Domarchi. Domat-Montchrestien, 1945), который весьма способствовал популяризации кейнсианских тезисов. Первый отчет так никогда и не был полностью переведен на французский язык (об обобщениях, комментариях и исследованиях, опубликованных на французском в сороковые годы, см.: *Kerschen N.* L'influence du rapport Beveridge sur le plan français de sécurité sociale de 1945 // Revue française de science politique. 1995. Vol. 45 (4) (août). P. 571). См.: *Servoise R.* Le Prenier Plan Beveridge, le Second Plan Beveridge. Paris: Domat-Montchrestien, 1946. М. Фуко упоминает план Бевериджа в разных лекциях и выступлениях. См. особенно: Crise de la medicine ou crise de l'antimédicine? (1976) / DE. III. N 170. P. 40—42; Un système fini face à une demande infinite (1983) / DE. IV. N 325. P. 373.

[39] *Röpke W.* Das Beveridgeplan // Schweizerische Monatschefte für Politik und Kultur. 1943. Juin-juillet. Рёпке резюмирует эту критику плана Бевериджа в Civitas Humana / Trad. citée. P. 226—243 (см. лекцию 7 марта 1979 г., с. 264 наст. изд., примеч. 5). Как отмечает, ссылаясь на пассаж из этих лекций, К. Трайб (*Tribe K.* Strategies of Economic Order, German Economic Discourse 1750—1950. Cambridge: Cambridge University Press, 1995. P. 240), «There is some artistic licence at work here: for Röpke does not seem to have committed himself in so many words» («В этой работе присутствует некоторая артистическая вольность: по-видимому, Рёпке со многим не согласился бы»).

[40] О юридической структуре национал-социалистического государства М. Фуко читал труды: *Cot M.* La Conception hitlérienne du droit. These de droit. Toulouse. Impr. du Commerce, 1938, и *Bonnard R.* Le Droit et l'État dans la doctrine national-socialiste. Paris: Librairie Générale de Droit et de Jurisprudence, 1936. 2[e] éd. 1939.

[41] *Вернер Зомбарт* (1863—1941) — один из главных представителей (наряду с А. Спиетхоффом и М. Вебером) последнего поколения немецкой исторической школы. Начиная с 1917 г. преподавал экономику в Берлине. Его первая большая работа, Der moderne Kapitalismus. Leipzig: Duncker & Humblot, 1902, представляет собой развитие тезисов Маркса и создает ему репутацию социалиста. В 1924 г. он присоединяется к программе Консервативной Революции, а в 1933 г. становится членом *Akademie für deutsches Recht*. Несмотря на свою приверженность принципу *фюрера*, он не соглашается с расовыми теориями национал-социалистов. Его последние книги, в том числе «Deutscher Sozialismus», не одобряются режимом.

[42] *Sombart W.* Deutscher Sozialismus. Berlin-Charlottenburg: Buchholz und Weisswange, 1934 (A New Social Philosophy / Transl.

K. F. Geiser. Princeton-Londres: Princeton University Press, 1934; Le Socialisme allemand: une théorie nouvelle de la société / Trad. G. Welter. Paris: Payot, 1938; переиздано с предисловием А. де Бенуа: Pardès («Révolution conservatrice»), 1990).

[43] См.: *Marcuse H.* One-dimensional Man: Studies in the ideology of advanced industrial societes. Boston: Beacon Press, 1964 (*Marcuse H.* L'Homme unidimensionnel / Trad. M. Wittig. Paris: Minuit; rééd. Seuil («Points»), 1970; *Маркузе Г.* Одномерный человек. Исследование идеологии развитого индустриального общества / Пер. А. А. Юдина // Эрос и цивилизация. Одномерный человек. М.: АСТ, 2002).

[44] *Sombart W.* Le Socialisme allemande / Trad. citée. I часть: «Экономическая эра», гл. 2 («Трансформация общества и государства») и 3 («Духовная жизнь»), éd. 1990. P. 30—60.

[45] См.: *Sombart W.* Der moderne Kapitalismus (L'Apogée du capitalisme / Trad S. Jankélévitch. Paris: Payot, 1932. III[e] partie, ch. 53) и Das Proletariat. Francfurt/M.: Rütter und Loening, 1906, где разоблачаются изоляция и отчуждение трудящихся, порождаемые «экономической эрой».

[46] См.: *Debord G.* La Société du cpectacle. Paris: Buchet-Chastel, 1967 (*Дебор Г.* Общество спектакля / Пер. С. Офертаса и М. Якубович. М.: Логос, 1999). Книги Маркузе и Дебора, на которые намекает здесь Фуко, составляли две основные референции ситуационистской критики шестидесятых годов (см. последнюю лекцию (5 апреля 1978 г.) предыдущего курса: *Foucault M.* Sécurité, Territoire, Population. P. 346 и 368, примеч. 15).

[47] См.: *Röpke W.* Civitas Humana / Trad. citée. P. 118 и 121: «Успех этой [сен-симонистской] школы проистекал из следующего обстоятельства: из сциентизма выводили крайние следствия для общественной и политической жизни и приходили таким образом к неизбежной на этом пути цели — к коллективизму, который посредством экономической и политической практики ведет к сциентистскому элиминированию человека. Ее весьма спорная заслуга состоит в том, что она создала модель концепции мира и общества, которую можно было бы назвать *вечным сен-симонизмом*: механико-квантитативное состояние духа, смешанное со сциентистской гордыней и инженерным складом ума, состояние духа тех, кто соединяет культ колоссального с потребностью в создании ценностей, создающих и организующих экономику, государство и общество согласно мнимо научным законам, компасу и линейке, и кто при этом оставляет за собой первые места в руководстве».

[48] *Клод Анри де Рувруа, граф Сен-Симон* (1760—1825) — французский философ, экономист и социальный реформатор, который для

устранения порожденного Революцией кризиса предложил в своей «Промышленной системе» (Du système industriel. 1821; rééd. Paris: Anthropos, 1966) план «всеобщего преобразования общественной системы» (p. 11), заменив старую «феодальную и военную систему» (p. 12) «промышленной системой», основанной на господстве промышленников и ученых и организующей все общество вокруг «промышленной цели» (p. 19). См. также: Cathéchisme des industriels. Paris: Impr. de Sétier, 1824, в 4-х тетрадях, из которых первая часть (3-я тетрадь) была составлена Огюстом Контом. Его ученики — Родригес, Анфантен, Базар — после его смерти организовались в Общество, сложившееся вокруг газеты «Le Producteur». Их движение сыграло важную роль в колониальной политике Июльской монархии, в строительстве первых железных дорог и проведении Суэцкого канала.

[49] См. лекцию 21 февраля 1979 г., с. 213 наст. изд., где дается более явная отсылка к Уолрасу, Маршаллу и Викселю.

[50] Ссылка на гуссерлевскую эйдетическую редукцию встречается у Эйкена в 1934 г., в эссе «Was leistet die nationalökonomische Theorie?», опубликованном как введение к его труду Kapitaltheoretische Untersuchungen (Iéna: Fischer), где он впервые применяет свой метод — демарш абстракции, осуществляемый через «Reduktion des tatsächlich Gegebenen auf reine Fälle» (редукции фактически данного к чистым случаям) (p. 21).

[51] Об усмотрении сущности, или *эйдоса*, в противоположность эмпирическому усмотрению, см.: *Husserl E.* Idées directrices pour une phénoménologie / Trad. P. Ricœur. Paris: Gallimard, 1950. P. 19—24.

[52] См.: *Bilger F.* La Pensée économique libérale... P. 155: «Теория совершенной конкуренции у либералов считается не позитивной теорией, но теорией нормативной, идеальным типом, к которому нужно стремиться».

[53] См. с. 138 наст. изд.

[54] См.: *Bilger F.* La Pensée économique libérale... P. 52: «Экономическая морфология [т. е. типологический анализ экономических систем] выявляет, по выражению Вальтера Эйкена, “скрытую связь между эмпирическим взглядом на исторические события и общим теоретическим анализом, необходимым для понимания отношений”». О сочленении морфологического анализа рамок и теоретического анализа протекающих в них экономических процессов см.: ibid. P. 54—55.

Лекция 14 февраля 1979 г.

Немецкий неолиберализм (III). — Польза исторических исследований для настоящего. — Чем неолиберализм отличается от классического либерализма? — Его специфическая цель: как регулировать принципами рыночной экономики общее осуществление политической власти и вытекающие из этого трансформации. — Расхождение рыночной экономики и политики laissez-faire. — Коллоквиум Уолтера Липпмана (26—30 августа 1938 г.). — Проблема стиля правительственной деятельности. Три примера: (a) вопрос о монополиях; (b) вопрос о «соответствующих действиях». Основания экономической политики согласно В. Эйкену. Регулирующие и распорядительные действия; (c) социальная политика. Ордолиберальная критика экономики благосостояния. — Общество как точка приложения правительственных вмешательств. «Политика общества» (Gesellshaftspolitik). — Главный аспект этой политики: формализация общества по модели предприятия. — Общество предприятия и правовое общество — две грани одного явления.

Сегодня я хотел бы продолжить то, что я начал говорить вам о немецком неолиберализме. Когда заходит речь о неолиберализме, немецком или каком-то другом, в конце концов, о современном неолиберализме, даются в основном три типа характеристик.

Во-первых, что такое неолиберализм с экономической точки зрения? Не более, чем реактивация старых, уже использовавшихся экономических теорий.

Во-вторых, что такое неолиберализм с социологической точки зрения? Не что иное, как то, посредством чего в обществе утверждаются сугубо рыночные отношения.

И наконец, в-третьих, с политической точки зрения, неолиберализм есть не что иное, как прикрытие общего и административного вмешательства государства, вмешательства тем более тяжкого в силу своей коварности и маскировки под внешностью неолиберализма.

Эти три типа характеристик, как видите, всегда и неизменно представляют неолиберализм не более чем, или во всяком случае не чем иным, как самое худшее. То есть это дурно воспринятый Адам Смит; во-вторых, это рыночное общество, то же самое, что раскрывалось, изобличалось в книге I «Капитала»; в-третьих, это генерализация государственной власти, то есть Солженицын[1] в планетарном масштабе.

Адам Смит, Маркс, Солженицын, *laissez-faire*, общество рынка и спектакля, концентрационный универсум ГУЛАГа: таковы три основные аналитические и критические матрицы, с которыми обычно подходят к проблеме неолиберализма, что позволяет не делать практически ничего, раз за разом вот уже двести лет, сто лет, десять лет воспроизводя один и тот же тип критики. Итак, я хотел бы вам показать, что на самом деле неолиберализм есть нечто совершенно иное. Не знаю, важно это или нет, но, конечно, что-то в этом есть. Я хочу попытаться уловить это что-то в его своеобразии. Ведь если сказать, что могут быть определенные важные или, можно сказать, исключительные политические следствия у исторических исследований, представляющихся именно историческими и стремящихся обнаружить типы практик, формы институций и т. п., которые могли иметь хождение в определенное время и в определенном месте, которые должны в конце концов показать, каков в данный конкретный момент [механизм]* тюрьмы и позволить увидеть, какой результат производится этим типом чисто исторического исследования в нашей ситуации, — это вовсе не значит говорить имплицитно, а тем более эксплицитно, что то, что было тогда, — это то, что есть сейчас. Проблема заключается в том, чтобы позволить знанию о прошлом играть с опытом и практикой настоящего. Это не значит сводить настоящее к форме, которая была известна в прошлом, но которая полагается значимой для настоящего. Этого переноса по-

---

* Конъектура: слово неразборчиво.

литических следствий исторического исследования в форме простого повторения, конечно же, надо избегать любой ценой, поэтому я и подчеркиваю проблему неолиберализма, чтобы попытаться освободить его от критик, исходящих просто-напросто из переноса исторических матриц. Неолиберализм — это не Адам Смит; неолиберализм — это не рыночное общество; неолиберализм — это не ГУЛАГ в скрытом измерении капитализма.

Так что же такое этот неолиберализм? В прошлый раз я попытался обозначить, каким был его теоретический и политический принцип. Я попытался показать вам, что для неолиберализма проблема состояла не в том, чтобы выяснить (как для либерализма Адама Смита, либерализма XVIII в.), как внутри уже данного политического общества можно выкроить, обустроить свободное пространство, которое было бы пространством рынка. Проблема неолиберализма, напротив, состоит в том, чтобы выяснить, как можно обустроить общее осуществление политической власти принципами рыночной экономики. Таким образом, речь идет не о том, чтобы расчистить пространство, но о том, чтобы соотнести, состыковать, соположить с искусством управлять формальные принципы рыночной экономики. Такова, как мне кажется, цель, и я хотел показать вам, что для того, чтобы это сделать, то есть выяснить, до какой степени и в какой мере формальные принципы рыночной экономики могут упорядочивать общее искусство управлять, неолибералы должны были подвергнуть классический либерализм определенным трансформациям.

Первой из тех трансформаций, которые я попытался показать вам в прошлый раз, было расхождение между рыночной экономикой, экономическим принципом рынка, и политическим принципом *laissez-faire*. Этот разрыв между рыночной экономикой и политикой *laissez-faire*, как мне кажется, был достигнут, определен — во всяком случае, был установлен в качестве принципа — начиная с того момента, когда неолибералы предложили теорию чистой конкуренции, представляя конкуренцию вовсе не как изначальную и природную данность, которая залегала бы, так сказать, в самом принципе, в основании этого общества, и которой было бы достаточно позволить подняться на поверхность и заново обнаружить себя;

не будучи таковой, конкуренция оказалась структурой, обладающей формальными свойствами, [и] именно эти формальные свойства конкурентной структуры могли обеспечивать и обеспечивали экономическую регуляцию посредством ценовых механизмов. Следовательно, если конкуренция была одновременно жесткой в своем внутреннем строении и неустойчивой в своем историческом и реальном существовании формальной структурой, проблема либеральной политики заключалась в том, чтобы обустроить конкретное и реальное пространство, в котором могла играть свою роль формальная структура конкуренции. Рыночная экономика без *laissez-faire*, то есть деятельная политика без дирижизма. Таким образом, неолиберализм помещается не под знаком *laissez-faire*, но, напротив, под знаком бдительности, деятельности, постоянного вмешательства.

Это отчетливо проявляется в большинстве текстов неолибералов,* но я вас отсылаю к одному из них (если вы сможете его отыскать, потому что отыскать его не так-то просто. Он хитро запрятан в Национальной библиотеке, но вы наверняка найдете его в Общественном музее[2]). Этот текст — сборник выступлений, составленный в 1939 г., накануне войны, в ходе коллоквиума, известного как «Коллоквиум Уолтера Липпмана».[3] Этот коллоквиум был организован во Франции[4] после публикации книги Липпмана, только что переведенной на французский язык под названием «[Свободный]** город».[5] Любопытная книга, потому что, с одной стороны, в форме чистой и простой реактивации она повторяет темы классического либерализма, но с некоторых других сторон, — представляет элементы, присущие неолиберализму. Эта книга только что появилась в Соединенных Штатах, была переведена на французский язык и удостоилась коллоквиума в Париже, на котором фигурировали сам Уолтер Липпман, старые либералы классической традиции, такие французы, как, например,[6] Боден,[7] а также некоторые немецкие и австрийские неолибералы, те самые, что были частью Фрайбургской школы и оказались изгнаны из Германии, и те, кто в Германии хранили молчание,

---

* М. Ф.: неопозитивистов.

** М. Ф.: грядущий.

а теперь нашли случай высказаться. На этом коллоквиуме были Рёпке,[8] Рюстов, Хайек, фон Мизес.[9] Кроме того, люди менее значительные: Жак Рюэфф,[10] Маржолен,[11] игравший, впрочем, значительную роль в послевоенной французской экономике, а генеральным секретарем конгресса, который не выступал или, во всяком случае, не появляется в отчетах, был Реймон Арон.[12] В ходе коллоквиума в июле 1939 г.[13] (я отмечаю это потому, что есть люди, особенно интересующиеся структурами означающего) решили сформировать постоянный комитет, получивший название «Международный исследовательский комитет по реновации неолиберализма», CIERL.[14] В ходе этого коллоквиума определились присущие неолиберализму специфические положения (все это вы найдете в сборнике, наполненном другими тезисами и темами классического либерализма). И когда один из выступавших, не помню, кто именно,[15] предложил название «неолиберализм», пытались сформулировать очень показательное выражение «позитивный либерализм». Таким образом, позитивный либерализм — это интеревенционистский либерализм. Это либерализм, о котором Рёпке в «Gesellschaftskrisis», опубликованном вскоре после коллоквиума Липпмана, говорит: «Свобода рынка требует активной и крайне бдительной политики».[16] И во всех текстах неолибералов обнаруживается тот же самый тезис о том, что правление либерального режима — это правление активное, интервенционистское, причем в таких формулировках, которые ни классический либерализм XIX в., ни современный американский анархо-капитализм не могли бы принять. Эйкен, к примеру, говорит: «Государство ответственно за результаты экономической деятельности».[17] Франц Бём утверждает: «Государство должно влиять на экономическое развитие».[18] Микш говорит: «В этой либеральной политике», — эта фраза очень важна, — «в этой либеральной политике число экономических вмешательств может оказаться столь же велико, как и в плановой политике, но природа их различна».[19] Так вот, мне кажется, что вопрос о природе вмешательств представляет собой ключевой момент для понимания специфики неолиберальной политики. Проблема либерализма XVIII—начала XIX вв. состояла в том, чтобы провести раздел между тем, что нужно делать, и тем, что не нужно делать, между областями, в ко-

торые можно вмешиваться, и областями, в которые вмешиваться нельзя. Это было разделение *agenda/non agenda.*[20] На взгляд либералов, это позиция наивная, поскольку для них проблема состоит не в том, чтобы знать, существуют ли вещи, которых нельзя касаться, и другие, которых мы вправе касаться. Проблема состоит в том, чтобы знать, как касаться. Это проблема способа действий, если угодно, проблема стиля руководства.

Чтобы немного уточнить, как неолибералы определяют стиль правительственной деятельности, я приведу три примера. На сей раз я буду схематичен, краток, брутален. Но вы увидите, что все это вам хорошо знакомо, поскольку все мы в это погружены. Я хотел бы просто схематически обозначить три вещи: во-первых, вопрос о монополии; во-вторых, проблему того, что неолибералы называют согласованным экономическим действием; в-третьих, проблему социальной политики. А затем, исходя из этого, я попытаюсь указать вам на некоторые черты, представляющиеся мне специфическими для неолиберализма и резко противопоставляющие его всему тому, что критикуют, пожалуй, все, кто критикует либеральную политику неолиберализма.

Итак, во-первых, вопрос о монополиях. Еще раз прошу меня извинить за такую банальность, но мне кажется, что нужно его пересмотреть по крайней мере затем, чтобы реактуализировать несколько проблем. Скажем так, в концепции или в одной из классических концепций экономики монополия рассматривается как наполовину естественное, наполовину необходимое следствие конкуренции при капиталистическом режиме, то есть невозможно представить себе конкуренцию, не замечая в то же время монополистических явлений, которые имеют своим следствием ограничение, ослабление, а в пределе — устранение конкуренции. Таким образом, причину усматривали в историко-экономической логике конкуренции, отменяющей саму себя, а этот тезис, само собой, предполагает, что всякий либерал, желающий обеспечить функционирование свободной конкуренции, должен вмешиваться в экономические механизмы, те самые, которые порождают, вызывают и детерминируют монополистические явления. То есть, если мы хотим спасти конкуренцию от ее собственных последствий, следует порой

вмешиваться в экономические механизмы. Таков парадокс монополии при либеральной экономике, ставящей своей задачей конкуренцию и в то же время принимающей ту идею, что монополия на самом деле является частью логики конкуренции. Позиция неолибералов совершенно отлична, а их задача состоит в том, чтобы доказать, что на самом деле монополия, монополистическая тенденция не является частью экономической и исторической логики конкуренции. Рёпке в «Gesellschaftskrisis» говорит, что монополия — это «инородное тело в экономическом процессе», и что она не формируется в нем спонтанно.[21] Для подкрепления этого тезиса неолибералы приводят несколько аргументов, которые я упоминаю лишь для наглядности.

Во-первых, аргументы исторического типа, признание монополии, так сказать, далеким и прошлым явлением в истории либеральной экономики, архаичным явлением, сущность которого — принцип вмешательства гражданских властей в экономику. В конце концов, если монополия и существует, так это потому, что гражданские власти или те, кто в данный момент осуществляет функции гражданской власти, предоставили корпорациям и цехам привилегии, потому, что государства или правители предоставили индивидам или семьям монополии в обмен на определенные финансовые услуги в форме своего рода побочной или скрытой фискальной системы. Так, например, монополия Фуггера взамен предоставляет Максимилиану I финансовые услуги.[22] Короче говоря, в Средние века само развитие фискальной системы как условие роста централизованной власти влекло за собой создание монополий. Монополия — феномен старый, феномен вмешательства.

Кроме того, юридический анализ условий функционирования права, допускающего или благоприятствующего возникновению монополии. Как практики наследования, осуществление общественных прав, а также положение дел с жалованными правами и т. п. могли в силу юридического функционирования, а не по экономическим соображениям, породить феномены монополии? Так вот, неолибералы поставили целую серию проблем, в большей степени исторических и институциональных, чем собственно экономических, открыв путь для целого ряда интереснейших политико-институциональных исследований развития капитализма, и американцы,

американские неолибералы извлекут из этого свою выгоду. К примеру, идеи Норта[23] о развитии капитализма вписывались в линию, которая была открыта капиталистами и проблематика которой отчетливо проявилась в некоторых выступлениях на коллоквиуме Липпмана.

Другой аргумент, выявленный политическим анализом связей между существованием национальной экономики, таможенного протекционизма и монополии, призван показать, что монополистический феномен не принадлежит по праву и по логике экономике конкуренции. Фон Мизес, к примеру, проводит целый ряд исследований такого рода.[24] Он показывает, что, с одной стороны, монополистическому феномену благоприятствует раздробленность национального рынка, которая, сводя экономические единицы к относительно малым размерам, делает возможным существование в этих рамках феноменов монополии, которых не допускает мировая экономика.[25] Он убедительно показывает, что протекционизм, осуществляемый государством, не может быть эффективным, поскольку ведет к возникновению картелей или монополий, способных контролировать производство, продажу за границу, уровень цен и т. п.[26] Такова была бисмарковская политика.

В-третьих, в экономическом отношении неолибералы отмечают следующее. Они говорят, что классический анализ прав, показывая, что при капитализме необходимое увеличение основного капитала составляет неоспоримую поддержку тенденции к концентрации, а значит, к монополии. Однако, говорят они, во-первых, эта тенденция к концентрации не ведет к монополии неизбежно и фатально. Безусловно, существует оптимум концентрации, к которому капиталистический режим стремится ради равновесия, но между этим оптимумом концентрации и максимумом, допускаемым монополистической действительностью, существует порог, который невозможно спонтанно преодолеть непосредственной игрой конкуренции и экономических процессов. Необходимо то, что Рюстов называет «хищническим неофеодализмом»,[27] тем, кто получает «поддержку государства, законов, судов, общественного мнения», необходим хищнический неофеодализм, чтобы перейти от оптимума концентрации к монополистическому максимуму. И потом, говорит Рёпке, феномен монополии, даже если он су-

ществует, сам по себе неустойчив.[28] То есть он всегда порождается средне-, если не краткосрочным, экономическим процессом, либо модификациями производительных сил, либо техническими модификациями, либо массовым ростом производительности, либо, наконец, появлением новых рынков. И все из-за того, что эволюция к монополии может быть только переменной, разыгрывающейся какое-то время среди прочих переменных, которые станут преобладать в другие моменты. В своей общей динамике конкурентная экономика включает целую серию переменных, в которой тенденции к концентрации всегда противостоят другие тенденции.

Наконец (и фон Мизес всегда рассуждает именно так[29]), что, в сущности, важно, что́ делает монополистическое явление губительным для игры экономики? То, что существует лишь один производитель? Конечно же, нет. То обстоятельство, что есть лишь одно предприятие, имеющее право продажи? Конечно, нет. Монополия может быть губительной в той мере, в какой она воздействует на цены, то есть в той мере, в какой она воздействует на регуляторный механизм экономики. Итак, цена при монополии — это цена, которая может возрастать без снижения продаж и доходов, и легко представить себе (на деле так происходит регулярно), что сами монополии ее не используют, потому что, если они практикуют монопольную цену, они неизменно оказываются перед лицом появления конкурентного феномена, который воспользуется существованием завышенных монопольных цен для противостояния монополии. Следовательно, если монополия хочет сохранить свою монополистическую власть, она должна использовать не монопольную цену, но цену идентичную или во всяком случае близкую к цене конкуренции. То есть она будет действовать так, как если бы существовала конкуренция. И тогда она не разрушает рынка, не разрушает ценового механизма, а сама монополия утрачивает свою значимость. Практикуя эту «политику как если бы»[30] она была конкурентной, монополия разыгрывает структуру, которая столь же важна и которая выступает определяющим феноменом для конкуренции. И потому не так уж и важно, в сущности, знать, существует ли монополия.

Все дело в том, чтобы ситуировать проблему такой, какой ее хотят поставить неолибералы. Они, так сказать, освободились

от проблемы гандикапа монополии. Они могут сказать: как видите, не стоит прямо вмешиваться в экономический процесс, потому что экономический процесс сам по себе, если ему позволить безраздельно играть роль регулятивной структуры, которая есть структура конкуренции, никогда не подведет. Конкуренции присуща формальная строгость процесса. Но что гарантирует, что этот формальный процесс не подведет, так это то, что если позволить ему протекать, то ни конкуренция, ни сам экономический процесс не смогут изменить это течение. Следовательно, на этом уровне необходимо не-вмешательство. Невмешательство с той оговоркой, конечно же, что необходимо установить институциональные рамки, которые должны помешать людям либо личной власти, либо гражданским властям вмешаться, чтобы создать монополию. Так что в немецком законодательстве обнаруживается небывалое антимонополистические институциональное ограничение, впрочем, не имеющее своей функцией вмешиваться в экономическое пространство, чтобы помешать самой экономике породить монополию. Оно нужно для того, чтобы воспрепятствовать внешним процессам вмешиваться и создавать монополистическое явление.*

Второй существенный для неолиберальной программы пункт — это вопрос о допустимых действиях.[31] Эта теория допустимых действий, планирование допустимых действий преимущественно обнаруживается в тексте, который фактически был одним из основных документов современной немецкой политики. Это посмертно опубликованный текст Эйкена, появившийся в 1951 или [19]52 г., который называется «Grundsätze der Wirtschaftspolitik» («Основания экономической политики»)[32] и который является, так сказать, практической стороной текста, озаглавленного «Grundlagen der Nationalökonomie», опубликованного десятью годами ранее и представлявшего чисто теоретический аспект.[33] В этих «Основаниях», в этих «Основополагающих принципах экономической политики» Эйкен говорит, что либеральное правительство постоянно должно быть бдительным и активным, должно

---

* М. Фуко пропускает стр. 8—10 рукописи, посвященные антикартельному немецкому законодательству 1957 г.

вмешиваться в двух формах: во-первых, регулятивными действиями; во-вторых, постановлениями.[34]

Сперва регулятивные действия. Не следует забывать, что Эйкен — это сын другого Эйкена, который был неокантианцем начала XX в. и который в этом качестве получил Нобелевскую премию.[35] * Эйкен, будучи кантианцем, говорит: как должно вмешиваться правительство? В форме регулятивных действий, то есть оно должно эффективно вмешиваться в экономические процессы, когда по конъюнктурным соображениям это вмешательство необходимо. Он говорит: «Экономический процесс всегда ведет к определенным временным трениям, к модификациям, чреватым чрезвычайными ситуациями, трудностями адаптации и более или менее серьезными последствиями для групп».[36] Поэтому, говорит он, следует вмешиваться не в механизмы рыночной экономики, но в условия рынка.[37] Вмешиваться в условия рынка — значит, следуя кантианской идее регуляции во всей ее строгости, установить, допустить и позволить действовать, но так, чтобы им благоприятствовать и, так сказать, довести до предела и до всей полноты их реализации три тенденции, которые служат характеристиками и являются основополагающими для рынка, а именно тенденцию к снижению затрат, во-вторых, тенденцию к сокращению прибыли предприятия, и наконец, преходящую, ограниченную тенденцию к увеличению выгоды либо через решительное и масштабное снижение цен, либо через совершенствование производства.[38] Таковы три тенденции, регулирующие рынок, выполняющие регулятивные действия по мере того, как сами эти тенденции регулируют рынок.

Выразимся яснее: во-первых, по необходимости главной целью регулятивного действия оказывается стабильность цен, понимаемая не как неизменность, но как контроль над инфляцией. А следовательно, все прочие цели, кроме стабильности цен, могут появляться лишь во вторую очередь и, так сказать, прилагаясь к ней. Во всяком случае они никогда не могут составлять основную цель. В частности, не могут составлять основную цель поддержания покупательной способности, сохра-

---

* После этого короткая неразборчивая фраза: Неокантианство [...] литература.

нения полной занятости и даже выравнивания платежного баланса.

Во-вторых, что это значит в инструментальном отношении? Это значит, что изначально используется политика кредита, то есть создание учетной ставки. Если хотят задержать рост внешних цен, используют внешнюю торговлю для снижения кредитного сальдо. Если хотят воздействовать на сбережения или на капиталовложения, действуют через всегда умеренное снижение налогообложения. Но никогда никаких инструментов того рода, что используются при планировании, а именно: фиксация цен или поддержка рыночного сектора, или систематическое создание рабочих мест, или общественное капиталовложение — все эти формы вмешательства следует решительно отвергнуть ради тех чисто рыночных инструментов, о которых я вам говорил. В частности, совершенно ясна неолиберальная политика в отношении безработицы. Нет такой ситуации с безработицей, каким бы ни был ее уровень, чтобы в безработицу вмешивались прямо или косвенно, словно бы всеобщая занятость была политическим идеалом и экономическим принципом, который надо спасать во что бы то ни стало. Что надо спасать и что нужно спасти раньше и прежде всего, так это стабильность цен. Стабильность цен, безусловно, позволит впоследствии и поддержать покупательную способность, и осуществить более высокий уровень занятости, чем при кризисе безработицы, однако всеобщая занятость не является целью, и может статься даже, что временная безработица совершенно необходима для экономики. Как говорит, кажется, Рёпке, что такое безработный? Это не экономический инвалид. Безработный — это не социальная жертва. Что же такое безработный? Это трудящийся в транзите. Это трудящийся в транзите между нерентабельной деятельностью и деятельностью сверхрентабельной.[39] Таковы регулятивные действия.

Более интересны, поскольку они подводят нас к нашему объекту, действия предписывающие. Что такое эти предписывающие действия? [Это] действия, функция которых — вмешиваться в условия рынка, но в условия более существенные, более структурированные, более общие, чем те, о которых я вам говорил. Действительно, никогда не нужно забывать принцип, согласно которому рынок — это всеобщий экономиче-

ский и социальный регулятор, но это не означает, будто это природная данность, обнаруживающаяся в самом основании общества. Напротив, в пределе он составляет (простите меня за то, что я снова говорю вам об этом), своего рода тонкий механизм, который очень точен, но при условии, что он хорошо функционирует и ничто не нарушает его хода. Следовательно, главной и постоянной заботой государственного вмешательства, помимо тех конъюнктурных моментов, о которых я вам только что говорил, должны быть условия существования рынка, то есть то, что ордолибералы называют «основами».[40]

Что такое политика основ? Я полагаю, что все станет ясно, если обратиться к тексту Эйкена «Grundsätze», тексту 1952 г., где речь идет о проблеме немецкого сельского хозяйства, что, впрочем, говорит он, касается большинства европейских агрокультур.[41] Итак, он говорит, что эти агрокультуры никогда не интегрировались в рыночную экономику нормально, полностью, исчерпывающе. Этого не происходило из-за таможенных барьеров, которые по всей Европе разграничивали, разрывали европейское сельское хозяйство, европейские сельскохозяйственные пространства; таможенные барьеры оказывались необходимыми одновременно из-за различия в технике и, более широко, из-за технического несовершенства каждой из агрокультур. Различия и несовершенства были всецело связаны с перенаселенностью, делавшей бесполезным и, по правде говоря, нежелательным вмешательство, введение технических усовершенствований. Следовательно, что нужно сделать, если мы хотим (текст датируется 1952 г.) заставить европейское сельское хозяйство функционировать в рыночной экономике? Нужно опираться на данности, которые являются не непосредственно экономическими данностями, но данностями, обусловливающими вероятную рыночную экономику. На что, таким образом, следует опираться? Не на цены, не на тот сектор, который обеспечивает поддержку менее рентабельного сектора, — все это дурные вмешательства. На что опираются правильные вмешательства? Конечно, на основы. То есть прежде всего, на население. Сельскохозяйственное население слишком многочисленно — значит, надо уменьшить его посредством вмешательств, которые сделают возможными перемещения населения, миграцию и т. п. Нужно вмешаться также на

уровне техник, предоставив людям определенное оборудование, усовершенствовав технику такими элементами, как удобрения и т. п.; вмешиваться в технику, готовя сельскохозяйственных рабочих и давая им образование, которое позволит им модифицировать [сельскохозяйственные] техники. В-третьих, модифицировать юридический режим эксплуатации, в особенности законы о наследовании, об арендной плате и об аренда-ции земель, попытаться привлечь внимание законодательства, структур и общественных институций к сельскому хозяйству и т. п. В-четвертых, по возможности поменять разметку и распределение земель, доступность и эксплуатацию незанятых земель. Наконец, в пределе, попытаться воздействовать на климат.[42]

Население, техники, воспитание и образование, юридический режим, наличие незанятых земель, климат: все это, как видите, элементы не прямо экономические, не затрагивающие рыночные механизмы, однако, по Эйкену, это условия, позволяющие заставить сельское хозяйство функционировать как рынок, в пределах рынка. Вопрос был не в том, как при данном положении вещей обрести экономическую систему, которая смогла бы принимать в расчет исходные данности европейского сельского хозяйства. Но: как изменить материальные, культурные, технические, юридические основания, составляющие данности Европы, притом что процесс экономико-политической регуляции возможен только посредством рынка и никак иначе? Как изменить эти данности, как изменить эти основы, чтобы заработала рыночная экономика? Как видите, к [чему] я в конце концов вернулся, так это к тому, что правительственное вмешательство на уровне экономических процессов должно быть сдержанным, тогда как, если речь идет обо всех технических, научных, юридических, демографических, в общем, скажем так, социальных данностях, которые отныне все больше и больше становятся объектом правительственного вмешательства, оно должно быть жестким. Впрочем, заметим мимоходом, что этот текст 1952 г. намечает, хотя бы и очень грубо, то, что станет сельскохозяйственным Общим рынком следующего десятилетия. Это было сказано в 1952 г. План Мансхольта,[43] по крайней мере отчасти, разработал Эйкен в 1952 г. Таковы допустимые

действия, действия конъюнктурные и действия распорядительные на уровне основ. Это то, что называется организацией рыночного строя, строя конкуренции.[44] А европейская сельскохозяйственная политика на самом деле есть вот что: как восстановить конкурентный порядок, который станет регулятором экономики?

В-третьих, социальная политика. Думаю, что здесь также придется быть аллюзивным, поскольку как по соображениям времени, так и по соображениям компетенции я не могу вдаваться в подробности; однако нужно затронуть несколько вещей, которые могут показаться вам банальными и скучными, но которые позволяют отметить несколько важных элементов. Какова социальная политика при экономике благосостояния — той, что планировал Пигу[45] и которую так или иначе впоследствии восприняли и кейнсианские экономисты, и *New Deal*, и план Бевериджа, и послевоенные европейские планы? Социальная политика — это политика, ставящая своей целью относительное выравнивание доступа каждого к потребляемым благам.

Как мыслится социальная политика при экономике благосостояния? Прежде всего как противовес произвольным экономическим процессам, ведущим, как считается, к эффектам неравенства и в целом к разрушительным воздействиям на общество. Такова, так сказать, контрапунктная природа социальной политики в отношении экономических процессов. Во-вторых, каким неизменно должен мыслиться главный инструмент социальной политики при экономике благосостояния? Обобществление некоторых элементов потребления: появление той формы, которая называется общественным или коллективным потреблением — медицинское потребление, культурное потребление и т. п. Либо, второй инструмент, передача таких доходов, как семейные пособия [...].* Наконец, в-третьих, социальная политика при экономике благосостояния — это политика, допускающая, что, чем больше рост, тем более социальная политика должна быть активной, интенсивной [и] щедрой, так сказать, в вознаграждении и компенсации.

---

* Дальше неразборчивые слова, а в конце: определенные категории и т. п.

Эти три принципа ордолиберализм очень рано поставил под сомнение. Прежде всего, говорят ордолибералы, социальная политика, если она действительно хочет интегрироваться в экономическую политику и если она не хочет быть разрушительной по отношению к экономической политике, не может служить для нее противовесом и определяться как то, что компенсирует результаты экономических процессов. И в особенности никоим образом не может составлять цели эгализация, относительная эгализация, уравнивание потребительной способности. Она не может составлять цель в системе, где экономическая регуляция, то есть ценовой механизм, достигается вовсе не феноменами эгализации, но игрой дифференциаций, присущей всякому механизму конкуренции и распространяющейся через колебания, которые выполняют свою функцию и дают регулятивные эффекты лишь при условии, что им позволяют играть, играть на различиях. В общем, для регуляции нужно, чтобы одни работали, а другие не работали, или чтобы была высокая заработная плата и низкая; нужно также, чтобы цены поднимались и опускались. Следовательно, социальная политика, имеющая своей первой целью хотя бы относительную эгализацию, которая сделала бы своей центральной темой хотя бы относительное уравнивание, такая социальная политика может быть лишь антиэкономической. Социальная политика не может ставить своей целью равенство. Напротив, она должна допускать игру неравенств, и, как говорил... не помню, кто это был, но думаю, что говорил это Рёпке: люди жалуются на неравенство, но что это значит? «Неравенство, — говорит он, — одно на всех».[46] Эта формула, пожалуй, может показаться загадочной, но она становится понятна исходя из того, что экономическая игра с предполагаемыми ею эффектами неравенства рассматривается как разновидность всеобщего регулятора общества, с которым, очевидно, всякий должен согласиться и смириться. Таким что никакой эгализации, а точнее, никакой передачи доходов от одних к другим. [Еще точнее, передача доходов опасна, поскольку берется из доходов, представляющих собой производственные сбережения и инвестиции].* Следовательно,

---

* Рукопись, p. 16. В записи неразборчиво: «[...] вырываются из доходов, в нормальном состоянии составляющих сбережения или инвестиции».

отбирать их значило бы изымать из инвестиций часть прибылей и снова нести расходы. Единственное, что можно было бы сделать, — это изымать часть наиболее высоких доходов, которая в любом случае была бы посвящена потреблению или, скажем так, сверхпотреблению, и эта доля сверхпотребления передается тем, кто, либо по причинам безнадежного отставания, либо в силу случайного распределения, оказался на низком уровне потребления. Но не более того. Социальная передача, как видите, носит весьма ограниченный характер. В общем, речь идет лишь о том, чтобы сохранить не то чтобы покупательную способность, но прожиточный минимум тех, кто, навсегда или временно, не может обеспечивать свое собственное существование.* Это маргинальный перенос от максимума к минимуму, а не абсолютное установление как регуляция среднего уровня.

А во-вторых, инструментом этой социальной политики, если это можно назвать социальной политикой, служит не обобществление потребления и доходов. Напротив, таковым может быть лишь приватизация, то есть: от общества не требуют гарантировать индивидов от опасностей, каковы бы ни были эти опасности, вроде болезни или несчастного случая, или от таких коллективных опасностей, как, например, разруха; от общества не требуют гарантировать индивидов от этих опасностей. От общества или, скорее, от экономики, требуют сделать так, чтобы у всякого индивида были достаточно высокие доходы, чтобы он мог или прямо, в индивидуальном порядке, или через коллективные отношения взаимопомощи, застраховаться от существующих опасностей, от опасностей существования или от тех неизбежностей существования, какими являются старость и смерть, опираясь на то, что составляет его собственный частный резерв. То есть социальная политика должна быть такой политикой, которая имеет своим инструментом не передачу доходов от одного к другому, но как можно большее распространение накопления для всех социальных классов, которая имеет своим инструментом инди-

---

* Рукопись добавляет: «Но, поскольку [прожиточный минимум] определить не удается, это будет, конечно же, распределение возможных расходов».

видуальное и взаимное обеспечение, которая, наконец, имеет своим инструментом частную собственность. Это то, что немцы называют «индивидуальной социальной политикой», в противоположность социалистической социальной политике.[47] Речь идет об индивидуализации социальной политики, об индивидуализации социальной политики вместо ее коллективизации и социализации. В итоге речь идет не о том, чтобы обеспечивать индивидам социальную защиту от опасностей, но о том, чтобы предоставить каждому своего рода экономическое пространство, внутри которого он сможет позаботиться о себе и противостоять опасностям.

А это ведет нас к заключению: для социальной политики лишь одно является истинным и основополагающим — экономический рост. Основной формой социальной политики не должно быть противостояние экономической политике и компенсирование ее; социальная политика не должна быть тем более щедрой, чем больше экономический рост. Лишь экономический рост должен позволить всем индивидам достигнуть такого уровня доходов, который сделает для них возможными социальное страхование, право частной собственности, индивидуальные или семейные накопления, с которыми они смогли бы перенести опасности. Именно это Мюллер-Армак, советник канцлера Эрхарда, назвал в 1952—53 гг. «социальной экономикой рынка»,[48] под каковое определение подпадала немецкая социальная политика. Впрочем, сразу добавлю, что на самом деле в силу целой кучи причин эта заявленная неолибералами радикальная программа социальной политики не была, не могла быть применена в Германии. Немецкая социальная политика была нагружена кучей элементов, одни из которых происходили от бисмарковского государственного социализма, другие — от планов Бевериджа или от планов защищенности, как они функционируют в Европе, так что этот пункт неолибералы, немецкие ордолибералы не смогли вполне реализовать в немецкой политике. Но — я настаиваю на этих двух пунктах — во-первых, исходя из этого и благодаря этому они отказались от той социальной политики, которую намеревался развивать американский анархо-капитализм, а во-вторых, важно отметить, что, несмотря ни на что, по крайней мере в тех странах, которые все больше и больше склоня-

лись к неолиберализму, социальная политика все больше и больше тяготеет к такому пониманию. Идея приватизации механизмов защиты, во всяком случае идея, согласно которой сам индивид и есть совокупность [защищающих его от опасностей] резервов, которыми он располагает либо просто в индивидуальном порядке, либо через взаимопомощь и т. п., эта цель, предстающая нам в трудах неолиберальных политиков, так или иначе есть цель, которая ставится сегодня перед Францией.[49] Тенденция такова: приватизированная социальная политика.

[Прошу меня извинить за] все эти долгие и банальные истории, но я полагаю, что все это необходимо для того, чтобы показать теперь то, что [формирует] исходный каркас неолиберализма. Первый момент, который надо подчеркнуть, таков: правительственное вмешательство (и неолибералы всегда это говорили) не столь насыщенно, не столь часто, не столь активно, не столь продолжительно, как в другой системе. Однако необходимо посмотреть, какова теперь точка приложения всех этих правительственных вмешательств. Правительство не должно вмешиваться в деятельность рынка (это понятно, поскольку речь идет о либеральном режиме). Неолиберализм, неолиберальное правление не должно ослаблять разрушительные воздействия рынка на общество (именно это и отличает неолиберализм, скажем так, политик благосостояния, от того, что знавали [с двадцатых по шестидесятые годы]*). Оно не должно становиться, так сказать, контрапунктом или экраном между обществом и его экономическими процессами. Оно должно вмешиваться в само общество на всю его ширину и глубину. В сущности, оно должно воздействовать на общество так, чтобы конкурентные механизмы в каждый момент и в каждой точке социальной массы могли играть роль регулятора — именно поэтому его вмешательство позволяет ему достичь своей цели, то есть конституирования общего рынка как регулятора общества. Таким образом, оно должно стать не экономическим правительством вроде того, которое задумывали физиократы,[50] то есть правительством, признающим и соблюдающим лишь экономические законы; это не экономическое управление, но

---

* М. Ф.: в 1920—1960 гг.

управление обществом. Кстати, на коллоквиуме Липпмана кто-то из выступавших, кто в 1939 г. искал новое определение либерализма, говорил: нельзя ли назвать это «социологическим либерализмом»?[51] В общем, неолибералы стремятся именно к управлению обществом, к политике общества. Кстати, именно Мюллер-Армак дал политике Эрхарда значимый термин «Gesellschaftspolitik».[52] Это политика общества. Тем не менее слова говорят то, что [говорят],* и траектория слов как может указывает на процессы. Когда в 1969—70 гг. Шабан предложит экономическую и социальную политику, он будет представлять ее как проект общества, то есть сделает общество задачей и целью правительственной практики.[53] И в этот момент мы перейдем от системы, скажем так, кейнсианского типа, которую более или менее влечет за собой еще голлистская политика, к новому искусству управлять, которое будет эффективно осуществлять Жискар.[54] Это переломный момент: целью правительственной деятельности становится то, что немцы называют «die soziale Umwelt»,[55] социальная среда.

Итак, что нужно сделать в отношении общества, которое стало теперь объектом правительственного вмешательства, правительственной практики, социологического руководства? Само собой, нужно сделать так, чтобы стал возможен рынок. Действительно, нужно, чтобы он был возможен, если мы хотим, чтобы он играл свою роль общего регулятора, принципа политической рациональности. Но что это значит: сделать регуляцию рынка принципом регуляции общества? Означает ли это установление рыночного общества, то есть общества торговли, потребления, в котором меновая стоимость составляла бы одновременно меру и общий критерий элементов, принцип коммуникации индивидов между собой, принцип циркуляции вещей? Иначе говоря, идет ли в неолиберальном искусстве управления речь о том, чтобы нормализовывать и дисциплинировать общество исходя из рыночных стоимости и формы? Не возвращаемся ли мы в этой модели к массовому обществу, к обществу потребления, обществу торговли, обществу спектакля, обществу симулякров, обществу оборотов, которое впервые описал

---

* М. Ф.: хотят сказать.

Зомбарт в 1903 г.?[56] Я так не думаю. В новом искусстве управлять обыгрывается не рыночное общество. Речь не идет о том, чтобы восстановить его. Регулируемое рынком общество, которое мыслят неолибералы, — это общество, в котором регулятивным принципом выступает не столько товарный обмен, сколько механизмы конкуренции. Именно эти механизмы должны как можно больше распространяться вширь и вглубь, занимая как можно больший объем в обществе. То есть пытаются прийти к обществу, подчиняющемуся не товарообороту, а конкурентной динамике. Не к обществу супермаркета, а к обществу предприятия. *Homo œconomicus*, которого стремятся возродить, — это не человек обмена, не человек-потребитель; это человек предприятия и производства. Так мы подошли к важному моменту, к которому я постараюсь немного вернуться в следующий раз. Здесь сходится целый ряд вещей.

Во-первых, конечно, анализ предприятия, развивавшийся начиная с XIX в.: исторический, экономический, моральный анализ того, что такое предприятие, целый ряд работ Вебера,[57] Зомбарта,[58] Шумпетера[59] о том, что такое предприятие, большей частью воспринятых неолиберальным анализом или проектом. А значит, если и имеет место возвращение к неолиберальной политике, это, конечно же, не возврат ни к правительственной практике *laissez-faire*, ни к тому товарному обществу, которое Маркс разоблачал в начале I тома «Капитала». Что пытается вернуться, так это своего рода социальная этика предприятия, исходя из которой Вебер, Зомбарт, Шумпетер пытались выстроить политическую, культурную, экономическую историю. Если хотите конкретнее, в 1950 г. Рёпке написал текст под названием «Направленность немецкой экономической политики», опубликованный с предисловием Аденауэра.[60] В этом тексте, в этой хартии Рёпке спрашивает о том, какова цель правительственной деятельности, ее последний ориентир, предельная цель. Так вот, он говорит (я перечисляю поставленные им цели): во-первых, позволить каждому, насколько возможно, владеть частной собственностью; во-вторых, сократить урбанистический гигантизм, заменить политикой средних городов политику больших пригородов, заменить политику и экономику усадеб

политикой и экономикой крупных ансамблей, поощрять объединения малых хозяйств в компании, развивать то, что он называет не-пролетарской промышленностью, то есть кустарное производство и розничную торговлю; в-третьих, децентрализовать места обитания, производства и управления, корректировать эффекты специализации и разделения труда, органично восстанавливать общество, исходя из естественных, семейных и соседских объединений; наконец, организовывать, планировать и контролировать все воздействия на окружающую среду, которые могут порождаться либо общежитием людей, либо развитием предприятий и промышленных центров. В общем, речь у Рёпке в 1950 г. идет о том, чтобы «постепенно переместить центр тяжести правительственной деятельности вниз».[61]

Этот текст, как вы знаете, уже повторили 25 000 раз за последние 25 лет. Это и есть то, что составляет сегодня тематику правительственной деятельности, и, конечно же, было бы неверным видеть здесь только прикрытие, оправдание и ширму, за которой происходит что-то другое. Во всяком случае нужно попытаться принять его таким, как он есть, то есть как программу рационализации и экономической рационализации. О чем, в сущности, идет речь? Немного присмотревшись, мы [наверняка] поймем это как своего рода более или менее возвращение руссоистского представления о природе, примерно то, что Рюстов называл, впрочем, весьма двусмысленным словом «*Vitalpolitik*», политика жизни.[62] Но что это за *Vitalpolitik*, о которой говорил Рюстов, и что означает это выражение? На самом деле речь, как видите, идет не о том, чтобы создать социальную сеть, в которой индивид непосредственно контактировал бы с природой, но о создании социальной сети, базовые единицы которой имели бы форму предприятия, ведь что такое частная собственность, как не предприятие? Что такое усадьба, как не предприятие? Что такое управление мелкими соседскими объединениями [...*], как не иные формы предприятия? Иначе говоря, речь идет о том, чтобы обобщить, по мере возможности распространяя и умножая их, формы «предприятия», которые не должны сво-

---

* Два или три слова неразборчивы.

диться ни к форме крупных предприятий на национальном или международном уровне, ни к форме крупных предприятий государственного типа. Эта демультипликация формы «предприятия» внутри социального тела, как мне кажется, и составляет цель неолиберальной политики. Речь идет о том, чтобы сделать из рынка, из конкуренции, а следовательно из предприятия, то, что можно было бы назвать ин-формантной властью общества.

Таким образом, мы оказываемся на перепутье, где, конечно же, реактивированы некоторые старые темы семейной жизни, совместного владения и целая куча критических тем, которые назойливо выступают против рыночного общества, против унификации через потребление. Так что, если не считать некоторой взаимозависимости (слово, которое в строгом смысле ничего не говорит) между критикой, которая проводилась, скажем так, в зомбартовском стиле, начиная чуть ли не с 1900 г., против рыночного общества, унификации и т. п., и целями современной правительственной политики, перед нами совершенно точное совпадение. Они хотят одного и того же. Просто критики, которые воображают, будто они разоблачают общество, скажем в кавычках, «по-зомбартовски», то есть общество унификации, массы, потребления, спектакля и т. п., заблуждаются, полагая, что критикуют сегодняшнюю цель правительственной политики. Они критикуют нечто иное. Они критикуют то, что действительно составляло горизонт, эксплицитный ли или имплицитный, искусства управлять [с двадцатых по шестидесятые]* годы. Но мы уже прошли эту стадию. Мы уже не там. Искусство управлять, спроектированное ордолибералами в 1930-е гг. и ставшее теперь программой большинства правительств капиталистических стран, так вот, эта программа вовсе не стремится к созданию такого типа общества. Напротив, речь идет о том, чтобы создать общество, ориентированное не на торговлю и унификацию торговли, но на множественность и дифференциацию предприятий.

Это первое, что я хотел вам сказать. Второе — но мне кажется, что времени у меня уже нет, — второе следствие этого

---

* М. Ф.: 1920—1960.

либерального искусства управлять — [это] глубокие изменения в законодательной системе и юридической институции. Ведь между обществом, индексированным формой предприятия [...*] и обществом, основывающемся на социальных службах как правовых институциях, разница невелика. Чем больше предприятий, тем больше центров формирования того, что станет предприятием, тем больше правительственная активность, допускающая игру этих предприятий; чем больше участков трения между этими предприятиями, тем больше спорных случаев, тем больше потребность в судебном арбитраже. Общество предприятия и правовое общество, общество, индексированное в предприятии, и общество, размеченное множеством правовых институций, — две стороны одного и того же явления.

В следующий раз я хотел бы совсем немного вернуться к этому, чтобы пробежаться по другим следствиям, другим образованиям неолиберального искусства управлять.**

---

* Несколько слов неразборчивы: «одновременно (уплотненное?) и (умноженное?)».

** М. Фуко добавляет:

Ах да, погодите, я должен вам еще кое-что сказать, прошу прощения. Семинар должен начаться в понедельник, 26-го. Те из вас, кто на него ходит, знает, что за вопросы ставятся на этом семинаре. Семинар — это нормально, когда в нем работают 10, 20, 30 человек. Его природа, а следовательно объект и форма меняются, когда их становится 80 или 100. Это маленькое замечание я делаю для тех, кто не чувствует себя непосредственно заинтересованным, кто хотел бы... ну ладно. Во-вторых, в этом семинаре речь будет идти в основном об анализе трансформаций юридических механизмов и правовых институций и о правовом мышлении конца XIX в. Тем не менее первый семинар я хотел бы посвятить нескольким проблемам метода и, в случае необходимости, обсуждению того, о чем я говорил на сегодняшней лекции. Поэтому я предлагаю тем, но только тем, у кого есть время, кого это интересует и т. п., если они хотят задать мне вопросы, пусть пишут их для меня здесь в течение недели. Таким образом, я получу записки в будущую среду, а затем в понедельник, 26-го, постараюсь ответить тем из вас, кто задаст вопросы. Вот так. А потом по понедельникам, на семинаре, мы будем говорить об истории права.

Примечания

[1] *Александр Исаевич Солженицын* (род. в 1918 г.) — русский писатель, автор многочисленных произведений (его наиболее известные сочинения: «Один день Ивана Денисовича» (1962); «В круге первом» (1968); «Раковый корпус» (1968)). Публикация за границей в 1973 г. книги «Архипелаг ГУЛАГ, 1918—1956» (trad. [s. n.]. Paris: Le Seuil, 1974), «опыта литературного расследования», посвященного подробному описанию советского концентрационного универсума, привела к тому, что автор был арестован, лишен советского гражданства и выслан. На Западе книга вызвала широкое обсуждение советской репрессивной системы (особенно см. книгу А. Глюксмана: *Glucksmann A.* La Cuisinière et le Mangeur d'hommes. Essai sur les rapports entre l'État, le marxisme et les camps de concentration. Paris: Le Seuil, «Combats», 1975, — на которую намекает М. Фуко в своем отклике на «Властителей-мыслителей» того же автора: «При Сталине запуганные ученые смотрели на Маркса снизу вверх. Глюксман смотрит на Солженицына сверху вниз» (*Foucault M.* Dits et Écrits. III. N 204. P. 278)). В первом издании «Надзирать и наказывать» (1975) Фуко использовал выражение «тюремный архипелаг» (P. 304; rééd. «Tel». P. 347. (*Фуко М.* Надзирать и наказывать: Рождение тюрьмы / Пер. В. Наумова под ред. И. Борисовой. М.: Ad marginem, 1999. С. 437)), отсылая к Солженицыну (см.: Questions à M. Foucault sur la géographie (1976) // Dits et Écrits. III. N 169. P. 32). Имя Солженицына здесь служит метонимией концентрационного универсума ГУЛАГа.

[2] Основанный в 1894 г. с тем, чтобы собрать книги, брошюры и периодические издания, касающиеся «социального вопроса», Общественный музей содержит коллекции, охватывающие социальную сферу в самом широком смысле этого термина. Он расположен на улице Лас Каз, 5, в 7-м округе. Этот юридический адрес выбрал Центр творческих исследований для своего коллоквиума (см. примеч. 14).

[3] Compte rendu des séances du colloque Walter Lippmann (26—30 août 1938) // Travaux du Centre international d'études pour la rénovation du libéralisme, cahier N 1, avant-propos de L. Rougier. Paris: Librairie de Médicis, 1939. См.: *Kunz P.-A.* L'Expérience néoliberale allemande. Op. cit. [с. 126 наст. изд., прим. 13]. P. 32—33.

[4] По инициативе Луи Ружьера (см. лекцию 21 февраля 1979 г., с. 208 наст. изд.).

[5] *Уолтер Липпман* (1889—1974). *Lippmann W.* An Inquiry into the Principles of the Good Society. Boston: Little, Brown, 1937 (La

Cité libre / Trad. G. Blumberg. Préface de A. Maurois. Paris: Librairie de Médicis, 1938). В статье, опубликованной через двадцать лет после коллоквиума, Л. Ружьер представлял книгу «великого американского колумниста» (в течение тридцати лет он вел рубрику «Today and Tomorrow» в «Herald Tribune») следующим образом: «Этот труд отказывается от отождествления либерализма и *laissez-faire*, *laissez-faire* физиократической и манчестерской доктрины. Он утверждает, что рыночная экономика была не спонтанным следствием естественного порядка, как верили классические экономисты, но результатом законопректа, постулирующего юридический интервенционизм государства» (*Rougier L.* Le libéralisme économique et politique // Les Essais. 1961. N 11. P. 47). См. цитату из У. Липпмана, помещенную в качестве эпиграфа ко 2-му тому книги К. Поппера «Открытое общество и его враги» (*Popper K.* La Société ouverte et ses ennemis. Paris: Le Seuil, 1979; *Поппер К.* Открытое общество и его враги. Т. 2: Время лжепророков: Гегель, Маркс и другие оракулы / Пер. под ред. В. Н. Садовского. М.: Феникс, Международный фонд «Культурная инициатива», 1992): «Моральная схизма, которая расколола современный мир и столь трагически разделила просвещенных людей, берет свое начало в упадке либеральной науки» (С. 7).

[6] Другими французскими участниками коллоквиума, помимо названных ниже, были Р. Обуа, М. Буржуа, А. Детюи, Б. Лаверне (автор книг Essor et Décadence du capitalisme. Paris: Payot, 1938 и La Crise et ses remèdes. Paris: Librairie de Médicis, 1938), Э. Мантуа, Л. Марлио (автор книги: Le Sort du capitalisme. Paris: Flammarion, 1938), [?] Мерсье и А. Пиатье. В. Эйкен был приглашен, но не получил разрешения на выезд из Германии.

[7] *Луи Боден* (1887—1964) — французский экономист, редактор книжной серии «Великие экономисты», автор книг: *La Monnaie.* Ce que tout le monde devrait en savoir. Paris: Librairie de Médicis, 1938; La Monnaie et la Formation des prix. 2[e] éd. Paris: Sirey, 1947; Précis d'histoire des doctrines économiques. Paris: F. Lovition, 1941; L'Aube d'un nouveau libéralisme. Paris: M.-T. Génin, 1953.

[8] См. лекцию 7 февраля 1979 г., с. 161 наст. изд., примеч. 16 и 21.

[9] См. лекцию 31 января 1979 г., с. 125—126 наст. изд., примеч. 11. Перевод книги фон Мизеса «Социализм» только что вышел в «Librairie de Médicis» (издательстве, выпустившем книгу У. Липпмана).

[10] *Жак Рюэфф* (1896—1978) — выпускник Политехнической школы, инспектор финансов, директор Общего движения фондов (предшественника управления Казначейства) во времена Народно-

го фронта. Либеральный экономист, опытным путем установивший связь между безработицей и избытком рабочей силы («закон Рюэффа»), он считал, что система стабильных и действенных цен выступает центральным элементом развитой экономики и что экономическая политика, защищая ее, должна бороться с двумя главными ее противниками — отсутствием конкуренции и инфляцией. До коллоквиума он опубликовал книгу: La Crise du capitalisme. Paris: Éditions de la «Revue Bleue», 1935. Épitre aux dirigistes. Paris: Gallimard, 1949, повторяет и развивает некоторые заключения коллоквиума. Его главный труд: Ordre social. Paris: Librairie du Recueil Sirey, 1945. См. его автобиографию: De l'aube au crepuscule. Paris: Plon, 1977. М. Фуко неоднократно встречался с ним.

[11] *Робер Маржолен* (1911—1986) — французский экономист, генеральный комиссар Плана Монне по модернизации и оснащению в 1947 г., затем генеральный секретарь Организации европейского экономического сотрудничества (OEEC) с 1948 по 1955 г. См. его мемуары: Le Travail d'une vie (collab. Ph. Bauchard). Paris: R. Laffont, 1986.

[12] *Реймон Арон* (1905—1983) — философ и социолог, который после 1945 г. станет одним из самых преданных защитников либеральной мысли, отказавшись от коммунизма, тогда опубликовал только книгу «Современная немецкая социология» (La Sociologie allemande contemporaine. Paris: Félix Alcan, 1935) и две свои диссертации — «Введение в философию истории» (Introduction à la philosophie de l'histoire. Paris: Gallimard, 1938) и «Критическая философия истории» (La Philosophie critique de l'histoire. Paris: Vrin, 1938).

[13] Точнее, 30 августа 1938 г. (см.: Compte rendu des séances du colloque Walter Lippmann. P. 107).

[14] Точнее, Международный исследовательский центр по реновации либерализма (аббревиатура CIRL была принята в конце коллоквиума (см. р. 110), однако отчет этого последнего был опубликован под аббревиатурой CRL). См. извлечение из устава, опубликованное в отчете коллоквиума: «*Международный Исследовательский Центр по Реновации Либерализма* имеет своей целью изучение, определение и ознакомление с тем, как фундаментальные принципы либерализма, в особенности ценовые механизмы и поддержание договорного режима производства и обмена, не исключающие вытекающих из государственных целей вмешательств, позволяют, в отличие от директив плановой экономики, обеспечивать максимальное удовлетворение человеческих потребностей и условия, необходимые для поддержания равновесия и устойчивости в обществе».

Этот Международный центр был торжественно открыт в Общественном музее 8 марта 1939 г. краткой речью его президента Луи Марлио, члена Института неолиберализма, и выступлением Луи Ружьера «Экономическое планирование, его обещания, его результаты». Эти тексты воспроизведены вместе со стенограммами последующих заседаний в 12 номере журнала «Les Essais» за 1961 г.: «Современные тенденции экономического либерализма».

[15] Речь идет о Л. Ружьере (Compte rendu des séances du colloque Walter Lippmann. P. 18): «Лишь отказавшись от включения в повестку этих двух вопросов [(1) неизбежен ли упадок либерализма, отказавшегося от какого-либо вмешательства государства, в силу законов его собственного развития? и (2) может ли экономический либерализм удовлетворить социальные нужды масс?], мы можем обратиться к собственными задачам того, что можно назвать *позитивным либерализмом*». См. также: *Marlio L.* Ibid. P. 102: «Я согласен с г. Рюэффом, но мне не хотелось бы использовать выражение "левый либерализм" [см.: *Rueff J.* Ibid. P. 101: «[Текст г. Липпмана] закладывает основы политики, которую я, со своей стороны, квалифицирую как левую либеральную политику, потому что она направлена на то, чтобы обеспечить самым обездоленным классам по возможности наибольшее благосостояние»], поскольку мне оно не кажется справедливым, и я думаю, что сейчас как у левых, так и у правых почти одни и те же взгляды. [...] Я предпочел бы называть эту доктрину "позитивным либерализмом", "социальным либерализмом" или "неолиберализмом", но не левым, что указывает на политическую позицию».

[16] *Röpke W.* La Crise de notre temps / Trad. citée. [см. с. 161—162 наст. изд., примеч. 21]. II[e] partie, ch. 3: «Свобода рынка требует экономической политики активной и крайне бдительной, но в то же время полностью сознающей свои цели и ограничение сферы своей деятельности, политики, которая бы никогда не пыталась преступить границы, предписываемые ей конформистским интервенционизмом».

[17] Цит. без ссылок в: *Bilger F.* La Pensée économique libérale de l'Allemagne contemporaine. Op. cit. P. 182.

[18] *Böhm F.* Die Ordnung der Wirtschaft als geschichtliche Aufgrabe und rechtsschöpferische Leistung. Stuttgart-Berlin: Kohlhammer, 1937. P. 10: «Основная потребность всякой экономической системы, заслуживающей этого имени, состоит в том, чтобы политическое руководство направляло экономику как в целом, так и в частностях; необходимо, чтобы экономическая политика государства интеллектуально и материально направляла всю экономическую деятельность» (пер. цит. по: *Bilger F.* Op. cit. P. 173).

[19] Очевидно, Фуко здесь довольно свободно воспроизводит фразу Леонгарда Микша из статьи 1949 г. (*Miksch L.* Die Geldschöpfung in der Gleichgewichtstheorie // Ordo. 1949. II. P. 327), которую цитирует Ф. Бильжер. Ibid. P. 188: «Даже если бы количество представляющихся необходимыми корректив ных вмешательств оказалось столь велико, что с этой точки зрения уже не будет заметно количественное отличие от предлагаемого планистами, выраженный здесь принцип не утратил бы своей ценности».

[20] См. лекцию 10 января 1979 г., с. 26 наст. изд.

[21] *Röpke W.* La Crise de notre temps. II[e] partie, ch. 3, p. 300: «Монополия не просто социально неоправданна, она также представляет собой инородное тело в экономическом процессе и помеху всеобщей производительности».

[22] См.: *Röpke W.* Ibid. P. 302: «Мы должны вспомнить о том, что именно само государство своей законодательной, административной и юридической деятельностью слишком часто создавало условия, предрасполагающие к формированию монополий. [...] Пособничество государства очевидно во всех случаях создания монополий посредством грамот, предоставляющих привилегии, такой способ часто использовался первыми монополиями Европы. Но в то же время такой образ действий свидетельствовал об ослаблении государства, поскольку очень часто правительство стремилось освободиться от своих долгов, как Максимилиан I в Германии, когда он передал монополии Фуггеру».

[23] *Дуглас Сесил Норт* (род. в 1920 г.). *North D. C.* The Rise of the Western World (collab. R.-P. Thomas). Cambridge: Cambridge University Press, 1973 (L'Essor du monde occidental: une nouvelle histoire économique / Trad. J.-M. Denis. Paris: Flammarion («L'Histoire vivante»); rééd. «Pluriel». P. 34, ch. 3, 4 (книга стала одним из источников, которые Фуко использовал в последних лекциях этого курса).

[24] См.: Compte rendu des séances du colloque Walter Lippmann. P. 36—37.

[25] *Mises L., von.* Ibid. P. 36: «Протекционизм дробит экономическую систему на множество различных рынков и, сокращая размеры экономических единиц, провоцирует создание картелей».

[26] *Mises L., von.* Loc. cit.: «Протекционизм не может дать эффективных результатов на национальном рынке, где производство уже превышает спрос, что ведет к созданию картеля, способного контролировать производство, продажу за границу и цены».

[27] *Rüstow A.* Ibid. P. 41: «Тенденция превзойти экономический оптимум концентрации, очевидно, не может быть тенденцией экономического порядка в смысле конкурентной системы. Скорее, это

тенденция монополизирующая, неофеодальная, хищническая, тенденция, которая не может преуспеть без поддержки государства, законов, судов, чиновников, общественного мнения».

[28] *Röpke W.* La Crise de notre temps. I^re^ partie, ch. 3. P. 180; автор противопоставляет несколько технических аргументов тезису, согласно которому «техническое развитие [...] ведет ко все более и более возрастающей унификации предприятий и производств».

[29] Compte rendu des séances du colloque Walter Lippmann. P. 41.

[30] Обращение к теоретизированию этой политики «как если бы» (Als-ob Politik) одним из учеников Эйкена, Леонгардом Микшем (Wettbewerb als Aufgabe [Конкуренция как долг]. Stuttgart-Berlin: W. Kohlhammer, 1937; 2^e^ éd. 1947) позволяет не путать ордолиберальную программу с требованием реализации всеобщей конкуренции. См.: *Bilger F.* La Pensée économique libérale... P. 82, 155 и всю 3 главу III части, «Экономическая политика», p. 17—206; *François-Poncet J.* La Politique économique de l'Allemagne occidentale. Op. cit. P. 63.

[31] О различии между «допустимыми действиями» и «недопустимыми действиями» см.: *Röpke W.* Die Gesellschaftskrisis der Gegenwart. Op. cit. (5^e^ éd., 1948). P. 258—264 (Trad. citée. P. 205—211); Civitas Humana / Trad. citée. [с. 161—162 наст. изд., примеч. 21]. P. 67—68. См. F. Op. cit. P. 190—192 (согласованность «статическая» и согласованность «динамическая» согласно модели Рёпке).

[32] *Eucken W.* Die Grundsätze der Wirtschaftspolitik. Bern-Tübingen: Francke & J. C. B. Mohr, 1952.

[33] См. лекцию 7 февраля 1979 г., с. 159 наст. изд., примеч. 9. См.: *Bilger F.* La Pensée économique libérale... P. 62: «Таким образом, эта книга — оборотная сторона первой; от политической экономии к экономической политике».

[34] Это различие в «Grundsätze» не формулируется четко (об «Ordnungspolitik» см. p. 242). Фуко здесь опирается на *Bilger F.* Op. cit. P. 174—188.

[35] *Рудольф Эйкен* (1846—1926) — профессор Базельского университета в 1871 г., затем, в 1874 г. — в Йене, где он преподавал до самой своей отставки. Нобелевская премия по литературе в 1908 г. Среди его основных трудов: Geistige Strömungen der Gegenwart. Berlin: Verleger, 1904 (Les Grands Courants de la pensée contemporaine / Trad. de la 4^e^ éd. par H. Buriot & G.-H. Luquet, avant-propos d'E. Boutroux. Paris: F. Alcan, 1912); Hauptprobleme der Religionsphilosophie der Gegenwart. Berlin: Reuther und Reichard, 1907 (Problèmes capitaux de la philosophie de la religion au temps present /

Trad. Ch. Brognard. Lausanne: Payot, 1910); Der Sinn und Wert des Lebens. Leipzig: Quelle & Meyer, 1908 (Le Sens et la Valeur de la vie / Trad. de la 3e éd. par M.-A. Hullet & A. Leicht, avant-propos de H. Bergson. Paris: F. Alcan, 1912). Квалификация «неокантианец», несомненно, заимствованная из *Bilger F.* Op. cit. P. 41—42, дает размытое определение его философии — «философии деятельности», — скорее примыкающей к виталистскому спиритуализму с религиозной окрашенностью, которая в Германии той поры противопоставлялась интеллектуализму и сциентизму (см.: *Campagnolo G.* Les trios sources philosophiques de la réflexion ordolibérale // L'Ordolibéralisme allemande. Dir. P. Commun. Op. cit. [с. 157—158, примеч. 2]. P. 138—143). Сближение «регулятивных действий» с неокантианством, проводимое здесь Фуко, отсылает к кантианскому различию между «конститутивными основоположениями» и «регулятивными основоположениями» из «Критики чистого разума» (*Kant I.* Critique de la raison pure / Trad. A. Trémesaygues & B. Pacaud. 6e éd. Paris: PUF, 1968. P. 176. Отдел I, книга II, гл. 2, § 3 (Аналогии опыта); *Кант И.* Критика чистого разума / Пер. Н. Лосского. М.: Мысль, 1994. С. 147).

[36] Цитата взята у Рёпке (на что, впрочем, указывает и сама рукопись), *Röpke W.* La Crise de notre temps. IIe partie, ch. 2. P. 243: «Но есть и другая, не менее важная [чем выработка и утверждение "третьего пути"] задача, поскольку внутри постоянных, легальных и институциональных рамок экономический процесс всегда ведет к определенным трениям преходящей природы, к модификациям, рискующим привести к чрезвычайным ситуациям, к трудностям адаптации и серьезным последствиям для групп».

[37] См.: *Eucken W.* Grundsätze, livre V, ch. 19. P. 336: «Die wirtschaftspolitische Tätigkeit des Staates sollte auf die Gestaltung der Ordnungsformen der Wirtschaft gerichtet sein, nicht auf die Lenkung des Wirtschaftsprozesses» («Экономико-политическая деятельность государства должна быть направлена на законодательное оформление экономики, а не на управление экономическим процессом»).

[38] Речь идет об «ограничительном определении допустимого вмешательства», которое, согласно Ф. Бёму, «не ударяет по трем основным "тенденциям" рынка: тенденции к сокрашению затрат, тенденции к постепенному сокращению прибылей предприятия и преходящей тенденции к повышению этих прибылей в случае решительного сокращения затрат и совершенствования производства» (*Bilger F.* La Pensée économique libérale... P. 190—191).

[39] Приписывание этой фразы Рёпке представляется ошибочным. Ее следов не обнаруживается ни в коллоквиуме Липпмана, ни в труде Бильжера.

[40] Об этом понятии см.: *Bilger F.* La Pensée économique libérale... P. 180—181: «Поскольку "ордолибералы" стремятся ограничить вмешательства в процесс [цель регулятивных действий], они приветствуют распространение деятельности государства на основы (cadre). Ведь процесс функционирует более или менее хорошо благодаря тому, что основы более или менее хорошо конституированы. [...] Основы — это чисто государственная область, общественная область, в которой оно [государство — *А. Д.*] может всецело осуществлять свое "предписывание". Они включают все то, что не возникает в экономической жизни спонтанно: они включают, таким образом, сущности, которые в силу всеобщей взаимозависимости социальных фактов определяют экономическую жизнь или, напротив, претерпевают ее следствия: человек и его потребности, природные ресурсы, активное и неактивное население, технические и научные знания, политическая и юридическая организация общества, интеллектуальная жизнь, географические данности, социальные группы и классы, ментальные структуры и т. п.».

[41] В своей рукописи М. Фуко, говоря о «Grundsätze» В. Эйкена (P. 377—378), ссылается на Бильжера (Op. cit. P. 181). Эта ссылка неверна, Эйкен в этом разделе своего труда не трактует специально вопросов, связанных с агрокультурой.

[42] См.: *Bilger F.* Op. cit. P. 185: «Надо приспособить агрокультуру к свободному рынку, заботясь о том, чтобы все принимаемые меры приближали ее к этой цели и не имели непосредственных пагубных последствий для других рынков. Чтобы достичь окончательного результата, государство может вмешиваться в вышеперечисленные данности, определяющие сельскохозяйственную деятельность: население, занятое в сельском хозяйстве, используемую технику, юридический режим эксплуатации, незанятые земли, самый климат и т. п.». См.: Ibid. P. 181, цитата из «Grundsätze» Эйкена, P. 378: «Конечно, существуют пределы воздействий экономической политики на общие данности. Но каждая из них поддается воздействию. Даже климат страны может измениться под воздействием человека (*Selbst das Klima eines Landes kann durch menschliches Eingreifen verändert warden*). *A fortiori* другие факторы, такие как численность населения, его знания и способности и т. п. Широчайшее поле действия открывается для шестой данности, юридического и социального порядка».

[43] Нидерландский политический деятель, *Сикко Леендерт Мансхольт* (1908—1995), вице-президент (1967—1972), а затем президент Европейской комиссии (1972—73), который с 1946 г. работал над созданием Бенилюкса, а затем Общего рынка. Разработал два сельскохозяйственных плана, — первый в 1953 г.,

стремясь заменить единой селскохозяйственной политикой политики национальные, второй — в 1968 г., где он предлагал программу реструктурирования единого сельского хозяйства («план Мансхольта»). См.: Rapport de la Commission des Communautés européennes (Plan Mansholt [...]). Bruxelles: [Secrétariat général de la CEE], 1968.

[44] О понятии «строй конкуренции» (Wettbewerbsordnung) см.: *Eucken W.* Die Wettbewerbsordnung und ihre Verwirklichung. Ordo, 1942. Vol. 2 и книгу 4-ю с тем же названием «Grundsätze».

[45] *Артур Сесил Пигу* (1877—1959) — британский экономист, противопоставлявший экономику благосостояния, определяемую максимальным ростом индивидуального удовлетворения, экономике богатства. Автор книги: Wealth and Welfare. Londres: Macmillan & Co., 1912 (этот труд, существенно переработанный, был переиздан в 1920 г. в Лондоне у Макмиллана под названием «Economics of Welfare»). См.: *Pribram K.* A History of Economic Reasoning. Baltimore, Md.: Johns Hopkins University Press, 1983 // Les Fondements de la pensée économique / Trad. H. P. Bernard. Paris: Economica, 1986. P. 466—467: «Задуманная как позитивная "реалистическая" теория, экономика благосостояния должна осмысляться в терминах количества и распределения значений. Более или менее аксиоматически, Пигу полагает, что — за исключением некоторых частных случаев — благосостояние возрастает, когда увеличивается объем реального общего дохода, и что регулярность его потока обеспечивается в большей мере, когда уменьшаются трудности, связанные с производством, а распределение национального дивиденда изменяется в пользу самых бедных».

[46] Эта формулировка, авторство которой остается неясным, не встречается ни в одной из работ Рёпке, к которым обращался Фуко.

[47] См.: *Bilger F.* La Pensée économique libérale... P. 198: «"Ордолибералы" не считают, что предлагаемая ими индивидуалистическая социальная политика менее "социальна", чем социалистическая социальная политика».

[48] См.: *Müller-Armack A.* Soziale Marktwirtschaft // Handwörterbuch der Sozialwissenschaften. Dir. E. von Beckerath et al. Vol. 9. Stuttgart-Tübingen-Göttingen: *G. Fischer, J. C. B. Mohr.* Vandenhoeck & Ruprecht, 1956 (rééd. in Müller-Armack A. Wirtschaftsordnung und Wirtschaftspolitik. Op. cit. [см. с. 160—161 наст. изд., примеч. 15] P. 243—248 // The neaning of the social market economy / Trad. A. Peacock & H. Willgerodt Germany's Social Market Economy... Op. cit. [с. 159 наст. изд., примеч. 8] P. 82—86. В 1947 г. Мюллер-Армак

впервые использовал это выражение в отчете для промышленной и торговой палат Северного Рейна-Вестфалии (переиздан в его книге: Genealogie der sozialen Marktwirtschaft. Berne: Paul Haupt, 1974. P. 59—65). Оно стало употребимым после того, как вошло в программу Христианского демократического союза во время первой кампании выборов в Бундестаг (Düsseldorfer Leitsätze über Wirtschaftspolitik, Sozialpolitik und Wohnungsbau от 15 июля 1949 г.).

[49] О неолиберальной политике, проводившейся во Франции в семидесятые годы, см. лекцию 7 марта 1979 г.

[50] О физиократическом понятии «экономического правления» см.: *Foucault M.* Sécurité, Territoire, Population. Op. cit. Лекции 25 января 1978 г. (p. 88, примеч. 40) и 1 февраля 1978 г. (p. 116, примеч. 23).

[51] Такого выражения в материалах «Коллоквиума В. Липпмана» не обнаруживается (очевидно, М. Фуко путает это выражение с выражением, использованным Л. Марлио (p. 102) («социальный либерализм»; см. примеч. 15)). Зато его использует В. Рёпке в «Civitas Humana» [с. 161—162 наст. изд., примеч. 21], p. 43: «*Либерализм*, к которому мы обращаемся [...] можно было бы определить как социологический либерализм, против которого бессильно оружие, выкованное для борьбы со старым, исключительно экономическим либерализмом».

[52] См.: *Bilger F.* La Pensée économique libérale... P. 111 (источник не уточняется). Термин «Gesellschaftspolitik», по-видимому, появляется в работах А. Мюллер-Армака начиная с 1960 г. См.: Die zweite Phaze der sozialen Marktwirtschaft. Ihre Ergänzung durch das Leitbild einer neuren Gesellschaftspolitik. 1960 (rééd. in: *Müller-Armack A.* Wirtschaftsordnung und Wirtschaftspolitik. P. 267—291 et in: Grundtexte der sozialen Marktwirtschaft / Eds. W. Stützel et. al. Op. cit. [с. 128, примеч. 21]. P. 63—78) и Das gesellschaftspolitische Leitbild der sozialen Marktwirtschaft. 1962 (rééd. in Wirtschaftsordnung... P. 293—317). В это время он определяет программу второй фазы построения социальной экономики рынка согласно плану внутренней политики.

[53] *Жак Шабан-Дельмас* (1915—2000) — премьер-министр во время президентства Жоржа Помпиду, с 1969 по 1972 гг. Его проект «нового общества», представленный в его инаугурационной речи 16 сентября 1969 г. и вдохновленной двумя его сотрудниками, Симоном Нора и Жаком Делором, вызвала многочисленные протесты со стороны консерваторов. Разоблачая «слабость нашей промышленности», он заявил: «Но теперь экономика сливается с политикой и социальным. Действительно, неправильное функционирование государства и архаичность наших социальных

структур препятствуют экономическому развитию, которое нам так необходимо. [...] Новая закваска молодежи, творчество, изобретательство, которые встряхнут наше одряхлевшее общество, могут помочь нам вылепить много новых форм, обогащенных демократией и соучастием во всех социальных организмах гибкого, децентрализованного государства. Таким образом, мы можем начать строительство нового общества» [источник: www.assemblee-nat.fr].

[54] *Валери Жискар д'Эстен* (род. в 1926 г.) был избран президентом Республики в мае 1974 г. См. лекцию 7 марта 1979 г., с. 251—252 и 267, примеч. 20.

[55] Выражение Мюллер-Армака, цитируемое в: *Bilger F.* La Pensée économique libérale... P. 111. См.: Die zweite Phaze der sozialen Marktwirtschaft // Op. cit. / Eds W. Stützel et. al. P. 72.

[56] Датировка Фуко, очевидно, основывается на отсылках Зомбарта к своим ранним работам в «Немецком социализме» (Trad. citée. [с. 167 наст. изд., примеч. 42] éd. 1990. P. 48. n. 1), где речь идет о разрушительных воздействиях «экономической эпохи» на «людей нашего времени» в области «духовной жизни»: «См. мои работы: Deutsche Volkswirtschaft (1903) [Die deutsche Volkswirtschaft im 19. Jahrhundert und im Anfang des 20. Jahrhundert (Berlin, G. Bondi)], Das Proletariat (1906) [op. cit., с. 167 наст. изд., примеч. 45], Der Bourgeois (1913) [Der Bourgeois. Zur Geistesgeschichte des modernen Wirtschaftsmenschen. Munich-Leipzig: Duncker & Humblot], Händler und Helden (1915 [Händler und Helden. Patriotische Besinnungen. Munich-Leipzig: Duncker & Humblot]». См. также: Der moderne Kapitalismus. Op. cit. [с. 166 наст. изд., примеч. 41], III[e] partie, ch. 53 (trad. citée: с. 167 наст. изд., примеч. 45]. T. II. P. 404—435: «Дегуманизация предприятия». О различных характеристиках капиталистического общества, описываемых Фуко, см.: Le Socialisme allemande. P. 49—52, 56.

[57] См. с. 163—164 наст. изд., примеч. 26.

[58] См.: *Sombart W.* Der moderne Kapitalismus. I[re] partie, ch. 1—2 (trad. citée., T. I, P. 24—41): «Роль главы капиталистического предприятия» и «Новые руководители»; Id., Gewerbewesen, 1: Organisation und Geschichte des Gewerbes, 2: Das Gewerbe im Zeitalter des Hochkapitalismus. Leipzig, 1904; 2[e] éd. révisée, Berlin: W. De Gruyter, 1929; Id., Der kapitalistische Unternehemer // Archiv für Sozialwissenschaft und Sozialpolitik. 1909. 29. P. 689—758.

[59] *Йозеф Шумпетер* (1883—1950) — автор «Theorie der wirtschaftlichen Entwicklung», опубликованной в 1912 г. (rééd. Munich: Duncker & Humblot, 1934 (La Théorie de l'évolution économique / Trad.

J.-J. Anstett. Paris: Librairie Dalloz, 1935, с длинным предисловием Ф. Перро «Экономическая мысль Йозефа Шумпетера»; rééd. 1999, без введения), и монументального труда «History of Economoc Analysis» [op. cit., с. 40 наст. изд., примеч. 2], впервые представивший концепцию создателя предприятия, который, обладая передовым духом и способностью к инновации, выступает подлинным агентом экономического развития. См. также его статью: Unternehmer // Handwörterbuch der Staatswissenschaften. Iéna, 1928. T. VIII. Эта теория отваги и предприимчивости станет основанием для пессимистического признания в 1942 г. в «Capitalism, Socialism and Democracy (New York — Londres: Harper & Brothers (Capitalisme, Socialisme et Démocratie / Trad. G. Fain. Paris: Payot, 1951 (см. в особенности p. 179—184: «Закат предпринимательской функции»)), в котором он предсказывает приход плановой экономики. См. лекцию 21 февраля 1979 г., с. 226—228.

[60] *Röpke W.* Ist die deutsche Wirtschaftspolitik richtig? Op. cit. [с. 161 наст. изд., примеч. 20].

[61] Ibid. и Grundtexte der sozialen Marktwirtschaft / Eds W. Stützel et. al. Op. cit. [с. 161, примеч. 21]. P. 59. Перечень мер, предлагаемых Рёпке, не вполне соответствует приведенному Фуко: «Die Maßnahmen, die hier ins Auge zu fassen sind [für eine grundsätzliche Änderung soziologischer Grundlagen (Entmassung und Entproletariseirung)], betreffen vor allem die Förderung der wirtschaftlichen und sozialen Dezentralisation im Sinne einer die Gebote der Wirtschaftlichkeit beachtenden Streuung des kleinen und mittleren Betriebes, der Bevölkerungsverteilung zwischen Stadt und Land und zwischen Industrie und Landwirtschaft, einer Auflockerung der Großbetriebe und einer Förderung des Kleineigentums der Massen und sonstiger Umstände, die die Verwurzelung des heutigen Großstadt- und Industrinomaden begünstigen. Es ist anzustreben, das Proletariat im Sinne einer freien Klasse von Beziehern kurzfristigen Lohneinkommens zu beseitigen und eine neue Klasse von Arbeitern zu schaffen, die durch Eigentum, Reserven, Einbettung in Natur und Gemeinschaft, Mitverantwortung und ihren Sinn in sich selbst tragende Arbeit zu vollwertigen Bürgen einer Gesellschaft freier Menschen warden». («Меры, которые необходимо предпринять [для существенного изменения социологических оснований (омассовления и пролетаризации)], касаются прежде всего содействия экономической и социальной децентрализации в соответствии с экономическими потребностями малых и средних предприятий, распределения населения между городом и деревней и между промышленностью и сельским хозяйством, рассредоточения крупных предприятий и содействия мелкой собственности масс и прочих

обстоятельств, способствующих рассредоточению сегодняшнего крупного города и промышленному номадизму. Нужно стремиться оторвать пролетариат как свободный класс от положения поденщиков и создавать новый рабочий класс, своими собственностью и сбережениями укорененный в природе и обществе, взаимной солидарности и по самой сути своей становящихся подлинным сообществом свободных людей»). См. выдержки из «Civitas Humana» (trad. citée, p. 250), воспроизводимые у Ф. Бильжера. La Pensée économique libérale... P. 103 («перемещение социального центра тяжести сверху вниз»).

[62] Рюстов определяет *Vitalpolitik* следующим образом: «[...] Политика жизни, которая не была бы сущностно ориентирована, как традиционная социальная политика, на увеличение заработной платы и сокращение рабочего времени, но которая сознавала бы общую жизненную ситуацию трудящегося, его реальную, конкретную ситуацию, с утра до вечера и с вечера до утра», материальную и моральную гигиену, чувство собственности, чувство социальной вовлеченности и т. п., которые в его глазах были бы столь же важны, как заработная плата и рабочее время. (цит. по: *Bilger F.* Op. cit. P. 106, который отсылает просто к «статье, появившейся в "Wirtschaft ohne Wunder"». Речь, конечно же, идет о Soziale Marktwirtschaft als Gegenprogramm gegen Kommunismus und Bolschewismus // Wirtschaft ohne Wunder / Ed. A. Hunold. Erlenbach-Zürich: E. Rentsch, 1953. P. 97—108). См. другие работы того же автора: Sozialpolitik oder Vitalpolitik // Mitteilungen der Industrie- und Handelskammer zu Dortmund. Dortmund, 1951. 11 novembre. P. 453—459; Vitalpolitik gegen Vermasunsg // Masse und Demokratie, Volkswirtschaftliche Studien für das Schweizer Institut für Auslandsforschung / Ed. A. Hunold. Erlenbach-Zürich: E. Rentsch, 1957. P. 215—238. О противопоставлении *Vitalpolitik* и *Sozialpolitik* см: *Friedrich C. J.* The political thought of Neo-liberalism. Art. citée [с. 162—163 наст. изд., примеч. 23]. P. 513—514. А. Мюллер-Армак связывает все относящееся к окружающей среде («die Gesamtheit der Umwelt») с *Vitalpolitik*: «Die hier erhobene Forderung dürfte in etwa dem Wunsche nach einer Vitalpolitik im Sinne von Alexander Rüstow entsprechen. Einer Politik, die jenseits des Ökonomischen aud die Vitale Einheit des Menschen gerichtet ist» («Всю эту совокупность потребностей при желании можно было бы поставить в соответствие с политикой жизни в смысле Александра Рюстова. Политикой, выходящей за пределы экономического и жизненного единства человека») (Die zweite Phase der sozialen Marktwirtschaft // Op. cit / Eds W. Stützel et al. P. 71).

Лекция 21 февраля 1979 г.

Второй аспект «политики общества» согласно ордолиберализму: правовая проблема в обществе, регулируемом по модели конкурентной рыночной экономики. — Возвращение к коллоквиуму Липпмана. — Размышления по поводу текста Луи Ружьера. — (1) Идея юридическо-экономического порядка. Взаимоотношения между экономическим процессом и институциональными рамками. — Цель: проблема выживания капитализма. — Две комплементарные проблемы: теория конкуренции и исторический и социологический анализ капитализма. — (2) Вопрос о юридическом интервенционизме. — Историческая справка: правовое государство XVIII в. как противоположность деспотизма и полицейского государства. Пересмотр понятия в XIX в.: вопрос об арбитраже между гражданами и публичной властью. Проблема административных судов. — Неолиберальный проект: включить принципы правового государства в экономический регистр. — Правовое государство и планирование по Хайеку. — (3) Увеличение количества судебных исков. — Общее заключение: специфика неолиберального искусства управлять в Германии. Ордолиберализм против пессимизма Шумпетера.

В прошлый раз я пытался показать вам, как ордолиберализм повлек за собой необходимость, как тогда выражались, *Gesellschaftspolitik*, политики общества и социального интервенционизма, одновременно активной, множественной, всевидящей и вездесущей. Итак, рыночная экономика, с одной стороны, и активная, интенсивная, интервенционистская

социальная политика — с другой. Однако нужно еще настоятельно подчеркнуть, что эта социальная политика ордолиберализма не функционирует как компенсаторный механизм, предназначенный для смягчения или устранения разрушительных воздействий, которые могла бы оказать на общество, на систему, на социальную сеть экономическая свобода. На самом деле, если существует постоянный и многообразный социальный интервенционизм, то не в противовес рыночной экономике и не вопреки рыночной экономике, но, наоборот, как историческое и социальное условие ее возможности, как условие функционирования формального механизма конкуренции, а следовательно, для того чтобы регуляция, которую должен обеспечивать конкурентный рынок, осуществлялась корректно и не возникали негативные социальные эффекты, неизбежные при отсутствии конкуренции. *Gesellschaftspolitik*, таким образом, должна устранять не антисоциальные эффекты конкуренции, но антиконкурентные механизмы, которые может порождать общество, и которые могут родиться в любом обществе.

Именно это я пытался подчеркнуть в прошлый раз, и, говоря о содержании *Gesellschaftspolitik*, я бы сказал, что существует два основных направления, утверждаемых ордолиберализмом: с одной стороны, формализация общества по модели предприятия (и я указывал вам на значимость этого понятия предприятия, к которому мы еще вернемся:[1] — нужно создать целую историю одновременно экономического, исторического, социального понятия предпринимателя и предприятия со всеми их взаимосвязями с конца XIX в. до середины XX в.), а второй аспект — это то, о чем я хотел бы рассказать вам сегодня: это новое определение юридической институции и правовых норм, необходимых обществу, регулируемому исходя из и в зависимости от конкурентной рыночной экономики: в общем, проблема права.

Чтобы как-то ситуировать их, я хотел бы вернуться к коллоквиуму Уолтера Липпмана, о котором я вам говорил неделю или две назад (точно не помню),[2] к коллоквиуму, который представляет собой довольно важное событие в истории современного неолиберализма, поскольку здесь в 1939 г., как раз накануне войны, пересекаются представите-

ли старого традиционного либерализма, такие немецкие ордолибералы как Рёпке, Рюстов и др., а также Хайек и фон Мизес, которые станут посредниками между немецким ордолиберализмом и американским неолиберализмом, из которого вырастет анархо-либерализм Чикагской школы,[3] Мильтон Фридман[4] и т. п. Все эти люди — не Мильтон Фридман, но Хайек, Мизес, которые станут, так сказать, посредниками,— все собрались в 1939 г., и ведущим, организатором этого коллоквиума, как вы знаете, был человек, которого звали Луи Ружьер,[5] один из редких и превосходных французских эпистемологов послевоенного времени, в истории известный в основном как посредник между Петэном и Черчиллем летом [19]40 г.[6] А летом 1939 г., кажется, в мае или в июне [19]39 г.,[7] Луи Ружьер организовал коллоквиум Уолтера Липпмана. Он представлял весь коллоквиум и различные выступления на нем, и его представление, надо сказать, было весьма примечательным в том, что касалось общих принципов неолиберализма. Вот, кстати, что он говорит о юридической проблеме: «Либеральный режим — не только результат естественного спонтанного порядка, как утверждали в XVIII в. многочисленные авторы "Кодексов природы"; это также результат законопорядка, предполагающего юридический интервенционизм государства. Экономическая жизнь [в действительности]* разворачивается в юридических рамках, которые фиксируют режим собственности, контрактов, патентов на изобретения, банкротства, статус профессиональных ассоциаций и коммерческих обществ, денег и банка, всего, что не является природной данностью, как законы экономического равновесия, то есть ограничительные творения законодателя. Так что нет никаких оснований полагать, будто узаконенные, исторически существующие на сегодняшний день институции носят окончательный и постоянный характер, будучи лучше всего приспособлены для сохранения свободы сделок. Вопросом о законодательных рамках, лучше всего приспособленных для наиболее гибкого, наиболее эффективного, наиболее лояльного функционирования рынка, классические экономисты

---

* Добавлено М. Фуко.

пренебрегли, и он заслуживает того, чтобы стать объектом для *Международного Исследовательского Центра по Реновации Либерализма*. Таким образом, быть либеральным никоим образом не значит быть консервативным, в смысле сохранения существующих привилегий, гарантируемых прежним законодательством. Напротив, это значит по существу быть прогрессивным в смысле постоянной адаптации законопорядка к научным открытиям, к прогрессу в экономических организациях и технике, к изменениям в структуре общества, к требованиям современности. Быть либеральным — не значит, как предлагают "манчестерцы", позволить машинам функционировать без всякого смысла, как им заблагорассудится, что привело бы лишь к заторам и неисчислимым бедствиям; это не значит, как предлагают "планисты", утвердить за каждой машиной час ее выхода и ее маршрут: навязывать *дорожный кодекс*, признавая, что он не может быть тем же самым во времена скоростного транспорта, что и во времена дилижансов. Сегодня мы лучше понимаем великих классиков, создавших поистине либеральную экономику. Это экономика, подчиняющаяся двойному суду: спонтанному суду потребителей, которые выбирают предлагаемые им на рынке товары и услуги по желанию, сообразующемуся с плебисцитом цен, и [с другой стороны],* третейскому суду государства, обеспечивающему свободу, лояльность и эффективность рынка».** [8]

Итак, в этом тексте, как мне кажется, можно выделить несколько элементов. Давайте сразу отбросим те положения, с которыми ордолибералы явно не согласились бы. А именно все, что касается естественного характера механизмов конкуренции. Когда Ружьер говорит, что либеральный режим — результат не только естественного порядка, но также законопорядка, ордолибералы, очевидно, ответили бы: неправда, естественный порядок, то, что понимают под естественным порядком сейчас, то, что понимали под естественным порядком классические экономисты, или во всяком случае экономисты XVIII в., — это не что иное, как результат законопорядка. Да-

---

* Добавлено М. Фуко.

** Л. Ружьер говорит: «рынков».

вайте оставим эти элементы, лежащие на стыке классического либерализма и неолиберализма, и скорее обратимся к более значимым, более характерным элементам неолиберализма, обнаруживающимся в этом тексте.

Во-первых, надо отметить вот что: для Ружьера, как, впрочем, и для ордолибералов, юридическое не относится к порядку надстройки. То есть юридическое не мыслится ими как относящееся к чистому и простому выражению или инструментовке экономики. Не сама экономика просто и непосредственно определяет юридический порядок, одновременно служащий экономике и зависимый от нее. Юридическое ин-формирует экономическое, так что экономическое не было бы тем, что оно есть, без юридического. Что это значит? Мне кажется, мы можем выделить три уровня значения. Во-первых, теоретическое значение. Теоретическое значение (это настолько очевидно, что мне стыдно об этом говорить) заключается в том, что вместо того, чтобы противопоставлять составляющее подлежащий порядок экономическое и составляющее надлежащий порядок юридическо-политическое, в действительности следует вести речь об экономико-юридическом порядке. В этом отношении Ружьер, а затем и ордолибералы вполне вписываются в весьма значимое направление, заданное Максом Вебером. То есть, включаясь в игру, они, как и Макс Вебер, ситуируются не на уровне производительных сил, но на уровне производственных отношений. Так они схватывают единым жестом и историю с экономикой, и право с экономикой в ее узком смысле, и, переходя на уровень производственных отношений, они не считают, что экономика — это ансамбль процессов, к которым присовокупляется право, более или менее к ним применимое или более или менее от них отстающее. На самом деле экономика должна пониматься как совокупность регламентируемых действий. Совокупность регламентируемых действий, правила, уровни, формы, происхождение, датировки и хронологии которых совершенно различны. Эти правила могут быть социальным габитусом, религиозным предписанием, этикой, корпоративным регламентом, а то и законом. Во всяком случае, экономика — это не механический или естественный процесс; это процесс, который нельзя изолировать, разве что свести к абстракции *a*

posteriori, к формализованной абстракции.[9] Экономика всегда может рассматриваться только как ансамбль действий, действий, само собой, регулируемых. Эту экономико-юридическую совокупность, этот ансамбль регулируемых действий Эйкен называет — скорее в феноменологической, чем в веберианской перспективе — «системой».[10] Что такое система? Это комплексный ансамбль, включающий экономические процессы, чисто экономический анализ которых зависит от теории и от формализации, которая может быть, например, формализацией механизмов конкуренции, но эти экономические процессы в действительности существуют в истории лишь постольку, поскольку институциональные рамки и позитивные правила задают им условие возможности.[11] Вот что исторически говорит этот общий анализ ансамбля производственных отношений.

Что значит исторически? Это значит, что не стоит воображать, будто в какой-то момент существовала чистая и сугубо экономическая реальность капитализма, или капитал и накопление капитала, которые, руководствуясь своими потребностями, отринули старые правовые нормы, такие, например, как право первородства, феодальное право и т. п., а затем создали в соответствии со своей логикой, собственными потребностями и, так сказать, собственным ростом снизу новые, более приемлемые правовые нормы, такие как право собственности, законодательство об акционерных обществах, патентное право и т. п. В действительности на вещи надо смотреть не так. Следует признать, что исторически мы имеем дело с фигурой, сингулярной фигурой, в которой экономические процессы и институциональные рамки апеллируют одни к другим, поддерживают друг друга, модифицируют друг друга, формируясь в непрестанном взаимодействии. В конце концов капитализм не был низовым процессом, который отринул, к примеру, право первородства. На самом деле понять историческую фигуру капитализма можно лишь принимая в расчет ту роль, которую играло, к примеру, право первородства в его формировании и генезисе. История капитализма может быть лишь экономико-институциональной историей. А отсюда вытекает целый ряд исследований по экономической, юридическо-экономической истории, которые чрезвычайно важны для

всех этих теоретических дебатов, а также, хотел бы я заметить, существенны с политической точки зрения, ведь совершенно очевидно, что проблемой этой дискуссии, этого теоретичсского и исторического анализа капитализма и той роли, что играла здесь юридическая институция, оказывается, конечно же, политическая цель.

Что такое политическая цель? Это очень просто. Это попросту проблема выживания капитализма, возможности и поля возможностей, открывающихся при капитализме. Ведь если допустить, используя марксистский тип анализа в очень-очень широком смысле этого термина, что детерминанта истории капитализма — это экономическая логика капитала и его накопления, то ясно, что фактически существует только капитализм, поскольку лишь у капитала есть логика. Есть только капитализм, который определяется единственной и необходимой для его экономики логикой, и относительно капитализма нетрудно сказать, какая институция ему благоприятствует, а какая не благоприятствует. Перед нами развитой капитализм или капитализм отсталый, но, во всяком случае, капитализм. Капитализм, который мы знаем на Западе, — это просто-напросто капитализм, модулируемый лишь несколькими благоприятными или неблагоприятными элементами. А следовательно сегодняшние тупики капитализма в той мере, в какой они в конце концов, в последней инстанции, определяются логикой капитала и его накопления, очевидно, есть тупики исторически абсолютные. Другими словами, если вы сводите все исторические фигуры капитализма к логике капитала и его накопления, конец капитализма оказывается отмечен историческими тупиками, проявившимися сегодня.

Но если, напротив, то, что экономисты называют «капиталом»,* на деле есть процесс, релевантный чисто экономической теории (а этот процесс не имеет и не может иметь исторической реальности в рамках ставшего экономико-институциональным капитализма), то становится ясно, что известный нам исторический капитализм не может [быть] выведен из единственно возможной фигуры и необходимой логики капитала. На самом деле исторический капитализм —

---

* Кавычки в рукописи.

это капитализм, обладающий сингулярностью, но в силу самой этой сингулярности способный претерпевать определенные институциональные, а следовательно экономические, экономико-институциональные трансформации, открывающие перед ним поле возможностей. Первый тип анализа всецело опирается на логику капитала и его накопления, единственного капитализма, а стало быть, капитализма вообще. Другой говорит о возможности исторической единичности экономико-институциональной фигуры, перед которой, следовательно, открывается (по крайней мере если задать историческую дистанцию и проявить немного экономического, политического и институционального воображения) целое поле возможностей. То есть в этой баталии вокруг истории капитализма, роли правовой институции, права при капитализме, перед нами предстает политическая цель.

Если взглянуть на дело иначе, каким представлялось положение вещей ордолибералам? Если предпринять самый общий анализ и сказать, что их проблема состояла в том, чтобы доказать, что капитализм все еще возможен, что капитализм может выжить при условии изобретения для него новой формы, если допустить, что такова конечная цель ордолибералов, можно сказать, что им нужно было, в сущности, доказать две вещи. Во-первых, они должны были доказать, что чисто экономическая логика капитализма, логика конкурентного рынка возможна и непротиворечива. Именно это они пытались сделать, и я рассказывал вам об этом в прошлый раз. И затем они должны были показать, что эта логика сама по себе непротиворечивая, — а следовательно надежная, в конкретных, реальных, исторических формах капитализма, в совокупности юридическо-экономических отношений, изобретая новую институциональную функциональность, — могла избежать эффектов, характерных для капиталистического общества (противоречий, тупиков, иррациональных моментов) и связанных не с логикой капитализма, но просто с особенной и частной фигурой экономико-юридического комплекса.

Как видите, эти две большие проблемы, доминировавшие в экономической теории, с одной стороны, и в экономической истории или социологии — с другой, в Германии были взаимосвязаны. Проблемой была теория конкуренции. Если экономи-

сты той эпохи — Вальра,[12] Маршалл[13] в Англии, Виксель[14] в Швеции и все, кто за ними последовал, — придавали такую значимость теории конкуренции, это потому, что речь шла о том, чтобы определить, противоречив ли или нет формальный механизм конкурентного рынка, а также о том, чтобы выяснить, в какой мере этот конкурентный рынок приводит или не приводит к явлениям, способным его уничтожить, а именно к монополии. Перед нами совокупность проблем, имеющих отношение к экономической теории. Выражаясь по-веберианski, совокупность проблем экономической истории и социологии, которая на самом деле является лишь другим аспектом или дубликатом первого вопроса и которая сводится к тому, чтобы выяснить, можно ли действительно обнаружить в истории капитализма экономико-институциональный ансамбль, способный нести ответственность и за сингулярность капитализма, и за его тупики, противоречия, трудности, за смесь рациональности и иррациональности, которые мы констатируем сегодня. Создать, к примеру, историю значения протестантской этики и связанных с нею религиозных предписаний,[15] а с другой стороны — чистую теорию конкуренции: это два различных аспекта или два взаимодополняющих способа поставить и попытаться каким-то образом разрешить вопрос о том, сможет ли выжить капитализм или нет. Этот аспект, как мне кажется, содержится в тексте Ружьера, в положениях которого он пытается показать, что экономический процесс не может разделяться на институциональный и юридический ансамбли, которые не являются лишь его эффектом, его простым выражением, более-менее отстающим от него или более-менее приспособленным к нему, и которые поистине составляют единое тело внутри экономической системы, то есть ансамбль регулируемых экономических практик.

Другой аспект того текста, который я вам только что прочитал, являющийся следствием первого, можно было бы назвать «юридическим интервенционизмом». Если допустить, что то, с чем мы имеем дело, — это не капитализм, вытекающий из логики капитала, но сингулярный капитализм, конституируемый экономико-институциональным ансамблем, мы должны вмешаться в этот ансамбль, и вмешаться таким образом, чтобы измыслить другой капитализм. Нужно не столько стремиться к

капитализму, сколько изобретать новый капитализм. Но где и как нужно произвести это инновационное вторжение в капитализм? Очевидно, не со стороны законов рынка, не в самом рынке, поскольку рынок, как показывает экономическая теория, по определению должен работать так, чтобы его собственные механизмы оказывались регуляторами самого ансамбля. Следовательно, не будем трогать законы рынка, но сделаем так, чтобы институции стали такими же, как законы рынка, то есть сами по себе сделались общим принципом экономической регуляции, а значит, принципом регуляции социальной. Следовательно, никакого экономического интервенционизма или минимум экономического интервенционизма и максимум интервенционизма юридического. Надо, говорит Эйкен в своей формулировке, представляющейся мне значимой, «обратиться к осознанному экономическому праву».[16] И мне кажется, что эту формулу нужно термин за термином противопоставить банальной марксистской формулировке. В банальной экономической марксистской формулировке это всегда ускользало от сознания историков, когда они проводили свои исторические исследования. По Эйкену, бессознательное историков — не экономическое, но институциональное, или, вернее, это не столько бессознательное историков, сколько бессознательное экономистов. То, что ускользает от экономической теории, что ускользает от экономистов в их исследованиях, — это институция, и на уровне осознанного экономического права нужно одновременно обратиться к историческому анализу, который покажет, в чем и как институция и правовые нормы вступают в отношения взаимной обусловленности с экономикой, и в то же время осознать те изменения, которые можно внести в экономико-юридический комплекс. Тогда возникает проблема: каким образом можно ввести совокупность поправок и институциональных инноваций, которые позволят наконец установить социальный порядок, экономично регулируемый рыночной экономикой, как добиться того, что ордолибералы называли «Wirtschaftsordnung»,[17] «порядок экономики»? Ответ ордолибералов — именно его я хотел бы коснуться сегодня — это попросту институциональная инновация, которую нужно теперь же осуществить, применив к экономике то, что в немецкой традиции называется *Rechtsstaat* и что англичане называют *Rule of*

law, правовое государство или господство закона. Таким образом, ордолиберальный анализ прекрасно вписывается в ту линию экономической теории конкуренции и ту социологическую историю экономики, первую из которых определили Вальра, Виксель, Маршалл, а вторую — Макс Вебер; она вписывается в линию теории права, теории государственного права, которая была очень важна и для немецкой юридической мысли, и для немецких институций.

Если позволите, еще пара слов. Что понимается под *Rechtsstaat*, под тем правовым государством, о котором вы, конечно же, читали в газетах в прошлом году и о котором так часто говорят?[18] Правовое государство. Я полагаю, достаточно будет сказать очень схематично. Так что простите за то, что оставляю лишь кожу да кости от того, что я собираюсь вам сказать. В XVIII в., в конце XVIII—начале XIX в. в политической теории и в немецкой теории права появляется понятие правового государства.[19] Что такое правовое государство? В ту эпоху оно определяется в противоположность двум вещам.

Во-первых, в противоположность деспотизму, понимаемому как система, которая делает из воли одного или даже многих полновластие, которая в любом случае делает из воли полновластие, принцип зависимости всех и каждого от публичной власти. Деспотизм — это то, что отождествляет характер и форму распоряжений публичной власти с волей правителя.

Во-вторых, правовое государство противоположно также тому, что противоположно деспотии и что является *Polizeistaat*, полицейским государством. Полицейское государство — это нечто отличное от деспотии, даже если случается, что порой одно накладывается на другое, — или, в конце концов, определенные аспекты одного накладываются на определенные аспекты другого. Что понимают под *Polizeistaat*, полицейским государством? Под полицейским государством понимается система, в которой нет никакого различия по природе, по происхождению, по пригодности, а следовательно, никакого различия между общими и постоянными предписаниями публичной власти — в общем, тем, что можно было бы назвать законом, — с одной стороны, и конъюнктурными, временными, локальными, индивидуальными распоряжениями публич-

ной власти — если угодно, нормативным уровнем — с другой. Полицейское государство — это то, что создает административный континуум, в котором общий закон как мера частного задает публичной власти и ее распоряжениям один и тот же принцип и навязывает ей одну и ту же значимость. Таким образом, деспотизм сводит, или, скорее, возводит все возможные распоряжения публичной власти к воле правителя, и только к ней. Полицейское государство создает континуум между всеми возможными формами распоряжений публичной власти, откуда бы ни исходил принуждающий характер распоряжений публичной власти.

Итак, правовое государство представляет положительную альтернативу и деспотизму, и полицейскому государству. То есть, во-первых, правовое государство определяется как государство, в котором действия публичной власти не имеют значимости, если они не заключены в рамки законов, которые их заранее ограничивают. Публичная власть действует в рамках закона и может действовать только в рамках закона. Таким образом, правитель, воля правителя не является принципом и истоком принуждающего характера публичной власти. Таковым выступает форма закона. Только там, где есть форма закона, и в пространстве, определяемом формой закона, публичная власть может оказаться легитимно принуждающей. Это первое определение правового государства. А во-вторых, в правовом государстве существуют различие по природе, по результатам, по происхождению между законами, которые представляют универсальные повсеместно пригодные меры и которые сами по себе есть акты суверенитета, и, с другой стороны, частными решениями публичной власти. Иначе говоря, правовое государство — это государство, в котором разделяются по своему принципу, следствиям, пригодности, правовой диспозиции, с одной стороны, выражения суверенитета и административные меры — с другой. Такова теория публичной власти и ее права, которая организует в конце XVIII и начале XIX в. то, что называется теорией правового государства, в противоположность формам власти и публичного права, функционировавшим в XVIII в.

Эта двойная теория правового государства, или во всяком случае два аспекта правового государства, один в противопо-

ложность деспотизму, другой — противопоставляющий его полицейскому государству, обнаруживаются в целом ряде текстов начала XIX в. Основной и, я полагаю, первый, представивший теорию [правового]* государства, — это текст Викселя 1813 г., который называется «Высшие принципы права, государства и наказания».[20] Перескакиваем немного вперед и во второй половине XIX в. обнаруживаем другое определение правового государства, или, вернее, более напряженную работу над понятием правового государства. Правовое государство оказывается в это время состоянием государства, в котором каждый гражданин имеет конкретные, институализованные и эффективные возможности жаловаться на публичную власть. То есть правовое государство — это уже не просто государство, действующее по закону и в рамках закона. Это государство, в котором есть правовая система, то есть законы, но есть также и судебные инстанции, выступающие арбитром в отношении индивидов, с одной стороны, и публичной власти — с другой. Все это относится к ведению административных судов. Мы видим, как на протяжении второй половины XIX в. в немецких теории и политике развивается целый ряд дискуссий о том, есть ли правовое государство такое государство, в котором граждане могут и должны жаловаться на публичную власть неким специализированным судам, каковые есть суды административные, несущие арбитражную функцию, или же, напротив, граждане могут жаловаться на государственную власть обычным судам. Некоторые теоретики, такие, например, как Гнейст,[21] считают, что для конституирования правового государства необходим административный суд как арбитражная инстанция между государством и его гражданами, публичной властью и гражданами. Тогда как некоторые другие, как, например, Бар,** [22] возражают, что административный суд, поскольку он происходит от публичной власти и, в сущности, является лишь одной из форм публичной власти, не может быть приемлемым арбитром между государством и гражданами, что только правосудие — аппарат правосудия, поскольку он реально или

---

* М. Ф.: полицейского.

** М. Ф.: фон Бар (рукопись: «ф. Бар»).

фиктивно независим от публичной власти, — именно обычный аппарат правосудия может быть арбитром между гражданами и государством. Во всяком случае, таков английский тезис, и во всех исследованиях, которые англичане [в] ту эпоху, [в] конце XIX в.,[23] посвящают *Rule of law*, господству закона, они ясно определяют правовое государство не как государство, само организующее административные суды, которые будут решать споры между публичной властью и гражданами, но [как] государство, чьи граждане могут жаловаться на публичную власть обычному правосудию. Англичане говорят: если есть административные суды, это не правовое государство. И доказательством того, что Франция не является правовым государством, для англичан служит то, что здесь есть административные суды и Государственный совет.[24] Государственный совет, в глазах английской теории, исключает саму возможность существования правового государства.[25] Короче, вот каково второе определение правового государства: возможность судебного арбитража как институции или чего-либо иного, посредствующего между гражданами и публичной властью.

Исходя из этого, либералы пытаются определить путь обновления капитализма. И этот путь состоит в том, чтобы внедрить общие принципы правового государства в экономическое законодательство. Эта идея утвердить принципы правового государства в экономике была, конечно же, конкретным способом отвергнуть гитлеровское государство, впрочем, не без подозрения, что гитлеровское государство в первой инстанции стремилось к экономическому правовому государству, хотя, по правде говоря, в гитлеровской практике фактически отвергалось экономическое народное правовое государство,* поскольку государство здесь перестало быть субъектом права, и источником права стал именно народ. Государство же не могло быть не чем иным, как инструментом воли народа, что совершенно исключало возможность для государства стать субъектом права, понимаемым как правовой принцип или как юридическое лицо, которое можно было бы призвать к какому бы то ни было суду. На самом деле этот поиск правового

---

* *Sic*. Смысл этого выражения остается неясным.

государства в экономическом отношении был нацелен совсем на другое. Он был нацелен на все формы правового вмешательства в экономический порядок, которое в ту эпоху осуществляли государства (а государства демократические более прочих), а именно правовое экономическое вмешательство государства в американском *New Deal* и в последующие годы планирование английского типа. Итак, что значит применять принцип правового государства к экономическому порядку? Мне кажется, это значит, что легальные вмешательства государства в экономический порядок могут иметь место, только если принимают форму внедрения формальных принципов, и только эту форму. Есть только формальное экономическое законодательство. Вот что такое принцип правового государства в экономическом порядке.

Что это значит, что правовые вмешательства должны быть формальными? Хайек (кажется, в своей книге «Конституция свободы»),[26] лучше всего определил то, что нужно понимать под применением принципов правового государства, или *Rule of law*, к экономическому порядку. В сущности, говорит Хайек, это очень просто. Правовое государство или формальное экономическое законодательство — это лишь противоположность плана.[27] Это противоположность планирования. Действительно, что такое план? Экономический план — это, так сказать, конечная цель.[28] Например, стремление к выраженному росту или стремление развивать определенный тип потребления, определенный тип инвестирования. Сократить различие в доходах между разными социальными классами. Короче, поставить перед собой точные и определенные экономические цели. Во-вторых, в силу самого существования этих целей при планировании всегда оставляется возможность в определенный момент внести улучшения и поправки, уточнения, приостановление мер, альтернативные меры соответственно тому, достигнут или нет искомый результат. В-третьих, при планировании публичная власть выступает в роли экономического распорядителя, поскольку она подменяет индивидов как принцип решения, а следовательно, обязывает индивидов к чему-то, например, не превышать определенного уровня жалования; или же она играет роль распорядителя, поскольку сама выступает экономическим

агентом, к примеру, инвестирующим общественные работы. Таким образом, при планировании публичная власть играет роль распорядителя.[29] Наконец, планирование предполагает, что публичная власть может конституировать субъекта, способного овладеть всей совокупностью экономических процессов. То есть великий государственный деятель есть в то же время деятель, обладающий ясным, или во всяком случае как можно более ясным осознанием ансамбля экономических процессов. Он — универсальный субъект знания в экономическом регистре.[30] Вот что такое план.

Итак, говорит Хайек, если мы хотим, чтобы правовое государство функционировало в экономическом регистре, оно должно быть чем-то совершенно противоположным. То есть правовое государство должно иметь возможность формулировать некоторые меры общего характера, которые, однако, должны оставаться всецело формальными, то есть они никогда не должны представать как конкретная цель. Это не значит, что государство говорит: нужно, чтобы различие в доходах снизилось. Это не значит, что государство говорит: я хочу, чтобы такой-то тип потребления увеличился. Закон при экономическом порядке должен оставаться сугубо формальным. Он не должен говорить людям, что нужно сделать и чего делать не нужно; он не должен вписываться во всеобщий экономический выбор. Во-вторых, закон, если он придерживается в экономическом регистре принципов правового государства, должен мыслиться a priori в форме точных правил и никогда не подправляться в зависимости от получаемых результатов. В-третьих, он должен определять рамки, внутри которых каждый из экономических агентов может совершенно свободно принимать решения, поскольку каждый агент будет знать, что законные рамки, определяющие его деятельность, останутся незыблемы. В-четвертых, формальный закон — это закон, который связывает государство не меньше, чем других, а значит этот закон должен быть таким, чтобы каждый точно знал, как работает публичная власть.[31] Наконец, концепция правового государства в экономическом отношении, по сути, исключает универсального субъекта экономического знания, который мог бы, так сказать, возвышаться над ансамблем процессов, определяя их цели и подменяя ту или

иную категорию агентов, чтобы принять то или иное решение. Действительно, государство должно быть слепо к экономическим процессам. Оно не предполагает знания обо всем, что касается экономики, или об ансамбле феноменов, касающихся экономики.[32] Короче говоря, экономика для государства, как и для индивидов, должна быть игрой: ансамблем регулируемых действий (как видите, мы возвращаемся к тому, о чем говорили с самого начала), в котором, однако, правила не являются решениями, принятыми кем-то за других. Это ансамбль правил, определяющих, каким образом каждый играет в игру, исхода которой в конце концов никто не знает. Экономика — это игра, и юридическую институцию, устанавливающую рамки для экономики, следует мыслить как правило игры. *Rule of law* и правовое государство формализуют правительственную деятельность как то, что устанавливает правила экономической игры, единственными партнерами и реальными агентами которой должны быть индивиды, или, если хотите, предприятия. Управляемая игра предприятий в юридическо-институциональных рамках, обеспечиваемых государством: такова общая формула того, чем должны быть институциональные рамки при обновленном капитализме. Регулирование экономической игры, а не произвольный экономико-социальный контроль. Это определение правового государства, или *Rule of law*, применительно к экономике Хайек характеризует фразой, которая представляется мне совершенно прозрачной. План, который есть противоположность правового государства или *Rule of law*, говорит он, «план предполагает, что ресурсами общества необходимо осознанно управлять для достижения определенной цели. *Rule of law*, напротив, состоит в том, чтобы очертить всецело рациональные рамки, внутри которых индивиды будут заниматься своими делами в соответствии со своими собственными планами».[33] Так же пишет Поланьи в «Логике свободы»: «Основная функция системы юрисдикции состоит в том, чтобы управлять спонтанным порядком экономической жизни. Законодательная система должна развивать и усиливать правила, согласно которым действует конкурентный механизм производства и распределения».[34] Таким образом, перед нами система законов как регулятор игры, и сама игра, которая представляет собой спонтанность экономиче-

ских процессов, манифестирующая некоторый конкретный порядок. Закон и порядок, *law and order*: эти два понятия, [к которым] я постараюсь вернуться в следующий раз и которые, как известно, принадлежат американской правовой мысли, — не просто девиз крайне правых американских громил со Среднего Запада.[35] *Law and order*: первоначально это имеет очень точный смысл, который, впрочем, явно возвращается в том либерализме, о котором я говорю.* *Law and order* — это значит: государство, публичная власть всегда вмешивается в экономический порядок в форме закона, и внутри этого закона, если публичная власть эффективно ограничивается этими легальными вмешательствами, может возникнуть экономический порядок, который будет одновременно результатом и принципом своей собственной регуляции.

Это второй аспект, который я хотел бы отметить в связи с процитированным текстом Ружьера. Итак, во-первых, не существует капитализма (*le* capitalisme) с его собственной логикой, противоречиями и тупиками. Существует экономико-институциональный, экономико-юридический капитализм (*un* capitalisme). Во-вторых, вполне возможно, стало быть, выдумать, вообразить другой капитализм, отличный от того, что мы знаем, сущностным принципом которого была бы реорганизация институциональных рамок в соответствии с принципом правового государства и который устранил бы, следовательно, весь ансамбль административного или легального интервенционизма, навязывать который позволяют государства, как это было в протекционистской экономике XIX в. или в плановой экономике XX в.

Третий аспект — это, само собой, то, что можно было бы назвать ростом судебных исков, потому что в действительности идея права, общая форма которого оказывается формой регуляции игры, навязываемой публичной властью игрокам (но таким игрокам, которые в своей игре остаются свободными), конечно же, предполагает ревалоризацию юридического, а также судебного. Скажем еще, что в XVIII в. одна из проблем либерализма состояла в том, чтобы максимально усилить

---

* М. Фуко добавляет: ведь уже в XIX в... [фраза неразборчива]. Короче говоря...

юридические рамки в форме общей системы законов, навязываемых всем в равной степени. Но в то же время эта идея примата закона, столь важная для мысли XVIII в., предполагала известное сокращение судебного или юриспрудентного, поскольку, в принципе, судебная институция не могла сделать ничего иного, как просто и непосредственно применить закон. Теперь, напротив, считается, что закон не должен быть ничем иным, как правилом игры, в которой каждый сам себе хозяин; отныне судебное, вместо того чтобы сводиться к простой функции применения закона, приобретает новые автономию и значимость. Конкретно, в либеральном обществе, где подлинный экономический субъект — это не человек обмена, не потребитель или производитель, но предприятие, в этом экономическом и социальном режиме, где предприятие является не просто институцией, но определенным способом вести себя в экономическом пространстве (в форме, зависящей от планов и проектов конкуренции, со своими целями, тактиками и т. п.); в этом обществе предприятия чем больше закон оставляет индивидам возможности вести себя так, как они хотят, в форме свободного предпринимательства, чем больше развиваются многочисленные и динамичные характеристики единого «предприятия», тем больше в то же время точек трения между этими многообразными единствами, тем больше конфликтных случаев, тем многочисленнее спорные случаи. В то время как экономическая регуляция совершается спонтанно, в присущих конкуренции формах, социальная регуляция конфликтов, иррегулярностей поведения, провоцирующих друг друга недостатков и т. п. требует интервенционизма, судебного интервенционизма, который должен осуществляться как арбитраж в рамках регуляции игры. Умножая предприятия, вы умножаете трения, эффекты среды, а следовательно, в той мере, в какой освобождают экономических субъектов и в какой позволяют им играть, чем более они освобождаются, тем больше они отрываются от статуса виртуальных функционариев, к которому их привязывал план, а по необходимости множатся и судьи. Уменьшение числа функционариев или, скорее, дефункционализация той экономической деятельности, которую влекут за собой планы, демультипликация динамики предприятий порождает потребность в судебных

инстанциях или во всяком случае все более и более многочисленных арбитражных инстанциях.

Проблема знания (это, впрочем, организационный вопрос) в том, будут ли эти арбитражи эффективно вписываться в предсуществующие судебные институции или, напротив, создаваться заново: это одна из фундаментальных проблем, встающих перед либеральными обществами, где возрастает потребность в судебных инстанциях или в арбитраже. Решения разнятся от одной страны к другой. В следующий раз я постараюсь рассказать вам об этом[36] применительно к Франции, о тех проблемах, которые стоят перед современной французской судебной институцией, профсоюзом магистратуры[37] и т. п. Во всяком случае по поводу интенсификации и умножения судебных постановлений я хотел бы процитировать текст Рёпке, который говорит: «Сегодня необходимо сделать из судов нечто большее, чем органы экономики, и поручить им выполнение миссий, которые до настоящего времени поручались административным властям.[38] В итоге, чем более формальным становится закон, тем более многочисленными оказываются судебные вмешательства. И по мере того, как правительственные вмешательства публичной власти все больше формализуются, по мере того, как административное вмешательство отступает, в той же мере правосудие стремится стать, и должно стать, вездесущей общественной службой.

Я остановлюсь на той ордолиберальной программе, которую немцы формулировали с 1930 г. до основания и развития современной немецкой экономики. Однако я хотел бы попросить у вас тридцать секунд, а то и две минуты дополнительно, чтобы обозначить — как бы это сказать? — способ возможного прочтения этих проблем. Итак, ордолиберализм предлагает конкурентную рыночную экономику, сопровождаемую социальным интервенционизмом, который сам по себе предполагает институциональное обновление, связанное с ревалоризацией единства «предприятия» как основного экономического агента. Я полагаю, что перед нами не просто чистое следствие и проекция идеологии, экономической теории или политического выбора при современном кризисе капитализма. Мне кажется, что то, рождение чего (быть может,

на короткое время, а может быть, и на более долгий период) мы наблюдаем, — это что-то вроде нового искусства управлять, или во всяком случае некоторая реновация либерального искусства управлять. Специфика этого искусства управлять, его исторические и политические цели, я думаю, можно уловить — я хотел отвлечься на несколько секунд, но теперь я вас от этого избавлю — при сравнении с Шумпетером.[39] В сущности, эти экономисты, будь то Шумпетер, Рёпке, Эйкен, исходят из (я на этом настаивают и я к этому еще вернусь) веберианской проблемы рациональности и иррациональности капиталистического общества. Шумпетер, так же как и ордолибералы, и ордолибералы, так же как Вебер, думают, что Маркс, или во всяком случае марксисты, ошибаются, усматривая источник и основание рациональности/иррациональности капиталистического общества исключительно в противоречивой логике капитала и его накопления. Шумпетер и ордолибералы считают, что в логике капитала и его накопления нет противоречия, а следовательно, с экономической, чисто экономической точки зрения капитализм вполне жизнеспособен. Такова совокупность тезисов, общих для Шумпетера и для ордолибералов.

Различие проявляется в другом. Поскольку Шумпетер признает, что [в плане] чисто экономического процесса капитализм непротиворечив и что, следовательно, экономика при капитализме всегда жизнеспособна, в действительности, говорит Шумпетер, исторически, конкретно капитализм нельзя отделить от монополистических тенденций. И вовсе не из-за экономического процесса, но по причинам, которые являются социальными следствиями процесса конкуренции, то есть самой организации конкуренции и динамики конкуренции, он взывает, и взывает с необходимостью, ко все более и более монополистической организации. Так что монополистический феномен для Шумпетера — феномен социальный, а следовательно соотносимый с динамикой конкуренции, но не присущий экономическому процессу самой конкуренции. Существует тенденция к централизации, к инкорпорированию экономики в центры принятия решений, все более и более близкие к администрации и государству.[40] Таким образом, это историческое осуждение капитализма. Но осуждение не в

терминах противоречия, а в терминах исторической неизбежности. По Шумпетеру, капитализм не может избежать этой концентрации, то есть происходящего внутри него самого развития, своего рода перехода к социализму, ведь социализм, по определению Шумпетера, это «система, в которой центральная власть способна контролировать средства производства и само производство».[41] Этот переход к социализму, таким образом, вписан в историческую необходимость капитализма не в силу присущих капитализму иллогичности или иррациональности, но в силу организационной и социальной необходимости, влекущей за собой конкурентный рынок. Таким образом, переход к социализму, конечно же, имеет свою политическую цену, о которой Шумпетер говорит, что ее тяжело выплатить, но которую он не считает абсолютно неоплатной, то есть ни абсолютно неподъемной, ни неприемлемой, так что, следовательно, мы идем к социалистическому обществу, за политической структурой которого надо пристально следить и которую надо вырабатывать, чтобы избежать чрезмерно высокой цены тоталитаризма.[42] Этого можно избежать, хотя и не безболезненно. По Шумпетеру, как ни досадно, но это будет. Это будет, и, если обратить на это пристальное внимание, это может быть не так плохо, как можно вообразить.

В отношении этого анализа Шумпетера — одновременно анализа капитализма и историко-политического прогноза — этого рода пессимизма, того, что в конце концов получило название пессимизма Шумпетера, ордолибералы, своеобразно подхватывая его анализ, отвечают: во-первых, та политическая цена, о которой Шумпетер говорит, что ее придется платить с момента наступления социалистического режима, эта, если угодно, утрата свободы, эта политическая цена неприемлема, как утверждал Шумпетер. Почему неприемлема? Потому, что на самом деле это не просто неудобства, связанные с экономикой планового типа. На самом деле плановая экономика не может избежать того, чтобы стать политически дорогостоящей, то есть того, чтобы оплачиваться ценой свободы. А следовательно, никакая коррекция невозможна. Никакие возможные поправки не помогут обойти то, что является необходимым следствием планирования, то есть ут-

рату свободы. А почему эта тотальная утрата свободы при планировании неизбежна? Да просто потому, что планирование допускает серию фундаментальных экономических ошибок и будет постоянно пытаться исправить эти ошибки; а исправление ошибок или внутренней иррациональности планирования может быть достигнуто только упразднением основных свобод. Итак, говорят они, как можно избежать этой ошибки планирования? Только если эта тенденция, которую Шумпетер распознал в капитализме и которая, как он верно заметил, есть тенденция не экономического процесса, а его социальных следствий, тенденция к организации, централизации, поглощению экономического процесса государством будет исправлена, и исправлена именно социальным вмешательством. Таким образом, социальное вмешательство, *Gesellschaftspolitik*, юридический интервенционизм, определение новых институциональных рамок протекционистской экономики таким чисто формальным законодательством, как *Rechtsstaat* или *Rule of law*,— вот что позволит устранить, сгладить централизующие тенденции, которые на самом деле присущи капиталистическому обществу, а не логике капитала. Именно это должно позволить сохранить логику капитала в ее чистоте, что позволит, следовательно, заставить функционировать сугубо конкурентный рынок, который не рискует качнуться к монополистическим феноменам, к тем феноменам концентрации и централизации, которые можно констатировать в современном обществе. И таким образом экономика конкурентного типа, какой ее определяли, во всяком случае проблематизировали великие теоретики конкурентной экономики, и институциональная практика, значимость которой показали работы таких крупных историков или социологов экономики, как Вебер, смогут направлять друг друга. Право, институциональное поле, определяемое сугубо формальным характером вмешательств публичной власти, и развертывание экономики, процессы которой регулируются чистой конкуренцией: вот то, что в глазах ордолибералов составляет сегодняшний исторический выбор либерализма.

Итак, я полагаю, что этот ордолиберальный анализ, этот политический проект, это историческое пари ордолибералов

были очень важны, поскольку именно они составили каркас современной немецкой политики. И если верно, что существует немецкая модель (а вы знаете, как она пугает наших соотечественников), это не та немецкая модель, на которую часто ссылаются как на всемогущее государство, полицейское государство. То, что является немецкой моделью и что распространяется, — это не полицейское государство, а государство правовое. И если я предложил вам все эти исследования, то не просто из удовольствия немного позаниматься современной историей; это было сделано с целью показать, как эта немецкая модель могла проникнуть, с одной стороны, в современную французскую экономическую политику, а с другой — в определенные либеральные проблемы, теории и утопии, какими мы их видим в США. Итак, в следующий раз я буду говорить, с одной стороны, о некоторых аспектах жискаровской экономической политики, а с другой — об американских либеральных утопиях.*

Примечания

[1] См. с. 222—224 наст. изд.

[2] См. лекцию 14 февраля 1979 г.

[3] См. лекции 21 и 28 марта 1979 г.

[4] *Мильтон Фридман* (род. в 1912 г.) — создатель современного американского неолиберализма, Нобелевский лауреат по экономике 1976 г., в конце пятидесятых годов прославился своей реабилитацией квантитативной теории денег (теорией, названной «монетаристской»). Бескомпромиссный сторонник и главный вдохновитель экономической политики США начиная с семидесятых годов (он был экономическим советником Никсона и Рейгана в их бытность кандидатами на пост президента), автор многочисленных работ, среди которых «Capitalism and Freedom» (The University of Chicago Press, 1962 (Capitalisme et Liberté. Paris: R. Laffont, 1971.)), где он утверждает, что рыночного механизма

---

* М. Фуко добавляет:

В следующую среду я не буду проводить свой курс, просто потому что я устал и хочу немного перевести дыхание. Простите меня. Таким образом, я продолжу лекции через две недели. Семинар в следующий понедельник, а лекция через две недели.

достаточно для регулирования большей части экономических и социальных проблем нашего времени. См.: *Lepage H.* Demain le capitalisme. Op. cit. [с. 197 наст. изд., примеч. 23]. P. 373—412: «Мильтон Фридман или смерть Кейнса».

[5] *Луи Ружьер* (1889—1982), автор работ: La Matière et l'Énergie, suivant la théorie de la relativité et la théorie des quanta. Paris: Gauthier-Villars («Actualités scientifiques»), 1919; Les Paralogismes du rationalisme. Essai sur la théorie de la connaissance. Paris: F. Alcan («Bibliothèque de philosophie contemporaine»), 1920; La Structure des theories déductives. Paris: F. Alcan, 1921; La Matière et l'Énergie. 2e éd. Paris: Gauthier-Villars, 1921. Представитель Венского кружка во Франции отвечал за организацию большого международного коллоквиума по философии науки, состоявшегося в Париже в 1935 г. В экономическом и политическом плане написал книги: La Mystique démocratique: ses origins, ses illusions. Paris: Flammarion, 1929; rééd. Paris: Albatros, 1983 (préf. De A. de Benoist); La Mystique soviétique. Bruxelles: Équilibres, 1934, и только что вышедшую Les Mystiques économiques. Paris: Librairie de Médicis, 1938, в которой он намеревался показать, «как либеральные демократии обращаются в тоталитарные режимы непродуманными социальными реформами и чрезмерными вмешательствами публичных властей, поощряемых теоретиками дирижистской экономики», этой «новой мистикой, которая создает интеллектуальный климат, благоприятный для становления диктатур» (P. 8—9). См.: *Allais M.* Louis Rougier, prince de la pensée. Fondation de Lourmarin. Lyon: Impr. Tixier et fils, 1990 (bibliographie, p. 55—71) и *Denord F.* Aux origins du néo-libéralisme en France. Louis Rougier et le Colloque Walter Lippman de 1938 // Le Mouvement social. 2001. Avril-juin. P. 9—34.

[6] Об этом спорном эпизоде см.: *Paxton R. O.* Vichy France: Old guard and new order 1940—1944. New York: A. A. Knopf, 1972 (La France de Vichy, 1940—1944 / Trad. C. Bertrand. Paris: Le Seuil, 1973. P. 92—93): «Франко-британские переговоры, проходившие в Мадриде с сентября 1940 г. по февраль 1941 гг. между послами Робером де ла Бомом, которого сменил Франсуа Пьетри, и сэром Самуэлем Хоаре, стали подлинной связью между Виши и Лондоном. Мало какие аспекты политики Петэна дали бы после войны повод к подобным мистификациям. Два официальных посредника, Луи Ружьер, профессор университета Безансона, и Жак Шевалье, министр национального образования, а затем здравоохранения в 1940 и 1941 гг., будут хвастаться тем, что вели переговоры о тайных соглашениях между Черчиллем и Петэном. Если верно, что Ружьер был в Лондоне в сентябре 1940 г., то пометки на документе, о котором он сообщает,

сделаны не рукой Черчилля, как сам он утверждает». См. также: *Lacouture J.* De Gaulle. T. I. Paris: Le Seuil, 1984. P. 453—455.

[7] Коллоквиум проходил в Международном институте интеллектуального сотрудничества с 26 по 30 августа (см. с. 193 наст. изд., примеч. 3).

[8] Colloque Walter Lippmann. Op. cit. P. 16—17.

[9] Об «изолирующей абстракции» как условии экономической морфологии согласно Эйкену, в отличие от «обобщающей абстракции», осуществленной Вебером для формализации идеальных типов, см.: *Bilger F.* La Pensée économique libérale de l'Allemagne contemporaine. Op. cit. P. 52.

[10] См.: *Bilger F.* Ibid. P. 57—58.

[11] Ibid. P. 58: «Основная идея Вальтера Эйкена, позволившая ему разрешить антиномию [между историей и экономической теорией], заключается в различении исторических рамок и процесса, который, по выражению Л. Микша, есть "не-история". Процесс вечного возвращения, у которого есть время, так сказать, внутреннее время. Но рамки, ансамбль данностей, подчиняются реальному историческому времени, и в определенном смысле эволюционируют».

[12] *Леон Вальра* (1834—1910): учился в парижской Горной школе, стал журналистом, затем, с 1870 г., преподавателем политической экономии в Лозанне. Заботясь о согласовании свободной конкуренции с социальной справедливостью, но действуя с присущей ему аксиоматичностью, выработал одновременно с Эвансом (Theory of Political Economy, 1871) и Менгером (Grundsätze der Volkwirtschatslehre, 1871) новую теорию стоимости, основанную на принципе маржинальной полезности («маржиналистская революция» 1871—1874 гг.). Построил математическую модель, постулирующую всецело «рациональное» поведение всех агентов, которая должна была позволить определить общее равновесие цен и обменов в системе чистой конкуренции. Основные работы: L'Économie politique et la Justice. Paris: Guillaumin, 1860; Éléments d'économie politique pure, ou Théorie de la richesse sociale. Lausanne, 1874—1887; Théorie mathémathique de la ichesse sociale. Lausanne, 1883; Études d'économie sociale. Lausanne-Paris, 1896; Études d'économie appliqué. Lausanne-Paris, 1898.

[13] *Альфред Маршалл* (1842—1924) — британский экономист, профессор в Кембридже, автор известного учебника Principles of Economics. Londres: Macmillan & Co, 1890 (Principes d'économie politique / Trad. de la 4[e] éd. par F. Sauvaire-Jourdan. 2 vol. Paris: V. Giard et E. Brière, 1906—1909; *Маршалл А.* Принципы политической экономии. В 3-х т. М.: Прогресс, 1983—1984). Пытаясь

осуществить синтез классической политической экономии и маржинализма, подчеркивал значимость времени как главного элемента в функционировании равновесного процесса (различие между короткими и длинными периодами).

[14] *Йохан Густав Кнут Виксель* (1851—1926) — шведский экономист, профессор университета Лунда. Старался превзойти теорию общего равновесия Вальра в своих работах по флуктуации среднего уровня цен. Автор книг: Über Wert, Kapital und Rente nach den neueren nationalökonomischen Theorien [Стоимость, капитал и рента...]. Iéna: G. Fischer, 1893; Geldzins und Güterpreise [Интерес и цена]. Iéna: G. Fischer, 1898; Vorlesungen über Nationalökonomie auf Grundlage des Marginalprinzipes [Курс экономики на основании маржинального принципа]. Iéna: G. Fischer, 1928 (ни один из этих трудов не переведен на французский язык).

[15] См. лекцию 31 января 1979 г., с. 128 наст. изд., примеч. 25.

[16] По-видимому, это выражение взято из следующей фразы Ф. Бильжера (La Pensée économique libérale de l'Allemagne contemporaine. P. 65) о проповедуемой Эйкеном научной политике, основанной на экономической морфологии: «[...] отвергнув эволюционистскую философию, Эйкен напоминает, что бóльшая часть групп сформировалась в истории не в силу технической необходимости, но из-за отсутствия подлинного экономически осознанного права».

[17] О понятии «Wirtschaftsordnung» см.: Grundlagen der Nationalökonomie. Op. cit. (2e éd. 1941). P. 57—78. См. также название книги Мюллер-Армака: Wirtschaftsordnung und Wirtschaftspolitik. Op. cit.

[18] Намек на полемику, вызванную высылкой Клауса Круассана, адвоката группы Баадера? Об этом событии, получившем во Франции большой резонанс, см.: *Foucault M.* Sécurité, Territoire, Population. Op. cit. Лекция 15 марта 1978 г. P. 287, n. 28 (о Жане Жене) и «Контекст курса»: Ibid. P. 385. См., например, статью О. Вормсера, французского посланника в Бонне с 1974 по 1977 г.: *Wormser O.* Connaître avant de juger // Le Monde. 1977. 5 novembre: «Чего хотели Андреас Баадер и его друзья, похитив М. Шлейера? Прежде всего добиться их освобождения в обмен на освобождение президента союза предпринимателей и в то же время дать пощечину федеральному правительству; к тому же, если бы федеральное правительство согласилось на этот обмен, оно перестало бы быть "правовым государством", созданным некогда при содействии западных держав, вернувшись к "государству", в котором насилие заменяет право, одним словом, к авторитаризму, граничащему с нацизмом».

[19] См.: *Mohnhaupt H.* L'État de droit en Allemagne: histoire, notion function // Cahiers de philosophie politique et juridique. 1993. N 24: «L'État de droit». P. 75—76: «Понятие правового государства в Германии было направлено, с одной стороны, против полицейского государства, то есть администрации в смысле государства-покровителя, а с другой — против беззаконного государства абсолютизма. Сочетание двух слов, *право* и *государство*, впервые появилось в Германии в 1798 г. у Иоганна Вильгельма Петерсена, который под именем Плацидус [Literatur der Staats-Lehre. Ein Versuch. I. Strasbourg, 1798. P. 73] характеризовал этой формулой философско-юридическую доктрину Канта, которую он назвал "критика или школа доктрины правового государства" [die kritische oder die Schule der Rechts-Staats-Lehre]». См.: *Stolleis M.* Rechtsstaat // Handwörterbuch zur deitschen Rechtsgeschichte. T. IV. Berlin: E. Schmidt, 1990. Col. 367; Id. Geschichte des öffentlichen Rechts in Deutschland. T. 1. Munich: C. H. Beck, 1988. P. 326 (Histoire du droit public en Allemagne, 1600—1800 / Trad. M. Senellart. Paris: PUF, 1998. P. 490).

[20] *Welcker C. Th.* Die letzten Gründe von Recht, Staat und Strafe. Giessen: Heyer, 1813. P. 13—26. См.: *Mohnhaupt H.* Art. cité. P. 78: «[Он выделял] следующие этапы развития государства: деспотизм как государство чувственности, теократия как государство веры и, как высшая точка развития, "правовое государство" как "государство разума"». Рукопись (p. 12) добавляет следующие отсылки: «Von Mohl, etudes sur les États-Unis et le droit fédéral (*Bundesstaatsrecht*) [= Das Bundes-Staatsrecht der Vereinigten Staaten von Nord-Amerika. Stuttgart, 1824]; Polizeiwissenschaft nach den Grundsätzen des Rechtsstaates ([Tubingen: Laupp], 2 vol., 1832[—1833]); *Stahl F. J.* Philosophie des Rechts [= Die Philosophie des Recht nach geschichtlicher Ansicht. Heidelberg: J. C. B. Mohr, 2 vol., 1830—1837]».

[21] *Gneist R. von.* Der Rechtsstaat. Berlin: J. Springer, 1872; 2-е издание вышло под названием: Der Rechtsstaat und die Verwaltungsgerichte in Deutschland. Berlin: J. Springer, 1879. Фуко здесь опирается на работу Ф. Хайека, на которую он в дальнейшем будет ссылаться: The Constitution of Liberty. Op. cit. [с. 40—41 наст. изд., примеч. 3]. Éd. 1976. P. 200 (гл. 13: «Либерализм и администрация: *Rechtsstaat*») (Trad. citée. P. 200—201).

[22] *Bähr O.* Der Rechtsstaat. Eine publizistische Skizze. Cassel: Wigand, 1864; rééd. Aalen: Scientia Verlag, 1961. См.: *Hayek F. A.* Loc. cit. (trad. citée, p. 200), о «юстикалистской» концепции *Rechtsstaat*. Об этом моменте см.: *Stolleis M.* Geschichte des öffentlichen Rechts in Deutschland. T. 2. Munich: C. H. Beck, 1992. P. 387.

[23] *Ф. Хайек* (*Hayek F. A.* The Constitution of Liberty. P. 203—204 (trad. citée, p. 203)) отсылает к классическому труду: *Dicey A. V.* Lectures Introductory to the Study of the Law of the Constitution. Londres: Macmillan & Co., 1886, который он упрекает за «тотальное непонимание использования термина [Rule of law / Staatsrecht] на континенте» (Ibid. P. 484. n. 35 (trad. citée, p. 477)).

[24] Наследник старого Королевского совета, Государственный совет, созданный Конституцией VIII года (15 декабря 1799 г.), представляет собой высший судебный орган Франции. «После реформы 1953 г. при тяжбах он ведает тремя типами вопросов: прежде всего направленными против важных административных актов, таких как декреты, призывами к осуждению, вынесенными административными судами, и кассациями против приостановки административных полномочий, выносимыми в последней инстанции. Решения Государственного совета выступают как окончательные судебные постановления» (Encyclopaedia Universalis. Thesaurus. T. 18. 1974. P. 438).

[25] Хайек, отметив, что Диси, игнорирующий немецкую эволюцию административного права, знал только французскую систему, замечает, что в отношении этой последней «его суровую критику можно признать справедливой, хотя даже в ту эпоху Государственный совет уже начал эволюцию, которая (как утверждает современный наблюдатель) "могла бы со временем сделать всякую произвольную власть администрации досягаемой для обжалования перед правосудием" [*Sieghart M. A.* Government by Decree. Londres: Stevens, 1950. P. 221]» (The Constitution of Liberty. P. 204 (trad. citée, p. 203)). Кстати он добавляет, что Диси впоследствии отчасти признал свою ошибку в статье: *Droit administratif* in Modern French Law // Law Quarterly Review. 1901. Vol. XVII.

[26] *Hayek F. A.* The Constitution of Liberty. На самом деле речь идет не об этой книге, из которой Фуко заимствовал некоторые ссылки, а о The Road to Serfdom. Op. cit. (La Route de la servitude. Trad. citée. [с. 165 наст. изд., примеч. 33]; см. гл. VI, p. 58—67: «Планирование и законопорядок», которую можно сопоставить с гл. 15 «The Constitution of Liberty»: «Economic policy and the Rule of law» («Экономическая политика и правовое государство»).

[27] Ibid. (ch. VI). P. 59: «Экономическое планирование коллективистского типа естественно предполагает противоположную систему [*Rule of law*]».

[28] Ibid.: «В [случае плана] само правительство упорядочивает использование средств производства для определенных целей».

[29] Ibid.: «[Власть, вырабатывающая планы,] должна постоянно решать проблемы, которые не могут быть решены исходя из жест-

ких принципов. Принимая решения, центральная власть должна устанавливать иерархию между потребностями различных категорий граждан».

[30] Ibid. P. 42: «В целом [сторонники планирования] утверждают, что очень и очень трудно получить связную картину совокупности экономических процессов и что, следовательно, необходимо прибегать к координации центрального органа, если мы не хотим, чтобы общественная жизнь превратилась в хаос».

[31] Ibid. P. 58: «[...] Правительство во всех своих действиях связано незыблемыми и заранее установленными правилами, правилами, которые позволяют с уверенностью предсказать, что при определенных обстоятельствах власть будет действовать строго определенным образом»; p. 59: «[...] правительство, послушное законопорядку, неспособно противодействовать усилиям индивида импровизированными мерами».

[32] Ibid. P. 42 (невозможность «иметь синоптическое видение» совокупности экономических процессов): «Децентрализация, ставшая необходимой потому, что никто не может осознанно взвесить все соображения, касающиеся решений столь большого числа индивидов, из-за того, что координация не может быть достигнута "осознанным контролем", но только посредством диспозитивов, которые передают каждому задействованному агенту сведения, необходимые ему для того, чтобы эффективно адаптировать свои решения к другим». Об этой необходимой слепоте государства в отношении экономического процесса см. лекцию, которую Фуко посвятил «невидимой руке» Адама Смита: лекция 28 марта, с. 346—348.

[33] Рукопись отсылает к «Road to Serfdom» [sic], но цитата, конечно же, представляет собой довольно свободную адаптацию текста. См. trad. citée, p. 59: «В первом случае [*Rule of law*] правительство ограничивается тем, что фиксирует условия, при которых могут использоваться существующие ресурсы. Для какой цели они хотят их использовать, решать индивидам. Во втором случае [централизованное планирование] именно правительство упорядочивает использование средств производства для определенных целей».

[34] *Майкл Поланьи* (1891—1976) — химик, экономист и философ венгерского происхождения (брат историка Карла Поланьи). Был профессором химии в Манчестерском университете с 1933 по 1948 гг., затем, с 1948 по 1958 гг., профессором социологии в том же университете. Цитата взята из его книги The Logic of Liberty: Reflections and rejoinders. Londres: Chicago University Press, 1951. P. 185 (La Logique de la liberté / Trad. citée [с. 125—126 наст. изд., примеч. 11]. P. 229: «[...] основная функция спонтанного поряд-

ка существующего права состоит в том, чтобы спонтанно регулировать экономическую жизнь. *Консультативная* правовая система развивает и гарантирует правила, которым подчиняется *конкурентная* система производства и распределения. Никакая рыночная система не может функционировать без юридических рамок, гарантирующих права собственности и заставляющих соблюдать договоры».

[35] См.: Le citron et le lait (octobre 1978) // Dits et Écrits. T. III, N 246. P. 698: «*Law and oder*: это не просто девиз американского консерватизма, это гибридный монстр. [...] Как говорится, молоко и лимон, следовало бы говорить закон *или* порядок. Эта несовместимость послужит нам уроком на будущее».

[36] М. Фуко не возвращается к этому сюжету в следующей лекции.

[37] В мае 1977 г. М. Фуко принял участие в мероприятиях профсоюза магистратуры и обсуждении движения «Свобода, Права» (1976), возглавляемого Р. Бадинтером; он критиковал «преувеличенную роль, которую социалистическая партия отводит судам и судебным властям как средству общественной регуляции» (*Defert D.* Chronologie // Dits et Écrits. T. I. P. 51). Этот текст появился уже после его смерти в профсоюзной газете Justice. 1984. N 115 (juin). P. 36—39 (в «Dits et Écrits» не воспроизводится).

[38] *Röpke W.* La Crise de notre temps // Trad. citée. [с. 161—162, примеч. 21]. II[e] partie, ch. 2. P. 253: «Суды стран [...] последняя цитадель государства и доверия к государству, и то руководство, у которого эта цитадель есть, не распадется. Было бы желательно, таким образом, сделать суды чем-то бóльшим, чем существовавшие в прошлом органы официальной экономической политики, и поручить им выполнение миссий, которые до настоящего времени поручались административным властям». В американской юрисдикции монополий, опирающейся на «Акт Шермана» от 2 июля 1890 г., он видит пример, позволяющий «вообразить подобную юрисдикциональную экономическую политику» (Ibid.).

[39] См. лекцию 14 февраля 1979 г., с. 203—204, примеч. 59.

[40] См.: *Schumpeter J.* Capitalisme, Socialisme et Démocratie. Trad. citée [с. 203—204 наст. изд., примеч. 59], 2-я часть: «Может ли выжить капитализм?». См. особенно p. 190—194: «Разрушение институциональных рамок капиталистического общества».

[41] Ibid. P. 224: «Социалистическим обществом мы называем институциональную систему, в которой центральная власть контролирует средства производства и само производство, или в которой, можно сказать, экономические интересы общества в принципе относятся к общественному, а не к частному сектору».

[42] См.: Ibid. IVe partie. P. 310—399: «Социализм и демократия». Особенно см. Заключение (P. 391) о проблеме демократии при социалистическом режиме. «Ни один разумный человек не может не разглядеть последствий расширения демократического метода (то есть "политической" сферы) в области экономики. Если он полагает, что демократический социализм — синоним такого расширения, такой человек естественно заключит, что демократический социализм обречен на провал. Тем не менее такое заключение вовсе не неизбежно. [...] Расширение зоны общественного руководства не предполагает соответствующего расширения зоны политического руководства. Можно понять, что первое расширяется для того, чтобы поглотить все экономические интересы нации, тогда как второе не выходит за рамки, определенные ограничениями, присущими демократическому методу» (P. 394—395).

Лекция 7 марта 1979 г.

Общие замечания: (1) Методологическое значение анализа микровласти. (2) Инфляционизм страха перед государством. Связи с ордолиберальной критикой. — Два тезиса о тоталитарном государстве и об ослаблении государственного правления в XX в. — Замечания о распространении немецкой модели во Франции и в США. — Неолиберальная немецкая модель и французский проект «общественной рыночной экономики». — Контекст перехода к неолиберальной экономике во Франции. — Французская социальная политика: пример социальной защиты. — Разделение между экономическим и социальным согласно Жискару д'Эстену. — Проект «отрицательного налога» и его социальные и политические цели. «Относительная» бедность и бедность «абсолютная». Отказ от политики всеобщей занятости.

Я хотел бы заверить вас, что, несмотря ни на что, поначалу у меня действительно было намерение говорить о биополитике, но потом вышло иначе, и я долго, быть может чересчур долго, говорил о неолиберализме, притом о неолиберализме в его немецкой форме. Тем не менее я должен объяснить вам, скажем так, эту инфлексию направления, которое я хотел придать курсу. Если я так долго говорил о неолиберализме, хуже того — о неолиберализме в его немецкой форме, то, разумеется, не потому, что хотел изобразить исторический или теоретический «бэкграунд» немецкой христианской демократии. Если я это сделал, то не затем, чтобы изобличить не-социалистов в правительстве Вилли Брандта или Хельмута Шмидта.[1] Если я несколько задержался на проблеме немецкого неолиберализма, то прежде всего по соображениям метода,

ибо я хотел, немного продолжив то, о чем я начал говорить в прошлом году, подробнее рассмотреть, какое конкретное содержание можно придать анализу властных отношений — притом, что власть (я повторяю это еще раз) никоим образом не может считаться ни принципом в себе, ни объяснительной ценностью, функционирующей сама по себе. Сам термин «власть» не указывает ни на что иное, как на [область]* отношений, которые следует проанализировать во всей полноте, и то, что я предложил назвать управлением, то есть тем, что управляет поведением людей, есть не что иное, как установление сетки для анализа этих властных отношений.

Таким образом, речь шла о том, чтобы описать понятие «управление», а во-вторых, о том, чтобы выяснить, насколько действенным можно признать использование сетки управления при анализе управления поведением сумасшедших, больных, преступников, детей; насколько она действенна, когда речь идет о феноменах совсем иного масштаба, таких, например, как экономическая политика, руководство социальным телом и т. п. Что я хотел сделать (такова была цель исследования), так это посмотреть, в какой мере можно считать, что анализ микровласти, или процедур управления, не ограничивается определенной областью, задаваемой сектором шкалы, но должен признаваться лишь точкой зрения, методом дешифровки, который может быть пригодным для всей шкалы, какой бы ни была размерность. Иначе говоря, анализ микровласти — это не вопрос масштаба или сектора, это вопрос точки зрения. Вот так. Таково, если угодно, методическое соображение.

Есть и другая причина, по которой я остановился на проблемах неолиберализма. Это соображение, которое я назвал бы моральной критикой. Если возобновить эти темы, можно сказать, что в настоящее время в самых разных горизонтах почти всегда ставится под вопрос государство; государство и его бесконечный рост, государство и его вездесущность, государство и его бюрократическое развитие, государство, в котором зреют ростки фашизма, государство и чинимое им в связи с провиденциальным патернализмом насилие... Во всей этой критике

---

* М. Ф.: предел.

государства, как мне кажется, присутствуют два очень важных и постоянно всплывающих элемента.

Во-первых, идея, согласно которой государство само по себе и в присущей ему динамике обладает чем-то вроде способности к экспансии, внутренней тенденцией к росту, эндогенным империализмом, непрестанно подвигающим его к распространению в пространстве, в протяженности, в глубине, в объеме, так что оно способно полностью охватить то, что составляет одновременно его другое, его внешнее, его цель и его объект, а именно гражданское общество. Таким образом, первый элемент, который, как мне представляется, пронизывает вообще всю тематику страха перед государством — это внутренняя мощь государства в отношении своего объекта-цели, каковой есть гражданское общество.

Другой элемент, который, как мне кажется, постоянно присутствует в этих общих темах страха перед государством, сводится к тому, что существует родство, что-то вроде генетической преемственности, эволюционной последовательности между различными формами государства — административным государством, государством-покровителем, бюрократическим государством, фашистским государством, тоталитарным государством, всем тем, что, согласно исследованиям, оказывается ветвями одного и того же дерева и что составляет последовательность и единство великого этатистского древа. Эти две идеи, соседствующие друг с другом и друг друга поддерживающие — [во-первых,] что государство обладает способностью к бесконечной экспансии в отношении объекта-цели, гражданского общества, а вторая — что формы государства порождают друг друга в силу специфической динамики государства, — эти две идеи, как мне кажется, составляют общее место критики, которое сегодня обнаруживается очень часто. Итак, мне представляется, что эти темы пускают в обращение определенную критическую величину, некоторую критическую валюту, которую можно назвать инфляционной. Почему инфляционной?

Прежде всего, потому, что, как мне кажется, эта тематика ведет к возрастанию (и с постоянно возрастающей скоростью) взаимозаменяемости исследований. Поскольку можно допустить, что между различными государственными формами су-

ществует преемственность или генетическое родство, поскольку можно обозначить постоянную эволюционную динамику государства, сегодня исследования могут не только опираться друг на друга, но и отсылать друг к другу, заставляя каждое из них утрачивать свою специфичность. К примеру, исследование социальной защиты и административного аппарата, на котором она основывается, в силу нескольких соскальзываний и благодаря игре слов отсылает нас к исследованию концентрационных лагерей. А смешивание социальной защиты и концентрационных лагерей делает исследование размытым.[2] Таким образом, это инфляция в том смысле, что имеют место нарастание взаимозаменяемости исследований и утрата ими специфичности.

Эта критика представляется мне инфляционной и по другой причине. Она позволяет осуществить то, что можно было бы назвать общей дисквалификацией худшего типа, поскольку, каким бы ни был объект анализа, какова бы ни была ничтожность, незначительность объекта анализа, каково бы ни было реальное функционирование объекта анализа, от имени внутренней динамики государства и от имени тех крайних форм, которые эта динамика может принимать, всегда можно сослаться на что-то худшее, так что меньшее дисквалифицируется бóльшим, лучшее — худшим. Дело вовсе не в том, что я беру пример лучшего; давайте представим, к примеру, что в такой системе, как наша, хулиган, разбивший витрину кинотеатра, попадет под суд, и ему будет вынесен слишком суровый приговор; всегда найдутся люди, которые будут говорить, что такой приговор — признак фашизации государства, как будто бы задолго до фашистского государства не выносили таких и даже куда худших приговоров.

Третий фактор, третий инфляционный механизм, который, как мне кажется, характеризует такого рода исследования, заключается в том, что эти исследования позволяют избежать ответственности перед реальностью и настоящим, поскольку, ведя речь о динамике государства, всегда можно обнаружить что-то вроде сродства или опасности, что-то вроде великого фантазма параноического и пожирающего государства. Так что, в конце концов, неважно, как мы воспринимаем реальность или каков облик современной реальности. Достаточно

обнаруживать, строя догадки, и, как сказал Франсуа Эвальд, «изобличать»[3] что-то вроде фантазматического характера государства, не нуждаясь больше в исследовании современности. Элизия современности представляется мне [сущностью] третьего инфляционного механизма, обнаруживающегося в этой критике.

Наконец, я бы сказал, что инфляционная критика, эта критика механизмов государства, критика динамики государства, не развивает собственной критики, не развивает своего собственного исследования. То есть не пытается узнать, откуда в действительности исходит этот вид антигосударственной подозрительности, этот страх перед государством, который циркулирует сегодня в столь различных формах нашей мысли. Итак, мне кажется, что такого рода анализ (я подчеркивал это, говоря о неолиберализме 1930—1950-х гг.), эта критика государства, критика внутренней динамики как неустранимого свойства государства, форм государства, вырастающих одни из других, взывающих одни к другим, опирающихся одни на другие и друг друга порождающих, обнаруживается уже отчетливо сформулированной и на сей раз четко локализованной в 1930—1945 гг. В ту эпоху она не так активно циркулировала, как сегодня. Она была четко локализована внутри неолиберального направления, тогда как раз формировавшегося. Эта критика полиморфного, вездесущего, всемогущего государства обнаруживается в те годы, когда речь шла о либерализме или о неолиберализме, или, еще точнее, о немецком ордолиберализме, одновременно отмежевываясь от кейнсианской критики, проводя критику (скажем так, дирижистского и интервенционистского типа) *New Deal* и Народного фронта, критику национал-социалистических экономики и политики, политического и экономического развития Советского Союза, наконец, развивая критику социализма вообще. Именно здесь, в этом климате, в узком и, можно сказать, ограниченном смысле, в этой немецкой неолиберальной школе обнаруживаются и исследование необходимого и в своем роде неизбежного родства различных форм государства, и та идея, что само государство обладает присущей ему динамикой, в силу которой оно никогда не может остановиться в своем разрастании и в усилении давления на гражданское общество в целом.

Я хотел бы процитировать два текста, свидетельствующих о раннем созревании этих двух идей, представляющихся нам столь современными, столь жизненными и актуальными. Я процитирую отклик Рёпке, опубликованный в июне-июле 1943 г. в швейцарском журнале,[4] где он критикует только что обнародованный план Бевериджа и где он говорит: план Бевериджа ведет к «еще большей социальной защищенности, еще большей социальной бюрократии, к еще более доходной деятельности, к тому, что наклеивается еще больше марок и ставится еще больше печатей, еще больше отчислений, контрибуций, еще бóльшая концентрация власти, национального дохода и ответственности оказывается в руках государства, которое так или иначе все охватывает, все регулирует, все концентрирует и контролирует, единственным определенным результатом чего оказывается осуществление еще большей централизации общества, разрушающей средний класс путем пролетаризации и этатизации».[5] И в то же самое время, опять-таки в ответ на послевоенные планы, которые тогда, в 1943 г., разрабатывали англо-американцы, главным образом англичане, Хайек в Англии писал: «Мы опасаемся, что нас постигнет удел Германии».[6] Он говорил это не из-за опасения вторжения Германии в Англию, каковое на тот момент было предотвращено, причем окончательно. Знать удел Германии для Хайека в 1943 г. значило вникнуть в систему Бевериджа, систему социализации, дирижистской экономики, планирования, социальной защиты. Впрочем, он поправлялся, добавляя: нам близка не гитлеровская Германия, но Германия другой войны. Как и там, хотят «[сохранить]* в производственных целях организацию, выработанную для национальной обороны».[7] Отказываются «признать, что взлет фашизма и нацизма был не реакцией против тенденций предшествующего периода, но неизбежным результатом социалистических тенденций».[8] Таким образом, говорил Хайек по поводу плана Бевериджа, мы близки к Германии — правда, говорил он, к вильгельмовской Германии, во всяком случае, к Германии 14-го года, — а эта Германия с ее дирижистскими практиками, плановыми техниками, социалистическими выборами, на самом деле есть то, что породило нацизм,

---

* М. Ф.: осмыслить.

и, сближаясь с Германией 1914—[19]18 гг., мы сближаемся также с нацистской Германией. Опасность немецкого вторжения далеко не изжита. Английские социалисты, лейборизм, план Бевериджа — вот подлинные агенты нацификации Англии впридачу к росту этатизации. Так что, как видите, все это темы старые, локализованные, и я беру их в формулировке 1945 г. Но их можно обнаружить в 1939 г., в 1933 г. и даже раньше.[9]

Итак, этой инфляционной критике государства, этому роду внушения я хотел бы противопоставить несколько тезисов, которые, в общем-то, уже проскакивали в том, что я вам говорил, но я хотел бы их выделить. Во-первых, тезис о том, что государство-покровитель, государство благосостояния не имеют ни той же формы, ни, как мне кажется, того же корня, того же источника, что и государство тоталитарное, государство нацистское, фашистское или сталинское. Я хотел бы указать также, что государство, которое можно назвать тоталитарным, вместо того чтобы характеризовать его через интенсификацию и эндогенное распространение механизмов государства, это называемое тоталитарным государство не есть экзальтация государства, но, напротив, представляет ограничение, ослабление, подчиненность автономии государства, его специфичности и присущего ему функционирования — но по сравнению с чем? По сравнению с другой вещью, с партией. Иначе говоря, идея заключается в том, что принцип тоталитарных режимов не нужно искать во внутреннем развитии государства и его механизмов; тоталитарное государство — это не административное государство XVIII в., не ослабленное до предела *Polizeistaat* XIX в., это не административное, предельно ослабленное бюрократическое государство XIX в. Тоталитарное государство — это нечто иное. Его принцип нужно искать не в этатистском правлении или этатизации, рождение которой мы видим в XVII и XVIII вв., а в том, что можно было бы назвать партийным правлением. Партия — это весьма необычная, весьма занятная, совершенно новая организация, это новое партийное правление, появившееся в Европе в конце XIX в., и, вероятно (я постараюсь показать вам это в следующем году, если эта идея не выскочит у меня из головы),[10] это партийное руководство и есть ис-

торический источник таких тоталитарных режимов, как нацизм, фашизм, сталинизм.

Другой тезис, который я хотел бы выдвинуть (это оборотная сторона того, о чем я сказал), заключается в том, что в нашей сегодняшней реальности обсуждается не столько рост государства и государственных интересов, сколько их ослабление, которое в наших обществах XX в. проявляется в двух формах: первое — это ослабление государственного правления из-за возрастания правления партийного, а другая форма ослабления, которую можно констатировать в таких режимах, как наш, связана со стремлением к либеральному правлению. Сразу же добавлю, что, говоря это, я не пытаюсь произвести переоценку ценностей. Говоря о либеральном руководстве, используя слово «либеральный», я не хочу сакрализовать или валоризовать игру этого типа руководства. Я не хочу сказать также, что оно не легитимно, как бы мы ни ненавидели государство. Но вот чего, как мне кажется, не стоит делать, так это воображать, будто, изобличая этатизацию или фашизацию, установление государственного насилия и т. п., мы описываем реальный, современный и касающийся нас процесс. Все, кто разделяет великий страх перед государством, должны знать, что они несут вздор и что в действительности уже многие годы повсеместно вырисовывается явное ослабление государства, этатизации и этатизированного, и этатизирующего управления. Я не говорю, что обольщаются насчет достойных или недостойных действий государства, когда говорят «это очень плохо» или «это очень хорошо». Моя проблема не в этом. Я говорю, что не нужно обольщаться насчет присущности государству процесса фашизации, который является для него экзогенным[11] и который в куда большей степени зависит от ослабления и распада государства. Я хочу сказать также, что не нужно обольщаться насчет природы исторического процесса, сделавшего современное государство одновременно столь несносным и столь проблематичным. Именно поэтому, если позволите, я хотел бы немного рассмотреть организацию того, что можно было бы назвать немецкой моделью, а также ее распространение, учитывая, конечно же, что эта немецкая модель, какой я ее попытался описать и какой я хотел бы теперь показать ее вам в нескольких формах распространения, вовсе не есть столь часто

осуждаемая, изгоняемая, поносимая, отвергаемая модель бисмарковского государства, превратившегося в гитлеровское. Немецкая модель, которая распространяется, немецкая модель, которая обсуждается, немецкая модель, которая является частью нашей современности, которая структурирует и профилирует срез нашей реальности, эта немецкая модель есть возможность неолиберального руководства.

Распространение немецкой модели можно рассмотреть двумя способами. Сегодня я попытаюсь сделать это в отношении Франции, и быть может, если мое намерение не изменится, в следующий раз — в отношении США. Во Франции то, что можно было бы назвать распространением немецкой модели, было медленным, скрытым, вымученным и имело, как мне представляется, три характеристики. Во-первых, не надо забывать, что распространение немецкой неолиберальной модели во Франции началось с того, что можно было бы назвать жестко этатизированным, жестко дирижистским, жестко административным правлением со всеми присущими ему проблемами. Во-вторых, немецкую неолиберальную модель пытались внедрить и осуществить во Франции в условиях экономического кризиса, сперва относительно ограниченного, но потом обострившегося, и этот экономический кризис составил одновременно мотив, повод и основание для внедрения и использования немецкой модели и в то же время ее тормоз. Наконец, в-третьих, — по той же причине, о которой я только что сказал, — именно те, кто управляет государством и кому приходится управлять государством в условиях кризиса, оказываются агентами распространения и использования немецкой модели. В силу этого использование немецкой модели во Франции сталкивается с целой кучей трудностей и своеобразной, смешанной с лицемерием неповоротливостью, некоторые примеры чему мы увидим.

В США распространение немецкой модели принимает совсем иной характер. Прежде всего правомерно ли говорить о распространении здесь немецкой модели? Ведь в конце концов либерализм, либеральная традиция, непрестанное обновление либеральной политики было для США константой, так что то, что появляется теперь, то, что появляется как реакция на *New Deal*, — не обязательно внедрение немецкой модели. Можно

считать, что это абсолютно эндогенный для США феномен. Был проведен целый ряд детальных исследований, выяснявших причину той роли, которую сыграли в США немецкие эмигранты, к примеру, Хайек. Пусть так. Между немецкой неолиберальной моделью, оформившейся главным образом вокруг людей из Фрайбурга, и американским неолиберализмом существует целый клубок исторических отношений, который, конечно, довольно трудно распутать.

Вторая характерная черта распространения немецкой модели в США заключается в том, что она также развивается в условиях кризиса, но кризиса совершенно отличного от того, что мы знаем во Франции, поскольку речь идет об экономическом кризисе, принимающем совсем иную форму и, несомненно, менее остром, чем во Франции. Зато она развивается в рамках политического кризиса, где проблема влияния, воздействия, вмешательства федерального правительства была поставлена уже *New Deal*, а еще жестче — Джонсоном, Никсоном,[12] Картером.[13]

Наконец, третья характерная черта распространения неолиберализма в США заключается в том, что неолиберальное руководство, вместо того чтобы стать, так сказать, почти эксклюзивной привилегией правительственных деятелей и их советников, как это было во Франции, представляется, чем-то вроде грандиозной экономико-политической альтернативы, которая, по крайней мере в определенный момент, принимает форму массового движения политической оппозиции, во всяком случае очень широко распространяющейся в американском обществе. В силу этого совершенно невозможно трактовать распространение немецкой модели во Франции так же, как американское неолиберальное движение. Два этих явления не перекрывают друг друга, не накладываются друг на друга, даже если между ними существует целая система обменов и поддержек.

Таким образом, сегодня я хотел бы немного поговорить о том, что можно было бы назвать неолиберализмом и осуществлением немецкой модели во Франции. По правде говоря, у меня долгое время возникали трудности, поскольку, честно признаюсь, невозможно читать — а ведь их нужно читать — речи, сочинения, тексты Жискара или Барра[14] [или] их советников, сознавая, хотя и неявно, а лишь интуитивно, что родст-

во между тем, что они говорят, и немецкой моделью, немецким ордолиберализмом, идеями Рёпке, Мюллер-Армака и т. п., бросается в глаза. Итак, очень трудно отыскать простой акт признания, декларацию, которая позволила бы сказать: ага, именно этим они и занимаются, и знают, что они этим занимаются. Это было очень трудно до самого недавнего времени, почти до самых последних недель. В самом конце [19]78 г., кажется, в декабре 1978 г., появилась книга Кристиана Стоффа, которая называется «Великая индустриальная угроза».[15] Стоффа был одним из наиболее влиятельных советников в современном правительстве, экономическим советником, специализировавшимся на вопросах промышленности,[16] и я сказал себе, что, возможно, я наконец-то нашел что искал, и сразу же был разочарован, поскольку на обороте книги, в аннотации, прочитал, что автор, «отказываясь от искушения слишком поспешно перенять немецкую и японскую модели, закладывает основы оригинальной промышленной политики».[17] Тогда я сказал себе: на этот раз я не нашел того, чего хотел. Но вот что забавно и довольно значимо, так это очевидные причины, по которым этого не могут высказать, что любопытно, так это то, что, если такое оказалось на обложке книги, то в заключительной главе, подводящей итог всему исследованию, кажется, последний или предпоследний параграф, резюмирующий все предложенное в книге, начинается следующим образом: «В конце концов, речь идет о модели *общественной рыночной экономики*» — слово наконец-то произнесено — только, добавляет автор, «с несколько большей революционной отвагой, чем за Рейном».[18] Речь идет, говорит он, о том, чтобы создать одновременно открытую миру эффективную рыночную экономику, с одной стороны, а с другой — продвинутый социальный проект.[19]

Я не собираюсь проводить общий анализ политики Жискара[20] или Жискара—Барра, с одной стороны, потому, что я на это не способен, а с другой — потому что вас это, конечно же, не интересует. Я хотел бы затронуть лишь некоторые ее аспекты. Во-первых, для того чтобы заново ситуировать вещи, обозначив то, что можно было бы назвать экономическим контекстом, повлекшим за собой в последние годы внедрение и использование этой модели. Если позволите, скажем об этом очень схематично. Вследствие великого кризиса 1930-х гг. все

правительства, какими бы они ни были, какова бы ни была их природа, какими бы ни были их устремления и цели, поняли, что необходимо принять во внимание экономические элементы, а именно всеобщую занятость, стабильность цен, равновесие платежного баланса, рост ВНП, перераспределение доходов и богатств и обеспечение социального благополучия. В целом этот перечень как раз и составляет то, что Бентам со своим лексиконом назвал бы экономическими *agenda* правительств, тем, чем нужно заниматься, как бы они ни были заняты.[21] Скажем так: в этой серии целей немецкая нео- или ордолиберальная формула, о которой я вам говорил, состояла в том, чтобы поставить себе первой целью стабильность цен и платежного баланса, тогда как все прочие элементы оказывались, так сказать, следствием этих первых двух целей, носивших абсолютный характер. Подходы, выработанные в Англии и во Франции — во Франции во времена Народного фронта, а потом после Освобождения, в Англии во времена составления плана Бевериджа и победы лейбористов в 1945 г., — английский и французский подходы ставили перед собой первой и абсолютной целью не стабильность цен, но всеобщую занятость, не платежный баланс, но обеспечение социального благополучия, что предполагало, следовательно, что то и другое, обеспечение социального благополучия и всеобщая занятость, вело к развитию, волюнтаристскому развитию, подталкиваемому развитию, развитию основательному и устойчивому.

Давайте оставим в стороне вопрос о том, почему эти цели, осуществленные в Англии, в итоге привели к неудаче или обнаружили свой абсолютный предел в [19]55—[19]75 гг.: неважно, почему во Франции та же политика, напротив, привела к положительным результатам. Скажем, что именно это конституировало исходную ситуацию и причину, по которой даже при режиме де Голля, несмотря на затухание многих идей либерального типа, сохранились важнейшие из этих целей, которые можно назвать дирижистскими, и эти дирижистские методы, эти процедуры планирования, центрированные на всеобщей занятости и распределении социальных благ, всю эту государственную сеть в точности представляет V План.[22] Значительно упрощая, можно сказать, что в [19]70—[19]75 гг., во всяком случае в то десятилетие, которое теперь заканчивается,

во Франции ставится проблема окончательной ликвидации целей и форм экономико-политического приоритета. В это десятилетие задаются вопросом всеобщего перехода к неолиберальной экономике, то есть в целом — проблемой наверстывания и внедрения немецкой модели. Причиной, экономическим предлогом, непосредственным экономическим побуждением был, конечно же, кризис, каким он тогда представлялся, то есть вся пред-кризисная ситуация до 1973 г., которая с 1969 г. характеризовалась постоянным ростом безработицы, незаметным изменением кредитного сальдо платежного баланса, растущей инфляцией: все эти признаки, по мнению экономистов, указывали не на ситуацию кейнсианского кризиса, то есть кризиса низкого уровня потребления, но на кризис режима инвестиций. То есть считали, что этим кризисом мы обязаны ошибкам в инвестиционной политике, в выборе инвестиций, которые не были в достаточной степени продуманы и спланированы. В силу этого пре-кризис, разразившийся в [19]73 г. и получивший название нефтяного кризиса, фактически был связан с повышением цен на энергию, которое зависело не от учреждения картеля продавцов, навязавшего чересчур завышенную цену, но, напротив, от ослабления экономического и политического влияния картеля покупателей и учреждения единой рыночной цены на нефть и вообще на энергию, или во всяком случае от тенденции цены на энергию нагнать рыночную цену. Так что в этом контексте вполне понятно (простите меня за абсолютно схематичный характер всего этого), каким образом экономический либерализм мог предстать и действительно предстал единственно возможным путем разрешения этого пре-кризиса и его нарастания из-за подорожания энергии. Либерализм, то есть всеобщая, неограниченная интеграция французской экономики в европейский и мировой внутренний рынок, предстал единственным способом исправить ошибочный выбор инвестиций, сделанный в предыдущий период в силу определенных дирижистских целей, техник и т. п.; таким образом, это было единственное средство исправить инвестиционные ошибки, на самом деле сводившиеся всего лишь к учреждению рыночной цены на энергию, с учетом таких новых данностей, как дороговизна энергии. Тотальное включение французской экономики в рынок ради исправления

инвестиционных ошибок, с одной стороны, и ради приспосабливания французской экономики к новой цене на энергию — с другой, было решением, которое представлялось само собой разумеющимся.

Конечно, вы можете сказать, что перед нами лишь один из эпизодов тех регулярных и порой очень быстрых колебаний, которые происходили во Франции после войны, скажем, после 1920 г., от более интервенционистской, дирижистской, протекционистской политики, заинтересованной в общем равновесии, заботящейся о всеобщей занятости, к политике либеральной, более открытой внешнему миру, больше озабоченной обменами, деньгами. Если угодно, колебания, которыми было отмечено правление Пинэ в [19]51—52 гг.,[23] реформа Рюэфа [19]58 г.[24] также представляют собой отклонения в сторону либерализма. Итак, я полагаю, что то, что теперь обсуждается и поводом для чего стал экономический кризис, аспекты которого я попытался вкратце определить, — это не просто одно из колебаний от дирижизма к несколько большему либерализму. На самом деле то, что обсуждается сегодня, — это, как мне кажется, нацеленность на политику, которая была бы всецело неолиберальной, и, поскольку у меня, опять-таки, нет намерения описывать все ее аспекты, я хотел бы коснуться одного из них, который не относится к экономике в узком смысле или к прямому и непосредственному внедрению французской экономики в экономику мирового рынка; я хотел бы коснуться [этой политики]* в другом аспекте — в аспекте социальной политики. Чем была, чем могла бы быть социальная политика и на что она ориентируется при нынешнем правлении, при нынешнем руководстве, которое начинается, в принципе, с прихода к власти Жискара? Вот об этом я и хотел бы теперь поговорить.

Скажем очень схематично еще пару слов об истории: над социальной политикой, определившейся на другой день после Освобождения, а спланированной еще во время войны, над этой социальной политикой во Франции и в Англии, над обеими моделями нависла проблема. Проблема обеих заключалась в поддержании всеобщей занятости как экономическом и социальном приоритете, поскольку отсутствие полной занятости

---

* М. Ф.: затронуть.

приписывали экономическому кризису 1929 г. Ему приписывали также все политические последствия, которые он имел для Германии и для Европы в целом. Итак, поддержание всеобщей занятости по экономическим, социальным, а значит и политическим соображениям. Во-вторых, избегание результатов девальвации, с необходимостью вызывавшейся политикой роста. Считали, что для того чтобы поддерживать всеобщую занятость и чтобы смягчить результаты девальвации, делающие неэффективными сбережения, индивидуальное накопление, нужно установить политику социальной защиты от риска. Техники достижения этих двух целей находили в военной модели, то есть модели национальной солидарности, модели, заключающейся в том, что людей не спрашивают ни по какой причине они стали теми, кем они стали, ни к какой экономической категории они принадлежат. Когда индивид подвергается обнищанию, несчастным случаям, каким бы то ни было случайностям, весь коллектив во имя национальной солидарности должен взять на себя попечение о нем. Эти две цели, эта модель объясняют, почему английская и французская социальная политика была политикой коллективного потребления, опирающейся на постоянное перераспределение доходов и коллективное потребление, охватывающие все население в целом, в котором выделялось несколько привилегированных секторов; во Франции по соображениям политики прироста населения одним из особо привилегированных секторов считалась семья, но в целом полагали, что все общество должно защищать индивида от риска. Конечно, с момента установления этих целей и выбора такой модели функционирования встает вопрос о том, чтобы выяснить, не окажется ли политика, представляющаяся политикой социальной, в то же самое время политикой экономической. Иначе говоря, не повлечет ли она за собой, вольно или невольно, целую серию экономических результатов, рискующих породить неожиданные следствия, непредвиденные эффекты для самой экономики, разлаживающие экономическую и саму социальную систему?

На этот вопрос был дан ряд ответов. Да, отвечали одни. Конечно, такая политика даст экономические эффекты, но ведь именно таких эффектов мы и добиваемся. То есть, к примеру, эффект перераспределения и выравнивания доходов и потреб-

ления как раз и есть то, к чему мы стремимся, и социальная политика обретает подлинную значимость, только если вносит в экономический режим определенные поправки, определенное уравнивание, которое сама по себе либеральная политика и экономические механизмы не способны обеспечить. Другие отвечают: ничуть, та социальная политика, которую мы предполагаем проводить или которая проводилась начиная с 1945 г.,[25] на самом деле не оказывает непосредственного воздействия на экономику, или же ее воздействие на экономику столь выверено, столь согласовано с самими экономическими механизмами, что она не способна их нарушить. Весьма любопытно, что человек, стоявший не у истоков системы социальной защиты Франции, но у истоков ее организации, тот, кто придумал ее механизм, то есть Ларок,[26] в тексте 1947 или 48 г.,[27] точно не помню, дал именно такое объяснение, такое обоснование системе социальной защиты. В тот самый момент, когда ее создавали, он говорил: не беспокойтесь, система социальной защиты не порождает экономические эффекты и не может их порождать, разве только эффекты благоприятные.[28] Социальную защиту он определял следующим образом: это не что иное, как техника, позволяющая сделать так, чтобы каждый «оказался в состоянии при любых обстоятельствах поддерживать свое существование и существование тех, за кого он ответствен».[29] Что значит поддерживать свое существование и существование тех, кто находится на твоем попечении? Это значит, что устанавливается такой механизм, который позволит выделять средства на социальную защиту из заработной платы, иначе говоря, к реально выплачиваемой в виде денег заработной плате добавляется виртуальная заработная плата; по правде говоря, это не прибавка: фактически формируется общая заработная плата, часть которой рассматривается как собственно заработная плата, а другая часть носит форму социальных выплат. Другими словами, сама заработная плата, общая сумма заработной платы покрывает социальные расходы, и никак иначе. Не получающим заработную плату навязывается солидарность с получающими ее, это «солидарность, навязываемая массе наемных работников» ради их собственной выгоды, «ради выгоды — говорит Ларок,— их детей и стариков».[30] Так что никоим образом нельзя сказать, что сис-

тема социальной защиты обременяет экономику, что она ее отягощает, что она приведет к увеличению расходов экономики. В действительности система социальной защиты — это не более чем определенный способ выплачивать не что иное, как заработную плату; она не обременяет экономику. Более того, она, по сути, позволяет не увеличивать заработную плату, а следовательно уменьшить экономические расходы, ослабить социальные конфликты и сделать так, чтобы требования заработной платы стали менее острыми и настойчивыми. Вот что говорил Ларок в 1947, 48 гг., объясняя механизмы социальной защиты, которые он сам же и разработал.[31]

Тридцать лет спустя, то есть в 1976 г. в «Revue française des affaires sociales» появился отчет, который очень интересен, поскольку написан воспитанниками ENA как подведение итога тридцати лет системы социальной защиты,[32] и эти воспитанники ENA констатировали следующее. Во-первых, говорят они, система социальной защиты оказывает значительное экономическое воздействие, и это воздействие зависит от того, как определяется исходная сумма для расчета отчислений. Фактически воздействие оказывается на стоимость труда. Из-за системы социальной защиты труд оказывается более дорогостоящим. Поскольку труд оказывается более дорогостоящим, очевидно, что возникает ограничение занятости, а значит рост безработицы, которым мы непосредственно обязаны увеличению стоимости труда.[33] [Также и] воздействие на международную конкуренцию в силу различия между режимами защиты в разных странах становится причиной того, что международная конкуренция искажается, причем искажается в ущерб странам, в которых наиболее развита социальная защита, то есть выступает принципом роста безработицы.[34] И наконец, из-за увеличения стоимости труда ускоряются промышленная концентрация, развитие монополистического типа, развитие транснациональных корпораций. Таким образом, говорят они, политика защищенности оказывает очевидные экономические воздействия.

Во-вторых, в зависимости от стоимости труда не только проявляются эти экономические следствия, ведущие к росту безработицы, но, более того, достижение потолка отчислений, то есть дифференциация между процентами отчислений, оказывает воздействие на распределение прибылей.[35] И, опираясь

на целую кучу ранее проведенных исследований, им удается показать, [что вместо равномерного распределения заработной платы]* между молодыми и старыми, холостыми и имеющими на попечении семью, теми, кто в добром здравии, и больными, из-за установления потолка отчислений раскрылся целый веер реальных доходов в пользу самых богатых и в ущерб самым бедным. Таким образом, говорят они, система социальной защиты, какой она функционирует уже тридцать лет, порождает некоторые сугубо экономические эффекты. Итак, «цель системы социальной защиты не имеет и не должна иметь экономическую природу. Модальности ее финансирования не должны составлять элемент экономической политики, искажая законы рынка. Система социальной защиты должна оставаться экономически нейтральной».[36] Так снова всплывает полузабытый термин, о котором я говорил вам в прошлый раз (или две недели назад, не помню) в связи с социальной политикой, какой она была задумана немецкими ордолибералами.[37]

Итак, идея социальной политики, результаты которой были бы полностью нейтрализованы с экономической точки зрения, вновь обнаруживается весьма прозрачно сформулированной в самом начале периода становления неолиберальной модели во Франции, то есть в 1972 г., тогдашним министром финансов Жискаром д'Эстеном.[38] В своем выступлении 1972 г. (на коллоквиуме, организованном Столерю[39]) он сказал: в чем состоят экономические функции государства, любого современного государства? Во-первых, в перераспределении доходов, во-вторых, в ассигнованиях в форме производства общественных благ, в-третьих, говорит он, в регулировании экономических процессов, обеспечивающих развитие и всеобщую занятость.[40] Здесь обнаруживаются традиционные цели французской экономической политики, которые в ту эпоху еще не могли быть поставлены под вопрос. Вместо этого под вопрос ставится связь между этими тремя экономическими функциями государства: перераспределение, ассигнование и регулирование. Он замечает, что фактически французский бюджет составлен так, что, в конце концов, одни и те же суммы могут использоваться как для строительства автострады, так и для

---

* М. Ф.: распределений, ведущих к равенству в заработной плате.

того или иного сугубо социального ассигнования.[41] А это, говорит он, недопустимо. Здоровая политика должна «совершенно разделить то, что соответствует потребностям экономического роста, с одной стороны, и то, что соответствует попечению о солидарности и социальной справедливости — с другой».[42] Иначе говоря, стоило бы ввести две по возможности непроницаемые друг для друга системы, которым соответствовали бы два столь же различных налога, экономический и общественный.[43] За этим принципиальным утверждением вновь обнаруживается основная идея, согласно которой экономика должна иметь присущие ей регулятивы, а социальное должно иметь свои цели, однако их нужно разъединить так, чтобы экономический процесс не нарушался и не повреждался социальными механизмами и чтобы социальный механизм ограничивался, так сказать, в своей чистоте, никогда не вмешиваясь в экономический процесс и не создавая для него помехи.

Возникает проблема: как произвести такое разделение между экономическим и социальным? Как произвести эту расцепку? Продолжая следовать тексту Жискара, мы ясно видим, что он хочет сказать. Он обращается к принципу, о котором я вам уже говорил, общему для немецкого ордолиберализма и американского неолиберализма и обнаруживающемуся во французском неолиберализме, который гласит, что экономика по сути есть игра, что экономика развивается как игра между партнерами, что все общество должно быть пронизано экономической игрой и что государство имеет своей основной функцией определять правила этой экономической игры и гарантировать, что они будут соблюдаться. Что это за правила? Они должны быть таковы, чтобы экономическая игра была как можно более активна, а следовательно приносила как можно бóльшую выгоду людям, и еще — здесь вступают в контакт без реального проникновения поверхности экономического и социального, — так сказать, дополнительное и безусловное правило игры, согласно которому ни один из партнеров экономической игры не может потерять все и из-за этого лишиться возможности играть дальше. Если угодно, условие сохранения игрока, ограничительное правило, которое ничего не меняет в самом ходе игры, но которое препятствует тому, чтобы кто-то совершенно выпал и окончательно оказался вне игры. Своего

рода общественный договор наоборот: то есть в общественном договоре частью общества являются те, кто этого хотят, и те, кто, виртуально или актуально, под ним подписались, вплоть до того момента, когда они будут из него исключены. В идее экономической игры происходит вот что: никто не является участником экономической игры изначально, а значит в обществе и по правилам игры, устанавливаемым государством, никто не исключается из игры, поскольку никогда определенно не заявлял об участии в ней. Идея о том, что экономика — это игра, что существуют правила экономической игры, гарантируемые государством, и что единственная точка соприкосновения между экономическим и социальным — это правило сохранения, согласно которому ни один из игроков не будет исключен, эта идея обнаруживается у Жискара сформулированной несколько имплицитно, но тем не менее, как мне кажется, достаточно ясно, когда он говорит в том же тексте [19]72 г.: «Что характеризует рыночную экономику, так это то, что существуют правила игры, допускающие принятие децентрализованных решений, и эти правила одни для всех».[44] Между правилом конкуренции в производстве и защитой индивида нужно поставить «частную игру», в силу которой ни один из игроков не рискует лишиться всего[45] — он говорит «частная игра», но, конечно, лучше было бы сказать «частное правило». Итак, эта идея, согласно которой должно существовать правило не-исключения, а функция социальной регуляции, регламентации, социальной защиты в самом широком смысле этого термина состоит в том, чтобы попросту обеспечивать не-исключение в отношении экономической игры, которая во всем остальном должна идти сама собой, именно эта идея разрабатывается, во всяком случае, намечается в целой серии более или менее ясных мер.*

---

* М. Фуко пропускает с. 20 и 21 рукописи: «Это разведение и эта экономическая игра с защитной оговоркой предполагают два варианта: 1. Один чисто экономический: восстановление рыночной игры, не принимая в расчет защиту индивидов. Экономическая политика, ставящая своей целью поддержание занятости [и] сохранение покупательной способности, не нужна [...]. 2. Другой вариант сам по себе предполагает два комплекса мер: a. воссоздание "человеческого капитала" [...], b. отрицательный налог (Чикаго)».

Я хотел бы лишь (одновременно и потому, что время поджимает, и потому, что не хочу слишком надоедать вам этим) показать, что это значит, не [исходя из] тех мер, которые действительно были приняты и которые из-за кризиса и его интенсивности не могли быть проведены во всей полноте, не могли составить согласованный ансамбль, [но взяв] пример часто вспоминаемого проекта 1974 г., проекта отрицательного налога. В действительности, когда Жискар в своем тексте [19]72 г. [говорил], что нужно постараться, чтобы никто никогда не терял всего, у него в голове уже была идея отрицательного налога. Отрицательный налог — идея не французского неолиберализма, а неолиберализма американского (о котором я, быть может, расскажу вам в следующий раз): во всяком случае эту идею подхватило окружение Жискара, такие люди как Столерю[46] и Стоффа (о котором я только что говорил), а в предварительном обсуждении VII Плана, в 1974 или 75 г.,[47] есть целый доклад Стоффа по отрицательному налогу.[48] Что такое отрицательный налог? Весьма и весьма упрощая, можно сказать, что идея отрицательного налога заключается в следующем: социальное пособие для того, чтобы быть социально эффективным, не нанося экономического ущерба, по возможности не должно предоставляться в форме коллективного потребления, поскольку, говорят приверженцы отрицательного налога, опыт показывает, что коллективным потреблением пользуются в конечном счете самые богатые, причем пользуются, менее всего участвуя в его финансировании. Таким образом, если мы хотим добиться эффективной социальной защиты без негативного воздействия на экономику, нужно просто заменить все это общее финансирование, все эти более или менее категориальные пособия пособием родовым, которое обеспечило бы дополнительные ресурсы тем и только тем, кто либо навсегда, либо временно не достигает уровня достатка. Если хотите, можно выразиться яснее: не стоит давать самым богатым людям возможности участвовать в коллективном потреблении здравоохранения; они вполне могут сами позаботиться о собственном здоровье. Вместо этого общество должно обратиться к категории индивидов, которые либо окончательно (потому что они состарились или стали инвалидами), либо же временно (потому что они потеряли работу, потому что они стали безра-

ботными) не могут достигнуть определенного порога потребления, который общество считает приемлемым. Именно для них и лишь для их пользы должно предназначаться то, что составляет компенсаторные, защитные пособия, характерные для социальной политики. Следовательно, тем, кто оказался ниже определенного уровня доходов, должна выплачиваться надбавка, причем, само собой, нужно отказаться от той идеи, что общество в целом обязано оказывать каждому из своих членов такие услуги, как здравоохранение или образование, а также отказаться — и это, несомненно, очень важный момент — от того, чтобы заново вводить разделение между бедными и остальными, между получающими помощь и не получающими ее.

У этого проекта отрицательного налога, особенно в его французских формах, нет ни радикального аспекта, о котором я только что сказал, ни упрощенного аспекта, который вы могли бы вообразить. В действительности отрицательный налог как пособие для людей, доход которых недостаточен, чтобы обеспечить определенный уровень потребления, этот отрицательный налог, придуманный Столерю и Стоффа, оказался относительно софистичным, поскольку нужно еще постараться, чтобы люди не воспринимали это дополнительное пособие как своего рода средство выжить, избавляющее их от поиска работы и от возвращения в экономическую игру. Итак, возникает целая серия модуляций, градаций того факта, что в случае отрицательного налога, с одной стороны, индивид видит, как ему обеспечивается определенный порог потребления, однако существует достаточная мотивация, или, если хотите, достаточная фрустрация, чтобы он всегда хотел работать и всегда предпочитал работу получению пособия.[49]

Оставим все эти детали (которые, впрочем, существенны). Я хотел бы отметить лишь несколько моментов. Во-первых, что смягчает та акция, на которую направлена идея отрицательного налога? Проявления бедности, и только проявления бедности. То есть отрицательный налог ничуть не пытается быть акцией, которая имела бы своей целью изменить ту или иную причину бедности. Отрицательный налог никогда не действует на уровне детерминаций бедности, но лишь на уровне ее проявлений. Именно об этом говорит Столерю:

«Для одних социальная помощь должна быть мотивирована *причинами* бедности», а значит речь идет о том, чтобы защищать, чтобы иметь дело с болезнью, с несчастным случаем, с нетрудоспособностью, с невозможностью найти работу. То есть в той перспективе, которая является перспективой традиционной, нельзя оказать кому-либо помощь, не спрашивая себя, почему он нуждается в этой помощи, и не пытаясь, следовательно, изменить причины, по которым он в ней нуждается. «Для других», и это сторонники отрицательного налога, «социальная помощь должна быть мотивирована лишь *проявлениями* бедности: у всякого человека, говорит Столерю, есть основные потребности, и общество должно помочь ему их удовлетворить, если он не может достичь этого сам».[50] Так что в пределе это общеизвестное разделение, которое западное правление столь долгое время проводило между хорошими бедными и плохими бедными, теми, кто не хочет работать, и теми, кто оказался без работы по независимым от них причинам, в пределе оказывается неважным. В конце концов, над этим смеются, и должны смеяться, узнав, что кто-то скатился ниже уровня социальной игры; когда тому, кто добровольно сделался безработным, дают наркотик, это вызывает неудержимый смех. Единственная проблема состоит в том, чтобы выяснить, оказался он выше или ниже порога, каковы бы ни были причины. Важно лишь то, скатился ли индивид ниже определенного уровня, в этом и заключается проблема. В этом случае, не заглядывая вперед, а следовательно не занимаясь бюрократическими, полицейскими, инквизиторскими расследованиями, ему предоставляется пособие как механизм, посредством которого его побуждают преодолеть уровень порога и в достаточной мере мотивируют его желание, получая помощь, все-таки подняться выше порога. Но если он этого не хочет, это не имеет никакого значения, ведь ему помогли. Этот первый момент, как мне представляется, очень важен для всего того, что веками вырабатывалось социальной политикой на Западе.

Во-вторых, отрицательный налог — это способ избежать всего того, что могло бы в социальной политике привести к эффектам перераспределения доходов, то есть всего того, что можно было бы обозначить как социалистическую политику.

Если понимать под социалистической политикой политику «относительной»* бедности, то есть политику, тяготеющую к сокращению разрыва между различными доходами; если понимать под социалистической политикой политику, пытающуюся смягчить проявления относительной бедности, вызванной различием в доходах между самыми богатыми и самыми бедными, совершенно очевидно, что политика, применяющая отрицательный налог, является противоположностью социалистической политики. Относительная бедность никоим образом не входит в число целей подобной социальной политики. Единственная ее проблема — это «абсолютная»** бедность, то есть тот порог, ниже которого, как считается, у людей нет приличного дохода, способного обеспечить им достаточное потребление.[51]

Я полагаю, нужно сделать одно или два замечания: под абсолютной бедностью не нужно понимать что-то вроде настоящего порога для всего человечества. Абсолютная бедность относительна для каждого общества, и есть общества, в которых порог абсолютной бедности располагается относительно высоко, и другие, в целом бедные общества, в которых порог абсолютной бедности будет намного ниже. Таким образом, это относительный порог абсолютной бедности. Во-вторых, как вы знаете, — и это важное следствие — введения категории бедного или бедности все социальные политики начиная с Освобождения (а по правде говоря — все политики благосостояния, все более или менее близкие к социализму или социализирующие политики начиная с конца XIX в.) в конце концов пытались избежать. Социалистическая политика государственного типа у немцев, политика благосостояния, какой ее планировал Пигу,[52] политика *New Deal*, социальная политика Франции или Англии после Освобождения: все эти политики не желали признавать категорию бедного, во всяком случае старались, чтобы экономические вмешательства сделали так, чтобы среди населения не было расслоения на бедных и самых бедных. Всегда был веер относительной бедности, всегда было перераспределение доходов, и именно в игре расхождения между самыми богатыми и самыми бедными располагалась политика. Теперь, напро-

---

* Кавычки в рукописи (P. 25).

** Кавычки в рукописи (P. 25).

тив, перед нами политика, которая намеревается определить опять-таки относительный порог, но для общества порог в определенном смысле абсолютный, который будет разделять бедных и не-бедных, получающих помощь и не получающих ее.

Третья характеристика отрицательного налога заключается в том, что он обеспечивает своего рода всеобщую защищенность, но позволяет действовать в низах, то есть в самых подонках общества, экономическим механизмам игры, конкуренции, предпринимательства. Выше порога каждый должен быть для самого себя и для своей семьи, так сказать, предприятием. Общество, формализованное по модели предприятия, причем предприятия конкурентоспособного, по возможности должно стоять выше порога, то есть устранить определенные опасности начиная с некоторого нижнего порога. То есть перед нами население, которое должно быть в отношении нижнего экономического уровня населением, постоянно перемещающимся между помощью, которая будет ему оказана, если возникают непредвиденные обстоятельства и если оно опустится ниже порога, и которое, напротив, будет одновременно использующим и используемым, если того потребуют экономические нужды, если экономические возможности предоставят такой случай. Таким образом, этого своего рода плавающее под- и надпороговое население, надпороговое население, составляющее для отказавшейся от цели всеобщей занятости экономики постоянный резерв рабочей силы, из которого при необходимости можно черпать, но которому при необходимости также следует возвращать статус получающего помощь.

Таким образом, эта система — которая доселе не применялась в силу определенных причин, но черты которой хорошо просматриваются в конъюнктурной политике Жискара и Барра в настоящее время, — конституируется экономической политикой, которая больше не сосредоточена на всеобщей занятости и может интегрироваться в экономику общего рынка, только отказавшись от цели всеобщей занятости и от ее главного инструмента — роста волюнтаризма. Для того чтобы интегрироваться в рыночную экономику, нужно отказаться от всего этого. Однако это предполагает фонд плавающего населения, фонд порогового, под- или надпорогового населения, в кото-

ром механизмы поддержки позволяют существовать каждому, существовать определенным образом, существовать так, чтобы он всегда мог быть кандидатом на возможную работу, если того потребуют условия рынка. Это совсем иная система, нежели та, которую создал и развил капитализм XVIII или XIX вв., имевший дело с крестьянским населением, способным составить постоянный резерв рабочей силы. Когда экономика функционирует так, как она функционирует сегодня, когда крестьянское население больше не может обеспечить такого рода постоянный фонд рабочей силы, нужно создавать совсем иную модель. Эта совсем иная модель — модель населения, которому оказывают помощь в либеральном духе, куда менее бюрократическом, куда менее дисциплинарном, нежели та система, что была сосредоточена на всеобщей занятости и применяла такие механизмы, как социальная защита. В конце концов предоставим людям возможность работать, хотят они того или нет. Оставим за собой возможность не заставлять их работать, если они не заинтересованы в том, чтобы работать. Просто гарантируем им возможность минимального существования на определенном уровне, и тогда неолиберальная политика сможет функционировать.

Итак, подобный проект есть не что иное, как радикализация тех общих тем, о которых я вам говорил в связи с ордолиберализмом, тогда как немецкие ордолибералы разъясняли, что основная цель социальной политики, конечно же, не состоит в том, чтобы принимать на свой счет все напасти, которые могут постичь общую массу населения, но что на самом деле социальная политика не должна затрагивать экономическую игру и, следовательно, предоставить обществу развиваться как общество предприятия, установив определенные механизмы вмешательства, чтобы помогать тем, кто в этом нуждается, в тот и только в тот момент, когда они в этом нуждаются.

Примечания

[1] См. лекцию 10 января 1979 г., с. 44 наст. изд., примеч. 17.

[2] М. Фуко уже высказывался на эту тему в довольно похожих терминах в ноябре 1977 г., в своей беседе с Р. Лефором о деле Круассана

(см.: *Foucault M.* Sécurité, Territoire, Population. Контекст курса. P. 385), противопоставляя аргументу фашизации государства исследование реальных проблем, порождаемых «обществами безопасности» (Michel Foucault: la sécurité et l'État // Dits et Écrits. T. III, N 213. P. 387).

[3] Намек на беседу, в которой Ф. Эвальд, в то время ассистент М. Фуко в Коллеж де Франс, противопоставил изобличение и обличение, поскольку первое направляется на принципы, которые оно изобличает, а потому остается абстрактным, тогда как второе, будучи направлено на личность, гораздо больше вовлекает того, кто его формулирует (по информации, сообщенной Ф. Эвальдом).

[4] *Röpke W.* Das Beveridgeplan. Art. citée [с. 166 наст. изд., примеч. 39].

[5] Фраза взята из Civitas Humana / Trad. citée [с. 161—162 наст. изд., примеч. 21]. P. 239. В своих заметках Фуко отмечает «более детальную критику», развиваемую в цитируемой статье, но не приводит ее непосредственно. Рёпке посвящает страницы 226—243 своей книги критике плана Бевериджа и уточняет в примечании на с. 245: «Об этом предмете я говорю подробнее в другом месте [следует ссылка на статью «Das Beveridgeplan»]», добавляя: «Однако в этом вопросе следует обратиться прежде всего к великолепному труду католического социолога (прежде преподававшего в Германии, а теперь в США): *Goetz Briefs.* The Proletariat. New York, 1937».

[6] *Hayek F.* The Road to Serfdom. Op. cit. / Trad. citée. Introd. P. 10.

[7] Trad. citée, ibid: «Наша страна походит не на Германию Гитлера, не на Германию нынешней войны. Ведь люди, изучающие развитие идей, не могут пренебречь констатацией того факта, что есть более чем внешнее сходство между тенденциями в Германии во время предыдущей войны и после нее, и развитием идей, преобладающих сегодня в нашей стране. Сегодня в Англии, как недавно в Германии, решают сохранить в производственных целях организацию, выработанную в целях национальной обороны».

[8] Ibid. P. 11: «Мало кто готов признать, что взлет фашизма и нацизма был не реакцией против социалистических тенденций предшествующего периода, но неизбежным результатом этих тенденций».

[9] См. лекцию 7 февраля 1979 г., с. 144 наст. изд., где представлены те же аргументы Рёпке 1943 г.

[10] В 1980 г. М. Фуко двинется совсем в другом направлении, поскольку, вновь обращаясь к тематике своих лекций 1978 г., он посвятит курс («Управление живыми») проблеме исповеди и признания в раннем христианстве. См. резюме курса: Dits et Écrits. T. IV, N 289. P. 125—129.

[11] Тезис воинствующих гошистов из группы «Gauche Prolétarienne». См.: Les Temps Modernes 310bis: Nouveau Fascisme, Nouvelle Démocratie, 1972. Однако замечание Фуко связано главным образом с происходившими тогда в связи с терроризмом дебатами о Германии. Полицейские репрессии против фракции «Красная Армия» усилились после убийства членами группы в октябре 1977 г. президента ассоциации немецких предпринимателей Г. М. Шлейхера. Через несколько дней Баадер и несколько его сокамерников были найдены мертвыми в камере тюрьмы Штамхайм в Штутгарте. Официальный отчет об их самоубийстве стал предметом живого обсуждения. Фуко, поддерживавший Клауса Круассана, адвоката фракции «Красная Армия», которому угрожала экстрадиция из Франции (см.: *Foucault M.* Va-t-on extruder Klaus Croissant? // Dits et Écrits. T. III, N 210. P. 361—365, где он впервые теоретизировал, что «права управляемых [...] четче, исторически определеннее, чем права человека». P. 362), порвал с теми, кто, осуждая Германию Хельмута Шмидта как фашиствующее государство, одобрял террористическую борьбу. Об отношении Фуко к «немецкому вопросу» см.: *Foucault M.* Sécurité, Territoire, Population. Контекст курса. P. 386—387.

[12] *Ричард Никсон* (1913—1994), президент США с 1968 по 1974 гг.

[13] *Джеймс Эрл* (известный как Джимми) Картер (род. 1924), президент США с 1976 по 1980 гг.

[14] *Раймон Барр* (род. 1924) — профессор экономических дисциплин, бывший директор кабинета министра промышленности Жана-Марселя Жаннина, впоследствии европейский комиссар в Брюсселе с июля 1967 г. по декабрь 1972 г., с августа 1976 г. по май 1981 г. был премьер-министром и параллельно, с августа 1976 г. по апрель 1978 г., министром экономики и финансов. 22 сентября 1976 г. предложил план, получивший название «план Барра» и состоявший из жестких мер по борьбе со «стагфляцией» (незначительный рост и сильная инфляция), возникшей из-за кризиса 1974 г. О принципах, вдохновлявших эту борьбу с инфляцией, см.: *Barre R.* Une politique pour l'Avenir. Paris: Plon, 1981. P. 24—27. См. в том же томе (P. 98—114) воспроизведение беседы с Жаном Буассона, выходившей в «Expansion» в сентябре 1978 г.: «Dialogue sur le libéralisme», в которой, отвергнув диагностику кризиса либерализма, так же как и оппозицию (на его взгляд, преодоленную) между либерализмом и интервенционизмом, Р. Барр заявляет: «Если вы понимаете под экономическим либерализмом доктрину "laissez faire — laissez passer", тогда я определенно не либерал. Если вы понимаете под экономическим либерализмом децентрализованное управление современной экономикой, соединяющее одновременно свободу, сопряженную с

ответственностью, частные центры принятия решений и регулятивное вмешательство государства, тогда вы можете считать меня либералом» (P. 105—106). Высказывая затем принципы, которыми, на его взгляд, должно вдохновляться управление современной экономикой — свободный выбор экономических агентов, ответственность государства за всеобщее регулирование экономической деятельности, поддержание конкуренции, коррекция рыночных эффектов в плане занятости, более справедливое распределение доходов, — он заключает: «Вот мой либерализм. Он не разделяет большей части того, что задумывают и что делают социал-демократические правительства» (P. 107). Потом он открыто ссылается на «социальную рыночную экономику», защищая ее результаты от критиков Чикагской школы: «[...] крайний либерализм Чикагской школы не может вдохновлять эффективную политику» (P. 108).

[15] *Stoffaës C.* La Grande Menace industrielle. Paris: Calmann-Lévy («Perspectives de l'économique»), 1978; расширенное переиздание: Le Livre de proche («Pluriel»), 1979 (цитаты приводятся по этому 2-му изданию). Эта книга, получившая широкий резонанс, служит продолжением книги: *Stoléru L.* L'Impératif industriel. Paris: Le Seuil, 1969 («Лишь новый промышленный императив, отвечающий принятому десять лет назад императиву индустриализации, позволит противостоять этой великой угрозе [развития третьего мира и развивающихся стран]». P. 48).

[16] Родившийся в 1947 г. политехник и горный инженер, получивший диплом в Гарварде, Кристиан Стоффа был в то время профессором промышленной экономики в Институте политических исследований в Париже и с 1978 г. — директором Центра исследований и прогнозирования, созданного министром промышленности Андре Жиро.

[17] *Stoffaës C.* La Grande Menace... 4-я с. обложки: «Отказываясь от искушения слишком поспешно перенять немецкую и японскую модели, автор закладывает основы оригинальной промышленной политики, которая позволит принять великий вызов, с которым сталкивается наша страна. Цель: будущее французской экономики».

[18] Ibid. P. 742—743 (слова выделены К. Стоффа).

[19] Ibid. P. 743 (сразу за предыдущей цитатой): «Если мы хотим, чтобы рыночные законы укрепили экономическую сферу, нужно, чтобы параллельно обрело силу воображение в коллективной сфере. Вопреки тому, что мы часто слышим, не существует несовместимости между открытой миру эффективной рыночной экономикой и продвинутым социальным проектом, который позволил бы гораздо быстрее сократить неравенство имущественного положения, дохо-

дов и возможностей, а главным образом перераспределить возможности между предприятием и общественной жизнью».

[20] *Валери Жискар д'Эстен* — министр экономики и финансов с 1962 по 1966 гг., во времена правления генерала де Голля, и с 1969 по 1974 гг., при правлении Жоржа Помпиду; с мая 1974 г. — президент Республики.

[21] См. лекцию 10 января 1979 г., с. 26 наст. изд.

[22] О V Плане (1965—1970) см.: Rapport sur les options principales du Ve Plan de développement économique et sociale. Paris: La Documentation française, 1964. Ñi.: *Gauron A.* Histoire économique et sociale de la Ve République. T. I: Le Temps des modernists (1958—1969). Paris: La Découverte/Maspero, 1983. P. 85—94: «V План или императив концентрации». «В рыночной экономике, направляемой планом, уточняет отчет о V плане, основная ответственность за промышленное развитие возлагается на руководителей предприятий. От их инициатив зависит успех политики, цели и средства которой определяются Планом». Однако, добавляет комиссар Плана, он состоял в том, чтобы «без всякой предосторожности предоставить экономике *laisser-faire*, не пытаясь ее просчитывать и, в известных случаях, исправлять ее последствия» (Rapport sur les options principales du Ve Plan. P. 72. Цит. по: *Gauron A.* Op. cit. P. 87, который комментирует: «Генеральный комиссар Плана, таким образом, не ратует за "смешанную экономику": комплементарность между планом и рынком обнаруживает и организует преимущество рыночных законов перед целями плана, а следовательно капиталистических решений правительственной политики. Между строк он дает понять, что это предполагает глубинную трансформацию способа государственного вмешательства [...]». Ibid.). Об экономических и социальных целях четырех предыдущих планов начиная с окончания войны см., например: *Massé P.* Le Plan, ou l'Anti-hasard. Paris: Gallimard («Idées»), 1965. P. 146-151; *Bauchet P.* La Planification française du premier au sixième plan. 5e éd. Paris: Le Seruil. 1970.

[23] *Антуан Пинэ* (1891—1994) осуществлял руководство Советом, с портфелем министра финансов, с марта по декабрь 1952 г. За этот короткий период он успешно осуществил стабилизацию франка и предпринял различные меры по стабилизации в связи с общественным недовольством.

[24] 10 июня 1958 г. Жак Рюэф направил Антуану Пинэ, назначенному генералом де Голлем министром финансов и экономики, записку, озаглавленную «Основы программы экономического и финансового обновления», в которой рекомендовал «укрепление французской валюты» согласно своей доктрине финансовой организации, направленной на борьбу с инфляцией. Эта записка, несмотря на неприятие

А. Пинэ, послужила основанием для создания Экспертного комитета, который работал с сентября по декабрь 1958 г. под руководством Ж. Рюэфа и представил проект плана жесткой экономии, поддержанного де Голлем и принятого в конце декабря советом министров. План включал три основных решения: «энергичная девальвация, снижение налогов, либерализация внешней торговли» (*Lacouture J.* De Gaulle. Paris: Le Seuil, 1985. T. 2. P. 672).

[25] Созданная временным правительством Французской Республики (постановление от 4 октября 1945 г.) по запросу Национального совета сопротивления (CNR, членом которого был А. Пароди, министр труда в 1945 г.), система социальной защиты имела своей миссией «избавить трудящихся от неуверенности в завтрашнем дне», порождаемой «чувством неполноценности» и «реальным и глубоким классовым различием». За постановлением начиная с мая 1946 г. последовала серия законов. О генезисе французского плана социальной защищенности см.: *Galant H. C.* Histoire politique de la Sécurité sociale: 1945—1952. Préf. de P. Laroque. Paris: Hachette, 1974 (воспроизведение 1-го издания: Paris: A. Colin («Cahiers de la Fondation nationale des sciences politiques», 76), 1955); *Kerschen N.* L'influence du rapport Beveridge sur le plan français de sécurité sociale de 1945. Art. cité [с. 165—166 наст изд., примеч. 38]. О социальной программе CNR см. с. 126—127 наст. изд., примеч. 15.

[26] *Пьер Ларок* (1907—1997) — юрист, специалист по праву на труд. Государственный советник, генеральный директор по социальному страхованию при министерстве труда, в сентябре 1944 г. получил от А. Пароди поручение выработать план социальной защиты. Возглавлял комитет по истории социальной защиты с 1973 по 1989 гг. См.: Revue française des affaires socials. N special: Quarante ans de Sécurité sociale. 1985. Juillet-septembre. С 1964 по 1980 гг. возглавлял социальный отдел Государственного совета.

[27] *Laroque P.* La Sécurité sociale dans l'économie française (выступление в клубе «Échos» в субботу 6 ноября 1948 г.). Paris: Fédération nationale des organisms de sécurité sociale [s. d.]. P. 3—22.

[28] Ibid. P. 15—16: «Часто говорят о затратах, редко говорят о выгодах системы социальной защиты для экономики. Между тем эти выгоды отнюдь не незначительны. Всякая промышленность считает нормальным и необходимым извлекать прибыли, считая это обязательным для своей материальной поддержки. Система социальной защиты представляет собой, в очень широком смысле, поддержание человеческого капитала страны. [...] Наша экономика нуждается в поддержке, и это ощущается все сильнее. [...] Одна из важнейших задач, которую предполагает система социальной защиты: поставлять

людей французской экономике. Таким образом, система социальной защиты выступает существенным фактором сохранения и развития рабочей силы: в этом отношении она имеет бесспорную значимость для экономики страны».

[29] Ibid. P. 6: «Социальная защита выступает, таким образом, *гарантией, даваемой каждому в том, что при любых обстоятельствах он будет в состоянии поддержать на приличном уровне свое существование и существование тех, кто находится на его попечении*». Этот принцип П. Ларок сформулировал в 1946 г. (Le plan français de sécurité sociale // Revue française du travail. 1946. N 1. P. 9) и повторил в тех же терминах в 1948 г. (De l'assurance sociale à la sécurité sociale: l'expérience française // Revue internatinale du travail. 1948. N 56 (6). P. 621). См.: *Kerschen N.* L'influence du rapport Beveridge... P. 577.

[30] *Laroque P.* La Sécurité sociale dans l'économie française. Conférence citée. P. 17: «[...] Увеличение расходов на социальное обеспечение целиком вычитается из заработной платы и [...] само по себе нисколько не обременяет расходами экономику. В действительности система социальной защиты ограничивается тем, что перераспределяет часть массы доходов, выделяемых на заработную плату [...] Чувство солидарности внушается массе наемных работников ради выгоды их детей и стариков».

[31] Ibid.: «Можно пойти дальше и утверждать, не впадая в парадокс, что система социальной защиты позволила уменьшить расходы, возлагавшиеся на экономику страны, избежав надбавок к заработной плате, которые без нее были значительны и трудно устранимы».

[32] Revue française des affaires socials. N special: Perspectives de la sécurité sociale. 1976. Juillet-septembre. Речь идет о докладах, сделанных учениками ENA (GUERNICA) в рамках семинаров, каждый из которых был задуман как «многодисциплинарное исследование административной проблемы с целью найти "операциональное" решение» (*Dupuis G.* Ibid. P. IV). В этом параграфе М. Фуко опирается на первый доклад, «Финансирование общего режима системы социальной защиты», составленный П. Бего, А. Бодоном, Б. Боннэ, Ж.-К. Бюже, Г. Шабосом, Д. Деманжелем, Ж.-М. Грабарски, П. Массеро, Б. Помье, Д. Постелем-Вине, Э. Ригалем и К. Валле (P. 5—66).

[33] Здесь М. Фуко, отвлекаясь от технической стороны дела, резюмирует анализ, развиваемый во втором разделе («Способ современного финансирования общего режима не нейтрален по отношению к экономической деятельности») первой части («Необходимость и принципы реформы») вышеупомянутого доклада (P. 21—27). Параграф 2.3 («Воздействие отчислений на занятость») заканчивается так: «Основание заработной платы и установление потолка отчислений

также представляются неблагоприятными для краткосрочной занятости».

[34] Ibid., параграф 2.4, p. 24—27: «Воздействие отчислений на международную конкуренцию». Доклад, подчеркивая, что «искажения, порождаемые в международной конкуренции системами, отличными от финансирования расходов на социальные нужды, могут компрометировать французскую промышленность» (P. 26), уточняет, что «эти искажения компенсируются двумя элементами [относительно низким уровнем расходов на социальные нужды и уровнем заработной платы во Франции]» и заключает: «Таким образом, определенно нельзя сказать, что конкурентоспособность французских предприятий ослабляется значительными расходами на социальное обеспечение, которое они поддерживают; а посягательства на нейтралитет в международной конкуренции, вытекающие из современной системы финансирования социальной защиты, в достаточной степени компенсируются, так что реформа этой системы представляется неоправданной».

[35] Ibid., параграф 3, p. 28—34: «Современный способ финансирования общего режима усугубляет неравенство в заработной плате между различными категориями наемных работников».

[36] Ibid. P. 21: «Отчисления, производимые для финансирования общего режима, превышают 12 % P.I.B., что влечет за собой экономические последствия. Таким образом, цель системы социальной защиты не имеет экономической природы, а модальности ее финансирования не должны составлять элемент экономической политики, искажая законы рынка. В этом отношении система социальной защиты должна оставаться нейтральной».

[37] См. лекцию 14 января 1979 г.

[38] См. примеч. 20.

[39] Économie et Société humaine. Rencontre internationals du ministère de l'Économie et des Finances (Paris, 20—22 juin 1972). Préf. de V. Giscard d'Estaing, presentation de L. Stoléru. Paris: Denoël, 1972. Лионель Столерю (род. 1937) в то время был техническим советником кабинета Валери Жискара д'Эстена. М. Фуко мог встречаться с ним достаточно часто.

[40] Ibid. P. 445: «[...] разнообразие функций государства, которые экономисты давно уже разделили на три категории:

(1) функция перераспределения: государство передает от более богатых к более бедным;

(2) функция ассигнования: государство производит общественные блага: образование, здравоохранение, автострады;

(3) функция регулирования: государство своей конъюнктурной политикой регулирует и поддерживает рост и всеобщую занятость».

[41] Ibid. (продолжение предыдущей цитаты): «Итак, если эти три функции различны с интеллектуальной точки зрения, на практике они таковыми не являются: один и тот же налог безразлично используется как для финансирования автострады, так и для нужд системы социальной защиты, одни и те же расходы используются одновременно и для расширения сети S.N.C.F. [Национальной компании французских железных дорог], и для субсидирования многодетных семей, путешествующих поездом».

[42] Ibid. (продолжение предыдущей цитаты): «Я задаюсь вопросом, отвечает ли это смешение социальной справедливости? и хочу предложить вам для осмысления одну свою идею:

Не стоит ли отделить то, что соответствует потребностям экономического роста, от того, что связано с попечением о солидарности и социальной справедливости?».

[43] Ibid. (продолжение предыдущей цитаты): «Можно ли вообразить систему, в которой каждый гражданин платил бы налоги в двух различных формах — налог экономический и налог социальный?»

[44] Ibid. P. 439: «Что характеризует рыночную экономику, так это, главным образом:

— то, что существуют правила игры, допускающие принятие децентрализованных решений,

— то, что эти правила одни для всех».

[45] Ibid. P. 444: «[...] Еще долгие годы будут происходить столкновения между механизмами производства и механизмами защиты индивида: это значит, что только государство может обеспечить арбитраж между этими двумя механизмами и что оно должно вмешиваться все больше и больше, не бюрократически, но устанавливая правила некой частной игры, поскольку ни один из игроков, ни один из партнеров не должен рисковать проиграть».

[46] Будучи техническим советником в министерстве экономики и финансов с 1969 по 1974 г. (см. примеч. 39), Лионель Столерю с 1974 по 1976 г. осуществлял функции экономического советника в Елисейском дворце. Начиная с 1978 г. он был государственным секретарем при министре труда и занятости (ручной труд и иммиграция).

[47] VII План соответствует 1976—1980 гг.

[48] *Stoffaës C.* Rapport du groupe d'étude de l'impôt négatif. Commissariat du Plan. Paris, 1973—74; Id. De l'impôt négatif sur le revenu // Contrepoint. 1973. N 11; *Stoléru L.* Coût et efficacité de l'impôt négatif // Revue économique. 1974. Octobre; Id. Vaincre la pauvreté dans les pays riches. Paris: Flammarion («Champs»), 1977. 2[e] partie. P. 117—209: «L'impôt négatif, simple remède ou panacée?». Об этом предмете см.: *Lepage H.* Demain le capitalisme. Op. cit. [см. С. 197 наст. изд., при-

меч. 23]. P. 280—283: «Теория отрицательного налога на доход очень проста: речь идет о том, чтобы определить *черту бедности*, сообразуясь с годовым доходом, в зависимости от размера семьи (одинокий человек или хозяйство с детьми), и вливать в дефицитные в соответствии с чертой бедности семьи ассигнования, позволяющие заполнить этот разрыв. Другими словами, это система минимального дохода, гарантируемого обществом» (P. 280, n. 1). Отрицательный налог вновь стал объектом дебатов среди левых во времена правления Лионеля Жоспена в 2000—2001 гг. См., например: *Cohen D.* Impôt négatif: le mot et la chose // Le Monde. 2001. 6 février.

[49] См.: *Stoléru L.* Vaincre la pauvreté... P. 138—146: «Побуждения к труду: как побороть праздность?» и P. 206: «В отсутствие всякой иной административной надбавки система отрицательного налога подавляет праздность при помощи своих ставок налогообложения. Побуждение заключается в том, чтобы всякий всегда был заинтересован в том, чтобы трудиться, и трудиться еще больше, чтобы увеличить свой общий доход, который складывается из его доходов и получаемого пособия. Это побуждение тем сильнее, чем медленнее сокращается пособие при возрастании доходов, то есть чем ниже налоговая ставка».

[50] *Stoléru L.* Ibid. P. 242; см. также p. 205—206: «Отрицательный налог [...] совершенно несовместим с социальными концепциями, которые стремятся выяснить, почему существует бедность, прежде чем прийти на помощь. [...] Принимать отрицательный налог — значит принимать универсалистскую концепцию бедности, основанную на необходимости прийти на помощь тем, кто беден, не пытаясь выяснить, кто этого действительно заслуживает, то есть основанную на ситуации, а не на происхождении».

[51] См.: Ibid. P. 23—24: «В первом случае [т. е. в случае *абсолютной бедности*] мы говорим о "прожиточном минимуме", о пороге существования, о типовом бюджете, об элементарных потребностях. [...] Во втором случае [т. е. в случае *относительной бедности*] мы говорим о *разрыве* между самыми бедными и самыми богатыми, о *раскрытии* веера доходов, об *иерархии* заработной платы, о *различиях* в доступе к общественным благам, измеряя коэффициенты неравенства в распределении доходов». См. также p. 241—242, 292: «Граница между абсолютной бедностью и бедностью относительной — это граница между капитализмом и социализмом».

[52] См. лекцию 14 февраля 1979 г., с. 201 наст. изд., примеч. 45.

Лекция 14 марта 1979 г.

Американский неолиберализм. Его контекст. — Различия между американским и европейским неолиберализмом. — Американский неолиберализм как общее требование, очаг утопизма и метод мышления. — Аспекты этого неолиберализма: (1) Теория человеческого капитала. Два процесса, которые она представляет: (a) передовая экономического анализа внутри его собственной области: критика классического анализа труда в терминах фактора времени; (b) распространение экономического анализа на области, прежде считавшиеся не-экономическими. — Эпистемологическая мутация, произведенная неолиберальным анализом: анализ экономических процессов как анализ внутренней рациональности человеческого поведения. — Труд как экономическое поведение. — Расчленение его на капитал-компетенцию и доход. — Реинтерпретация homo œconomicus *как самому себе антрепренера. — Понятие «человеческого капитала». Его конститутивные элементы: (a) врожденные элементы и вопрос улучшения генетического человеческого капитала; (b) приобретенные элементы и проблема формирования человеческого капитала (образование, здравоохранение и т. п.). — Польза этих исследований: постановка проблемы социального и экономического обновления (Шумпетер). Новая концепция политики роста.*

Сегодня* я хотел бы начать разговор о том, что во Франции[1] представляется столь привлекательным: об американском неолиберализме. Конечно же, я обращусь лишь к некоторым

---

* В начале лекции М. Фуко объявляет, что «должен уйти в одиннадцать часов, потому что [у него] собрание».

аспектам, которые существенны для того жанра исследования, который я вам предлагаю.[2]

Для начала несколько банальностей. Американский неолиберализм развивался в контексте, не слишком отличавшемся от того, в котором развивались немецкий неолиберализм и то, что можно было бы назвать французским неолиберализмом. То есть изначально существовали три принципа развития американского неолиберализма — во-первых, это, конечно, *New Deal*, критика *New Deal* и та политика, развиваемая начиная с 1933—34 гг. Рузвельтом, которую в целом можно назвать кейнсианской; а первым фундаментальным текстом американского неолиберализма, написанным в 1934 г. Саймонсом,[3] отцом-основателем Чикагской школы, было сочинение под названием «Позитивная программа laissez-faire».[4]

Второй элемент контекста — это план Бевериджа и все те проекты экономического и социального интервенционизма, которые были выработаны во время войны.[5] Все это очень важные элементы, их можно было бы назвать военными договорами, в соответствии с которыми правительства — главным образом, английское и до некоторой степени американское — говорили людям, только что пережившим тяжелейший экономический и социальный кризис: теперь мы хотим, чтобы вы позволили себя убивать, но мы обещаем, что, сделав это, вы сохраните свое рабочее место до конца своих дней. Все эти документы, все эти анализы, программы, исследования было бы очень интересно изучить сами по себе, потому что мне кажется (хотя, впрочем, я могу и ошибаться), что впервые целые нации вступили в войну, опираясь на систему договоров, которые были не просто договорами международного альянса между властями, но [своего рода] общественными договорами, в которых они обещали — тем, от кого они требовали воевать, а значит позволить убивать себя, — определенный тип экономической и социальной организации, в котором обеспечивалась бы защищенность (обеспечение занятости, защита от болезней, всевозможных опасностей, обеспечение пенсии). Договоры о защищенности в момент призыва на войну. Призыв на войну от имени правительств очень рано — в Англии тексты на эту тему появились в 1940 г. — удваивался предложением об-

щественного договора и защищенности. Всем этим социальным программам Саймонс противопоставил несколько текстов и критических статей, и самая интересная из них, конечно же, статья, которая называется «Program Beveridge: an unsympathetic interpretation»[6] — переводить незачем, название само указывает на смысл этой критики.

Третий элемент контекста — это, очевидно, все те программы борьбы с бедностью, образования, сегрегации, которые развивались в Америке со времен администрации Трумэна[7] до администрации Джонсона,[8] программы, пронизанные государственным интервенционизмом, ростом федеральной администрации и т. п.

Я полагаю, что эти три элемента — кейнсианская политика, военные общественные договоры и усиление федеральной администрации, пронизывавшие экономические и социальные программы — все это создавало противника, неолиберальную мысль, составляя то, на что она опиралась или чему она сопротивлялась в своем формировании и развитии. Как видите, этот непосредственный контекст носит тот же характер, что и тот, что обнаруживается, например, во Франции, где неолиберализм также определялся в противоположность Народному фронту,[9] послевоенным кейнсианским политикам [и] планированию.

Я думаю, впрочем, что между европейским неолиберализмом и неолиберализмом американским существуют некоторые значительные расхождения. Они общеизвестны, они бросаются в глаза. Я просто напомню их. Прежде всего американский либерализм в момент своего исторического формирования, то есть очень рано, в XVIII в., не представлялся, как во Франции, сдерживающим принципом по отношению к предсуществующим государственным интересам, поскольку притязания либерального типа, напротив, были исторической точкой отсчета в формировании независимости США.[10] То есть либерализм в США в период Войны за независимость играл почти ту же или аналогичную роль, какую сыграл либерализм в Германии в 1948 г. К либерализму взывали как к основополагающему принципу и легитиманту государства. Не само государство самоограничивается либерализмом, таково требование либерализма, оказывающееся для государства основополагающим.

Такова, как мне кажется, одна из черт американского либерализма.

Во-вторых, либерализм в Америке на протяжении двух веков, конечно же, оставался в центре всех политических дебатов, шла ли речь об экономической политике, о протекционизме, о проблеме золота и серебра, о биметаллизме; или о рабстве; или о проблеме статуса и функционирования судебной институции; или об отношении между индивидами и различными штатами, между различными штатами и федеральным государством. Можно сказать, что вопрос о либерализме был рекуррентным элементом всех дискуссий и политических выборов в США. В то время как в Европе рекуррентными элементами политических дебатов XIX в. были либо единство нации, либо ее независимость, либо правовое государство, в США это был либерализм.

Наконец, в-третьих, по отношению к этой постоянной основе либеральных дебатов (я хочу сказать, интервенционистских политик, будь то экономика кейнсианского типа, экономическое или социальное планирование) неолиберализм, главным образом с середины XX в., выступал как элемент угрожающий в той мере, в какой речь шла о том, чтобы поставить цели, близкие к социалистическим, а также поскольку речь шла о том, чтобы внутренне обосновать империалистическое и военное государство, так, чтобы критика не-либерализма могла обрести двойную опору: справа, от имени самой либеральной традиции, исторически и экономически враждебной всему тому, что отдает социализмом, и слева, поскольку речь шла о том, чтобы осуществлять не только критику, но и повседневную борьбу с развитием империалистического и милитаристского государства. Отсюда двусмысленность, явная двусмысленность американского неолиберализма, который осуществляется, реактивируется как справа, так и слева.

Во всяком случае можно сказать следующее: в силу общеизвестных исторических причин, о которых я только что упомянул, американский либерализм не есть просто экономический и политический выбор, сформированный и сформулированный правителями или в правительственной среде (как во Франции в наши дни, как в Германии сразу после войны). В Америке либерализм — это целостный способ бытия и

мышления. Это скорее тип отношений между управляющими и управляемыми, нежели техника управляющих, обращаемая на управляемых. Скажем так: в то время как в такой стране, как Франция, дискуссия об отношении индивидов к государству вращается вокруг проблемы общественного труда, [в США] дискуссия об отношениях между индивидами и правительством скорее принимает характер проблемы свобод. Поэтому мне кажется, что американский либерализм в настоящее время представляется не только и не столько политической альтернативой, сколько чем-то вроде всеобщей, многообразной, двусмысленной формулы, поддерживаемой как справа, так и слева. Здесь всегда задействовано что-то вроде утопического единства. Кроме того, это метод мышления, сетка экономического и социологического анализа. Я сошлюсь на того, о ком мы много говорили, кто, строго говоря, не был американцем, поскольку он австриец, но кто последовательно побывал в Англии и в США, прежде чем вернуться в Германию. Это Хайек, который несколько лет назад сказал: что нам нужно, так это либерализм, который есть живая мысль. Заботу о выработке утопий либерализм всегда оставлял социалистам, и этой утопической или близкой к утопизму мысли социализм во многом был обязан своей силой и историческим динамизмом. Итак, либерализм также нуждается в утопии. Скорее стоило бы заняться либеральными утопиями, мыслить по модели либерализма, нежели представлять либерализм как техническую альтернативу правительству.[11] Либерализм как общий стиль мысли, анализа и воображения.

Таковы некоторые общие черты, которые, быть может, позволят несколько отличить американский неолиберализм от того неолиберализма, осуществление которого мы видели в Германии и во Франции. Смещение образа мысли, стиля анализа, сетки исторической и социологической дешифровки — это те немногие аспекты американского неолиберализма, которые я хотел бы обозначить, принимая во внимание, что у меня нет ни желания, ни возможности изучать его во всех его измерениях. Особенно я хотел бы выделить два элемента американской неолиберальной концепции, которые одновременно являются и методами анализа, и типами планирования и которые представляются мне любопытными: во-первых, теорию чело-

веческого капитала, а во-вторых, по причинам, о которых вы, конечно, догадываетесь, проблему анализа преступности и делинквентности.

Сперва теория человеческого капитала.[12] Мне кажется, теория человеческого капитала интересна в следующем отношении: дело в том, что эта теория репрезентирует два процесса, один из которых можно было бы назвать продвижением экономического анализа в доселе не исследованную область, а второй, исходя из этого продвижения, — возможностью реинтерпретировать в строго экономических терминах целую область, которая до настоящего времени могла рассматриваться и действительно рассматривалась как не-экономическая.

Прежде всего продвижение экономического анализа, так сказать, вовнутрь своей собственной области, но в том пункте, который оставался блокированным или во всяком случае неопределенным. Американские неолибералы говорят: как ни странно, классическая политическая экономия всегда торжественно указывала, что производство благ зависит от трех факторов — земли, капитала, труда. Так вот, говорят они, труд всегда оставался неисследованным. Оставался, так сказать, чистый лист, на котором экономисты ничего не писали. Конечно, можно сказать, что экономия Адама Смита начинается с размышления о труде, ведь распределение труда и его спецификация составляли для Адама Смита ключевую позицию, исходя из которой он смог создать свой экономический анализ.[13] Однако после этого первого продвижения, с момента этого первого открытия классическая политическая экономия никогда не анализировала труд как таковой, или, скорее, бесконечно пыталась его нейтрализовать, а чтобы нейтрализовать, сводила его исключительно к временно́му фактору. Именно это сделал Рикардо, когда, желая проанализировать приращение труда, фактора труда, он неизменно определял это приращение лишь количественно и как темпоральную переменную. То есть он считал, что приращение труда или изменение, возрастание фактора труда не могло быть не чем иным, как представленностью на рынке дополнительного количества рабочих, то есть возможностью использовать больше человеко-часов, составляющих, таким образом, диспозицию капитала.[14] Следовательно, политическая экономия, в сущности, никогда не отходила

от нейтрализации самой природы труда ради единственной количественной переменной человеко-часов и рабочего времени и редукции рикардовской проблемы труда к простому анализу количественной переменной времени.[15] В конце концов у Кейнса мы находим анализ труда, или, скорее, не-анализ труда, который не слишком отличается, который проработан не намного лучше, чем не-анализ самого Рикардо. Ведь что такое труд для Кейнса? Это фактор производства, производственный фактор, но сам по себе пассивный, находящий применение, вступающий в действие только благодаря определенной инвестиционной ставке, при условии, что она достаточно высока.[16] Проблема неолибералов, судя по той критике, которой они подвергают классическую экономию и анализ труда в классической экономии, состоит в том, чтобы попытаться заново ввести труд в пространство экономического анализа; именно этим пытались заняться некоторые из них. Первым был Теодор Шульц,[17] в 1950—60-е гг. опубликовавший несколько статей, итог которым он подвел в книге, опубликованной в 1971 г. и получившей название «Investment in Human Capital».[18] Гэри Беккер[19] примерно в те же годы опубликовал книгу с таким же названием,[20] а третий текст о школе и о заработной плате, фундаментальный и более конкретный, более точный, чем другие, написал Минсер[21] в 1975 г.[22]

По правде говоря, тот упрек, который неолиберализм обращает классической экономии, в том, что она забыла о труде и никогда не пропускала его через фильтр экономического анализа, этот упрек может показаться странным, если вспомнить, что, если даже и справедливо, что Рикардо целиком свел анализ труда к анализу количественной переменной времени, зато был кое-кто, кого звали Маркс и кто... и т. п. Так вот. Неолибералы практически никогда не обсуждают Маркса в силу того, что можно считать экономическим снобизмом. Но мне кажется, что, если бы они дали себе труд дискутировать с Марксом, они обнаружили бы то, что [уместно] было бы назвать анализом Маркса. Они сказали бы: совершенно очевидно, что Маркс в своем анализе сделал труд одной из сущностных основ. Но что делает Маркс, когда он анализирует труд? Он показывает, что рабочий продает что? Не труд, но рабочую силу. Он продает свою рабочую силу на определенное время в обмен на зара-

ботную плату, устанавливаемую исходя из определенной рыночной ситуации, соответствующей равновесию между предложением и спросом на рабочую силу. А работа, которую выполняет рабочий, именно работа создает стоимость, часть которой у него изымается. Этот процесс Маркс рассматривает как логику капитализма. В чем заключается эта логика? Дело вот в чем: работа всегда «абстрактна»,* то есть конкретная работа, трансформированная в рабочую силу, измеренная временем, выпущенная на рынок и оплаченная заработной платой,— это не конкретная работа; напротив, это работа, оторванная от ее человеческой реальности, от всех ее качественных переменных, так что (и это действительно хорошо показывает Маркс) экономическая механика капитализма, логика капитала удерживают из труда лишь силу и время. Из него они делают рыночный продукт, из него они удерживают лишь эффекты произведенной стоимости.

Итак, говорят неолибералы (и здесь их анализ отличается от критики, предпринятой Марксом), откуда берется эта, как говорит Маркс, «абстракция»,** этот просчет? Это просчет самого капитализма. Это просчет логики капитала и его исторической реальности. Тогда как сами неолибералы утверждают: эта абстракция труда, которая действительно появляется благодаря временной переменной, является не фактом реального капитализма, [но фактом] экономической теории, которую вывели из капиталистического производства. Абстракция появляется не из реальной механики экономических процессов, но из того, как они отражаются в классической экономии. Потому что классическая экономия была неспособна позаботиться об анализе труда в его конкретной спецификации и его качественных модуляциях, потому что она оставила эту чистую страницу, эту лакуну, эту пустоту в своей теории, поспешив создать вокруг труда целую философию, антропологию, политику, представителем которой и был Маркс. А следовательно, что нужно сделать, так это не продолжать, так сказать, реалистическую критику Маркса, упрекающего реальный капитализм за то, что он абстрагировался от реальности труда; нужно провести теоре-

---

* Кавычки в рукописи.

** Кавычки в рукописи.

тическую критику того, как в экономическом дискурсе самый труд оказался абстрактным. И если, говорят неолибералы, экономисты рассматривают труд столь абстрактно, если они упускают спецификацию, качественные модуляции и экономические эффекты этих качественных модуляций, так это, в сущности, потому, что классические экономисты всегда рассматривают в качестве объекта экономии процесс, капитал, капиталовложение, машину, продукт и т. п.

Итак, мне кажется, что нужно поместить неолиберальные исследования в их общий контекст. Тем не менее сущностная эпистемологическая мутация неолиберальных исследований состоит в том, что они претендуют изменить то, что фактически составляло объект, область объектов, общее поле референций экономического анализа. Экономический анализ Адама Смита практически до начала XX в. ставил своей целью изучение производственных механизмов, механизмов обмена и потребления в данной социальной структуре, учитывая интерференции этих трех механизмов. Согласно неолибералам, экономический анализ должен состоять в изучении не этих механизмов, но природы и следствий того, что они называют субститутивным выбором, то есть в изучении и анализе способа, которым ограниченные ресурсы предоставляются для конкурирующих целей, то есть альтернативных целей, которые не могут накладываться друг на друга.[23] Иначе говоря, есть ограниченные ресурсы, эти ограниченные ресурсы могут использоваться не только с одной целью или кумулятивными целями, но с целями, между которыми нужно выбирать, и экономический анализ должен иметь в качестве точки отсчета и общих референциальных рамок изучение способа, которым индивиды получают эти ограниченные ресурсы в целях, являющихся целями альтернативными.

Они поддерживают, или, скорее, разрабатывают определение экономического объекта, предложенное в 1930 или 1932 г. (точно не помню) Роббинсом,[24] который, по крайней мере с этой точки зрения, может считаться одним из основателей неолиберальной экономической доктрины: «Экономика — это наука о человеческом поведении, наука о человеческом поведении как отношении между целями и средствами, имеющими взаимоисключающее назначение».[25] Как видите, это опреде-

ление экономики ставит перед ней задачей не анализ диалогового механизма между вещами и процессами, главным образом капиталом, инвестициями, производством, где работа действительно оказывается чем-то вроде винтика; оно ставит задачей анализ человеческого поведения и его внутренней рациональности. Анализ должен освободиться от расчета, который, впрочем, может быть неосознанным, слепым, несостоятельным, но который остается расчетом того, какие ограниченные ресурсы индивид или индивиды предпочли предназначить для одной цели, а не для другой. Таким образом, экономика теперь — анализ не процесса, но деятельности. Теперь это анализ не исторической логики процесса, но внутренней рациональности, стратегического планирования деятельности индивидов.

Сразу надо оговориться: заниматься экономическим анализом труда — значит ли это заново ввести труд в экономический анализ? Не стоит выяснять, каким образом труд располагается между, скажем так, капиталом и производством. Проблема повторного введения труда в поле экономического анализа состоит не в том, чтобы задаваться вопросом, каким образом труд покупается, или что это дает в техническом отношении, или что за стоимость создает труд. Фундаментальная, сущностная, во всяком случае первейшая проблема, которая ставится при анализе труда в экономических терминах, состоит в том, чтобы выяснить, как именно используются ресурсы труда, которыми мы располагаем. То есть, вводя труд в поле экономического анализа, нужно принять точку зрения того, кто трудится; надо изучать труд как экономическое поведение, реализуемое, осуществляемое, рационализируемое, просчитываемое тем, кто трудится. Что такое труд для того, кто трудится; какой системе предпочтений, какой системе рациональности подчиняется эта трудовая деятельность? И тогда, исходя из этой сетки, проецирующей на трудовую деятельность стратегический принцип рациональности, мы сможем увидеть, в чем и как качественные различия труда могут оказывать воздействие на тип экономики. Принять точку зрения трудящегося и впервые сделать так, чтобы трудящийся в экономическом анализе оказался не объектом предложения и спроса в форме рабочей силы, но экономически активным субъектом.

Итак, как они за это берутся, исходя из такой задачи? Такие люди, как Шульц и Беккер, говорят: в сущности, почему люди трудятся? Разумеется, они трудятся, чтобы получить заработную плату. А что такое заработная плата? Заработная плата — это просто доход. С точки зрения трудящегося, заработная плата — это не продажная цена рабочей силы, а доход. И потому американские неолибералы ссылаются на старое, датируемое началом XX в. определение Ирвинга Фишера,[26] который говорил: что такое доход? Как можно определить доход? Доход — это просто продукт или прибыль от капитала. Или наоборот, назовем «капиталом» все то, что может быть способом или источником будущих доходов.[27] Следовательно, если, исходя из этого, допустить, что заработная плата — это доход, она оказывается доходом от капитала. А что такое капитал, доходом от которого является заработная плата? Это совокупность всех физических и психологических факторов, которыми обладает тот, кто способен получать ту или иную заработную плату, так что со стороны трудящегося труд — это не товар, сведенный абстракцией к рабочей силе и времени, [в течение] которого он используется. Разложенный с точки зрения трудящегося на экономические термины, труд включает капитал, то есть способности, компетенцию; как они говорят, это «машина».[28] А с другой стороны, это доход, то есть заработная плата, или, скорее, совокупность заработных плат; как они говорят, поток заработных плат.[29]

Такое разложение труда на капитал и доход, очевидно, влечет за собой некоторые довольно важные следствия. Во-первых, капитал, определяемый как то, что может обеспечить будущий доход, каковой есть заработная плата, — это капитал, практически неразрывно связанный с тем, кто им обладает. Так что это не такой капитал, как другие. Способность трудиться, компетенция, возможность что-либо делать — все это нельзя отделить от того, кто компетентен и кто может что-либо делать. Иначе говоря, компетенция трудящегося — это поистине машина, но такая машина, которую нельзя отделить от самого трудящегося, что вовсе не означает того, что, как традиционно говорила экономическая, или социологическая, или психологическая критика, капитализм превращает трудящегося в машину, а следова-

тельно отчуждает его. Надо признать, что компетенция, составляющая вместе с трудящимся тело, есть, так сказать, грань трудящегося как машины, но машины, понимаемой в позитивном смысле, поскольку именно машина производит* поток доходов. Поток доходов, а не доход, потому что машина, конституируемая компетенцией трудящегося, не продается, так сказать, буквально на рынке труда за определенную заработную плату. В действительности эта машина имеет свою продолжительность жизни, свой срок службы, свое изнашивание, свое старение. Так что нужно признать, что машина, конституируемая компетенцией трудящегося, машина, конституируемая связанными в ансамбль индивидуальными трудящимися, за время своей службы вознаграждается целой серией заработных плат, которая, если взять самый простой случай, начинается с относительно низкой заработной платы, когда машина только начинает использоваться, затем увеличивается, а потом снижается в связи с устареванием самой машины или старением трудящегося в качестве машины. Таким образом, говорят неоэкономисты (такие как Шульц),[30] этот ансамбль нужно рассматривать как комплекс машина/поток, а это антипод концепции рабочей силы, которая-де должна продаваться по рыночной цене капиталу, инвестируемому в предприятие. Это концепция не рабочей силы, а капитала-компетенции, в зависимости от различных переменных получающего определенный доход, который есть заработная плата, так что трудящийся оказывается, так сказать, сам себе предприятием. А в пределе мы видим тот элемент, который я уже отмечал в немецком и в определенной степени во французском неолиберализме, — ту идею, что экономический анализ должен обнаружить в качестве базового элемента этих дешифровок не столько индивида, процесс или механизмы, сколько предприятия. Экономика, создаваемая единицами-предприятиями, общество, создаваемое единицами-предприятиями: именно это одновременно и связанный с либерализмом принцип дешифровки, и его планирование для рационализации общества и экономики.

---

* М. Фуко добавляет: и производит то, что оказывается.

Я бы сказал, что в определенном смысле (так обычно и говорят) неолиберализм в этих условиях оказывается возвращением к *homo œconomicus*. Это так, но, как вы заметили, со значительным сдвигом, ведь что такое *homo œconomicus*, человек экономический в классической концепции? Так вот, это человек обмена, партнер, один из двух партнеров в процессе обмена. И этот *homo œconomicus* как партнер в обмене, само собой, предполагает анализ того, что он такое, разложение его поведения и способов действовать в терминах полезности, которые, разумеется, отсылают к проблематике потребностей, поскольку именно исходя из потребностей можно охарактеризовать или определить, во всяком случае обосновать полезность, которая порождает процесс обмена. *Homo œconomicus* как партнер обмена, теория полезности, исходящая из проблематики потребностей: вот что характеризует классическую концепцию *homo œconomicus*. В неолиберализме (и он этого не скрывает, он это открыто прокламирует) также обнаруживается теория *homo œconomicus*, но здесь *homo œconomicus* — не партнер обмена. *Homo œconomicus* — это антрепренер, и антрепренер себе самому. Практически это подтверждается тем, что оказывается целью всех предпринимаемых неолибералами исследований, всякий раз заменяющих *homo œconomicus* как партнера обмена на *homo œconomicus* как самому себе антрепренера, который сам себе капитал, сам себе производитель, сам себе источник доходов. Я не стал об этом говорить, потому что это слишком долго, но у Гэри Беккера есть очень интересная теория потребления,[31] в которой он говорит: не стоит думать, будто потребление заключается лишь в том, чтобы участвовать в процессе обмена, покупая и производя денежный обмен, чтобы получить какие-то продукты. Человек потребления — это не один из членов обмена. Человек потребления, поскольку он потребляет, есть производитель. Что он производит? Так вот, он производит свое собственное удовлетворение.[32] Нужно признать потребление деятельностью предприятия, посредством которой индивид, исходя из определенного капитала, которым он располагает, производит такую вещь, как свое собственное удовлетворение. А следовательно, классические теория и анализ, в сотый раз повторяющие, что некто, с одной стороны, является потребителем, а с другой — произ-

водителем, и что поскольку он производитель, с одной стороны, и потребитель — с другой, он, так сказать, разделен по отношению к самому себе, все эти социологические (потому что они никогда не были экономическими) исследования массового потребления, общества потребления и т. п. ничего в себе не несут и ничего не стоят для анализа потребления производительной деятельности в неолиберальных терминах. Таким образом, это полная трансформация концепции *homo œconomicus*, даже если и имеет место возвращение к идее *homo œconomicus* как сетке исследования экономической деятельности.

Таким образом, приходят к идее, что заработная плата — это не что иное, как вознаграждение, как доход, зависящий от определенного капитала, который называется человеческим капиталом, поскольку компетенция-машина, от которой получают доход, неотделима от человеческого индивида, являющегося ее носителем.[33] Из чего же тогда состоит капитал? Повторное введение труда в поле экономического анализа делает возможным что-то вроде ускорения или расширения, переход к экономическому анализу элементов, которые до сих пор от него совершенно ускользали. Другими словами, неолибералы говорят: труд по праву был частью экономического анализа, но классический экономический анализ, каким его создали, был неспособен обратиться к элементу труда. А мы это сделаем. И с того момента, как они этим занялись, и занялись в терминах, о которых я только что говорил, с тех самых пор они вынуждены изучать то, как образуется и накапливается человеческий капитал, что позволяет им применить экономические исследования к совершенно новым областям.

Из чего состоит человеческий капитал? Он состоит, говорят они, из элементов, которые являются врожденными, и из других, которые являются элементами приобретенными.[34] Поговорим о врожденных элементах. Одни из них можно назвать наследственными, а другие — врожденными. Эти различия сами по себе, конечно, происходят от самых смутных представлений о биологии. Не думаю, что на сегодняшний день существуют исследования этой проблемы наследственных элементов человеческого капитала, но совершенно ясно, как они могли бы проводиться, а самое главное, совершенно ясно,

сколько волнений, забот, проблем и т. п. это могло бы породить в зависимости от того, чего вы хотите — заинтересовать или обеспокоить. Действительно, в исследованиях неолибералов, которые я назвал классическими, например в исследованиях Шульца или Беккера, хорошо показано, что конституция человеческого капитала интересует экономистов и оказывается существенной для них в той мере, в какой этот капитал конституируется благодаря использованию ограниченных ресурсов, тех ограниченных ресурсов, использование которых было бы альтернативным для данной цели. Итак, совершенно очевидно, что нам не приходится платить, чтобы обрести тело, которое у нас есть, или что нам не приходится платить, чтобы обрести имеющееся у нас генетическое оснащение. Это ничего не стоит. Да, это ничего не стоит, в конце концов мы видим... и прекрасно можем представить, что именно так может случиться (именно этим пугает попадавшаяся мне научная фантастика, именно такого рода проблематика начинает окружать нас сегодня).

Действительно, современная генетика прекрасно показывает, что на нас влияет куда большее число обусловленных генетическим оснащением элементов, чем мы могли себе представить до настоящего времени. Она позволяет, в частности, установить для данного индивида, кем бы он ни был, вероятность подвергнуться той или иной болезни в данном возрасте, в данный период его жизни или вообще в какой бы то ни было момент его жизни. Иначе говоря, одна из сегодняшних возможностей применения генетики к человеческим популяциям состоит в том, чтобы различать индивидов по риску и типу риска, которому индивиды подвергаются на протяжении своего существования. Вы скажете: ничего не поделаешь, наши родители сделали нас такими. Да, конечно, но благодаря тому, что мы можем установить, какие индивиды подвержены риску и каков риск того, что союз индивидов с риском произведет индивида, который будет иметь такие-то и такие-то характеристики в отношении риска, носителем которого он окажется, мы вполне можем представить себе следующее: хорошая генетическая оснащенность, — то есть [та], что позволяет производить индивидов с низким уровнем риска или таких, у которых процент риска не будет составлять опасности

ни для них самих, ни для их окружения, ни для общества, — эта хорошая генетическая оснащенность, разумеется, станет чем-то вроде редкости, а поскольку это редкость, она вполне [может стать], и совершенно естественно, что станет частью экономических схем или расчетов, то есть альтернативных выборов. Проще говоря, это значит, что, учитывая мое генетическое оснащение, если я хочу иметь потомство, генетическое оснащение которого будет по крайней мере таким же хорошим, как мое, или по возможности лучше, нужно еще, чтобы я сочетался браком с кем-то, чье генетическое оснащение само по себе хорошо. Как видите, механизм производства индивидов, детей, может обнаружить целую экономическую и социальную проблематику, исходя из проблемы редкости хорошего генетического оснащения. И если вы хотите иметь ребенка, человеческий капитал которого, понимаемый в терминах врожденных элементов и элементов наследственных, будет высок, с вашей стороны требуется вложение, то есть вы должны достаточно трудиться, иметь достаточные доходы, иметь такой социальный статус, который позволит вам взять в супруги или в со-производители того, чей капитал сам по себе значителен. То, что я говорю вам, не стоит на грани шутки; просто форма мысли или проблематики в настоящее время пребывает в состоянии эмульсии.[35]

Я хочу сказать следующее: если проблема генетики вызывает сегодня такое беспокойство, не думаю, что будет полезно или интересно перекодировать это беспокойство по поводу генетики в традиционных терминах расизма. Если мы хотим уловить то, что политически значимо в современном развитии генетики, нужно пытаться уловить ее причастность к современности, с теми реальными проблемами, которые эта последняя ставит. А ввиду того, что общество ставит перед самим собой проблему улучшения своего человеческого капитала в целом, нужно, чтобы проблема контроля, отбора, улучшения человеческого капитала индивидов, само собой, в зависимости от союзов и порождаемого ими потомства, не была поставлена или во всяком случае не требовала постановки. Таким образом, политическая проблема использования генетики ставится в терминах создания, роста, накопления и улучшения человеческого капитала. Расистские следствия генетики —

это, само собой, то, чего следует опасаться и что не нужно затушевывать. Но главная политическая цель сегодня, как мне кажется, не в этом.

Давайте оставим эту проблему опасностей инвестирования и создания генетического человеческого капитала. Ведь все проблемы и новые типы исследования, предложенные неолибералами, ставятся скорее со стороны приобретенного, то есть более или менее добровольного конституирования человеческого капитала на протяжении жизни индивида. Что значит формировать человеческий капитал, формировать те виды компетенций-машин, которые будут производить доход, приносить доход? Это значит, ясное дело, заниматься тем, что называется образовательными инвестициями.[36] По правде говоря, не нужно было дожидаться неолибералов, чтобы измерить этими образовательными инвестициями определенные результаты, когда речь шла об обучении в узком смысле, о профессиональной подготовке и т. п. Однако неолибералы заметили, что на самом деле то, что нужно назвать образовательными инвестициями, или во всяком случае элементы, причастные к конституции человеческого капитала, шире, многочисленнее, чем простое школьное или профессиональное обучение.[37] Чем же конституируется это инвестирование, формирующее компетенцию-машину? Известно из экспериментов, из наблюдений, что оно конституируется, к примеру, тем временем, которое родители посвящают своим детям помимо простой воспитательной деятельности в собственном смысле. Достоверно известно, что количество часов, проведенных матерью со своим ребенком, пока он лежит в колыбели, окажется очень важным для конституции компетенции-машины, или человеческого капитала, и что ребенок будет куда более адаптивным, если его родители или его мать посвятили ему столько часов, чем если бы они посвятили ему меньше. То есть самое время кормления, самое время нежности, посвящаемое родителями их детям, должно быть проанализировано как инвестирование, способное конституировать человеческий капитал. Потраченное время, получаемая забота, культурный уровень родителей — ведь достоверно известно, что потраченное время, равно как и культурные родители, формируют более высокий человеческий капитал у ребенка, чем если бы у

них не было такого культурного уровня, — совокупность культурных стимулов, получаемых ребенком: все это составляет элементы, способные сформировать человеческий капитал. То есть мы приходим, как говорят американцы, к экологическому анализу жизни ребенка, которую надо постараться измерить и в определенной мере исчислить, во всяком случае, постараться измерить в терминах возможностей инвестирования в человеческий капитал. Что из окружения ребенка производит человеческий капитал? Каковы тот или иной тип стимуляции, та или иная форма жизни, те или иные отношения с родителями, взрослыми, другими, которые могут кристаллизоваться в человеческий капитал? Чтобы не зайти слишком далеко, я это оставлю. Таким же образом можно предпринять анализ медицинского обслуживания и вообще всего, что касается здоровья индивидов, что выступает такими же элементами, исходя из которых человеческий капитал должен, во-первых, улучшаться, а во-вторых, сохраняться и использоваться как можно дольше. Таким образом, нужно или во всяком случае можно переосмыслить все проблемы защиты здоровья и общественной гигиены как элементы, способные или неспособные улучшить человеческий капитал.

К тому же, среди конституирующих элементов человеческого капитала надо учесть подвижность, то есть способность индивида перемещаться, и в особенности его миграцию.[38] Потому что, с одной стороны, миграция имеет свою цену, ведь перемещающийся индивид, в то время как он перемещается, не получает денег как материальной прибыли, а с другой — существует психологическая стоимость обустройства индивида в новой среде. По крайней мере упускается выгода, поскольку период адаптации индивида, само собой, не позволяет ему получать такой доход, который был у него прежде или который будет у него потом, когда он адаптируется. Какова функция миграции, стоимость которой прекрасно показывают все эти негативные элементы? Достижение более высокого статуса, прибыли и т. п., то есть инвестирование. Миграция — это инвестирование, мигрант — это инвестор. Он сам себе антрепренер, предпринимающий некоторые инвестиционные затраты ради достижения определенного улучшения. Мобильность населения и присущая ему способность делать выбор в пользу мо-

бильности, представляющий собой выбор инвестирования ради достижения более высокого дохода,— все это позволяет пересмотреть эти феномены не как чистые и простые эффекты экономических механизмов, простирающиеся за пределы индивидов и, так сказать, связывающие их с громадной машиной, которая им не принадлежит; это позволяет анализировать их поведение в терминах индивидуального предприятия, предприятия со своими инвестициями и доходами.

Вы скажете: зачем нужны все эти исследования? Их непосредственные политические коннотации вы и так чувствуете, так что незачем говорить о них дальше. Если бы существовал только этот побочный политический продукт, можно было бы единым жестом отбросить этот жанр исследований, или, во всяком случае, практиковать в их отношении чистую и простую работу разоблачения. Но мне кажется, что это было бы одновременно и неверно, и опасно. На самом деле этот жанр исследований позволяет в какой-то мере пересмотреть определенные явления, которые были замечены уже давно, в конце XIX в., но так и не получили заслуживаемого ими статуса. Это была проблема технического прогресса или того, что Шумпетер называл «инновацией».[39] Шумпетер — хотя он и не был первым, но вокруг него складывалось все это — заметил, что, вопреки предсказаниям Маркса и тому, что могла сформулировать классическая экономия, существует тенденция к снижению нормы прибыли, которую нужно эффективно и постоянно корректировать. Как известно, корректирование снижения нормы прибыли Роза Люксембург[40] интерпретировала как доктрину империализма. Анализ Шумпетера заключается в возможности сказать, что этим не-снижением или корректированием снижения нормы прибыли мы обязаны не только империализму. Мы обязаны им в целом,* инновации, то есть открытию новых техник, новых источников, новых производственных форм, а также новых рынков или новых ресурсов рабочей силы.[41] Таким образом, объяснение этому явлению следует искать в новом, в той инновации, которую Шумпетер считает совершенно неотделимой от функционирования капитализма.

---

* М. Фуко добавляет: и оно оказывается [*неразборчивое слово*], к тому же, категорией более общего процесса.

В конечном счете [неолибералы рассматривают]* эту проблему инновации при тенденции к снижению нормы прибыли не как какую-то этико-психологическую или этико-экономико-психологическую характеристику капитализма, как Шумпетер с его проблематикой, недалеко ушедшей от проблематики Макса Вебера. Напротив, они говорят: нельзя остановиться на проблеме инновации и сослаться для объяснения феномена инновации на предприимчивость капитализма или постоянную стимуляцию конкуренции. Если имеет место инновация, то есть, если находят что-то новое, какие-то новые формы производительности, если занимаются технологическими изобретениями, — все это не что иное, как доход от определенного капитала, человеческого капитала, то есть от совокупности инвестиций, сделанных на уровне самого человека. И, рассматривая проблему инновации в рамках более общей теории человеческого капитала, они пытаются показать через призму истории западной экономики и экономики Японии начиная с 1930-х гг., что значительный рост этих стран за последние сорок или пятьдесят лет совершенно невозможно объяснить, [исходя] лишь из переменных классического анализа, то есть земли, капитала и труда, понимаемого как рабочее время, как количество трудящихся и часов. Лишь тонкий анализ композиции человеческого капитала, того, как этот капитал увеличивается, сегментов, в которых он увеличивается, и элементов, которые вводятся в качестве инвестиций в человеческий капитал — только это может объяснить эффективный рост этих стран.[42]

Исходя из этого теоретического и исторического анализа, можно выявить принципы политики роста, которая больше не будет индексироваться лишь проблемой материального вложения физического капитала, с одной стороны, и количеством трудящихся [— с другой], политики роста, которая будет сосредоточена на том, что Западу легче всего изменить — на изменении уровня и формы инвестирования в человеческий капитал. Именно на это в действительности ориентируются экономические, а также социальные, культурные и образовательные политики всех развитых стран. Точно так

---

* М. Ф.: исследования неолибералов ситуируют.

же, исходя из проблемы человеческого капитала, можно переосмыслить проблемы экономики третьего мира. А негибкость экономики третьего мира сегодня нужно переосмыслить не столько в терминах блокирования экономических механизмов, сколько в терминах недостаточного инвестирования человеческого капитала. К тому же необходимо предпринять целый ряд исторических исследований. Возьмем общеизвестную проблему экономического взлета Запада в XVI—XVII вв.: чем он был вызван? Был ли он вызван накоплением физического капитала? Историки относятся к этой гипотезе все более и более скептически. Был ли он вызван ускоренным накоплением человеческого капитала? Таким образом, следует пересмотреть всю историческую схему, а также все планирование политики экономического развития, которые могли бы ориентироваться и действительно ориентируются на этот новый путь. Разумеется, речь идет не о том, чтобы элиминировать элементы политических коннотаций, о которых я вам только что говорил, но о том, чтобы показать, как эти политические коннотации со своей серьезностью, со своей насыщенностью, или, если хотите, со своим коэффициентом угрозы связаны с самой эффективностью анализа и планирования на уровне процессов, о которых я говорил вам сегодня.*

---

* Здесь М. Фуко прервал лекцию, из-за недостатка времени отказавшись развивать последние пункты ее заключительной части («Чем интересен такого рода анализ?»), относящиеся (a) к заработной плате, (b) к целому ряду проблем, касающихся воспитания, (c) к возможностям исследования семейного поведения. Рукопись заканчивается следующими строками:

«По-другому проблематизировать все области воспитания, культуры, образования, охватываемые социологией. Не потому, что социология пренебрегает экономическим аспектом всего этого, но, по Бурдье, занимается

— воспроизводством производственных отношений,

— культурой как социальной кристаллизацией экономических различий.

Тогда как в неолиберальном анализе все эти элементы непосредственно интегрированы в экономику и ее рост в форме создания производственного капитала. Все проблемы [наследования?] — передачи — воспитания — образования — неравенства, трактуемые с единственной

Примечания

[1] О рецепции американских неолиберальных идей во Франции в конце семидесятых годов см., кроме уже указанной книги А. Лепажа («Demain le capitalisme»), коллективный труд: L'économique retrouvée. Vieilles critiques et nouvelles analyses / Dir. par J.-J. Rosa & F. Aftalion. Paris: Economica, 1977. Его выход породил многочисленные статьи в прессе, среди которых: *Revel J.-F.* Le Roi est habillé // L'Express. 1978. 27 février; *Suffert G.* Économistes: la nouvelle vague // Le Point. 1978. 13 mars; *Priouret R.* Vive la jungle! // Le Nouvel Observateur. 1978. 11 avril (эта последняя среди социальных корректив в рамках рынка упоминает отрицательный налог и ссылается на Л. Столерю: о том и о другом см. лекцию 7 марта 1979 г.); *Cazes B.* Le désenchantement du monde se poursuit // La Quinzane littéraire. 1978. 16 mai; *Drouin P.* Feux croisés sur l'État // Le Monde. 1978. 13 mai, и др. Некоторые из них представляют быстрое распространение этих идей во Франции как ответ на книгу: *Attali J.* Guillaume M. L'Anti-économique. Paris: PUF, 1972, — ставшую откликом на тезисы американских *новых левых* (см.: *Lepage H.* Op. cit. P. 9—12). См. также беседу: «Que veulent les nouveaux economists?» *L'Express* va plus loin avec J.-J. Rosa // L'Express. 1978. 5 juin.

[2] Помимо книг и статей, указанных в следующих примечаниях, М. Фуко читал по этому предмету антологию American Radical Thought: The libertarian tradition / Ed. H. J. Silverman. Lexington (Mass.): D. C. Heath and Co., 1970 и *Miller H. L.* On the Chicago School of Economics // Journal of Political Economy. 1962. Vol. 70 (1). P. 64—69.

[3] *Генри Калверт Саймонс* (1889—1946) — автор книги: Economic Policy for a Free Society. Chicago: University of Chicago Press, 1948.

[4] Речь идет о книге: *Simons H. C.* A Positive Program for Laissez-Faire: Some proposals for a liberal economic policy? Chicago: University of Chicago Press, 1934; rééd. in «Economic Policy for a Free Society».

[5] См. лекцию 7 февраля 1979 г., с. 165—166 наст. изд., примеч. 38.

[6] *Simons H. C.* The Beveridge Program: an unsympathetic interpretation // Journal of Political Economy. 1945. Vol. 53 (3). P. 212—233; rééd. in «Economic Policy for a Free Society», ch. 13.

точки зрения как однородные элементы, сами по себе [обращаются?] не вокруг антропологии или этики, или политики труда, но вокруг экономии капитала. А индивид, рассматриваемый как предприятие, т. е. как инвестирование/инвестор [...]. Эти жизненные условия обеспечивают доход от капитала».

[7] См. лекцию 31 января 1979 г., с. 125 наст. изд., примеч. 7.

[8] Там же. Примеч. 9.

[9] Коалиция левых партий, правившая во Франции с июня 1936 г. по апрель 1938 г. Под председательством Леона Блума это правительство провело множество социальных реформ (40-часовая неделя, оплачиваемые отпуска, национализация железных дорог и т. п.).

[10] Намек на события, послужившие началом войны за Независимость (1775—1783), а именно «Бостонское чаепитие» (16 декабря 1773 г.), во время которого колонисты, наряженные индейцами, сбросили в море груз чая Ост-Индской компании, перед которой английский парламент только что открыл двери американского рынка. Английское правительство ответило серией законов — «невыносимых актов» — повлекших за собой созыв I Континентального конгресса в Филадельфии в сентябре 1774 г.

[11] Возможно, речь идет о довольно свободно переформулированных размышлениях Хайека в постскриптуме к The Constitution of Liberty. Op. cit. [с. 69 наст. изд., примеч. 3]: «Why I am not a Conservative». P. 398—399 / Trad. citée. P. 394—395.

[12] См.: *Lepage H.* Demain le capitalisme. P. 21—28; 326—372 (о Г. Беккере). Некоторые главы этой книги появились в 1977 г. на страницах «Réalités». Кроме того, относительно главы о Беккере, автор отсылает к лекциям Жан-Жака Роза: Théorie micro-économique. IEP, 1977. См. также: *Riboud M., Hernandez Iglesias F.* La théorie du capital humain: un retour aux classiques // L'Economique retrouvée / Dir. J.-J. Rosa & F. Aftalion. Op. cit. P. 226—249; *Riboud M.* Accumulation du capital humain. Paris: Economica, 1978 (два эти труда фигурировали в библиотеке Мишеля Фуко).

[13] См.: *Smith A.* Recherches sur la nature et les causes de la richesse des nations. Livre I. Ch. 1—3 / Trad. citée [с. 71 наст. изд., примеч. 11]. Éd. GF. P. 71—89 (*Смит А.* Исследование о природе и причинах богатства народов. М.: Соцэкгиз, 1962. Гл. 1—3.) Об анализе труда у А. Смита см.: *Foucault M.* Les Mots et les Choses. Op. cit. P. 233—238 (*Фуко М.* Слова и вещи. С. 247—252).

[14] *Давид Рикардо* (1772—1823). *Ricardo D.* Des principes de l'économie politique et de l'impôt (1817). Ch. 1. Section 2 / Trad. M. Constancio & A. Fonteyraud // Œuvres completes [s. l., s. n.] («Collection des principaux économistes»), 1847. P. 14—16. (*Рикардо Д.* Сочинения / Пер. с англ. Под ред. М. И. Смит. Т. 1. Начала политической экономии и налогообложения. М.: Госкомиздат, 1955.) См.: *Riboud M., Hernandez Iglesias F.* La théorie du capital humain // Op. cit. P. 227: «[В анализе классических экономистов] возрастание фактора труда с необходимостью выражается как добавочное коли-

чество трудящихся или человеко-часов на человека, то есть как количественный рост». См. также замечания Дж. Минсера в предисловии к диссертации М. Рибо «Accumulation du capital humain» (Op. cit. P. m.): «Упрощающая гипотеза однородности фактора труда, выработанная Рикардо, создала пустоту, вследствие чего изучение структуры заработной платы и труда оставили приверженцам "институционалистского" подхода (изучение типов отношений, существующих между трудящимися и руководством предприятий), исследователям экономических колебаний и статистикам (описательная статистика)».

[15] Об отношении времени/труда у Рикардо см.: *Foucault M.* Les Mots et les Choses. P. 265—270 (*Фуко М.* Слова и вещи. С. 278—288).

[16] См.: *Riboud M., Hernandez Iglesias F.* La théorie du capital humain... P. 231: «Что касается анализа Кейнса, он достаточно далеко ушел от классиков со своей идеей инвестиций в человеческий капитал. Для него фактор труда есть главным образом пассивный фактор производства, который находит применение, только если существует достаточно высокая ставка инвестиции в физический капитал» (эту последнюю фразу Фуко подчеркнул в своем экземпляре книги; см. примеч.12).

[17] *Теодор В. Шульц* (1902—1998) — профессор экономики в Чикагском университете с 1946 по 1974 гг. Нобелевская премия по экономике 1979 г. Своей статьей: The emerging economic scene and its relation to High School Education // The High School in a New Era / Eds F. S. Chase & H. A. Anderson. Chicago: University of Chicago Press, 1958, — он открыл поле исследований человеческого капитала. См.: *Beaud M., Dostaler G.* La Pensée économique depuis Keynes. Paris: Le Seuil («Points économie»), 1996. P. 387—390. См. на фр. языке: *Schultz Th.* Il n'est de richesse que d'hommes. Investissement humain et qualité de la population / Trad. J. Challali. Paris: Bonnel, 1983.

[18] *Schultz T. W.* Capital formation by education // Journal of Political Economy. 1960. Vol. 68. P. 571—583; Id. Investment in human capital // American Economic Review. 1961. Vol. 51 (march). P. 1—17 (воспроизводится в книге с тем же названием [см. дальше], p. 24—47); Id. Reflections on investment in man // Journal of Political Economy. 1962. Vol. 70 (5), 2[e] partie. P. 1—8; Id. Investment in Human Capital: The role of education and of research. New York: The Free Press, 1971.

[19] *Гэри Беккер* (род. 1930) — доктор экономики (Чикагский университет, 1925); до 1968 г. преподавал в Колумбии, затем вернулся в Чикаго. Вице-президент Общества Мон Пелерин в 1989 г. Нобелевская премия 1992 г. См.: *Lepage H.* Demain le capitalisme. P. 323.

[20] *Becker G.* Investment in human capital: a theoretical analysis // Journal of Political Economy. 1962. Vol. 70 (5), 2e partie. P. 9—49; значительно переработанная, эта статья воспроизводится в Human Capital: A theoretical and empirical analysis with special reference to education. New York: National Bureau of Economic Research, 1964; 3e éd. Chicago-Londres: The University of Chicago Press, 1993. P. 29—158 («Investment in human capital: effect on earnings, p. 29—58 и «Investment in human capital: rates of return», p. 59—158).

[21] *Джейкоб Минсер*, родился в Польше (1922); профессор университета Колумбии.

[22] *Mincer J.* Schooling, Experience and Earnings. New York: National Bureauof Economic Research, Columbia University Press, 1974; см. также статью: Investment in human capital and personal income distribution // Journal of Political Economy. 1958. Vol. 66. P. 281—302, которую Т. Шульц расценивает как «pioneering paper» (Investment in Human Capital. Op. cit. P. 46, n. 33). Именно в этой статье впервые появляется выражение «человеческий капитал» (см.: *Beaud M., Dostaler G.* La Pensée économique... Op. cit. P. 184).

[23] См.: *Becker G.* The Economic Approach to Human Behavior. Chicago-Londres: University of Chicago Press, 1976. P. 4: он отвергает «the definition of economics in terms of material goods» [«определение экономики в терминах материальных благ»] ради определения «in terms of scarce means and competing ends» [«в терминах ограниченных средств и конкурирующих целей»].

[24] *Лайонел Ч. Роббинс*, лорд (1898—1984) — английский экономист, профессор Лондонской школы экономики, автор замечательного труда по методологии экономической науки: Essay on the Nature and Signifiance of Economic Science. Rééd. Londres: Macmillan, 1962 (1re éd. 1932). Враждебно настроенный по отношению к идеям Кейнса, во время кризиса тридцатых годов он изменил свою позицию, приобретя во время войны опыт советника британского правительства.

[25] Ibid. P. 16: «Economics is the science which studies human behavior as a relationship between ends and scarce means which have alternative uses» [«Экономика — это наука, изучающая человеческое поведение как отношение между целями и ограниченными средствами, имеющими альтернативное назначение»] (цит. по: *Becker G.* The Economic Approach... Op. cit. P. 1, n. 3).

[26] *Ирвинг Фишер* (1867—1947) — математик по образованию, профессор Йельского университета с 1898 г. до конца своей карьеры. Автор многих работ, в частности The Nature of Capital and Income. New York; Londres: Macmillan, 1906 (De la Nature du capital et du

revenue / Trad. S. Bouyssy. Paris: Giard, 1911) (См.: *Schumpeter J. A.* Histoire de l'analyse économique / Trad. citée. T. III. P. 172-–173).

[27] Формулы, извлеченные из уже цитированной статьи М. Рибо и Ф. Хернандеса Иглесиаса «La théorie du capital humain...», p. 228: «Капитал должен пониматься здесь согласно концепции рынка, развитой Ирвингом Фишером: капиталом называется любой источник будущих доходов, и наоборот, доход (все категории доходов) — это продукт или прибыль от капитала (различных форм капитала)». См.: *Schumpeter J. A.* Loc. cit. P. 207—208 и *Pribram K.* A History of Econiomic Reasonning [с. 201 наст. изд., примеч. 45]. P. 333: «Для [Ирвинга Фишера] капитал был всем тем, чем располагают в данный момент индивиды или общества, создающие кредит или покупательную способность и способные порождать интерес».

[28] По-видимому, слово «машина» принадлежит самому Фуко (аллюзия на «Анти-Эдипа» Делеза и Гваттари (Paris: Minuit, 1972)?). О паре машина/поток см. p. 43—44 этой книги (*Делез Ж., Гваттари Ф.* Анти-Эдип: Капитализм и шизофрения / Пер. Д. Кралечкина. Екатеринбург: У-Фактория, 2007. С. 62—63). Ни Беккер, ни Шульц не используют его применительно к способностям (*ability*). Этот последний, кстати, предполагает интеграцию врожденных человеческих способностей (the innate abilities of man) в «an all-inclusive concept of technology» [«всеобъемлющем понятии технологии»] (Investment in Human Capital. P. 11).

[29] «Earnings stream» или «income stream». См., например: *Schultz T. W.* Op. cit. P. 75: «Not all investment in human capital is for future earnings alone. Some of it is for future well-being in forms that are not captured in the earnings stream of the individual in whom the investments are made» [«Не все инвестиции в человеческий капитал составят в будущем единый доход. Часть их предназначается для будущего благосостояния в формах, не вливающихся в поток доходов индивида, в которого делаются вложения»].

[30] *Schultz T. W.* Ibid.

[31] См.: *Becker G.* On the new Theory of Consumer Behavior // Swedish Journal of Economics. 1973. Vol. 75. P. 378—395; перепечатано в The Economic Approach... P. 130—149. См.: *Lepage H.* Demain le capitalisme. Ch. VIII: «La nouvelle théorie du consummateur (Les révolutions de G. Becker)».

[32] *Becker G.* The Economic Approach... P. 134: «[...] This approach views as the primary objects of consumer choice various entities, called commodities, from which utility is directly obtained. These commodities are produced by the consumer unit itself through the productive activity of combining purchased market goods and

services with some of the household's own time». [«[...] Этот подход рассматривает как первичные объекты потребительского выбора различные сущности, называемые предметами потребления, из которых непосредственно извлекается польза. Эти предметы потребления производятся потребителем, становящимся таковым через продуктивную деятельность по комбинированию приобретенных рыночных товаров и услуг с частью своего собственного свободного времени».] В своей статье: A Theory of the Allocation of Time // Econimic Journal. 1965. Vol. 75. N 299. P. 493—517 (rééd in: The Economic Approach... P. 90—114) — Г. Беккер впервые предложил анализ зависимости производства от потребления (см.: *Riboud M., Hernandez Iglesias F.* La théorie du capital humain... P. 241—242). См.: *Lepage H.* Op. cit. P. 327: «С этой точки зрения потребитель — не просто тот, кто потребляет; это экономический агент, который "производит". Кто что производит? удовлетворение, которое потребляет он сам».

[33] См.: *Schultz T. W.* Investment in Human Capital. P. 48: «The distinctive mark of human capital is that it is a part of man. It is *human* because it is embodied in man, and *capital* because it is a source of future satisfactions, or of future earnings, or of both» [«Отличительная черта человеческого капитала заключается в том, что он является частью человека. Он *человеческий*, потому что воплощен в человеке, и *капитал*, потому что это источник будущего удовлетворения, или будущего дохода, или обоих»] (фраза повторяется на p. 161 в связи с образованием как формой человеческого капитала).

[34] См.: *Riboud M., Hernandez Iglesias F.* La théorie du capital humain... P. 235: «Если, подобно теории человеческого капитала, выдвигать гипотезу, что производительность индивида отчасти зависит от способностей, полученных при рождении, а отчасти (что важнее) от способностей, приобретенных путем вложений, уровень его заработной платы в каждый период его жизни будет меняться в прямой зависимости от суммы человеческого капитала, которым он располагает на данный момент».

[35] По этому вопросу см. 6-ю часть книги Беккера «The Economic Approach...», p. 169—250: «Marriage, fertility, and the family»; *Schultz T. W.* New economic approach to fertility // Journal of Political Economy. 1973. Vol. 81 (2). Part II; *Leibowitz A.* Home investments in children // Journal of Political Economy. 1974. Vol. 82 (2). Part II. См.: *Riboud M., Hernandez Iglesias F.* Art. cit. P. 240—241 (о выборе между «количеством» и «качеством» детей в зависимости от человеческого капитала, который хотят передать им их родители); *Lepage H.* Demain le capitalisme. P. 344 («Экономическая теория демографии»).

[36] См.: *Lepage H.* Ibid. P. 337—343: «Инвестирование в "человеческий капитал" и отход от заработной платы».

[37] См. перечень инвестиционных форм, приводимый Т. В. Шульцем в «Investment in Human Capital», p. 8: «[...] During the past decade, there have been important advances in economic thinking with respect to human capital. This set of investments is classified as follows: schooling and higher education, on-the-job training, migration, health, and economic information» [«[...] На протяжении прошлого десятилетия в экономической мысли в отношении человеческого капитала имели место значительные достижения. Этот набор инвестиций классифицируется следующим образом: школьное и высшее образование, обучение на рабочем месте, служба миграции, здравоохранение и экономическое информирование»].

[38] По этому поводу см. перечень трудов, приводимый Т. В. Шульцем: ibid. P. 191.

[39] См. лекцию 14 февраля 1979 г., с. 203—204 наст. изд., примеч. 59.

[40] См.: *Luxemburg R.* (1871—1919) Die Akkumulation des Kapitals. Ein Beitrag zur ökonomischen Erklärung des Imperialismus. Berlin: B. Singer, 1913 (L'Accumulation du capital. Contribution à l'explication économique de l'imp?rialisme. I / Trad. M. Ollivier. Paris: Librairie du travail, 1935 nouvelle trad. de I. Petit. Paris: F. Maspero, 1967. 2 vol.; *Люксембург Р.* Накопление капитала. Т. 1—2 / Пер. под ред. Ш. Дволаицкого. М.; Л.: Соцэкгиз, 1934).

[41] Двигатель развития (в противоположность «оборачиваемости»), инновация, по Шумпетеру, не сводится к простому прогрессу в техническом знании. Можно выделить пять категорий инновации: (1) изготовление нового товара; (2) введение нового метода производства; (3) открытие нового рынка сбыта; (4) освоение нового источника сырья; (5) введение нового способа организации производства. См.: *Schumpeter J.* La Théorie de l'évolution économique / Trad. citée [с. 203—204 наст. изд., примеч. 59], rééd. 1999, ch. II, II, p. 95. Давайте вспомним, что концентрация капитала ведет к бюрократизации инновации, лишая таким образом предприятие сущностного обоснования и тем самым ставя под сомнение само выживание капитализма (см. лекцию 21 февраля 1979 г., с. 226—227 наст. изд.).

[42] Об ограниченности традиционной трехчастной классификации — земля, труд и капитал — (land, labor and capital) — и ее неспособности объяснить «тайну современного изобилия» см.: Schultz Investment in Human Capital. P. 2—4.

Лекция 21 марта 1979 г.

Американский неолиберализм (II). — Применение экономической сетки к социальным явлениям. — Возвращение к ордолиберальной проблематике: двусмысленности Gesellschaftspolitik. *Распространение формы «предприятия» на социальное поле. Экономическая политика и* Vitalpolitik: *общество за рынок и против рынка. — Неограниченное распространение экономической формы рынка в американском неолиберализме: принцип понятности индивидуального поведения и принцип критики правительственных вмешательств. — Аспекты американского неолиберализма: (2) преступность и уголовная политика. — Историческая справка: проблема реформы уголовного права в конце XVIII в. Экономический расчет и принцип законности. Подмена закона нормой в XIX в. и рождение криминальной антропологии. — Неолиберальный анализ: (1) определение преступления; (2) характеристика преступного субъекта как* homo œconomicus; *(3) статус наказания как инструмента «утверждения» закона. Пример с рынком наркотиков. — Следствия этого анализа: (a) антропологическое стирание преступника; (b) положение вне игры дисциплинарной модели.*

Сегодня я хотел бы немного поговорить об одном аспекте американского неолиберализма, а именно о том, как [американские неолибералы]* пытаются использовать рыночную экономику и ее характерные исследования для

---

* М. Ф.: они.

дешифровки не-рыночных отношений, для дешифровки феноменов, которые являются феноменами не строго и сугубо экономическими, но тем, что называют феноменами социальными.* То есть, другими словами, применение экономической сетки к полю, которое, по сути, с XIX и уже с конца XVIII в. определялось в противоположность экономике или, во всяком случае, как дополнение к экономике, как то, что в своих структурах и процессах не зависит от экономики, даже если сама экономика располагается внутри этой области. Иначе говоря, в такого рода анализе, как мне кажется, присутствует проблема инверсии отношений социального и экономического.

Давайте вернемся к тематике немецкого либерализма, или ордолиберализма. Как вы помните, в этой концепции — концепции Эйкена, Рёпке, Мюллер-Армака и др. — рынок определялся как принцип экономического регулирования, необходимого для формирования цен и, следовательно, для соответствующего развертывания экономического процесса. Каковы задачи правительства в отношении этого принципа рынка как необходимой для экономики регулирующей функции? Они состоят в том, чтобы организовывать общество, проводить то, что они называют *Gesellschaftspolitik*, позволяющую играть во всей полноте и согласно присущей им структуре гибким механизмам рынка, этим гибким конкурентным механизмам.[1] *Gesellschaftspolitik* — это *Gesellschaftspolitik*, ориентированная на конституцию рынка. Эта политика должна была позаботиться и об учете социальных процессов, предоставив место внутри этих социальных процессов рыночному механизму. Но в чем заключалась эта политика общества, эта *Gesellschaftspolitik*, которая должна была конституировать пространство рынка, где, несмотря на свою внутреннюю неустойчивость, могли бы действовать конкурентные механизмы? В определенных целях, о которых я вам говорил, к примеру, в избегании централизации, благоприятствовании средним предприятиям, поддержании того, что они называют не-пролетаризованными предприятиями, то есть вообще ремесленничеству, розничной торговле и т. п., умножении числа собственников, попытке заменить социальную

защиту от риска индивидуальной поддержкой, регулировании многочисленных проблем среды.

Эта *Gesellschaftspolitik*, очевидно, несет в себе определенные двусмысленности и ставит определенные вопросы. Например, вопрос о ее чисто оптативном, «поверхностном» характере в отношении сложных процессов, иначе говоря, реальности экономики. Так же как и тот факт, что она предполагает вмешательство, давление, напряженность, чрезвычайно много вмешательств, по поводу которых можно задаться вопросом, действительно ли они отвечают принципу, согласно которому они должны ыть не вмешательствами в экономические процессы, но вмешательствами ради экономического процесса. В конце концов здесь целый ряд вопросов и двусмысленностей, но я хотел бы подчеркнуть следующее: дело в том, что в идее *Gesellschaftspolitik* присутствует то, что я назвал бы экономико-этической двусмысленностью, связанной с самим понятием предприятия, ведь что значит заниматься *Gesellschaftspolitik* в понимании Рёпке, Рюстова, Мюллер-Армака и т. п.? Это значит, с одной стороны, фактически распространить форму «предприятия» на социальное тело или сеть; это значит переосмыслить социальную сеть и сделать так, чтобы она могла распределиться, раздробиться, разделиться не на гранулы индивидов, но на гранулы предприятий. Нужно, чтобы жизнь индивида описывалась не как индивидуальная жизнь в рамках крупного предприятия, такого как фирма или, в пределе, государство, но [чтобы она] могла описываться в рамках множества отдельных, вписанных одно в другое и переплетающихся предприятий, которые, так сказать, досягаемы для индивида, будучи достаточно ограниченны в размере, чтобы деятельность индивида, его решения, его выборы могли иметь значимые и ощутимые результаты, а также достаточно многочисленны для того, [чтобы он] не зависел от одного из них, и наконец, нужно, чтобы сама жизнь индивида (например, в его отношении к своей частной собственности, к семье, к своему домашнему хозяйству к своей обеспеченности, к своей пенсии) сделала его чем-то вроде постоянного и разностороннего предприятия. Таким образом, этот аспект *Gesellschaftspolitik* немецких ордолибералов состоит в реформировании общества по модели предприятия, предприятий как его мельчайших частиц.[2]

Итак, какова функция распространения формы «предприятия»?* С одной стороны, конечно, речь идет о распространении экономической модели, модели спроса и предложения, модели инвестиции-затрат-прибыли, из которой выводится модель социальных отношений, модель самого существования, форма отношения индивида к самому себе, ко времени, к своему окружению, к потомству, к группе, к семье. Мультипликация экономической модели, это верно. А с другой стороны, ордолиберальная идея сделать из предприятия повсеместно распространяемую социальную модель в их анализе или планировании опирается на то, что они обозначают как реконституцию целого ряда нравственных и культурных ценностей, которые можно было бы назвать «горячими»** ценностями, представляющимися антитезой «холодному»*** механизму конкуренции. Поскольку в этой схеме предприятия речь идет о том, чтобы сделать так, чтобы, если использовать бывший в моде у неолибералов классический словарь, индивид больше не отчуждался от своей рабочей среды и от своей жизни, от своего домашнего хозяйства, от своей семьи, от своей естественной среды. Речь идет о том, чтобы реконституировать вокруг индивида конкретные опорные точки, что Рюстов называл *Vitalpolitik*.[3] Таким образом, возврат к предприятию — это одновременно экономическая политика и политика экономизации социального поля в целом, поворот всего социального поля к экономике, но в то же самое время политика, представляющаяся как *Vitalpolitik*, функция которой — компенсировать все, что есть застывшего, бесстрастного, калькулятивного, рационального, механического в присущей экономике игре конкуренции.

Таким образом, общество предприятия, о котором мечтают ордолибералы, — это общество для рынка и общество против рынка, общество, ориентированное на рынок, и общество, в котором компенсируются провоцируемые рынком воздействия на ценности и существование. Именно об этом Рюстов говорил на коллоквиуме Уолтера Липмана, о котором у нас некоторое

---

* Кавычки в рукописи.
** Кавычки в рукописи.
*** Кавычки в рукописи.

время назад уже шла речь:[4] «Экономия социального тела, организованная по правилам рыночной экономики, — вот что нам нужно, но тем не менее надо еще удовлетворить новые и возрастающие потребности в интеграции».[5] Вот что такое *Vitalpolitik*. Рёпке немного позже говорил: «Конкуренция есть принцип порядка в области рыночной экономики, но не тот принцип, на котором можно было бы воздвигнуть общество в целом. В моральном и социологическом отношениях конкуренция -- это принцип скорее разлагающий, чем объединяющий». Таким образом, нужно проводить такую политику, чтобы конкуренция могла действовать экономично, организовав «политические и нравственные рамки», говорит Рёпке,[6] а что включают политические и моральные рамки? Во-первых, государство, которое было бы способно возвыситься над различными конкурирующими друг с другом группами и предприятиями. Нужно, чтобы политические и нравственные рамки обеспечили «нерушимое сообщество», и наконец, чтобы они гарантировали кооперацию между «естественно скрепленными и социально интегрированными» людьми.[7]

По сравнению с этой двусмысленностью немецкого ордолиберализма американский неолиберализм представляется очевидно более радикальным, более строгим, более полным и исчерпывающим. В американском неолиберализме речь неизменно идет о том, чтобы распространить экономическую форму рынка. Речь идет о том, чтобы распространить ее на общество в целом, на всю социальную систему, которая обычно не сводится к монетарным обменам или не санкционируется ими. Это, так сказать, абсолютное, неограниченное распространение формы рынка, влекущее за собой некоторые последствия и включающее некоторые аспекты, два из которых я хотел бы выделить.

Во-первых, распространение экономической формы рынка по ту сторону монетарных обменов в американском неолиберализме функционирует как принцип интеллигибельности, принцип дешифровки социальных отношений и индивидуального поведения. То есть анализ в терминах рыночной экономики, иначе говоря, в терминах предложения и спроса, служит схемой, которая может прилагаться к не-экономическим областям. Благодаря этой аналитической схеме, этой сетке интел-

лигибельности, можно выявить в не-экономических процессах, отношениях, поведении определенные интеллигибельные отношения, которые таковыми не являются — что-то вроде экономистского анализа не-экономического. Это и проделывают [неолибералы]* с некоторыми областями. В прошлый раз я упоминал кое-какие из этих проблем в связи с инвестированием человеческого капитала. В анализе, которому они подвергают человеческий капитал, неолибералы, как вы помните, пытаются объяснить, например, отношение «мать—ребенок» через конкретную характеристику временем, которое мать проводит со своим ребенком, заботами, которыми она его окружает, привязанностью, которую она к нему питает, бдительностью, с которой она следит за его развитием, его воспитанием, его не только школьными, но и физическими достижениями, не только тем, как она кормит его, но стилем кормления и питательной связью, которую она устанавливает с ним, — все это, согласно неолибералам, составляет инвестирование, измеряемое временем, но что конституирует это инвестирование? Человеческий капитал ребенка, тот капитал, что производит прибыль.[8] Что это за прибыль? Заработная плата ребенка, которую он будет получать, когда станет взрослым. А какова прибыль матери, которая его инвестировала? А это, говорят неолибералы, психологическая прибыль. Когда мать окружает ребенка заботами и видит, что заботы возымели успех, она получит удовлетворение. Таким образом, все те отношения между матерью и ребенком, которые можно назвать формативными или воспитательными в самом широком смысле, можно проанализировать в терминах инвестиции, стоимости капитала, выгоды от вложенного капитала, экономической и психологической выгоды.

Точно так же, изучая проблему рождаемости, приходят к выводу, что мальтузианство в большей степени касается богатых семей, чем семей бедных, или более богатых семей, чем семей более бедных, — то есть чем выше доходы, тем менее многочисленны семьи, это старый закон, известный всему миру, — неолибералы, пытаясь его пересмотреть и проанализировать, говорят: в конце концов это парадоксально, поскольку в строго мальтузианских терминах большее количество доходов долж-

---

* М. Ф.: то, что они проделывают.

но сделать возможным увеличение количества детей. На это они [отвечают]: но в самом деле, обязаны ли мы мальтузианским поведением богатых людей, этим экономическим парадоксом, не-экономическим факторам морального, этического порядка? Отнюдь. Здесь всегда и неизменно играют роль экономические факторы, поскольку люди с высокими доходами — это люди, располагающие значительным человеческим капиталом, что и доказывает значительность их доходов. И проблема для них в том, чтобы передать детям не столько наследство в классическом смысле этого термина, сколько другой элемент, который также связывает одно поколение с другим, но совсем иначе, нежели традиционное наследование, — передача человеческого капитала. Передача и формирование человеческого капитала, предполагающие, следовательно, уделяемое родителями время, заботы о воспитании и т. п. В богатой семье, то есть в семье с высокими доходами, в семье, составляемой элементами со значительным человеческим капиталом, непосредственным и рациональным проектом оказывается передача по меньшей мере столь же значительного человеческого капитала детям, что предполагает целую серию инвестиций: финансовые, а также временные инвестиции со стороны родителей. Так вот, эти инвестиции невозможны, если семья многочисленна. Так что согласно американским неолибералам более ограниченный характер богатых семей по сравнению с бедными объясняется необходимостью передачи детям человеческого капитала, по меньшей мере равного [тому], которым располагали родители.

До настоящего времени этот проект исследования типов отношений в экономических терминах больше зависел от демографии, социологии, психологии, социальной психологии, неолибералы всегда именно в этой перспективе пытались анализировать, к примеру, феномены брака и семьи, то есть сугубо экономическую рационализацию, создаваемую браком в сосуществовании индивидов. В нашем распоряжении есть несколько работ и выступлений канадского экономиста, которого зовут Жан-Люк Мигу[9] и который написал текст, заслуживающий того, чтобы его прочитать.[10] Я не буду углубляться в его анализ, но говорит он следующее: «Один из последних крупных вкладов экономического анализа [он ссылается на

исследования неолибералов. — *М. Ф.*] — это интегральное приложение к домашнему сектору аналитических рамок, традиционно предназначавшихся для фирмы и потребителя. [...] Речь идет о том, чтобы сделать супружество такой же производственной единицей, как классическая фирма. [...] Ведь в самом деле, что такое супружество, или контрактное обязательство двух сторон, осуществляющих специфические *вложения* (*inputs*) и в равных пропорциях делящих выгоды от супружества?» В чем смысл долгосрочного контракта, заключаемого между людьми, живущими в супружестве с его матримониальной формой? Что служит его экономическим оправданием, на чем оно основано? Так вот, этот долгосрочный контракт между супругами позволяет избежать ежечасного и непрестанного заключения бесчисленных контрактов, которые были бы необходимы для того, чтобы заставить функционировать домашнюю жизнь.[11] Передай мне соль, я подам тебе перец. Такого рода соглашения определяются, так сказать, долгосрочным контрактом, каковой есть сам брачный контракт, позволяющий осуществлять то, что неолибералы называют (впрочем, я полагаю, не только они называют это так) экономией на уровне затрат на сделки. Если бы приходилось заключать сделку ради каждого такого жеста, расходы времени, а значит, их экономическая стоимость, оказались бы для индивидов совершено неподъемными. Все это разрешается брачным контрактом.

Это может показаться нелепым, но те из вас, кто знаком с текстом, составленным перед смертью Пьером Ривьером, где он описывает, как жили его родители,[12] должно быть, заметили, что матримониальная жизнь крестьянской пары начала XIX в. постоянно ткалась и сплеталась из целой серии сделок. Я вспашу твое поле, говорит мужчина женщине, но при условии, что смогу заняться с тобой любовью. А женщина говорит: ты не займешься со мной любовью, пока не покормишь моих кур. Мы видим, как в таком процессе возникает что-то вроде постоянной сделки, по отношению к которой брачный контракт должен составить форму всеобщей экономии, позволяющей не заключать договоры заново в каждом случае. В определенном смысле отношения между отцом и матерью, между мужчиной и женщиной были не чем иным, как ежедневным

развертыванием такого рода контрактуализации коммунальной жизни, а все конфликты при этом были не чем иным, как актуализацией контракта; но в то же время контракт не играл никакой роли: фактически он не был [способен]* выступать экономией сделки, которую он должен был обеспечивать. Короче говоря, в этих исследованиях неолиберальных экономистов перед нами предстает попытка дешифровки в экономических терминах традиционно не-экономического социального поведения.

Другое любопытное применение исследований неолибералов заключается в том, что экономическая сетка должна сделать возможным, должна позволить протестировать правительственную деятельность, измерить ее валидность, позволить упрекнуть деятельность публичной власти в злоупотреблениях, излишестве, бесполезности, чрезмерных тратах. Короче, речь идет о приложении экономистской сетки к пониманию социальных процессов и возвращении им интеллигибельности; речь о том, чтобы найти привязку и оправдать постоянную политическую критику политической деятельности и деятельности правительственной. Речь о том, чтобы пропустить всю деятельность публичной власти через термины игры предложения и спроса, через термины эффективности реалий этой игры, через термины стоимости, предполагаемой вмешательством публичной власти в рыночное пространство. В итоге речь идет о том, чтобы создать по отношению к эффективно осуществляемому руководству критику, которая была бы не просто политической или юридической критикой. Деятельности публичной власти противостоит рыночная критика, цинизм рыночной критики. Это не просто витающий в воздухе проект или идея теоретика. В США постоянное осуществление такого рода критики развивалось главным образом в учреждении, для этого не предназначенном, но, впрочем, появившемся прежде неолиберальной школы, прежде Чикагской школы. Это учреждение, которое называется «American Enterprise Institute»[13] и которое сегодня имеет своей основной функцией измерять в терминах стоимости и прибыли всю общественную деятельность, причем речь идет о тех

---

* М. Ф.: избегал.

грандиозных социальных программах, касавшихся, например, образования, здравоохранения, расовой сегрегации, которые на протяжении десятилетия, с [19]60 по 1970 г., осуществляли администрации Кеннеди и Джонсона. В такого рода критике речь идет и о том, чтобы оценить деятельность многочисленных федеральных агентств, возникших со времен *New Deal*, а главным образом — с окончания Второй мировой войны, таких, например, как администрация питания и здравоохранения,* «Federal Trade Commission» и т. п.[14] Таким образом, критиковать в той форме, которую можно было бы назвать «экономическим позитивизмом», постоянно критиковать правительственную политику.

Видя, как осуществляется такого рода критика, нельзя не подумать об аналогии, которую я так аналогией и оставлю: позитивистская критика повседневного языка. Обратившись к тому, как американцы использовали логику, логический позитивизм Венской школы, применив его к дискурсу, который был, впрочем, дискурсом научным, философским и повседневным, вы увидите здесь также своего рода фильтрацию всякого высказывания, каким бы оно ни было, через термины противоречия, недостаточного основания, бессмыслицы.[15] В определенном смысле можно сказать, что экономистская критика, которую неолибералы пытаются обратить на правительственную политику, точно так же фильтрует любое действие публичной власти в терминах противоречия, недостаточного основания, бессмыслицы. Общая рыночная форма оказывается инструментом, орудием дискриминации в дебатах с администрацией. Иначе говоря, в классическом либерализме от правительства требовали соблюдать рыночную форму и *laisser faire*. Теперь *laissez-faire* поворачивают против не-*laisser-faire* правительства от имени закона рынка, который должен позволить измерить и оценить всякую его деятельность. *Laissez-faire* поворачивают так, что рынок больше не является принципом самоограничения правительства; это принцип, оборачивающийся против него. Это что-то вроде постоянно действующего экономического трибунала над правительством. В то время как XIX в. пытался уста-

---

* Рукопись: «Food and Health Administration».

новить, вопреки и против чрезмерности правительственной деятельности, что-то вроде административной юрисдикции, позволяющей оценить деятельность публичной власти в правовых терминах, перед нами своего рода экономический трибунал, претендующий оценивать деятельность правительства строго в терминах рыночной экономии.

Эти два аспекта — анализ не-экономического поведения через сетку экономистской интеллигибельности, критика и оценка деятельности публичной власти в терминах рынка — эти две черты обнаруживаются в анализе, который некоторые неолибералы предпринимают в отношении преступности и функционирования уголовного правосудия, и в качестве примера такого применения (о котором я только что упомянул) экономического анализа я хотел бы теперь поговорить о том, как пересматривается проблема преступности в ряде статей Эрлиха,[16] Стиглера[17] и Гэри Беккера.[18] Предпринимаемый ими анализ преступности изначально выступает как по возможности простое возвращение к реформаторам XVIII в., к Беккариа[19] и особенно к Бентаму.[20] И действительно, пересматривая проблему правовой реформы конца XVIII в., мы обнаруживаем, что вопрос, поставленный реформаторами, был поистине вопросом политической экономии в том отношении, что речь шла об экономическом анализе или во всяком случае о рефлексии, о политике или об осуществлении власти в экономическом стиле. Речь шла о том, чтобы экономически просчитать или во всяком случае критиковать от имени логики и экономической рациональности функционирование уголовного правосудия, такого, каким его можно было констатировать и наблюдать в XVIII в. Поэтому в некоторых текстах (у Бентама, конечно, более четких, чем у Беккариа, и вполне прозрачных у таких людей, как Колкухоун)[21] появились схематичные рассуждения, толкующие о стоимости преступности: во что это обойдется стране или во всяком случае городу, если воры будут поступать как хотят; кроме того, проблема стоимости самой судебной практики и судебной институции, такой, как она функционирует; критика малой эффективности системы наказания: тот факт, например, что казнь или ссылка не имеют сколько-нибудь ощутимого влияния на снижение цены преступности (насколько ее могли оценить в ту эпоху); и наконец,

была экономическая сетка, служившая основанием для критики реформаторов XVIII в. Я об этом уже говорил,[22] так что не стану к этому возвращаться.

Пропуская всю уголовную практику через расчет полезности, реформаторы стремились к уголовной системе, стоимость которой в том смысле, о котором я только что упомянул, была бы как можно меньшей. И, мне кажется, можно сказать: в чем заключалось решение, намеченное Беккариа, поддержанное Бентамом, избранное в конце концов законодателями и систематизаторами конца XVIII и начала XIX в.? Так вот, это было легалистское решение. Эта великая озабоченность законом, этот постоянно повторяемый принцип, согласно которому для хорошего функционирования уголовной системы нужно и в пределе почти достаточно хорошего закона, были не чем иным, как своего рода желанием достичь того, что в экономических терминах можно было бы назвать снижением стоимости сделки. Закон — это наиболее экономичное решение того, как наказывать людей, чтобы это наказание было эффективным. Во-первых, следует определить преступление как нарушение сформулированного закона; таким образом, пока нет закона, нет преступления и невозможно инкриминировать действие. Во-вторых, наказания должны быть зафиксированы, и зафиксированы раз и навсегда, законом. В-третьих, эти наказания должны быть зафиксированы в самом законе согласно градации, вытекающей из тяжести самого преступления. В-четвертых, уголовный суд отныне должен применять к преступлению, каким оно было установлено и доказано, закон, заранее определяющий, каким будет наказание, которому преступник должен подвергнуться в зависимости от тяжести своего преступления.[23] Совсем простая механика, представляющаяся очевидной механика, составляющая наиболее экономичную, то есть наименее дорогостоящую и наиболее надежную форму применения наказания и исключения тех, кто считается вредным для общества. Закон, механизм закона был принят, как мне представляется, в конце XVIII в. в качестве принципа экономии, одновременно в широком и узком смысле слова «экономия», уголовной власти. *Homo penalis*, человек наказуемый законом и могущий быть наказанным законом, этот *homo penalis* в строгом смысле есть *homo œconomicus*.

И только закон позволяет соединить проблему наказания с проблемой экономии.

На деле оказалось, что в XIX в. эта экономия привела к парадоксальному результату. Каков принцип этого парадоксального результата, какова его причина? Это двусмысленность, которой обязаны тем фактом, что закон как закон, как общая форма уголовной экономии был очевидно индексирован противоправными действиями. Конечно, закон не санкционирует такие действия. Но, с другой стороны, принципы существования уголовного права, иначе говоря, необходимость наказывать, градация наказания, эффективное применение уголовного закона имеют смысл только в той мере, в какой они не наказывают действия — поскольку нет никакого смысла наказывать действия, — они имеют смысл, только если наказывают индивида, преступного индивида, причем речь идет о том, чтобы наказывать, исправлять давать пример другим возможным правонарушителям. Так что в этом расхождении между формой закона, определяющей отношение к действию, и эффективным применением закона, которое может быть нацелено только на индивида, в этом расхождении между преступлением и преступником обозначилась внутренняя линия соскальзывания всей системы. Внутренняя линия соскальзывания всей системы к чему? Ко все более и более индивидуалистической модуляции применения закона, а следовательно, обратным образом, к психологической, социологической, антропологической проблематизации того, к чему применяется закон. То есть на протяжении XIX в. *homo penalis* перерастает в то, что можно было бы назвать *homo criminalis*. Так что криминология конституируется в конце XIX в., века, наступившего после предложенной Беккариа и схематизированной Бентамом реформы, в следующем веке конституируется *homo criminalis* как результат двусмысленности, а *homo legalis*, *homo penalis* пропускается через целую антропологию преступления, заменяющую весьма суровую и весьма экономичную механику закона, через целую инфляцию: инфляцию знания, инфляцию сознания, инфляцию дискурса, умножение инстанций, институций, элементов решения и индивидуального использования приговоров от имени закона в терминах нормы. Так что экономический принцип отсылки к закону и присущей закону механике, эта строгая

экономия, привела к инфляции, из которой уголовная система не может выбраться с конца XIX в. Так, во всяком случае, я смотрел бы на вещи, придерживайся я того, что могли бы сказать об этой эволюции неолибералы.

Этот анализ неолибералов, не занимающихся проблемами истории, анализ таких неолибералов, как Гэри Беккер (в статье, называвшейся «Преступление и наказание» и вышедшей в «Journal of Political Economy» в 1968 г.),[24] состоит в том, чтобы по сути пересмотреть тот утилитарный фильтр, которым пользовались Беккариа и Бентам, пытаясь [избежать],* насколько это возможно, той серии соскальзываний, которая вела от *homo œconomicus* к *homo legalis*, к *homo penalis* и наконец к *homo criminalis*: придерживаясь, насколько это возможно благодаря чисто экономическому анализу, *homo œconomicus* и полагая, что преступление можно проанализировать исходя из него; иначе говоря, попытаться нейтрализовать все следствия, происходящие от того обстоятельства, что хотели — таков был случай Беккариа и Бентама — переосмыслить экономические проблемы и придать им форму в юридических рамках, которые были бы им абсолютно адекватны. Другими словами (я не утверждаю, что они так говорят, поскольку [история — не их проблема],** но мне кажется, что эти неолибералы могли бы так сказать), ошибкой, принципом соскальзывания в уголовном праве XVIII в. была идея Беккариа и Бентама о том, что утилитарный расчет мог принять адекватную форму внутри юридической структуры. И в сущности, такова была одна из целей, одна из грез всей политической критики и всех проектов конца XVIII в. о том, что полезность примет форму права, а право будет строиться, целиком исходя из расчета полезности. История уголовного права показала, что эта адекватность недостижима. Таким образом, нужно сохранить проблему *homo œconomicus*, не стремясь непосредственно перевести эту проблематику в термины и формы юридической структуры.

Итак, что они делают, чтобы проанализировать или утвердить анализ проблемы преступления изнутри экономической

---

* Конъектура: слово пропущено.

** Дальше идут несколько неразборчивых слов.

проблематики? Во-первых, дают определение преступлению. Беккер в статье «Преступление и кара» [sic] дает преступлению такое определение: я называю преступлением любое действие, которое подвергает индивида риску быть осужденным на наказание[25] [*Смех*]. Я удивлен тем, что вы смеетесь, потому что, так или иначе, это достаточно близко к определению из французского уголовного кодекса, а следовательно все вдохновляющиеся им кодексы также определяют преступление, ведь, как известно, уголовный кодекс определяет правонарушение следующим образом: правонарушение — это то, что наказуется исправительными наказаниями. Что такое преступление? — говорит уголовный кодекс, наш уголовный кодекс. Это то, что карается телесными и бесчестящими наказаниями.[26] Иначе говоря, уголовный кодекс не дает никакого сущностного, качественного, морального определения преступления. Преступление — это то, что карается законом, и точка. Так что, как видите, определение неолибералов очень близко: это то, что подвергает индивида риску быть осужденным на наказание. Это очень близко, но между тем существует отличие, отличие точки зрения, поскольку кодекс, избегая давать сущностное определение преступления, смотрит на дело с точки зрения действия и задается вопросом, что это за действие, как в конце концов охарактеризовать действие, которое можно назвать преступным, то есть то, которое наказуется как преступление. Это точка зрения действия, это, так сказать, операциональная характеристика, используемая судьей. Вы должны считать преступлением всякое действие, которое карается законом. Объективное, операциональное определение, даваемое с точки зрения судьи. Когда неолибералы говорят: преступление — это всякое действие, подвергающее индивида риску быть осужденным на наказание, определение, как видите, то же самое, просто меняется точка зрения. Мы принимаем точку зрения того, кто совершает преступление, или того, кто собирается совершить преступление, сохраняя само содержание определения. Мы ставим вопрос: что такое преступление для субъекта действия, поведения или поступка? Это причина того, что он рискует подвергнуться наказанию.

Как видите, это смещение точки зрения, в сущности, того же типа, что и произведенное в отношении человеческого ка-

питала и труда. В прошлый раз я пытался показать вам, как неолибералы, пересматривающие проблему труда, пытались больше не мыслить экономический процесс с точки зрения капитала или механики, но принять точку зрения того, кто принимает решение трудиться. Таким образом, они подходят со стороны индивидуального субъекта, но, подходя со стороны индивидуального субъекта, не привлекают ни психологического знания, ни антропологического содержания, так же как, говоря о труде с точки зрения трудящегося, не занимались антропологией труда. Подходят со стороны самого субъекта в той мере (впрочем, к этому мы еще вернемся, потому что это очень важно (пока я говорю очень схематично)), в какой можно принять за сторону, аспект, разновидность интеллигибельной сетки его поведение, которое есть поведение экономическое. Берут субъекта лишь в качестве *homo œconomicus*, что вовсе не означает, будто субъекта в целом рассматривают как *homo œconomicus*. Другими словами, рассмотрение субъекта как *homo œconomicus* не предполагает антропологической ассимиляции экономическим поведением всякого поведения, каким бы оно ни было. Это значит лишь, что такова сетка интеллигибельности, которую собираются наложить на поведение нового индивида. То есть то, посредством чего индивид станет руководимым,* то, посредством чего им можно овладеть, в той и только в той мере, в какой он есть *homo œconomicus*. Поверхностью соприкосновения между индивидом и осуществляемой над ним властью, а следовательно принципом регулирования власти над индивидом может быть только такого рода сетка *homo œconomicus*. *Homo œconomicus* — это интерфейс правительства и индивида. И это вовсе не означает, что всякий индивид, всякий субъект — это человек экономический.

Подход со стороны индивидуального субъекта, рассматриваемого как *homo œconomicus*, имеет своим следствием то, что, если преступление определяется как действие, которое индивид совершает, рискуя быть наказанным законом, нет никакой разницы между нарушением правил дорожного движения и

---

* М. Фуко делает ударение на этом слове, добавляя: или правительство... ну, в общем, руководимым.

предумышленным убийством. Это означает также, что преступник в этой перспективе никоим образом не отмечен и не окрашен моральными или антропологическими чертами. Преступник — это совершенно кто угодно. Преступник — это любой; в конце концов, он трактуется как любое лицо, инвестированное в действие, от которого оно ожидает выгоды, и рискующее убытком. С этой точки зрения, преступник — не что иное и должен оставаться не чем иным, как этим. В силу этого, как видите, уголовная система больше не должна заниматься раздвоенной реальностью преступления и преступника. Это поведение, это серия поведений, производящих такие действия, от которых деятели ожидают выгоды, будучи подвержены некоторому риску, не просто риску экономического убытка, но уголовному риску, или риску экономического убытка, налагаемого уголовной системой. Таким образом, сама уголовная система имеет дело не с преступниками, но с людьми, производящими такого рода действия. Другими словами, она должна реагировать на предложение преступления.

Итак, чем же будет наказание при этих условиях? Наказание (я отсылаю к определению Беккера) есть средство, используемое для ограничения негативных внешних факторов[27] определенных действий.[28] Во времена Беккариа и Бентама, во всей этой проблематике XVIII в., наказание оправдывалось тем, что действие, за которое наказывали, было вредным, и что именно для этого существует закон. Тот же принцип полезности должен был определять меру наказания. Нужно было наказать так, чтобы вредные результаты действия могли быть или устранены, или предупреждены. Таким образом, все это близко проблематике XVIII в., но также с существенным изменением. В то время как классическая теория пыталась просто соединить друг с другом различные разнородные результаты, ожидаемые от наказания, то есть проблему репарации, каковая есть проблема гражданская, проблему превенции по отношению к другим индивидам и т. п., неолибералы намереваются произвести артикуляцию, дезартикуляцию, отличную от наказания. Они различают два момента, по сути, они только и делают, что пересматривают центральную для англо-саксонской юридической мысли или рефлексии проблематику. Они говорят: с одной стороны, существует закон, но что такое закон? Закон —

это не что иное, как запрет, а формулировка запрета — это, с одной стороны, конечно, реальность, институциональная реальность. Если хотите, можно было бы сказать, ссылаясь на другую проблематику: это *speech act*, имеющий определенные следствия.[29] Этот акт, впрочем, имеет определенную ценность сам по себе, поскольку формулировка закона предполагает и парламент, и обсуждение, и принимаемые решения. Это и в самом деле реальность, но реальность не единственная. А кроме того, с другой стороны, существуют инструменты, посредством которых этому запрету придается реальная «сила».* Эта идея силы закона, как вы знаете, часто передается словом *enforcement*, которое обычно переводят как «упрочение» (renforcement) закона. Это неправильно. *Enforcement of law* — это нечто большее, чем применение закона, поскольку речь идет о целой серии реальных инструментов, которые нужно применять, чтобы осуществлять закон. Но это не упрочение закона, это нечто меньшее, чем упрочение закона, поскольку упрочение означало бы, что он слишком слаб и что нужно сделать небольшое дополнение или сделать его строже. *Enforcement of law* — это совокупность инструментов, используемых для того, чтобы придать этому акту запрещения, в котором и заключается формулировка закона, социальную реальность, политическую реальность и т. п.

Каковы эти инструменты «утверждения» (enforcement) закона (простите за неологизм этой транскрипции)? Так вот, это количество наказания, предусмотренное за каждое преступление. Это значимость, деятельность, усердие, компетенция аппарата, призванного раскрывать преступления. Это значимость, качество аппарата, призванного изобличать преступников и давать действенные доказательства того, что они совершили преступление. Это бóльшая или меньшая быстрота судей при вынесении приговора, бóльшая или меньшая строгость судей в пределах, допускаемых законом. Кроме того, это бóльшая или меньшая эффективность наказания, бóльшая или меньшая неизменность применяемого наказания, которое пенитенциарная администрация может изменять, смягчать, а по необходимости усиливать. Весь этот ансамбль и создает утвер-

---

* Кавычки в рукописи.

ждение закона, а следовательно, всего того, что отвечает на предложение преступления как поведения, о чем я вам уже говорил, тем, что называется отрицательным спросом. Утверждение закона — это совокупность действенных инструментов на рынке преступления, противопоставляющая предложению преступления отрицательный спрос. Это утверждение закона, конечно же, не является ни нейтральным, ни бесконечно растяжимым по двум коррелятивным причинам.

Первая, конечно же, заключается в том, что предложение преступления не является бесконечно и единообразно растяжимым, то есть не отвечает одинаковым образом на все формы и уровни отрицательного спроса, который ему противостоит. Можно выразиться еще проще: перед вами определенные формы преступления или некоторые классы преступного поведения, которые очень легко поддаются изменению или запросто интенсифицируются отрицательным спросом. Возьмем самый обычный пример: большой магазин самообслуживания, в котором 20 % оборота (я говорю совершенно произвольно) теряется за счет краж. Легко можно без значительных расходов на наблюдение или прибегания в крайних случаях к закону снизить этот показатель до 10 % и не более. Между 5 [%] и 10 % это еще относительно легко. Труднее снизить до 5 %, еще труднее до 2-х и т. п. Точно так же можно быть уверенным, что существует целый класс убийств из ревности, который можно отчасти устранить, облегчив разводы. Но кроме того, есть группа преступлений из ревности, которую не изменит сверхтерпимость на уровне законов о разводе. Таким образом, гибкость, то есть модификация предложения по отношению к эффектам отрицательного спроса, не однородна в отношении различных классов или типов рассматриваемых действий.

Во-вторых (и этот другой аспект тесно связан с первым), «утверждение» само по себе имеет стоимость и негативные внешние факторы. Оно имеет стоимость, то есть требует альтернативной оплаты. Все то, что вы инвестируете в аппарат утверждения закона, вы не сможете использовать иначе. Альтернативная плата — это то, что само собой разумеется. А она имеет стоимость, то есть включает политические, социальные и т. п. неудобства. Таким образом, цель или ми-

шень уголовной политики не та же, что преследовали все реформаторы XVIII в., создавая свою систему универсальной законности, а именно полное исчезновение преступления. Уголовный закон и вся уголовная механика, о которой мечтал Бентам, должна была стать такой, чтобы в конечном счете, даже если в реальности это было невозможно, преступление исчезло. И идея Паноптикона, идея прозрачности, взгляда, настигающего каждого индивида, идея достаточно тонкой градации наказаний, чтобы каждый индивид в своих расчетах, в глубине души, в своем экономическом расчете мог сказать себе: нет, ведь если я совершу это преступление, наказание, которому я подвергнусь, слишком значительно, а следовательно я не пойду на это преступление, — такого рода нацеленность на всеобщее уничтожение преступления была принципом рациональности, организационным принципом уголовного расчета в духе реформаторов XVIII в. Здесь же, напротив, уголовная политика должна совершенно отказаться от устранения, от полного уничтожения преступления в качестве цели. Уголовная политика имеет своим регулятивным принципом вмешательство в рынок преступления в том, что касается предложения преступления. Именно вмешательство должно ограничить предложение преступления, а ограничивается оно лишь отрицательным спросом, стоимость которого, понятное дело, никогда не должна превышать стоимость той преступности, предложение которой надо ограничить. Именно так определяет цель уголовной политики Стиглер. «Утверждение закона, — говорит он, — имеет своей целью достижение такой степени соответствия правилу предписываемого поведения, достижение которого общество считает возможным, учитывая, что утверждение имеет свою стоимость». Это из «Journal of Political Economy» за 1970 г.[30] Как видите, в этот момент общество выступает как потребитель соответствующего поведения, то есть согласно неолиберальной теории потребления как производитель соответствующего поведения, удовлетворяющего его посредством определенного инвестирования. Как результат, хорошая уголовная политика никоим образом не стремится к пресечению преступления, она стремится к равновесию между кривыми предложения и отрицательного спроса на пре-

ступление. К тому же общество не нуждается в бесконечной конформности. Общество нисколько не нуждается в том, чтобы повиноваться всеохватной дисциплинарной системе. Общество платит определенную цену за беззаконие, и оно оказалось бы очень дурным, если бы пожелало бесконечно снижать эту цену беззакония. Это значит, что существенный для уголовной политики вопрос заключается не в том, как наказывать за преступления. И даже не в том, какие действия надо считать преступлениями. Но: какое преступление надо терпеть? Или: чего стерпеть нельзя? Таково определение Беккера в «Преступлении и каре». Два вопроса, говорит он: «Сколько преступлений можно допустить? Во-вторых, сколько преступников должны остаться безнаказанными?».[31] Таков вопрос уголовной системы.

Что конкретно это дает? В этом направлении проведено не так уж много исследований. Есть исследование Эрлиха о смертной казни, в котором он делает вывод о том, что в конце концов смертная казнь вполне приемлема.[32] Но оставим это. Такого рода исследование не представляется мне ни особенно интересным, ни особенно эффективным в отношении рассматриваемого объекта. Зато в [других] областях, и особенно там, где преступность рассматривается скорее как феномен рынка, о результатах поговорить куда интереснее. Проблема наркотиков сама по себе, очевидно, являясь феноменом рынка, релевантна экономическому анализу, куда более доступна и куда более близка экономии преступности.[33] Таким образом, наркотики представляются как рынок и, скажем, почти до 1970-х гг. политика ужесточения закона о наркотиках была нацелена главным образом на сокращение предложения наркотиков. Что значит сократить это преступное предложение наркотиков, делинквентность наркотиков? Что значит сократить количество наркотиков, поступающих на рынок? Контролировать и разрушать сеть переработки, а кроме того, контролировать и разрушать сеть распределения. Мы прекрасно знаем, к каким результатам привела политика шестидесятых годов. Чего она добилась, разрушая, конечно же, всегда не до конца (в силу причин, о которых можно спорить, но мы этого делать не станем), частично разрушая сети переработки и распределения? Во-первых, это увеличило рознич-

ную цену наркотиков. Во-вторых, это благоприятствовало и усиливало позиции монополии или олигополии нескольких крупных продавцов, крупных наркодельцов и крупных сетей по переработке и распределению наркотиков, а как результат монополии или олигополии — благоприятствовало росту цен, поскольку они не соблюдали законов рынка и конкуренции. И наконец, в-третьих, еще более важный феномен преступности в узком смысле: потребление наркотиков (по крайней мере для настоящих наркоманов и некоторых злоупотребляющих), спрос на наркотики стал совершенно негибким, то есть какой бы ни была цена, наркоман будет находить свой товар и платить за него любую цену. А эта негибкость спроса на наркотики выступает причиной того, что преступность растет — проще говоря, убивают кого-нибудь на улице, чтобы отобрать у него десять долларов и купить наркотик, в котором нуждаются. Так что с этой точки зрения законодательство, стиль законодательства или, скорее, стиль утверждения закона, развиваемый в шестидесятые годы, оказался сенсационным провалом.

Откуда второе решение, сформулированное в 1973 г. Итерли и Муром в терминах либеральной экономики.[34] Они говорят: совершенно неразумно стремиться ограничить предложение наркотиков. Нужно сдвинуть предложение наркотиков влево, то есть грубо и схематично постараться, чтобы наркотики стали более доступными и менее дорогими, с последующими модуляциями и уточнениями. Действительно, что происходит на реальном рынке наркотиков? В сущности, перед нами две категории — покупатели и потребители: те, кто начинает потреблять наркотики и чей спрос гибок, то есть те, кто может столкнуться с чересчур завышенными ценами и отказаться от потребления, от которого им обещали удовольствие, но которое они не могут оплатить. А с другой стороны, перед нами негибкий спрос, то есть те, кто купит в любом случае, какова бы ни была цена. Какова позиция наркодельцов? Предлагать относительно низкую рыночную цену потребителям, спрос которых гибок, то есть начинающим, потребляющим помалу и лишь однажды, и только однажды, чтобы они стали обычными потребителями, то есть чтобы их спрос стал негибким; в этот момент

поднимаются цены, и наркотики, которые им теперь предлагают, имеют уже крайне завышенные монополистические цены, которые, таким образом, порождают феномены преступности. Какова в таком случае должна быть позиция тех, кто ориентируется на политику утверждения закона? Так вот, нужно сделать, напротив, чтобы так называемая входная цена, то есть цена для новых потребителей, была как можно выше, так, чтобы цена сама по себе была орудием разубеждения и чтобы мелкие, случайные потребители не могли сделать шаг к потреблению из-за экономического порога. И наоборот, тем, чей спрос негибок, то есть тем, кто в любом случае заплатит любую цену, сбывать наркотики по возможно лучшей цене, то есть по цене как можно более низкой, чтобы им не приходилось (поскольку они в любом случае это сделают) добывать деньги на покупку наркотиков любыми средствами, — иначе говоря: [чтобы] их потребление наркотиков было как можно менее криминогенным. Таким образом, нужно установить низкую цену на наркотики для наркоманов, а для не-наркоманов — самую высокую. Существует целая политика, которая, впрочем, сводится к [позиции],* стремящейся не слишком различать то, что называется мягкими и жесткими наркотиками, различая наркотики с индуктивной стоимостью и наркотики без индуктивной стоимости, а главное — различая два типа потребления: гибкое потребление наркотиков и потребление негибкое. Отсюда целая политика утверждения закона в отношении новых потребителей, потенциальных потребителей, мелких дилеров, розничной торговли, ведущейся на уличных перекрестках; политика утверждения закона, подчиняющаяся экономической рациональности, которая есть рациональность рынка, с теми элементами отличия, о которых я вам говорил.

Какие следствия из всего этого можно вывести? Во-первых, антропологическое смягчение преступника. Антропологическое смягчение преступника, в котором речь на самом деле идет

---

* М. Ф.: политике.

не об элизии индивидуального порядка,* но о постулировании элемента, измерения, уровня поведения, которое может быть одновременно и интерпретировано как экономическое поведение и контролироваться в качестве такового.** Эрлих в своей статье о смертной казни говорил: «Отвратительный, жестокий или патологический характер преступления не имеет никакого значения. Нет основания полагать, что те, кто любит или ненавидит других людей, менее "респонсивны", менее чувствительны, не так легко реагируют на прибыли и потери, связанные с их деятельностью, чем лица, безразличные к благополучию других».[35] Другими словами, все различия, которые проводят, которые можно провести между прирожденными и случайными преступниками, порочными и не порочными, рецидивистами, не имеют никакого значения. Следует признать, что в любом случае, даже патологическом, субъект, взятый на определенном уровне и рассматриваемый под определенным углом зрения, есть в определенной мере, до некоторой степени субъект «респонсивный» к переменам в прибылях и потерях, то есть уголовное право должно быть чутким к игре возможных прибылей и потерь, чутким к среде. Это рыночная среда, в которой индивид делает свое предложение преступления и встречает положительный или отрицательный спрос, и есть то место, где оно должно действовать. Что ставит проблему, о которой я буду говорить в следующий раз: проблему техники и новой технологии, связанной, как мне кажется, с неолиберализмом, — технологии или психологии среды в США.

Во-вторых (впрочем, к этому я еще вернусь),[36] то, что появляется на горизонте исследования, — не идеал или исчерпывающий дисциплинарный проект общества, в котором сеть законов сменялась и продолжалась бы в механизмах, скажем так, нормативных. Это и не то общество, которое нуждалось бы в механизме всеобщей нормализации и исключения не-

---

* Рукопись (p. 19) добавляет: «не об устранении технологий, стремящихся влиять на поведение индивидов».

** Ibid.: «Экономический субъект — это, строго говоря, субъект, при любом положении вещей стремящийся максимизировать свою выгоду, оптимизировать отношение прибыль/потеря; в широком смысле: это тот, на чье поведение влияют ассоциированные с ним прибыли и потери».

нормальных. Напротив, на горизонте встает образ, идея или тема-программа общества, в котором осуществлялась бы оптимизация систем различия, в котором было бы предоставлено свободное поле для колебательных процессов, которое было бы терпимо к индивидам и миноритарной практике, в котором воздействовали бы не на игроков, но на правила игры и в котором, наконец, осуществлялось бы не направленное на подчинение индивидов вмешательство, но вмешательство экологического типа. В следующий раз я попытаюсь немного развить эти моменты.[37] *

---

* Рукопись содержит еще шесть непронумерованных листов, вписывающихся в продолжение предыдущего:

«Такого рода исследования ставят несколько проблем.

1. В отношении человеческой технологии

С одной стороны, значительное отступление от нормативно-дисциплинарной системы. Ансамбль, создаваемый экономикой капиталистического типа и индексированными законом политическими институциями, имел своим коррелятом технологию человеческого поведения, включая "руководство" индивидами: дисциплинарная сетка, бесконечная регламентация, субординация/классификация, норма.

[2 страница] Взятое в целом, либеральное руководство было одновременно легалистским и нормализующим, дисциплинарная регламентация была переключателем между двумя аспектами. Разумеется, с целой серией проблем, касающихся

— автономии, [...]ации (секторизации?) пространств и регламентирующих [...]

— абсолютной несовместимости между формами законности и нормализации.

Весь этот ансамбль представляется теперь необходимым. Почему? Потому что великая идея о том, что закон — это принцип правительственной умеренности, оказалась неадекватной:

— потому что "закон" не существует как (принцип?). Мы (можем составить?) столько законов, сколько захотим, преступление перед законом является частью системы законов.

[3 страница] потому что закон может функционировать только будучи уравновешиваем чем-то иным, что выступает противовесом, просветом, дополнением → запрет.

Следует

1 изменить концепцию закона или, по крайней мере, прояснить его функцию. Иначе говоря, не смешивать его форму (которая всегда состоит в том, чтобы запрещать или принуждать) и его функцию, которая должна быть функцией регулирования игры. Закон — это то, что должно благоприятствовать игре, т. е. [...]ациям, инициати-

вам, переменам, и позволять каждому быть рациональным субъектом, т. е. максимизировать функции полезности.

2 и заняться вместо регламентации, планирования, дисциплины просчетом его "утверждения"

— то есть, не нагружать его чем-то иным, но лишь тем, что должно придать ему силу;

— [4 страница] признать, что это утверждение, в сущности, является его главным элементом,

— поскольку закон без него не существует,

— поскольку оно гибко,

— поскольку оно может быть просчитано.

Как сохранить *rule of law*? Как рационализировать это утверждение, учитывая, что сам по себе закон не может быть принципом рационализации?

— через расчет затрат,

— полезности закона,

— и стоимости его утверждения,

— и, если мы не хотим ни отойти от закона, ни исказить его подлинную функцию регулирования игры, в качестве технологии надо использовать не дисциплину-нормализацию, а воздействие на среду. Модифицировать расклад игры, а не мышление игроков.

[5 страница] Перед нами радикализация того, что немецкие ордолибералы уже определили в отношении правительственной деятельности: предоставить экономической игре как можно бóльшую свободу и заниматься *Gesellschaftspolitik*. Американские либералы говорят: если мы хотим удержать эту *Gesellschaftspolitik* в рамках закона, она должна рассматривать каждого как игрока и вмешиваться только в среду, в которой он может играть. Экологическая технология, имеющая два принципиальных аспекта:

— установление вокруг индивида достаточно гибких рамок, чтобы он мог играть,

— возможность для индивида регулировать результаты, сообразуясь со своими рамками,

— регулирование эффектов среды,

— без ущерба,

— без поглощения,

— автономия этих средовых пространств.

[6 страница] Не единообразие, тождественность, иерархичность, но открытость среды для случайностей и трансверсальных феноменов. Латеральность.

Технология среды, случайностей, свобод (игры?) между спросом и предложением.

Но значит ли это считать, что мы имеем дело с натуральными субъектами?» *(конец рукописи)*.

Примечания

[1] См. лекцию 14 февраля 1979 г., с. 187—188 наст. изд.

[2] См.: *Bilger F.* La Pensée économique libérale de l'Allemagne contemporaine. Op. cit. P. 186: «Социологическая политика раскладывается на [...] множество самых разных отдельных политик, принципы которых, согласно этим авторам, состоят в обустройстве экономического пространства, поощрении мелких и средних предприятий, а главное — в депролетаризации общества посредством развития частных накоплений и возможно более широкого распределения национального капитала между всеми гражданами. Делая всех индивидов капиталистами, создавая народный капитализм, мы устраняем социальные пороки капитализма независимо от возрастающей "саляризации" экономики. Наемный рабочий теперь капиталист, а не пролетарий».

[3] См. лекцию 14 февраля 1979 г., с. 189—191 наст. изд.

[4] См. лекции 14 и 21 февраля 1979 г.

[5] *Rüstow A.* // Colloque Walter Lippmann. Op. cit. P. 83: «Если в интересах оптимума производительности сообщества и максимума независимости индивида организовать экономию социального тела по правилам рыночной экономики, останется удовлетворить новые и все возрастающие потребности в интеграции».

[6] *Röpke W.* La Crise de notre temps / Trad. citée. II[e] partie. Ch. 2. P. 236: «[...] Не стоит требовать от конкуренции больше, чем она может дать. Она представляет собой принцип порядка и руководства в частной области рыночной экономики и разделения труда, но не принцип, на котором можно было бы воздвигнуть общество в целом. В моральном и социологическом отношении это опасный принцип, скорее разлагающий, чем объединяющий. Поскольку конкуренция не должна вести ни к социальному взрыву, ни к вырождению, она предполагает заключение в жесткие рамки, внешние по отношению к экономике, надежнейшие политические и нравственные рамки».

[7] Ibid.: «[...] Сильное государство, возвышающееся над разрываемыми различными интересами группами, высочайшая экономическая нравственность, нерушимое сообщество людей, готовых к кооперации, естественно скрепленных и социально интегрированных».

[8] См. предыдущую лекцию (14 марта), с. 288—290.

[9] Жан-Люк Мигу в то время был профессором Национальной школы общественной администрации в Квебеке.

[10] «Méthodologie économique et économie non matchande», выступление на Конгрессе франкоязычных экономистов (Квебек, май

1976 г.), частично воспроизведенное в Revue d'écomonie politique. 1977. Juillet-août. (см.: *Lepage H.* Demain le capitalisme. Op. cit. P. 224).

[11] *Migué J.-L.* Ibid. (цит. по: *Lepage H.* Op. cit. P. 346): «Один из последних крупных вкладов экономического анализа состоял в том, чтобы целиком приложить к домашнему сектору аналитическую рамку, традиционно предназначаемую для фирмы и потребителя. Сделав супружество производственной единицей на том же основании, что и классическую фирму, мы обнаруживаем, что его аналитические основания фактически идентичны аналитическим основаниям фирмы. Как и в фирме, в супружестве обе стороны благодаря связывающему их на длительный период контракту избегают затрат на сделки и риска в любой момент лишиться вложений супруга, а значит общих выгод от супружества. Ведь в самом деле, что такое супружество, или контрактное обязательство двух сторон, осуществляющих специфические *вложения* (*inputs*) и в равной мере делящих *выгоды* (*outputs*) от супружества? Таким образом, вместо того чтобы затевать дорогостоящий процесс непрерывного заключения и контролирования бесчисленных *контрактов*, неизбежных при обменах в повседневной домашней жизни, обе стороны фиксируют в долгосрочном контракте общие условия, которыми будут определяться обмены».

[12] См.: Moi, Pierre Rivière, ayant égorgé ma mère, ma sœur et mon frère... Présenté par M. Foucault. Paris: Julliard («Archives»), 1973.

[13] Созданный в 1943 г. «American Enterprise Institute for Puplic Policy Research» (AEI) находится в Вашингтоне. Будучи застрельщиком антирегламентарной борьбы, он по сей день благодаря своим публикациям (книгам, статьям, докладам) представляет собой один из самых значительных «мозговых центров» (think tank) американского неоконсерватизма.

[14] Среди прочих «агентств»: «Consumer Safety Product Commission», «Occupational Safety and Health Commission», «Civil Aeronautics Board», «Federal Communications Commission», «Security Exchange Commission» (см.: *Lepage H.* Demain le capitalisme. P. 221—222).

[15] Как и в аллюзии на теорию «speech acts» (речевых актов) (на с. 317—318), здесь Фуко имплицитно ссылается на работы Дж. Р. Серла, одного из представителей американской аналитической философии. См. с. 331 наст. изд., прим. 29. Речь «Аналитическая философия политики», произнесенная в Токио в предыдущем году (DE. III. N 232. P. 534—551), дает другое свидетельство его интереса в эти годы к «англоамериканской аналитической философии»: «В конце

концов англосаксонская аналитическая философия не ставит перед собой задачу размышлять о бытии языка или о глубинных структурах языка; она размышляет над повседневным употреблением языка в различных типах дискурса. Для англосаксонской аналитической философии речь идет о том, чтобы предпринять критический анализ мысли исходя из того, как говорят о вещах».

[16] *Ehrlich I.* The deterrent effect of capital punishment: a question of life and death // American Economic Review. 1975. Vol. 65 (3) (juin). P. 397—417.

[17] *Джордж Ф. Стиглер* (1911—1991) — профессор Чикагского университета с 1958 по 1981 гг., с 1941 по 1976 гг. — исследователь «National Bureau of Economic Research», с 1973 г. до самой своей смерти возглавлял «Journal of Political Economy». Нобелевская премия по экономике 1982 г. Фуко здесь ссылается на статью: The optimum enforcement of laws // Journal of Political Economy. 1979. Vol. 78 (3) (mai—juin). P. 526—536.

[18] *Becker G.* Crime and punishment: an economic approach // Journal of Political Economy. 1968. Vol. 76 (2) (mars-avril). P. 196—217; перепечатано в: The Economic Approach to Human Behavior. Op. cit. P. 39—85. О трех цитируемых авторах см.: *Rosa J. J., Aftalion F.* L'Économique retrouvée. Op. cit. P. 296—324 (статья, из которой Фуко извлекает некоторую информацию). См. также: Economic Imperialism: The Economic Approach applied outside the field of economics / Eds G. Radnitsky, P. Bernholz. New York: Paragon House, 1987.

[19] См. лекцию 17 января 1979 г., с. 42 наст. изд., примеч. 10.

[20] *Джереми Бентам* (см. лекцию 10 января 1979 г., с. 26—27 наст. изд.); см. в особенности Traités de législation civile et pénale / Éd. par E. Dumont. Paris: Boussagne, Masson & Besson, 1802, и Théorie des peines et des récompenses / Éd. par E. Dumont. Londres: B. Dulau, 1811. 2 vol. Эти переводы-адаптации Дюмона, опирающиеся на рукописи Бентама, сделали в начале XIX в. мысль последнего известной. Об издании «Рассуждения о гражданском и уголовном законоположении», опирающемся на рукописи Бентама, см. переиздание: *Э. Алеви*: La Formation du radicalisme philosophique. (T. 1. Paris: Alcan, 1901) Paris: PUF, 1995. Appendice I. P. 281—285. Первое английское издание этих сочинений датируется соответственно 1864 г. (Theory of Legislation / Transl. R. Hildreth (перевод с французского издания). Londres: Kegan Paul, Trench, Tübner), 1825 г. (The Rationale of Reward / Transl. R. Smith (перевод с французского издания) Londres: J. & H. Hunt) и 1830 г. (The Rationale of Punishment / Transl. R. Smith (перевод с французского издания). Londres: R. Heward).

[21] См.: *Colquhoun P.* A Treatise on the Police of the Metropolis. Londres: C. Dilly. 5e éd., 1797 (Traité sur la police de Londres / Trad. Le Coigneux de Belabre. Paris: L. Collin, 1807).

[22] См.: *Foucault M.* Surveiller et Punir. Op. cit. P. 77—84 (*Фуко М.* Надзирать и наказывать. С. 105—130).

[23] Об этих пунктах см.: *Foucault M.* La vérité et les formes juridiques (1974) // DÉ. II. N 139. P. 589—590.

[24] См. примеч. 18.

[25] Такой фразы в статье Беккера нет. М. Фуко опирается на изложение работ Г. Беккера и Дж. Дж. Стиглера: *Jenny F.* La théorie économique du crime... // Op. cit. P. 298: «Отклоняя здесь, как и в других областях экономической теории, любое моральное суждение, экономист отличает преступные действия от законных лишь на основании того риска, которому подвергаются индивиды. Преступные действия — это действия, заставляющие преследовать индивида, подвергающегося особому типу риска: быть арестованным и осужденным на наказание (штраф, заключение в тюрьму, казнь)».

[26] Статья I Уголовного кодекса 1810 г., действовавшего в своих основных положениях до 1994 г., основывала классификацию преступных деяний — правонарушение, деликт и преступление — на природе предписываемого наказания. Квалификацию «преступление» она предназначала для «правонарушений, наказуемых телесным или бесчестящим наказанием».

[27] Об этом понятии, впервые введенном Пигу в 1920 г. в «Economics of Welfare» (Op. cit. [с. 201 наст. изд., примеч. 45], см.: *Rosanvallon P.* La Crise de l'État-providence. Op. cit. [с. 42 наст. изд., примеч. 9] / Éd. 1984. P. 59—60; см. также: *Simon Y.* Le marché et l'allocation des ressourses // L'Économique retrouvée / Dir. J.-J. Rosa & F. Aftalion. P. 268: «Внешние факторы расходов и монетарных или не-монетарных прибылей, являющихся результантами феноменов социальной взаимозависимости [...] Согласно теоретикам экономики благосостояния [...], внешние факторы отражают крах рынка в процессе ассигнования ресурсов и требуют общественного вмешательства, чтобы сократить дивергенцию между социальными и частными расходами».

[28] См.: *Jenny F.* La théorie économique du crime... P. 298: «Если преступление позволяет совершающему его индивиду максимизировать присущую ему полезность, на уровне коллектива оно тем не менее вызывает негативные внешние факторы. Таким образом, общий уровень этой деятельности, или этой индустрии, должен быть ограничен. Один из способов ограничить негативные внешние эф-

фекты, вытекающие из преступлений, состоит в том, чтобы арестовывать преступников и подвергать их наказанию».

[29] Здесь Фуко ссылается на теорию речевых актов (speech acts), развитую Дж. Л. Остином (*Austin J. L.* How To Do Things with Words. Londres: Oxford University Press, 1962 (Quand dire, c'est faire / Trad. G. Lane. Paris: Le Seuil, 1970; *Остин Дж. Л.* Слово как действие // Новое в зарубежной лингвистике. Вып. 17: Теория речевых актов. М.: Прогресс, 1986. С. 22—130)), П. Ф. Стросоном (*Strawson P. F.* Intention and convention in speech-acts // Logico-Linguistic Papers. Londres: Methuen, 1971. P. 149—169 (*Стросон П. Ф.* Намерение и конвенция в речевых актах // Новое в зарубежной лингвистике. Вып. 17. Теория речевых актов. М.: Прогресс, 1986. С. 131—150)) и Дж. Р. Серла (*Searle J. R.* Speech Acts: An essay in the philosophy of language. Londres: Cambridge University Press, 1969 (Les Actes de langage. Essai de philosophie du langage. Trad. [s.n.]. Paris: Hermann («Savoir: Lettres»), 1972, с блестящим предисловием О. Дюкро «De Saussure à la philosophie du langage»; *Серль Дж. Р.* Что такое речевой акт // Новое в зарубежной лингвистике. Вып. 17: Теория речевых актов. М.: Прогресс, 1986. С. 151—169)) в рамках прагматической лингвистики Витгенштейна. Этих четырех авторов Фуко кратко упоминает на круглом столе в Рио-де-Жанейро в 1973 г. (DÉ. II. N 139. P. 631) в связи с «анализом дискурса как стратегии». О понятии «speech act» см. также: *Foucault M.* Archéologie du savoir. Paris: Gallimard («Bibliothèque des sciences humaines»), 1969. P. 110—111 (*Фуко М.* Археология знания. С. 169—172) и ответ Фуко Серлу, с которым он переписывался, через несколько недель после окончания этого курса: «Что касается анализа языковых актов, я совершенно согласен с вашими замечаниями. Я ошибался, говоря [в "Археологии знания"], что высказывания — это не речевые акты, но, говоря это, я хотел подчеркнуть, что я рассматриваю их под углом зрения, отличным от вашего» (письмо от 15 мая 1979 г., цит. по: *Dreyfus H., Rabinow P.* Michel Foucault: Beyond structuralism and hermeneutics. Chicago: University of Chicago Press (Michel Foucault. Un parcours philosophique / Trad. F. Durand-Bogaert. Paris: Gallimard («Bibliothèque des sciences humaines»). P. 73, n. 1)).

[30] *Stigler G. J.* The optimim enforcement of laws. Art. cit. P. 526—527: «The goal of enforcement, let us assume, is to achieve that degree of compliance with the rule of prescribed (or proscribed) behavior that the society believes it can afford. There is one decisive reason why the society must forego "complete" enforcement of the rule: enforcement is costly» («Согласитесь, что цена утверждения состоит в достижении той степени согласия с правилом предписываемого

(или запрещаемого) поведения, которое общество может себе позволить. Еще одна решающая причина, в силу которой общество должно воздерживаться от "полного" осуществления закона: утверждение дорого стоит»).

[31] *Becker G.* Crime and punishment. Art. cit. P. 40: «[...] How many offenses should be permitted and how many offenders should go impunished?». («[...] Сколько преступлений можно допустить и сколько преступников должны остаться безнаказанными?»).

[32] *Ehrlich I.* The deterrent effect of capital punishment... Art. cit. P. 416: «In view of the new evidence presented here, one cannot reject the hypothesis that law enforcement activities in general and executions in particular do exert a deterrent effect on acts of murder. Strong inferences to the contrary drawn from earlier investigations appear to have been premature» («Ввиду представленных здесь новых данных нельзя отказываться от гипотезы, согласно которой действия по утверждению закона вообще и казни, в частности, оказывают сдерживающий эффект на акты убийства. Настойчивые заключения об обратном, выводимые из более ранних исследований, по-видимому, преждевременны»). (Эрлих здесь имеет в виду аргументы против смертной казни, развиваемые Т. Селлином в книге The Death Penalty: A report for the model penal code project of the American Law Institute. Philadelphie: Executive Office, American Law Institute, 1959.)

[33] По вопросу о наркотиках см.: *Jenny F.* La théorie économique du crime... P. 315—316.

[34] *Eatherly B. J.* Drug-law enforcement: should we arrest pushers or users? // Journal of Political Economy. 1974. Vol. 82 (1). P. 210—214; *Moore M.* Policies to achieve discrimination on the effective price of heroin // American Economoc Review. 1973. Vol. 63 (2) (mai). P. 270—278. М. Фуко опирается на обзор этих статей в Jenny F. Loc. cit. P. 316.

[35] *Ehrlich I.* The deterrent effect of capital punishment... P. 399: « The abhorrent, cruel and occasionally pathological nature of murder notwithstanding, available evidence is at least not inconsistent with these basic propositions [1) that [murder and other crimes against the person] are committed largely as a result of hate, jealousy, and other interpersonal conflicts involving pecuniary and non pecuniary motives or as a by-product of crimes against property; and 2) that the propensity to perpetrate such crimes is influenced by the prospective gains and losses associated with their commissions]. [...] There is no reason a priori to expect that persons who hate or love others are less responsive to changes in costs and gains associated with activities they may wish to pursue than persons indifferent toward the well-being of others» («Отвратительная, жестокая и порой патологическая природа убийства, несмотря на

это, явно свидетельствует о том, что оно по крайней мере не противоречит следующим основным суждениям: [1) что [убийство и другие преступления против личности] совершаются в значительной мере в результате ненависти, ревности и других межличностных конфликтов, имеющих денежные или не-денежные мотивы, или как побочный продукт преступлений против собственности; и 2) что на склонность совершать такие преступления влияют предполагаемые прибыли или потеря, связанные с их совершением. [...] Нет никакого основания a priori ожидать, что люди, которые ненавидят или любят других, окажутся менее отзывчивы на перемены в расходах и прибылях, связанных с действиями, которых они могут желать, чем люди, безразличные к благополучию других»).

[36] В следующих лекциях М. Фуко не возвращается к этому моменту.

[37] Следующая лекция не будет следовать этому анонсу.

Лекция 28 марта 1979 г.

Модель homo œconomicus. — *Ее распространение на всякую форму поведения в американском неолиберализме. — Экономический анализ и поведенческие техники.* — Homo œconomicus *как базовый элемент возникающих в XVIII в. новых правительственных интересов. — Начала истории понятия* homo œconomicus *до Уолраса и Парето. — Субъект интереса в английской философии эмпиризма (Юм). — Расхождение между субъектом интереса и субъектом права: (1) Неустранимый характер интереса в отношении юридического волеизъявления. (2) Обратная логика рынка и договора. — Вторая инновация в отношении юридической модели: отношения экономического субъекта с политической властью. Кондорсе. «Невидимая рука» Адама Смита: невидимость связи между поиском индивидуальной выгоды и ростом общественного богатства. Необобщаемый характер экономического мира. Необходимое игнорирование государя. — Политическая экономия как критика правительственных интересов: дисквалификация возможности экономического правителя в двух его формах, меркантилистской и физиократической. — Политическая экономия, побочная наука искусства управлять.*

Сегодня я хотел бы отойти от того, что я вам объяснял в течение последних недель, и немного обратиться к тому, что послужило мне отправной точкой в начале года. В прошлый раз я пытался показать вам, как американские неолибералы находили применение или во всяком случае пытались применить экономистский анализ к ряду объектов, областей поведения или поступков, которые не были рыночными поведением

или поступками: например, пытались применить экономистский анализ к браку, к воспитанию детей, к преступности. Что, разумеется, ставит одновременно проблему теории и метода, проблему законности применения подобной экономической модели, практическую проблему эвристической ценности этой модели и т. п. Все эти проблемы обращаются вокруг одной темы или одного понятия: это, конечно же, *homo œconomicus*, человек экономический. В какой мере законно и целесообразно применять сетку, схему и модель *homo œconomicus* ко всякому деятелю, не только экономическому, но вообще общественному, который, например, вступает в брак, совершает преступление, воспитывает детей, питает привязанности и проводит время со своими ребятишками? Пригодна ли, применима ли здесь эта сетка *homo œconomicus*? Действительно, эта проблема применимости *homo œconomicus* стала теперь классической для неолиберальных дискуссий в США. «Бэкграунд» этого анализа, в конце концов, его главный текст — это книга фон Мизеса, которая называется «Human Action»,[1] ее обсуждение вы найдете преимущественно в 1960—[19]70-е гг., особенно в это десятилетие и особенно в 1962 г.,[2] в целой серии статей в «Journal of Political Economy»: статьях Беккера,[3] Кирцнера[4] и др.

Проблема *homo œconomicus* и ее применимость представляются мне интересными, поскольку распространение сетки *homo œconomicus* на области, которые не являются непосредственно и прямо экономическими, как мне кажется, преследует важные цели. Самая важная цель — это, конечно, проблема отождествления объекта экономического анализа с любым поведением, каким бы оно ни было, предполагающего оптимальное привлечение ограниченных ресурсов в альтернативных целях, что является самым общим определением объекта экономического анализа, такого, каким его определяла неоклассическая школа.[5] Однако за этим отождествлением объекта экономического анализа с поступками, предполагающими оптимальное привлечение ресурсов в альтернативных целях, обнаруживается возможность распространения экономического анализа на всякий поступок, который использовал бы средства, ограниченные той или иной целью. Мы приходим к тому, что, быть может, объект экономического анализа должен отождест-

вляться со всяким определенным поступком, предполагающим стратегический выбор средств, способов и инструментов: в итоге мы получаем отождествление объекта экономического анализа с любым рациональным поведением. В конце концов, разве экономика не является анализом рациональных поступков, и не зависит ли так или иначе любой рациональный поступок, каким бы он ни был, от экономического анализа? Разве подобное рациональное поведение, заключающееся в том, чтобы сводиться к разумному суждению, не является экономическим поведением в том смысле, в каком мы его только что определили, то есть оптимальным привлечением ограниченных ресурсов в альтернативных целях, поскольку его разумное основание состоит в том, чтобы разместить некоторое количество ограниченных ресурсов (эти ограниченные ресурсы представляют собой символическую систему, игру аксиом, определенные правила построения, и не всякое правило построения и не всякую символическую систему, а лишь некоторые), которые будут оптимально использоваться с определенными и альтернативными целями, причем в данном случае то, чего пытаются достичь по возможности наилучшим привлечением этих ограниченных ресурсов, есть скорее истинное заключение, чем заключение ложное? Таким образом, нет причин не определять всякий рациональный поступок, всякое рациональное поведение, каким бы оно ни было, как возможный объект экономического анализа.

По правде говоря, это определение, представляющееся крайне расширительным, не единственное, и такие наиболее радикальные американские неолибералы, как Беккер, говорят, что этого еще недостаточно, что объект экономического анализа можно распространить даже за пределы рационально определяемого и понимаемого поведения, о котором я только что упоминал, и что экономические законы и экономический анализ вполне могут применяться к не-рациональным поступкам, то есть к поступкам, которые не стремятся или во всяком случае не только пытаются оптимизировать привлечение ограниченных ресурсов с определенной целью.[6] Беккер говорит: экономический анализ, в сущности, вполне может обрести свои опорные точки и свою эффективность, только если поведение индивида отвечает тому условию, что реакция этого поведения

не будет случайной по отношению к реальности. То есть любое поведение, систематически отвечающее на изменение переменных среды, всякое поведение, как говорит Беккер, «принимающее реальность», должно быть релевантным экономическому анализу.[7] *Homo œconomicus* — это тот, кто принимает реальность. Рациональное поведение — это любое поведение, чувствительное к изменениям переменных среды и отвечающее на него не случайным образом, но систематически, а экономика, таким образом, определяется как наука о систематичности реакций на переменные среды.

Грандиозное определение, которое экономисты, конечно, не навязывают, но которое представляет определенный интерес. Интерес, если угодно, практический, поскольку, определяя объект экономического анализа как совокупность систематических реакций индивида на переменные среды, вы вполне можете включить в экономику целый ряд техник, которые известны и популярны сегодня в США и которые называются поведенческими техниками. Все эти методы, самую ясную, самую строгую, самую суровую или самую нелепую форму принимающие у Скиннера,[8] заключаются не в том, чтобы заниматься анализом значения поведения, но лишь в том, чтобы выяснить, как получившая стимул игра может посредством механизмов, скажем так, усиления повлечь за собой реакции, выдающие систематичность, и, исходя из этого, ввести другие переменные поведения; все эти поведенческие методы показывают, что понимаемую таким образом психологию вполне можно ввести в определение экономики, как ее понимает Беккер. Литературы об этих поведенческих техниках во Франции мало. В последней книге Кастеля «Психиатрическое общество» вы найдете главу о поведенческих техниках и сможете увидеть использование в конкретной ситуации (в данном случае это больница, психиатрическая клиника) одновременно экспериментальных и предполагающих сугубо экономический анализ поведения методов.[9]

Сегодня я хотел бы акцентировать другой аспект. Дело в том, что определение, которое дает Беккер (напомню еще раз, не принятое большинством экономистов), несмотря на закрытый характер, позволяет отметить определенный парадокс, поскольку, в сущности, *homo œconomicus*, каким он появляет-

ся в XVIII в. (и к этому я сейчас вернусь), функционировал как то, что можно назвать неприкосновенным для осуществления власти элементом. *Homo œconomicus* — это тот, кто следует своему интересу, тот, чей интерес спонтанно сходится с интересом других. *Homo œconomicus* с точки зрения теории управления — это то, чего не нужно касаться. *Homo œconomicus* предоставляют действовать. Это субъект или объект *laissez-faire*. Во всяком случае это партнер правительства, чье правило — *laissez-faire*. Так что в том определении Беккера, которое я вам привел, *homo œconomicus*, то есть тот, кто принимает реальность или тот, кто систематически реагирует на изменения переменных среды, этот *homo œconomicus* выступает как удобоуправляемый, как тот, кто систематически реагирует на искусственно вносимые в среду систематические изменения. *Homo œconomicus* — это тот, кто в высшей степени управляем. Неприкосновенный партнер *laissez-faire*, *homo œconomicus* выступает теперь как коррелятив руководства, воздействующего на среду и систематически изменяющего переменные среды.

Мне кажется, этот парадокс позволяет определить проблему, о которой я хотел бы немного поговорить и которая заключается в следующем: шла ли речь в XVIII в. в связи с *homo œconomicus* о том, чтобы поставить перед любым возможным правительством элемент, для него по существу и безоговорочно неустранимый? Идет ли речь при определении *homo œconomicus* о том, чтобы обозначить область, совершенно недоступную для любых действий правительства? Есть ли *homo œconomicus* атом свободы перед лицом всех условий, всех предприятий, всех законодательств, всех запретов возможного правительства, или же *homo œconomicus* — уже не определенный тип субъекта, позволяющий искусству управлять регулироваться в соответствии с принципом экономии — экономии в обоих смыслах слова: в смысле политической экономии и в смысле ограничения, самоограничения, умеренности правительства? Нет нужды говорить вам, что в самом способе постановки вопроса уже содержится ответ, но это и есть то, о чем я хотел бы поговорить, то есть *homo œconomicus* как партнер, как визави, как базовый элемент новых правительственных интересов, как они были сформулированы в XVIII в.

По правде говоря, в действительности нет ни какой-либо теории *homo œconomicus*, ни даже истории этого понятия.[10] Практически нужно обратиться к тому, к чему взывали неоклассики, Уолрас[11] и Парето,[12] чтобы отчетливо увидеть появление того, что понимают под *homo œconomicus*. Но фактически до Уолраса и Парето понятие *homo œconomicus* уже использовалось, даже если и не была проделана его строгая концептуализация. Как можно уловить проблему *homo œconomicus* и его появление? Одновременно упрощая и несколько произвольно, я буду отталкиваться как от данности от того, что в английском эмпиризме и в теории субъекта, эффективно разрабатываемой в английской эмпирической философии (еще раз отмечу, что я ввожу несколько произвольное разделение), что в той теории субъекта, которую мы обнаруживаем в английском эмпиризме, вероятно, происходит одна из мутаций, одна из важнейших теоретических трансформаций в западной мысли со времен Средневековья.

Что английский эмпиризм (скажем, тот, что появляется начиная с Локка)[13] привносит, без сомнения, впервые в западной философии, — это субъект, который не определяется ни свободой, ни оппозицией души и тела, ни присутствием средоточия или ядра вожделения, будучи более или менее отмечен падением или грехом, но выступает как одновременно неизбежный и неустранимый субъект индивидуального выбора. Что значит неизбежный? Я приведу очень простой пример, к которому часто обращается Юм,[14] говоря: когда мы исследуем выбор индивида, когда мы задаемся вопросом, почему он делает то-то и то-то, а не что-то другое, какого рода вопрос мы можем поставить и к какому неустранимому элементу можем прийти? Так вот, говорит он, «если спросить кого-нибудь: почему ты делаешь упражнения? Он ответит: я делаю упражнения, потому что хочу быть здоровым. У него спросят: почему ты хочешь быть здоровым? А он ответит: потому что я предпочитаю здоровье болезни. Его сразу же спросят: почему ты предпочитаешь здоровье болезни? Он ответит: потому что болезнь мучительна, и посему я не хочу болеть. А если у него спросить, почему болезнь мучительна, здесь он будет вправе не отвечать, потому что этот вопрос лишен смысла». Мучительный или не мучи-

тельный характер чего-то сам по себе составляет основание выбора, которому нельзя не последовать. Выбор между мучительным и не-мучительным составляет лишнее: не сводится и не отсылает ни к какому суждению, ни к какому доказательству или расчету. Это что-то вроде регрессивного ограничения исследования.

Во-вторых, такого рода выбор есть выбор неустранимый. Я говорю о неустранимости не в том смысле, что, исходя из него, нельзя выбрать одно вместо другого. Вполне можно было бы сказать, что, если мы предпочитаем здоровье болезни, можно предпочесть болезнь смерти и в таком случае выбрать болезнь. Очевидно также, что мы вполне можем сказать: пусть лучше буду болен я, а не другой. Но, как бы то ни было, из чего исходит этот выбор за другого? Из моего предпочтения себя и из того факта, что для меня, например, будет более мучительно знать, что болен другой, а не я сам. Так что в конечном счете принципом моего выбора окажется мое собственное чувство страдания или не-страдания, мучительного и приятного. Известный афоризм Юма гласит: когда мне предлагают выбрать между отсечением моего мизинца и смертью другого, ничто не заставит меня считать, даже если меня вынуждают позволить отрезать свой мизинец, что отсечение моего мизинца должно быть предпочтительней смерти другого.[15]

Таким образом, это неизбежные выборы, а по отношению к субъекту — выборы неустранимые. Этот принцип индивидуального, неизбежного, неустранимого выбора, принцип атомистического и безусловного выбора, отсылающий к самому субъекту, и называется интересом.

Мне кажется, фундаментальным в этой английской эмпирической философии, обзором которой я заниматься не стану, является введение того, чего прежде не было: идеи субъекта интереса, я хочу сказать, субъекта как принципа интереса, как отправной точки интереса или пространства механики интересов. Конечно, существует целая серия дискуссий о механике этого интереса, о том, что может ее запустить: это самосохранение, тело или душа, симпатия? В конце концов, это неважно. Важно то, что интерес появляется как форма одновременно непосредственного и абсолютного субъективного желания, и происходит это впервые.

Мне кажется, что проблема, в которой сходится вся проблематика *homo œconomicus*, состоит в том, чтобы выяснить, может ли этот субъект, определяемый как субъект интереса, может ли эта форма желания, обозначаемая как интерес, рассматриваться как того же рода юридическое воление или пониматься как артикулируемая в ней. На первый взгляд, можно сказать, что интерес и юридическое воление являются или подобными, или по крайней мере вполне примиримыми. Именно к этому стремились в XVII в., до появления таких юристов, как Блэкстоун,[16] до середины XVIII в.: своего рода смешение юридического анализа и анализа в терминах интереса. Например, когда Блэкстоун ставит проблему первичного договора, общественного договора, он говорит: почему индивиды заключили договор? Потому, что были в нем заинтересованы. У каждого индивида свои интересы, но в природном состоянии и до заключения договора эти интересы подвергаются опасности. Чтобы защитить хотя бы некоторые из них, приходится пожертвовать другими. Пожертвовать ближайшими ради тех, что важнее, а при необходимости отказаться от них.[17] Короче, интерес здесь выступает как эмпирический принцип договора. А юридическое воление, которое формируется, когда субъект права конституируется посредством договора, — это, по сути, субъект интереса, но субъект, так сказать, облагороженного интереса, ставший исчислимым, рационализированным и т. п. Так что это, если хотите, несколько примиренческий анализ, в котором юридическое воление и интерес смешиваются и переплетаются, порождая друг друга; Юм замечает, что все это не так-то просто. Почему, спрашивает Юм, вы заключаете договор? В силу интереса. Вы заключаете договор в силу интереса, поскольку замечаете, что, если вы один и не связаны с другими, ваши интересы будут попираться. Но когда вы заключили договор, почему вы этот договор соблюдаете? Юристы, и особенно Блэкстоун, почти в ту же самую эпоху говорили: договор соблюдают, потому что, когда индивиды, субъекты интереса, признают, что заинтересованы в заключении договора, обязательство по договору составляет своего рода трансценденцию, в отношении которой субъект оказывается, так сказать, подчиненным и которая вынуждает того, кто стал субъектом права, подчиняться договору. На что Юм отвечает:

но это не так, ведь на самом деле договору подчиняются не потому, что это договор, не потому, что над вами довлеет договор или, другими словами, не потому, что вы внезапно стали субъектом права, перестав быть субъектом интереса. Если вы по-прежнему соблюдаете договор, так это потому, что у вас есть следующее простое соображение: «Торговля, которую мы ведем с нашими ближними, от которой мы получаем столь великие преимущества, не имела бы никакой гарантии, не соблюдай мы свои обязательства».[18] То есть, если мы соблюдаем договор, то не потому, что существует договор, но потому, что заинтересованы, чтобы он существовал. Другими словами, появление договора не заменило субъекта интереса субъектом права. В расчете интереса конституировалась форма, конституировался элемент, который по-прежнему представляет определенный интерес. А если он не представляет никакого интереса, ничто не может заставить меня по-прежнему подчиняться договору.[19] Таким образом, интерес и юридическое воление не меняются местами. Субъект права не занимает место субъекта интереса. Субъект интереса остается, он существует и продолжает существовать до тех пор, пока существует юридическая структура или договор. До тех пор, пока существует закон, продолжает существовать субъект интереса. Он постоянно выходит за пределы субъекта права. Он не устраняется субъектом права. Он не поглощается им. Он выходит за его пределы, окружает его, выступает постоянным условием его функционирования. Таким образом, по отношению к юридическому волению интерес составляет нечто неустранимое. Это первое.

Во-вторых, субъект права и субъект интереса не подчиняются одной и той же логике. Чем характеризуется субъект права? Дело в том, что опирается он, конечно же, на естественные права. Однако в позитивной системе он оказывается субъектом права, принимая принцип уступки естественных прав, принцип отказа от них; подписываясь под ограничением этих прав, он принимает принцип их передачи. То есть субъект права есть по определению субъект, который принимает негативность, принимает отказ от самого себя, который соглашается, так сказать, разделиться и быть на определенном уровне обладателем некоторых естественных и непосредственных прав, а на дру-

гом уровне — тем, кто принимает принцип отказа от них и кто конституируется как другой субъект права, накладывающийся на первого. Разделение субъекта, существование трансценденции второго субъекта по отношению к первому, отношение негативности, отречение, разграничение между одним и другим — все это характеризует диалектику или механику субъекта права, и здесь, в этом движении, появляются закон и запрет.

Зато субъект интереса не подчиняется той же механике (здесь вступает в свои права экономический анализ, придающий своего рода эмпирическое содержание теме субъекта интереса). Что показал анализ рынка, например, то, что показали и физиократы во Франции, и английские экономисты, и даже такие теоретики, как Мандевиль,[20] это то, что, в сущности, механика интересов никогда не требует от индивида отказаться от своего интереса. Либо, например, то, что происходит на рынке зерна (как вы помните, мы говорили об этом в прошлый раз),[21] либо обильный урожай в одной стране и недород в другой. Законодательство, обычно устанавливавшееся в большинстве стран, запрещало неограниченно экспортировать хлеб из богатой страны в страну, в которой случился недород, чтобы в стране, располагающей запасом, не начался голод. На что экономисты [отвечают]: абсурд! Позвольте действовать механике интересов, позвольте торговцам зерном вывозить свой товар в страны, где случился недород, где зерно дорого и где его легко продать, и вы увидите, что чем больше они будут следовать своему интересу, тем лучше будут идти дела, и вы получите общую выгоду, которая будет происходить из максимизации интереса каждого. Каждый не просто может следовать своему интересу, но нужно, чтобы каждый следовал своему интересу, чтобы он следовал ему до конца, пытаясь довести его до максимума, и тогда обнаружатся элементы, исходя из которых интерес других будет не только сохранен, но даже окажется бóльшим. Таким образом, мы имеем дело с субъектом интереса, таким, каким его заставляют функционировать экономисты; это механика, совершенно отличная от диалектики субъекта права, поскольку это эгоистическая, непосредственно умножающая механика, механика без трансцендирования чего бы то ни было, в которой

желание каждого спонтанно и как бы невольно согласуется с желанием и интересом других. Это далеко не диалектика отказа, трансцендентности и добровольной связи, которую мы находим в юридической теории договора. Рынок и договор функционируют прямо противоположно друг другу, и фактически перед нами две взаимно противоположные структуры.

Резюмируя все это, можно сказать, что весь анализ интереса в XVIII в., который, как кажется на первый взгляд, можно без труда увязать с теорией договора, этот анализ, если к нему немного присмотреться, в характерных чертах учения о договоре и о субъекте права фактически открывает совершенно новую, совершенно отличную проблематику.* Это, так сказать, точка пересечения эмпирической концепции субъекта интереса и исследований экономистов, стремящихся определить субъекта, который есть субъект интереса и действия которого имеют ценность одновременно умножения и прибыли благодаря интенсификации самого интереса, а это как раз и характеризует *homo œconomicus*. *Homo œconomicus* в XVIII в. Представляется мне фигурой совершенно отличной и не совпадающей с тем, что можно было бы назвать *homo juridicus* или, если хотите, *homo legalis*.

Коль скоро это отличие установлено, можно идти дальше: в силу причин, о которых я только что сказал, существует не только формальная разнородность между экономическим субъектом и субъектом права, но вполне закономерно, что между субъектом права и экономическим субъектом есть существенная разница в том отношении, которое они поддерживают с политической властью. Или, если хотите, проблематика человека экономического совершенно иначе ставит вопрос об основании и осуществлении власти, чего не могла сделать фигура и элемент человека юридического, субъект права. Чтобы объяснить, что же такого радикально нового в человеке экономическом с точки зрения проблемы власти и легитимного осуществления власти, я бы хотел для начала процитировать текст Кондорсе, который, как мне кажется, многое проясняет.

---

* Рукопись добавляет (p. 9): «a) Сперва посредством эмпирического радикализма на манер Юма, b) затем посредством анализа рыночных механизмов».

Это фрагмент Девятой эпохи «Прогресса человеческого разума». Кондорсе говорит: интерес индивида, изолированного от системы общества, — он хочет сказать, не потому, что индивид изолирован от общества (то есть он не берет одинокого индивида): индивид существует в обществе, но мы рассмотрим его интерес отдельно и сам по себе, — так вот, говорит он, этот сугубо индивидуальный интерес того, кто оказывается внутри системы не только общества, но обществ, обнаруживает две характеристики. Во-первых, интерес зависит от бесконечного количества вещей. Интерес этого индивида будет зависеть от превратностей природы, против которых он бессилен и которые он не может предусмотреть. Он зависит от более или менее отдаленных политических событий. Короче, усилия этого индивида оказываются связаны с движением мира, который выходит за его пределы и который неизменно ускользает от него. Во-вторых, несмотря ни на что, «в этом кажущемся хаосе, — говорит Кондорсе, — мы видим тем не менее в силу общемирового морального закона, что усилия каждого для самого себя способствуют благосостоянию всех».[22] То есть он хочет сказать, что, с одной стороны, каждый оказывается в высшей степени зависим от целого неконтролируемого, заданного, представляющего собой движение вещей и мира. Самое отдаленное событие, которое может произойти на другой стороне земного шара, может отразиться на моем интересе, а я ничего не могу со всем этим поделать. Желание каждого, интерес каждого и то, как этот интерес реализуется или не реализуется, — все это связано с массой элементов, ускользающих от индивида. В то же время интерес индивида независимо от того, знает ли он об этом, хочет ли он этого, может ли он это контролировать, оказывается связан с целой серией позитивных эффектов, выступающих причиной того, что все, что [для него] выгодно, окажется выгодно для других. Так что человек экономический оказывается помещен в то, что можно было бы назвать бесконечным полем имманенции, связывающее его, с одной стороны, в форме зависимости с целым рядом случайностей, а с другой — в форме производства с выгодой других, или же связывающее его выгоду с производством других. Совпадение интересов удваивает и покрывает этот бесконечный хаос случайностей.

Таким образом, *homo œconomicus* подвергается тому, что можно было бы назвать невольным удвоением: зависящим от случайностей, которые его настигают, и от выгоды, которую он производит для других, вовсе не стремясь к этому. Кроме того, он подвергается бесконечному удвоению, поскольку, с одной стороны, случайности, от которых зависит интерес, относятся к области, которую нельзя ни обозреть, ни подвергнуть подсчету, а с другой — выгода, которую он произведет для других, производя свою собственную, также бесконечна, потому что не подлежит учету. Безвольное, бесконечное удвоение, не подлежащее подсчету удвоение, впрочем, не означает, что эта бесконечность, безвольность, неконтролируемость могут дисквалифицировать его интерес, его расчет, который он может предпринимать, чтобы как можно лучше следовать своему интересу. Напротив, эта бесконечность обосновывает, так сказать, сугубо индивидуальный расчет, придавая ему основательность, эффективность, вписывая его в реальность и связывая его по возможности наилучшим способом со всем остальным миром. Таким образом, перед нами система, в которой *homo œconomicus* обязан позитивным характером своего расчета всему тому, что как раз от его расчета ускользает. Обратимся ко всем известному тексту, которого нам не миновать и который написан Адамом Смитом, к замечательному тексту главы 2 книги IV — это единственный текст в «Богатстве народов», где он говорит об этой примечательной вещи: «Предпочитая оказывать поддержку отечественному производству, а не иностранному, он имеет в виду лишь свой собственный интерес, и, осуществляя это производство таким образом, чтобы его продукт обладал максимальной стоимостью, он преследует лишь свою собственную выгоду, причем в этом [случае],* как и во многих других, он невидимой рукой направляется к цели, которая совсем и не входила в его намерения».[23] Таким образом, мы оказываемся в самом сердце проблематики невидимой руки, являющейся коррелятом *homo œconomicus* или, скорее, разновидностью своеобразной механики, заставляющей *homo œconomicus* функционировать как субъекта индивидуального интереса

---

* Слово, пропущенное М. Фуко.

внутри всеобщности, которая от него ускользает и которая тем не менее обосновывает рациональность его эгоистического выбора.

Что это за невидимая рука? Мы привыкли говорить, что невидимая рука отсылает к мысли Адама Смита, более или менее отражающей экономический оптимизм. Кроме того, мы привыкли говорить, что в этой невидимой руке следует видеть отголосок теологической мысли о естественном порядке. При этом оказывается, что Смит более или менее имплицитно подразумевал под понятием невидимой руки пустое место, втайне занимаемое, впрочем, провиденциальным богом, присутствующим в экономическом процессе, вроде того как бог Мальбранша присутствует во всем мире и в малейшем жесте всякого индивида, опосредуя интеллигибельное пространство и всецело господствуя над ним.[24] Невидимая рука Адама Смита — это что-то вроде бога Мальбранша, интеллигибельное пространство которого было бы заполнено не линиями, поверхностями и телами, но продавцами, рынками, кораблями, обозами, большими дорогами. Откуда идея, что этому экономическому миру сущностно присуща прозрачность и что, если всеобщность процесса и ускользает от каждого из задействованных в экономике людей, зато существует точка, где всеобщность прозрачна для некоего взгляда, взгляда того, чья невидимая рука согласно логике этого взгляда и тому, что видит этот взгляд, связует воедино все нити этих разрозненных интересов. Таким образом, это условие, или постулат, всеобщей прозрачности экономического мира. Если мы немного вчитаемся в текст, что говорит нам Адам Смит? Он говорит, что люди, которые совершенно не знают ни *почему*, ни *как*, следуют своим собственным интересам, а в конечном счете это приносит выгоду всем. Они думают только о собственной наживе, а выгоду от этого получает вся промышленность. Люди, говорит он, думают только о своей собственной наживе и не думают о выгоде всех. И добавляет: в конце концов не всегда так уж плохо, что выгода всех никак не входит в заботы породы торговцев.[25] «Мне ни разу не приходилось слышать, чтобы много хорошего было сделано теми, которые делали вид, что они ведут торговлю ради блага общества. Впрочем, подобные претензии не очень обычны среди купцов».[26] В об-

щем, можно сказать: благодарение небесам, что люди заботятся только о своих интересах, благодарение небесам, что торговцы — законченные эгоисты, и редко кто из них заботится об общем благе, поскольку, когда они начинают заботиться об общем благе, дела не идут.

Другими словами, существуют два взаимосвязанных элемента. Чтобы быть уверенными в коллективной выгоде, быть уверенным, что будет достигнуто наивысшее благо для большинства людей, не только возможно, но и совершенно необходимо, чтобы каждый из деятелей в этой всеобщности был слеп. На уровне коллективного результата для каждого должна оставаться неопределенность, так, чтобы этот положительный коллективный результат был поистине желанным. Сокрытие, ослепление совершенно необходимы для всех экономических агентов.[27] Не нужно стремиться к общественному благу. К нему не нужно стремиться, потому что его невозможно рассчитать изнутри, по крайней мере изнутри экономической стратегии. Это сердцевина принципа невидимости. Иначе говоря, в случае с этой знаменитой теорией невидимой руки Адама Смита мы привыкли подчеркивать слово «рука», то есть то обстоятельство, что существует что-то вроде провидения, связывающего воедино все разрозненные нити. Однако мне представляется, что другой элемент, элемент невидимости по меньшей мере столь же важен. Невидимость — это не просто обстоятельство, которое в связи с определенным недостатком человеческого понимания помешало бы людям отдавать себе отчет в том, что за ними стоит рука, упорядочивающая или связующая то, что каждый делает сам для себя. Невидимость совершенно необходима. Именно невидимость служит причиной того, что никакой из экономических агентов не может стремиться к общественному благу.

Никакой из экономических агентов. Но, пожалуй, надо пойти дальше. Не только никакой из экономических агентов, но и никакой из политических агентов. Иначе говоря, мир экономики должен быть скрытым от правителя в двух отношениях. О первом отношении мы уже знаем, так что не стоит на нем останавливаться, а именно поскольку экономическая механика предполагает, что каждый следует своему собст-

венному интересу, нужно предоставить каждому *laisser faire*. Политической власти не следует вмешиваться в ту динамику, которую природа вложила в сердце человека. Таким образом, правительству запрещается чинить препятствия интересу индивидов. Именно это имеет в виду Адам Смит, когда пишет: общественный интерес требует, чтобы каждый понимал свой интерес и беспрепятственно повиновался ему.[28] Другими словами, правительство не может чинить препятствия игре индивидуальных интересов. Но пойдем дальше. Правительство не только не должно чинить препятствий интересу каждого, но невозможно, чтобы государь мог иметь в экономическом механизме такую точку зрения, которая обобщала бы каждый из элементов и позволяла искусственно или произвольно комбинировать их. Невидимая рука, спонтанно комбинирующая интересы, в то же время запрещает любую форму вмешательства, более того, любую форму взгляда сверху, которая позволила бы тотализировать экономический процесс. С этой точки зрения весьма прозрачен текст Фергюсона. В «Истории гражданского общества»[29] он говорит: «Чем больше благ добывает человек для себя лично, тем богаче становится его страна [...] Когда же искушенный политик начинает активно во все вмешиваться, он лишь мешает и вызывает нарекания; когда купец забывает о собственной выгоде и начинает думать за всю страну, подобное знаменует приближение периода фантазий и химер».[30] Фергюсон обращается к примеру французских и английских колоний в Америке и, анализируя французскую и английскую модели колонизации, говорит: французы пришли со своими проектами, своей администрацией, своим пониманием того, что было бы наилучшим для их колоний в Америке. Они строили «обширные проекты», а эти обширные проекты могли быть «реализованы в идее», и французские колонии в Америке рушились. Зато с чем пришли колонизировать Америку англичане? С грандиозными проектами? Отнюдь. С «близорукостью». У них не было никакого иного проекта, кроме непосредственной выгоды каждого, или, скорее, каждый имел в виду лишь ограниченность собственного проекта. Промышленность сразу стала активной, а колонии — процветающими.[31] Следовательно, экономика, понимаемая не только как практика, но и

как тип правительственного вмешательства, как форма деятельности государства или государя, так вот, экономика может быть только близорукой, и если бы появился государь, претендующий на дальнозоркость, на всеобщий и тотализирующий взгляд, это государь неизменно видел бы лишь химеры. Политическая экономия середины XVIII в. разоблачает паралогизм политической тотализации экономического процесса.

А что государь есть, что государь может быть, что государь должен быть невежественным, о том говорит Адам Смит в главе 9 книги IV «О богатстве народов», поясняя то, что он хотел сказать о невидимой руке и о той значимости, которую он придает прилагательному «невидимый». Смит говорит следующее: «Каждому человеку, пока он не нарушает законов справедливости, предоставляется совершенно свободно преследовать по собственному разумению свои интересы и конкурировать своим трудом и капиталом с трудом и капиталом любого другого лица и целого класса».[32] Таким образом, это принцип *laissez-faire*, согласно которому каждый в любом случае должен следовать своему интересу. И тогда, говорит он довольно лицемерно (во всяком случае, я говорю, что это лицемерие), государь может найти, что это прекрасно, поскольку «освобождается от обязанности — надзора за всеми экономическими процессами, — при выполнении которой он всегда будет подвергаться бесчисленным обманам».[33] Я говорю «лицемерная фраза», потому что ее можно понять и так: государь есть одинокий человек, окруженный более или менее верными советниками, и если бы он принял на себя неподъемную задачу надзирать за всеобщностью экономического процесса, он, несомненно, был бы обманут администраторами и нечестными министрами. Однако эта фраза означает также, что он совершал бы ошибки не только из-за нечестности своих министров или неизбежно неконтролируемой сложности администрации. Он совершал бы ошибки, так сказать, в силу сущностной и фундаментальной причины. Он не мог бы не ошибаться, о чем, впрочем, говорит конец фразы, трактующий о той задаче, о том грузе, от которого государь должен быть освобожден: от задачи надзирать за всеобщностью

экономического процесса, «надлежащее выполнение [которой. — *А. Д.*] недоступно никакой человеческой мудрости и знанию, от обязанности руководить трудом частных лиц и направлять его к занятиям, более соответствующим интересам общества».[34]

Экономическая рациональность оказывается не только окружаемой непознаваемостью всеобщности процесса, но и основанной на ней. *Homo œconomicus* — это единственный островок возможной рациональности в экономическом процессе, неконтролируемый характер которого не осуждается, но, напротив, обосновывает рациональность атомистического поведения *homo œconomicus*. Таким образом, экономический мир по своей природе непрозрачен. По своей природе он необобщаем. Он от начала до конца конституируется точками зрения, множественность которых тем более неустранима, что спонтанно поддерживается и в конечном итоге ведет к их совпадению. Экономия — атеистическая дисциплина; экономия — это дисциплина без Бога; экономия — это дисциплина без всеобщности; экономия — это дисциплина, манифестирующая не только бесполезность, но и невозможность точки зрения государя на всеобщность государства, которым он правит. Экономии удается в юридической форме перехитрить государя, осуществляющего свой суверенитет внутри государства, в том отношении, что экономические процессы оказываются существенной частью жизни общества. Либерализм в своем современном состоянии начался с того момента, когда была сформулирована сущностная несовместимость между множественностью, характеризующей нетотализуемость субъектов интереса, экономических субъектов, с одной стороны, и тотализирующим единством юридического правителя — с другой.

Грандиозному усилию юридическо-политической мысли XVIII в. показать, как, исходя из индивидуальных субъектов права, субъектов естественного права, можно прийти к конституции политического единства, определяемого существованием правителя, неважно, индивидуального или нет, но обладающего, с одной стороны, совокупностью своих индивидуальных прав, и в то же время — принципом ограничения этих прав, всей этой грандиозной проблематике недоставало

проблематики экономии. Проблематика экономии, экономического интереса, подчиняется совсем иной конфигурации, совсем иной логике, совсем иному типу доказательства и совсем иной рациональности. Действительно, политико-юридический мир и мир экономический выступают в XVIII в. как разнородные и несовместимые миры. Идея экономико-юридической науки строго невозможна, и действительно, она так никогда и не была создана. По отношению к юридическому правителю, государю, обладающему правами и обосновывающему действующее право, исходя из естественного права индивида, *homo œconomicus* — это тот, кто может сказать: ты не должен, не потому что я имею права, а потому что ты не имеешь права касаться этого, — а вот что говорит государю человек права, *homo juridicus*: я имею права, некоторые из них я вверил тебе, а других ты не должен касаться, или: я вверил тебе свои права для такой-то и такой-то цели. *Homo œconomicus* так не говорит. Он тоже говорит государю: ты не должен, но добавляет: не должен почему? Ты не должен, потому что ты не можешь. Ты не можешь в смысле «ты бессилен», а почему ты бессилен, почему ты не можешь? Ты не можешь, потому что ты не знаешь, а не знаешь ты, потому что не можешь знать.

Перед нами, как мне кажется, очень важный момент: здесь политическая экономия может предстать критикой правительственных интересов. Слово «критика» я использую здесь в чистом и философском смысле этого термина.[35] В конце концов Кант, хотя и чуть позже, должен будет сказать человеку, что он не может познать всеобщность мира. Так вот, политическая экономия несколькими десятилетиями раньше сказала правителю: ты тоже не можешь познать всеобщность экономического процесса. В экономии нет государя. Нет экономического правителя. Мне кажется, перед нами один из чрезвычайно важных моментов в истории экономической мысли, но главное — в истории правительственных интересов. Отсутствие или невозможность экономического правителя: именно эта проблема встанет в конце концов перед всей Европой и перед всем миром с его правительственными практиками, экономическими проблемами, социализмом, планированием, экономикой благосостояния. Все возвращения, все повторения либеральной и

неолиберальной мысли в Европе XIX в. — это всегда некоторый способ поставить проблему невозможности существования экономического правителя. И наоборот, все, что появляется вновь, будь то планирование, дирижистская экономика, социализм, государственный социализм, оказывается проблемой знания того, можно ли преодолеть это проклятие, сформулированное политической экономией в самый момент ее появления, направленное на экономического правителя и в то же время являющееся условием существования самой политической экономии: не найдется ли, несмотря ни на что, такая точка, в которой можно было бы определить экономический суверенитет?

В менее подробном масштабе теория невидимой руки, как мне кажется, имеет своей важнейшей функцией дисквалификацию политического суверена. Если пробежаться по истории либерализма последних двух веков, взглянув на его непосредственный контекст, станет совершенно очевидно, что эта теория невидимой руки, понимаемая как устранение самой возможности экономического суверена, представляет собой отказ от полицейского государства, о котором я вам говорил в прошлом году.[36] Полицейское государство, или руководствующееся государственными интересами государство с присущей ему меркантилистской политикой, начиная с XVII в. вполне эксплицитно пыталось конституировать правителя, который больше не был бы сувереном права или зависел от права, но который был бы также правителем, способным администрировать — администрировать, понятное дело, не только субъектов, над которыми он осуществляет свой авторитет, но также и экономические процессы, которые могут разворачиваться между индивидами и между государствами. Полицейское государство, каким его хочет заставить функционировать одновременно волюнтаристская и меркантилистская политика государей, во всяком случае некоторых государей, таких как французский государь в XVII и XVIII вв., всецело основывается на постулате о том, что должен существовать экономический суверен. Политическая экономия составляет не просто опровержение меркантилистских доктрин или практик. Политическая экономия Адама Смита не просто показывает, что

меркантилизм возник в результате технической или теоретической ошибки. Политическая экономия Адама Смита, экономический либерализм, представляет собой дисквалификацию политического проекта всеобщности и, более радикально, дисквалификацию политических интересов, которые были бы индексированы в государстве и его суверенитете.

Впрочем, интересно поточнее разобраться с тем, чему же противостоит теория невидимой руки. Она противостоит как раз тому, что говорили почти в ту эпоху или во всяком случае за несколько лет до того физиократы, поскольку позиция физиократов с этой точки зрения весьма интересна и весьма парадоксальна. Физиократы во Франции предприняли исследования рынка и рыночных механизмов, те исследования, о которых я вам говорил уже много раз[37] и которые доказывали, что совершенно не нужно, чтобы правительство, государство, государь вмешивались в механику интересов, служащую причиной того, что товары отправляются туда, где им легче всего найти покупателей и наилучшую цену. Таким образом, физиократия была жесткой критикой всякой административной регламентации, посредством которой осуществлялась власть правителя над экономией. Однако физиократы тотчас добавляли: надо оставить свободными экономических агентов, но, во-первых, следует считать, что территория всей страны — это, в сущности, собственность государя, или во всяком случае государь — совладелец всех земель страны, а следовательно сопроизводитель; это позволяло им оправдать налог. Таким образом, государь в концепции физиократов оказывается, так сказать, адекватен и в принципе, и по праву, а впрочем, и фактически всему производству и всей экономической деятельности страны в качестве совладельца земель и сопроизводителя продукта.

Во-вторых, говорят физиократы, существование Экономической таблицы, позволяющей в точности проследить циркуляцию продукции и создание ренты, дает государю возможность точно знать, что происходит в его стране, а следовательно власть контролировать экономические процессы. То есть Экономическая таблица предлагает госуда-

рю принцип анализа как принцип прозрачности всеобщности экономического процесса. Так что если правитель оставляет свободными экономических агентов, так это потому, что он благодаря Экономической таблице знает одновременно и то, что происходит, и то, как это должно происходить. Таким образом, от имени этого всеобщего знания он может свободно и рационально принимать или, вернее, побуждаемый самим разумом, знанием и истиной, должен принять принцип свободы экономических агентов. Так что между знанием государя и свободой индивидов возникает вторая адеквация.

Наконец, в-третьих, хорошее правление — правление государя, который в точности знает все, что происходит в экономических процессах благодаря Экономической таблице, — должно разъяснять различным экономическим агентам, различным субъектам, как это происходит, почему это происходит и что они должны сделать, чтобы максимизировать свою выгоду. Должно существовать экономическое знание, которое будет распространяться как можно шире и как можно единообразнее среди всех субъектов, и это экономическое знание, принцип которого неизменно обнаружива-

ется в составленной физиократами Экономической таблице, будет общим для экономически образованных субъектов и для государя, способного учесть основные законы экономии. Так что на уровне знания, на уровне сознавания истины возникает третья адеквация между государем и процессами или по крайней мере экономическими агентами. Таким образом, как видите, у физиократов принцип *laissez-faire*, принцип необходимой свободы экономических агентов стремится к совпадению с существованием государя, с существованием более чем деспотичного государя, тем менее сдерживаемого традициями, обычаями, правилами, фундаментальными законами, так что его единственным законом оказывается закон очевидности, очевидности четко выверенного и четко выстроенного знания, которое он разделяет с экономическими агентами. Здесь, и только здесь нам поистине предстает идея прозрачности экономии и политики друг для друга. Здесь, и только здесь, можно найти идею о том, что надо предоставить экономическим агентам свободу

и что тогда мы достигнем политического суверенитета, проницаемого для взгляда и, так сказать, единообразного освещения очевидности, всеобщности экономического процесса.

Невидимая рука Адама Смита — это нечто прямо противоположное. Это критика той парадоксальной идеи всеобщей экономической свободы и абсолютного деспотизма, которую пытались отстаивать физиократы в своей теории экономической очевидности. Невидимая рука, напротив, основывается на принципе, согласно которому это невозможно, что здесь не может быть государя и деспотизма в физиократическом смысле этих терминов, потому что не может быть экономической очевидности. Так что, как видите, изначально — во всяком случае, если считать началом политической экономии теорию Адама Смита и либеральную теорию, — экономическая наука никогда не представлялась как то, что должно быть линией поведения, дополнительным планированием того, чем могла бы быть правительственная рациональность. Политическая экономия — это действительно наука, это действительно тип знания, это действительно способ познания, который должны принимать в расчет те, кто правит. Однако экономическая наука не может быть наукой правления, а правление не может иметь своим принципом, законом, правилом поведения или внутренней рациональности экономию. Экономия — это побочная наука по отношению к искусству управлять. Править нужно вместе с экономией, вместе с экономистами, прислушиваясь к экономистам, но не нужно и не подразумевается, невозможно, чтобы экономия стала самой правительственной рациональностью.

Мне кажется, именно так можно прокомментировать теорию невидимой руки в связи с проблемой правительственной рациональности или искусства управлять. В таком случае возникает вопрос: чем будет заниматься правительство и каким будет его объект, если не экономический процесс и не всеобщность экономического процесса по праву составляют его объект? Это, как мне представляется, теория гражданского общества, о которой попытаюсь рассказать вам в следующий раз.

Примечания

[1] *Mises L.* von. Human Action: A treatise on economics. Op. cit. et trad. cit. [см. с. 125—126 наст. изд., примеч. 11].

[2] См. в особенности: Journal of Political Economy. 1962. Vol. 70 (5) (octobre), вторую часть, координатором которой выступил Т. Шульц, полностью посвященную проблеме «investment in human beings».

[3] *Becker G.* Investment in human capital: a theoretical analysis. Art. cit. [см. с. 296—297 наст. изд., примеч. 19].

[4] *Kirzner I. M.* Rational action and economic theory // Journal of Political Economy. 1962. Vol. 70 (4) (août). P. 380—385.

[5] См. лекцию 14 марта 1979 г., с. 297, примеч. 23 и 25.

[6] См.: *Becker G.* Irrational behavior and economic theory // Journal of Political Economy. 1962. Vol. 70 (1) (février). P. 1—13; rééd. In The Economic Approach to Human Behavior. Op. cit. [с. 297 наст. изд., примеч. 23]. P. 153—168.

[7] Ibid. P. 167: «Even irrational decision units must accept reality and could not, for example, maintain a choice that was no longer within their opportunity set. And these sets are not fixed or dominated by erratic variations, but are systematically changed by different economic variables [...]» («Даже иррациональные моменты решения должны учитывать реальность и не могут, например, вести к выбору, находящемуся за пределами их возможностей. А эти возможности не фиксируются или определяются беспорядочными вариациями, но систематически изменяются различными экономическими переменными»).

[8] *Беррес Фредерик Скиннер* (1904—1990) — американский психолог и психолингвист, один из главных представителей бихевиористской школы. Профессор в Гарварде с 1947 г., он опубликовал многочисленные работы, среди которых: Science and Human Behavior. Londres: Collier-Macmillan, 1953; Verbal Behavior. Englewood Cliffs (NJ): Prentice Hall, 1957; Beyond Freedon and Dignity. New York: A.A. Knopf, 1971 (Par-delà la liberté et la dignité / Trad. A.-M. & M. Richelle. Paris: R. Laffont («Libertés 2000»), 1972). Выступая против использования статистики, он считал, что надо изучать индивидуальное поведение, «что предполагает, что мы осваиваем среду, в которой располагается субъект, и определяем адекватную реакцию. [...] Когда субъект перемещается в свою среду, некоторые из поступков претерпевают поддающиеся определению изменения (случайные усиления). Действенная реакция — это класс реакций, определяемых последствиями, которые он имеет в качестве

субъекта и обнаруживает в данной ситуации, независимо от каузальности стимулов ситуации. Строгий учет случайностей позволяет, таким образом, выделить реитерированные поступки» (Encyclopaedia Universalis. Thesaurus. 1975. Vol. 20. P. 1797). Его цель заключалась в том, чтобы «выделить существенные поступки, манипулируя программами усиления» (Ibid.).

[9] *Castel F., Castel R., Lovell A.* La Société psychiatrique avansée: le modèle américain. Paris: Grasset, 1979. Ch. 4. P. 138—139, о терапевтическом поведении (behavior modification), вдохновляемом принципами условного рефлекса (Павлов) и бихевиоризма (Торндайк, Скиннер) в психиатрической среде (см. также ch. 8, p. 299—302).

[10] См. об этом: *Demeulenaere P.* Homo œconomicus. Enquête sur la constitution d'un paradigme. Paris: PUF («Sociologies»), 1996.

[11] См. лекцию 21 февраля 1979 г., с. 231 наст. изд., примеч. 12.

[12] *Вильфредо Парето* (1848—1923) — итальянский социолог и экономист, преемник Уолраса в университете Лозанны. *Pareto V.* Manuel d'économie politique (1906) // Œuvres completes. T. VII. Genève: Droz, 1981. P. 7—18. См.: *Freund J.* Pareto, la théorie de l'équilibre. Paris: Seghers, 1974. P. 26—27 (*homo œconomicus* согласно Парето) — работа, которую читал М. Фуко.

[13] *Джон Локк* (1632—1704) — автор «Essay concerning Human Understanding», изданного у Е. Холта и Т. Бассета в 1690 г. (*Locke J.* Essai philosophique concernant l'entendement humain / Trad. P. Coste. 5e éd. 1755. Paris: Vrin, 1972; *Локк Дж.* Сочинения. В 3-х т. Т. 1. Опыт о человеческом разумении. М.: Мысль, 1985. С. 78—582).

[14] *Дэвид Юм* (1711—1776). *Hume D.* An Inquiry concerning the Principles of Morals (1751). Chicago: Open Court Pub. Co., 1921, appendice I: «Concerning moral sentiment» (*Hume D.* Enquête sur les principes de la morale / Trad. A. Leroy. Paris: Aubier, 1947. P. 154; *Юм Д.* Исследование о принципах морали. Приложение I: О моральном чувстве / Пер. В. С. Швырева // Сочинения. В 2-х т. М.: Мысль, 1996. Т. 2. С. 280—289). Я цитирую пассаж в переводе Э. Алеви (La Formation du radicalisme philosophique. Op. cit. T. 1 / Éd. 1995. P. 15: «Спросите какого-либо человека, *почему он занимается телесными упражнениями*, и он ответит: *потому что желаю сохранить свое здоровье*. Если вы затем будете допытываться, *почему он хочет быть здоровым*, он с готовностью ответит: *потому что болезненное состояние приносит страдания*. Если вы продолжите ваши изыскания и захотите узнать причину того, *почему он ненавидит страдания*, то он не сможет дать когда-либо какой-нибудь ответ. Это уже конечная цель, и она никогда не будет сведена к какой-то другой» (С. 288).

[15] См.: *Hume D.* A Treatise of Human Nature (1739—40) / Éd. L. A. Selby-Bigge. Oxford: Clarendon Press, 1896. Livre II. III[e] partie, section III: «Where a passion is neither founded on false suppositions, nor chuses means insufficient for the end, the understanding can neither justify nor condemn it. It's not contrary to reason to prefer the destruction of the whole world to the scratching of my finger» («Если же аффект не основан на ложных предположениях и не выбирает средств, недостаточных для достижения цели, наш ум не может ни оправдать, ни осудить его. Я ни в коей мере не вступлю в противоречие с разумом, если предпочту, чтобы весь мир был разрушен, тому, чтобы я поцарапал палец» (*Юм Д.* Трактат о человеческой природе, или попытка применить основанный на опыте метод рассуждения к моральным предметам / Пер. С. И. Церетели // Сочинения. Т. 1. С. 458.)) (Traité de la nature humain / Trad. A. Leroy. Paris: Aubier, 1946. T. 2. P. 252).

[16] *Уильям Блэкстоун* (1723—1780) — консервативный юрист, профессор права в Оксфорде, где в 1763—64 гг. его учеником был Бентам (которого потом, начиная с «Fragment on Government», считали «анти-Блэкстоуном» (Алеви)). Автор труда: Commentaries on the Laws of England. Oxford: Clarendon Press, 1765—1769, 4 vol. (Commentaires sur les lois anglaises / Trad. N. M. Champré. Paris: F. Didot, 1822, 6 vol.). См.: *Halévy E.* La Formation du radicalisme philosophique. T. 1 / Éd. 1995. P. 55—56; Mohamed el Shakankiri. La Philosophie juridique de Jeremy Bentham. Paris: LGDJ, 1970. P. 223—237.

[17] См.: Commentaries... Trad. citée. T. 1. P. 210—214 (резюме дает М. эль Шаканкири. Op. cit. P. 236—238). О смешении юридических и утилитарных принципов оправдания наказания у Блэкстоуна см. у Э. Алеви (Op. cit. T. 1. Éd. 1995. P. 101), который, со своей стороны, усматривает здесь отсутствие связности.

[18] *Hume D.* «Of the original contract»: «We are bound to obey our sovereign, it is said, because we have given a tacit promise to that purpose. But why are we bound to observe our promise? It must here be asserted, that the commerce and intercourse of mankind, which are of such mighty advantage, can have no security when men pay no regard to their engagements» («Утверждают, что мы обязаны повиноваться своему государю, потому что дали молчаливое обещание поступать так. Но почему мы обязаны выполнять свое обещание? Здесь следует заявить, что торговля и общение людей, которые приносят такую огромную выгоду, не могут быть обеспечены, если люди не уважают своих обязательств»). (*Hume D.* Quatre Essais politiques. Texte anglais et trad. franç. en regard / Éd. s. dir. G. Granel. Toulouse: Trans-Europ-Repress, 1981. P. 17; Le contrat primitif / Essais politiques / Trad. [s. n.]

de 1752. Paris: Vrin, 1972. P. 343; *Юм. Д.* О первоначальном договоре / Пер. Е. С. Лашутина // Сочинения. Т. 2. С. 669—670.) См. также: *Hume D.* A Treatise of Human Nature. Op. cit. Livre III, II[e] partie, section VIII (trad. citée, p. 660—672).

[19] Ibid. Trad. citée. Livre III, II[e] partie, section IX. P. 676: «[...] Если интерес впервые вызывает подчинение правительству, то долг повиновения должен прекратиться, как только интерес будет нарушен в очень сильной степени и в значительном количестве случаев» (*Юм Д.* Трактат о человеческой природе. С. 592).

[20] *Бернард Мандевиль* (1670—1733) — автор известной «Басни о пчелах» (Fable of the Bees, Or Private Vices, Public Benefits (1714). Londres: Wishart & Co., 1934 (La Fable des abeilles, ou les vices privés font le bien public / Trad. L. & P. Carrive. Paris: Vron, 1990; *Мандевиль Б.* Басня о пчелах, или пороки частных лиц — блага для общества. М.: Мысль, 1974).

[21] М. Фуко хочет сказать: «в прошлом году». См.: *Foucault M.* Sécurité, Territoire, Population. Op. cit. Лекции 18 января и 5 апреля 1978 г.

[22] *(Жан-Антуан-Никола, маркиз де Карита) Кондорсе* (1743—1794). Esquisse d'un tableau historique de progrès de l'esprit humain (1793). Neuvième époque. Paris: Garnier-Flammarion / Éd. 1988. P. 219: «Каким образом в этом удивительном разнообразии трудов и продуктов, потребностей и источников, в этом ужасном сцеплении интересов, которые связывают существование, благосостояние изолированного человека с общей системой обществ, которые делают его зависимым от всех случайностей природы, от всех политических событий, которые некоторым образом распространяют на весь земной шар его способность испытывать или удовольствия, или страдания, каким образом в этом кажущемся хаосе мы видим тем не менее в силу общего мирового морального закона, что усилия каждого для самого себя способствуют благосостоянию всех и, невзирая на внешнее столкновение противоположных интересов, общий интерес требует, чтобы каждый понимал бы свой собственный интерес и мог бы беспрепятственно его преследовать?» (Цит. по пер. И. А. Шапиро).

[23] *Smith A.* Recherches sur la nature et les causes de la richesse des nations. Op. cit. Livre IV, ch. 2. Éd. GF. T. 2. P. 42—43 (*Смит А.* Исследование о природе и причинах богатства народов. М.: Эксмо, 2007. С. 443).

[24] *Никола Мальбранш* (1638—1715) — философ и теолог, член Оратории. Фуко намекает здесь на «окказионалистский» тезис, или теорию «случайных причин», отстаиваемую Мальбраншем в многочисленных трудах (De la Recherche de la vérité (1674), XV[e] Éc-

laircissement // Œuvres. T. I. Paris: Gallimard («Bibliothèque de la Pléiade»), 1979. P. 969—1014; Entretiens sur la métaphysique et la religion (1688). VII // Œuvres. T. II, 1992. P. 777—800 и др.), согласно которой «Один лишь Бог есть подлинная причина. То, чему мы даем имя естественной причины, вовсе не является реальной и подлинной причиной, но лишь если мы стремимся сохранить это имя, случайной причиной, определяемой Богом вследствие общих законов, выказывающих такого рода действие, единственно действенных» (*Delbos V.* Malebranche et Main de Biran // Revue de métaphysique et de morale. 1916. P. 147—148). Этот вездесущий, хотя и сокрытый, Бог есть источник всякого движения и склонность к действию; «один только Бог настолько могуществен, чтобы действовать в нас и заставить нас чувствовать удовольствие и страдание: ибо для всякого человека, вопрошающего свой разум и презирающего показания своих чувств, очевидно, что не предметы, ощущаемые нами, действуют на самом деле в нас» (*Мальбранш Н.* Разыскания истины / Пер. Е. Б. Смеловой. СПб.: Наука, 1999. С. 357). О теологических источниках смитовой концепции «невидимой руки» см.: *Viner J.* The Role of Provodence in Social Order. Philadelphie: Independence Square, 1972. Ch. 3: «The invisible hand and the economic order».

[25] *Smith A.* Recherches sur la nature et les causes de la richesse des nations. P. 43: «...При этом общество не всегда страдает от того, что эта цель не входила в его намерения» (*Смит А.* Исследование о природе и причинах богатства народов. С. 443).

[26] Ibid. Адам Смит добавляет: «и немного надо слов, чтобы уговорить их отказаться от них» (Там же).

[27] Об этом необходимом «ослеплении» см. лекцию 21 февраля 1979 г., анализ правового государства и критики планирования по Хайеку.

[28] См.: *Smith A.* Op. cit. P. 43: «Преследуя свои собственные интересы, он часто более действительным образом служит интересам общества, чем тогда, когда сознательно стремится делать это» (*Смит А.* Исследование о природе и причинах богатства народов. С. 443).

[29] *Ferguson A.* An Essay on the History of Civil Society. Édimbourg: A. Kincaid & J. Bell, 1767; 2[e] éd. Corrigée. Londres: A. Millar & T. Cadell, 1768. Французский перевод «Essai sur l'histoire de la société civile», выполненный М. Бержье, появился в 1783 г. в «Librairie M[me] Yves Desaint», хотя текст был напечатан пятью годами ранее. Этот перевод, пересмотренный и исправленный, был переиздан с замечательным введением С. Готье в 1992 г. (PUF, «Leviathan»). Для удобства читателя мы даем ссылки на эти два издания.

[30] Op. cit. Trad. Desaint. T. 2. III[e] partie, ch. 4. P. 26—27 (фраза заканчивается словами: «и подрыв основ коммерции»); trad. Gautier, p. 240 (*Фергюсон А.* Опыт истории гражданского общества / Пер. *И. И. Мюрберг.* М.: РОССПЭН, 2000. С. 108).

[31] Ibid. Trad. Desaint. T. 2. III[e] partie, ch. 4. P. 27—28; trad. Gautier, p. 241: «[...] Жизнь показала, что частный интерес — лучший проводник коммерции и изобилия, чем все ухищрения государства. Одна нация вырабатывает изощренный план поселений на Североамериканском континенте, не слишком доверяя в этом вопросе торговцам и простым обывателям; другая предоставляет людям самим находить свое место в свободном государстве, самим о себе заботиться. Активная промышленность и ограниченные воззрения одной нации обеспечили появление жизнеспособного сообщества; а великие проекты другой так и остались проектами» (Там же).

[32] *Smith A.* Recherches sur la nature et les causes de la richesse des nations. IV, 9 / Éd. GF. T. 2. P. 308 (*Смит А.* Исследование о природе и причинах богатства народов. С. 647).

[33] Ibid. (Там же).

[34] Ibid. (Там же).

[35] О том, как М. Фуко в этот период интерпретирует кантовскую критику, см. его выступление предыдущего года «Что такое критика?», произнесенное 27 мая 1978 г. на заседании Французского философского общества (Qu'est-ce que la critique? // Bulletin de la Société Française de Philosophie. 1990. N 2. Avril-juin. P. 38—39 (в «Dits et Écrits» не воспроизводится)).

[36] См.: *Foucault M.* Sécurité, Territoire, Population. Op. cit. Лекции 29 марта и 5 апреля 1978 г.

[37] См. лекцию 17 января 1979 г. и лекции 18 января и 5 апреля 1978 г. в курсе «Безопасность, территория, население».

Лекция 4 апреля 1979 г.

Начала истории понятия homo œconomicus *(II). — Возвращение к проблеме ограничения суверенной власти экономической деятельностью. — Появление нового поля, соответствующего либеральному искусству управлять: гражданское общество. —* Homo œconomicus *и гражданское общество: неотделимые друг от друга элементы либеральной правительственной технологии. — Анализ понятия «гражданское общество: эволюция от Локка до Фергюсона. «Опыт истории гражданского общества» Фергюсона (1787). Четыре основные характеристики гражданского общества по Фергюсону: (1) оно есть историко-природная константа; (2) оно служит опорой спонтанному объединению индивидов. Парадокс экономической связи: (3) она служит постоянной матрицей политической власти; (4) она составляет двигатель истории. — Появление новой системы политической мысли. — Теоретические следствия: (a) вопрос об отношениях между государством и обществом. Немецкая, английская и французская проблематики; (b) регулирование осуществления власти: мудрость государя в рациональных расчетах управляемых. — Общее заключение.*

В прошлый раз я слегка коснулся темы *homo œconomicus*, пронизывающей всю экономическую мысль, а главным образом — либеральную мысль примерно с середины XVIII в. Я пытался показать вам, как *homo œconomicus* стал чем-то вроде незаменимого атома и неустранимого интереса. Я пытался показать вам, что этот атом интереса не был ни совпадающим, ни идентичным, ни сводимым к тому, что в юридической мысли составляет сущность субъекта права; что *homo œconomicus*

и субъект права, таким образом, не совпадают и что, наконец, *homo œconomicus* не интегрируется в ансамбль, частью которого он является согласно той же диалектике, по которой субъект права также является частью ансамбля, то есть субъект права интегрируется в ансамбль всех прочих субъектов права в силу диалектики отказа от своих прав или передачи своих прав кому-либо другому, тогда как *homo œconomicus* интегрируется в экономический ансамбль, частью которого он является, не посредством передачи, изъятия, диалектики отказа, но посредством диалектики спонтанного умножения.

Это отличие, эта неустранимость *homo œconomicus* по сравнению с субъектом права влечет за собой (и это я тоже пытался показать вам в прошлый раз) важное изменение, касающееся проблемы суверена и суверенного осуществления власти. Действительно, позиция суверена по отношению к *homo œconomicus* оказывается иной, нежели по отношению к субъекту права. Субъект права, по крайней мере в некоторых концепциях или исследованиях, выступает как то, что ограничивает осуществление суверенной власти. Тогда как *homo œconomicus* не удовлетворяется тем, что ограничивает власть суверена. В определенном смысле он ниспровергает его. Во имя чего он его ниспровергает? Во имя права, на которое суверен не должен посягать? Нет, вовсе не так. Он ниспровергает его, поскольку выявляет у суверена сущностную, фундаментальную и основополагающую неспособность господствовать над всеобщностью экономической сферы. Сталкиваясь с экономической сферой в ее целостности, суверен не может не быть слеп. Ансамбль экономических процессов не может не ускользать от взгляда, который желает быть взглядом центральным, тотализирующим и всеохватывающим. В классической концепции суверена, которую мы находим в Средние века и еще в XVII в., выше суверена стояло нечто непроницаемое — намерения Бога. Каким бы абсолютным ни был суверен, маркируемый как представитель Бога на земле, было еще нечто, что от него ускользало, — замыслы Провидения, и от этой судьбы ему было не уйти. Теперь ниже суверена есть нечто, что от него ускользает в неменьшей степени, и это уже не замыслы Провидения или законы Бога, это лабиринты и изгибы экономического поля. И потому, как мне кажется, появление понятия *homo*

œconomicus представляет собой своего рода политический вызов традиционной концепции суверена, концепции юридической, абсолютистской или какой-то иной.

В этом отношении, как мне представляется (я говорю очень абстрактно, очень схематично), возможны два решения. Действительно можно сказать: если *homo œconomicus*, если экономическая практика, если совокупность процессов производства и обмена ускользают от суверена, тогда мы должны, так сказать, географически ограничить суверенитет суверена и зафиксировать осуществление его власти чем-то вроде фронтира: суверен может касаться всего, кроме рынка. Если угодно, рынок как порто-франко, вольное пространство, свободное пространство в общем пространстве суверенитета. Это первая возможность. Вторая возможность — это то, что предлагают и отстаивают физиократы. Она заключается в том, чтобы сказать: суверен действительно должен считаться с рынком, но считаться с рынком — не значит, что на всем пространстве суверенитета будет существовать, так сказать, участок, которого он не сможет касаться, в который он не сможет проникнуть. Скорее, это значит, что в отношении рынка суверен должен осуществлять совсем иную власть, нежели власть политическая, которую он осуществлял до настоящего времени. По отношению к рынку и экономическому процессу он должен быть не только тем, кто в силу некоего права обладает абсолютной властью принимать решения. По отношению к рынку он должен стать тем же, кем является геометр по отношению к геометрическим реалиям, то есть он должен с ним считаться: он должен считаться с очевидностью, которая ставит его одновременно в положение пассивности по отношению к внутренней необходимости экономического процесса и в то же время надзора, так сказать, контроля, или, скорее, тотального и постоянного констатирования этого процесса. Иначе говоря, в перспективе физиократов государь должен в отношении экономического процесса перейти к политической активности или, если хотите, к теоретической пассивности. Для политической области, являющейся частью сферы его суверенитета, он должен стать кем-то вроде геометра. Первое решение заключается в том, чтобы ограничивать деятельность правителя всем тем, что не является рын-

ком, чтобы поддерживать саму форму правительственных интересов, форму государственных интересов, производя простое изъятие рыночного объекта, рыночной или экономической области. Второе решение, решение физиократов, состоит в том, чтобы поддерживать всю сферу деятельности правительства, изменив, однако, в самой основе природу правительственной деятельности, поскольку, изменяя коэффициент, изменяют индекс, и правительственная деятельность оказывается теоретической пассивностью, а кроме того, она оказывается очевидностью.

В действительности и то, и другое решение могло быть лишь своего рода теоретической и программной виртуальностью, не получившей дальнейшего развития в истории. Исходя из проблемы *homo œconomicus*, из специфичности *homo œconomicus* и его несводимости к сфере права началась [реорганизация],* переустройство правительственных интересов. Точнее говоря, проблема, поставленная симультанным и коррелятивным появлением проблематики рынка, ценового механизма, *homo œconomicus*, заключается в следующем: искусство управлять должно осуществляться в пространстве суверенитета (об этом говорит само государственное право), однако беда, злосчастье или проблема состоит в том, что пространство суверенитета оказывается обитаемым, населенным экономическими субъектами. Итак, экономические субъекты, если понимать вещи буквально и если уяснить несводимость экономического субъекта к субъекту права, требуют или невмешательства суверена, или вписывания рациональности суверена, его искусства управлять, в научную и спекулятивную рациональность. Как сделать так, чтобы суверен не отказывался ни от одной из областей своей деятельности, или чтобы суверен не превращался в геометра экономии — как тут быть? Юридическая теория неспособна принять в расчет эту проблему и решить вопрос: как управлять в пространстве суверенитета, населенном экономическими субъектами, поскольку юридическая теория — теория субъекта права, теория естественных прав, теория прав, уступаемых по договору, теория делегирований — не сочетается и не может сочетаться (как я

---

* М. Ф.: реэквилибрация.

пытался показать вам в прошлый раз) с механической идеей, с самим обозначением и характеристикой *homo œconomicus*. Следовательно, ни сам по себе рынок с присущей ему механикой, ни научная Таблица Кенэ, ни юридическое понятие договора не могут определить, очертить, в чем и как населяющие поле суверенитета люди экономические станут управляемыми.* Правимость (gouvernabilité), или руководимость (gouvernementabilité) — прошу прощения за эти варваризмы — тех индивидов, которые в качестве субъектов права населяют пространство суверенитета, но которые в этом пространстве являются в то же самое время людьми экономическими, их руководимость может обеспечиваться, и обеспечиваться эффективно, только появлением нового объекта, новой области, нового поля, которое есть, так сказать, коррелят искусства управлять и которое складывается в этот момент в зависимости от самой проблемы: субъект права — экономический субъект. Нужен новый план референции, и этот новый план референции, очевидно, не будет ни совокупностью субъектов права, ни рядом торговцев или экономических субъектов, или экономических деятелей. Эти индивиды, которые неизменно оказываются субъектами права, которые являются, к тому же, экономическими деятелями, но которые не могут быть «руководимы»** тем или иным рангом, управляются лишь в той мере, в какой можно определить новый ансамбль, охватывающий их одновременно в качестве субъектов права и в качестве экономических деятелей, но показывающий не просто связь или сочетание этих элементов, но целую серию других элементов, по отношению к которым субъект права или экономический субъект составляют частные аспекты, интегрируемые в той мере, в какой сами они являются частью сложного ансамбля. Этот новый ансамбль, как мне кажется, и есть то, что характеризует либеральное искусство управлять.

Скажем еще вот что: чтобы управление могло сохранить свой всеобщий характер на всем пространстве суверенитета,

---

* М. Фуко добавляет: я собирался сказать, правительство... да, управляемыми. Рукопись: «gouvernementables».

** Кавычки в рукописи.

чтобы ему не пришлось подчиняться научным и экономическим соображениям, в силу которых правитель должен был бы стать или геометром экономии, или служителем экономической науки, чтобы не нужно было разделять искусство управлять на две ветви — искусство управлять экономически и искусство управлять юридически — короче, чтобы сохранить одновременно единство искусства управлять и его распространенность на всю сферу суверенитета, чтобы искусство управлять сохранило свою специфичность и свою автономию по отношению к экономической науке, чтобы отвечать этим трем задачам, нужно придать искусству управлять референцию, область референции, новое поле референции, новую реальность, в которой осуществляется искусство управлять, и это новое поле референции, как мне представляется, есть гражданское общество.

Что такое гражданское общество? Мне кажется, что понятие гражданского общества, анализ гражданского общества, всех объектов или элементов, представляемых в рамках этого понятия, все это вместе взятое составляет попытку ответить на вопрос, который я только что упомянул: как управлять согласно правовым нормам пространством суверенитета, которое имеет несчастье или преимущество, как угодно, быть населенным экономическими субъектами? Как найти основание, рациональный принцип, чтобы значительно ограничить то право, то господство экономической науки, ту правительственную практику, которая должна заботиться об экономической и юридической разнородности? Таким образом, гражданское общество — это не философская идея. Гражданское общество — это, как мне кажется, концепт правительственной технологии или, скорее, коррелят технологии управления, мера рациональности которой должна юридически индексироваться экономией, понимаемой как процесс производства и обмена. Юридическая экономия управления, основанного на экономической экономии: вот проблема гражданского общества, и мне кажется, что гражданское общество, то, что очень скоро стали называть обществом, то, что в конце XVIII в. называли нацией, в общем, все это делает возможной правительственную практику, искусство управлять и рефлексию об этом искусстве управлять, одним словом, правитель-

ственную технологию, самоограничение, не нарушающее ни законов экономики, ни правовых принципов, не нарушающее также ни требований правительственной всеобщности, ни потребности в вездесущности правительства. Вездесущее правительство, от которого ничто не ускользает, правительство, подчиняющееся правовым нормам, и правительство, которое, тем не менее, считается со специфичностью экономии, именно такое правительство будет руководить гражданским обществом, нацией, обществом социальным.

Таким образом, *homo œconomicus* и гражданское общество — это два не[раздели]мых* элемента. *Homo œconomicus* — это, если угодно, абстрактная, идеальная и чисто экономическая сущность, которая населяет плотную, наполненную и сложную реальность гражданского общества. Гражданское общество — это конкретная общность, внутри которой, чтобы суметь надлежащим образом ими управлять, нужно разместить эти идеальные сущности, представляющие собой людей экономических. Так что *homo œconomicus* и гражданское общество являются частью одного и того же ансамбля, ансамбля технологии либерального руководства.

Вы знаете, сколь часто ссылаются на гражданское общество, и не только в последние годы. Начиная с XIX в. гражданское общество в философском дискурсе, а также в дискурсе политическом отсылает к реальности, которая навязывается, насаждается, воздвигается, вызывает возмущение и ускользает от правительства, от государства, от государственного аппарата или от институции. Мне кажется, нужно быть очень осторожным, подступаясь к той реальности, которую представляет собой гражданское общество. Это не историко-природная данность, которая служила бы, так сказать, цоколем, а также принципом оппозиции государству или политическим институциям. Гражданское общество — это не первичная и непосредственная реальность. Гражданское общество — это часть современной правительственной технологии. Когда мы говорим, что [оно] является частью, это не означает, что оно есть чистый и простой продукт или что у него нет реальности. С гражданским обществом все обстоит так же, как с безумием

---

* М. Ф.: несмешиваемых.

и сексуальностью. Это то, что я назвал бы реальностью взаимодействия, то есть то, что присутствует в игре и в отношениях власти и непрестанно от них ускользает, это то, что рождается, так сказать, в контакте управляющих и управляемых, те трансакциональные и транзиторные фигуры, которые не существуют постоянно, но которые тем не менее реальны и которые в одном случае можно назвать гражданским обществом, в другом — безумием, и т. п. Таким образом, гражданское общество — это элемент трансакциональной реальности в истории правительственных технологий, представляющейся мне коррелятом той самой формы правительственной технологии, которая называется либерализмом, то есть технологии правления, имеющей целью свое собственное самоограничение в той мере, в какой она связана со специфичностью экономических процессов.

Теперь два слова о гражданском обществе и о том, что его характеризует. Я хотел бы попытаться показать вам, по крайней мере общо, в принципе, поскольку наш курс подходит к концу, как понятие гражданского общества может разрешить проблемы, которые я только что попытался обозначить. Итак, первая досадно банальная ремарка сводится к тому, что понятие гражданского общества совершенно изменилось на протяжении XVIII в. Практически до начала второй половины XVIII в. термин «гражданское общество» устойчиво означал нечто совершенно отличное от того, что он будет означать впоследствии. Например, у Локка гражданское общество — это общество, характеризующееся юридическо-политической структурой. Это общество, это совокупность индивидов, связанных между собой юридической и политической связью. В этом значении понятие гражданского общества совершенно неотличимо от понятия политического общества. Глава 7 «Второго трактата о правлении» Локка называется «О политическом или гражданском обществе».[1] Таким образом, гражданское общество — это всегда общество, характеризующееся существованием юридической и политической связи. Начиная со второй половины XVIII в., и уже в ту эпоху задаются вопросами о политической экономии и о руководстве экономическими процессами и субъектами, которые или совершенно, или по крайней мере значительно изменяют по-

нятие гражданского общества и переиначивают его от начала до конца.

В действительности, конечно, на протяжении всей второй половины XVIII в. понятие гражданского общества предстает под разными углами и в разных вариациях. Чтобы упростить свою задачу, я хочу обратиться к тексту, который является текстом фундаментальным, к квазистатутному тексту в том, что касается характеристики гражданского общества. Это знаменитый текст Фергюсона, переведенный на французский язык в 1783 г. под названием «Опыт истории гражданского общества»,[2] текст близкий, очень близкий Адаму Смиту и «Опыту о богатстве народов», причем слово «народ» (nation) у Адама Смита имеет почти тот же смысл, что и «гражданское общество» у Фергюсона.[3] Перед нами политический коррелят, в конце концов коррелят термина «гражданское общество», того, что Адам Смит изучал в чисто экономических терминах. Гражданское общество Фергюсона — это конкретный элемент, конкретная общность, внутри которой функционируют экономические люди, коих пытался изучать Адам Смит. Я хотел бы отметить три или четыре существенные черты этого гражданского общества у Фергюсона: во-первых, гражданское общество как историко-природная константа; во-вторых, гражданское общество как принцип спонтанного объединения; в-третьих, гражданское общество как постоянная матрица политической власти; в-четвертых, гражданское общество как движущий элемент истории.

Во-первых, гражданское общество как историко-природная константа. Действительно, по Фергюсону, гражданское общество — это данность, за которой ничего не нужно искать. До гражданского общества ничего не существует, а если что-то и существует, говорит Фергюсон, так то, что для нас совершенно недоступно, настолько задвинуто в глубь веков, настолько далеко от того, что делает человека человеком, что невозможно знать то, что его породило, что могло иметь место до возникновения гражданского общества. Иначе говоря, бесполезно задавать вопрос о не-обществе. Это не-общество характеризовалось в терминах одиночества, изоляции, как если бы могли быть люди, рассеянные в природе и не имеющие какого бы то ни было союза, какого бы то ни было средства

общаться, это общество характеризовалось, как у Гоббса, непрерывной войной или войной всех против всех; как бы там ни было — одиночество или война всех против всех — все это отодвигается в некую мифическую глубь, которая никоим образом не служит исследованию явлений, имеющих отношение к нам. Человеческая история всегда существовала «для групп», говорит Фергюсон на 9-й странице первого тома своей «Истории гражданского общества».[4] На странице 20 он говорит: «общество столь же древне, как индивид», — и столь же напрасно было бы воображать людей, которые не разговаривают между собой, как воображать людей, у которых не было бы ног или рук.[5] Язык, коммуникация, а следовательно некоторые постоянные отношения между людьми совершенно типичны для индивида и для общества, поскольку индивид и общество не могут существовать друг без друга. Короче, мы никогда не достигнем такого момента, или во всяком случае бесполезно пытаться вообразить момент перехода от природы к истории, от не-общества к обществу. Природа человеческой природы состоит в том, чтобы быть исторической, поскольку природа человеческой природы состоит в том, чтобы быть общественной. Нет такой человеческой природы, которая существовала бы отдельно от общества. Фергюсон указывает на разновидность мифа, методологическую утопию, всплывшую в XVIII в.: давайте возьмем, говорит он, детей, которым позволили бы воспитываться вне всякой формы общества. Предположим, что этих детей поместили в пустыню, предоставив их в столь юном возрасте самим себе, позволив им развиваться в совершенном одиночестве, без наставлений и без руководства, так вот, если бы мы вернулись пять, десять, пятнадцать лет спустя, при условии, конечно, что они не умрут, что бы мы увидели? «Мы увидим, что члены нашего маленького общества едят, спят, держатся вместе, играют вместе, вырабатывают язык, ссорятся, расходятся», заводят дружбу, забывают ради других о собственной безопасности.[6] Таким образом, социальная связь формируется спонтанно. Не существует специфического действия, которое могло бы ее установить или основать. Нельзя учредить или само-учредить общество. Общество есть в любом случае. Социальная связь не имеет предыстории. Сказать, что у нее нет предыстории — значит сказать, что она од-

новременно постоянна и необходима. Постоянно значит, что, как бы далеко мы ни углубились в историю человечества, мы обнаружим не только общество, но и природу. То есть естественное состояние, то естественное состояние, которое философы искали в первобытной реальности или в мифе, не смещается по отношению к нам [ищущим его], мы можем обнаружить его даже здесь. Во Франции, говорит Фергюсон, естественное состояние обнаруживается так же, как и на мысе Доброй Надежды, поскольку естественное состояние требует, чтобы человек пришел к общественному состоянию.[7] Общество, даже изучаемое в своих наиболее сложных, наиболее развитых формах, общественное состояние в своей максимальной плотности всегда скажет нам, что такое естественное состояние, поскольку естественное состояние требует жизни в обществе. Таким образом, постоянство естественного состояния составляет необходимую черту, так же как общественное состояние для природы, то есть естественное состояние никогда не может выступать состоянием нагим и простым. Фергюсон говорит: «И у дикарей, и у цивилизованных граждан найдется множество человеческих изобретений».[8] И добавляет фразу, весьма характерную, поскольку она выступает не исходным пунктом, но пунктом, сигнализирующим о теоретической возможности антропологии: «Если противоестествен дворец, то не менее противоестественна и хижина».[9] То есть хижина — это не выражение чего-то естественного и до-социального. Хижина не ближе к природе, чем дворец. Это простое распределение, иная форма необходимого смешения общественного и естественного, поскольку общественное является частью естественного и поскольку естественное всегда переносится общественным. Таким образом, перед нами принцип, согласно которому гражданское общество есть для человечества историко-природная константа.

Во-вторых, гражданское общество укрепляет спонтанное объединение индивидов. Спонтанное объединение возвращает нас к тому, о чем я только что говорил: никакого явного договора, никакого произвольного союза, никакого отказа от прав, никакой передачи естественных прав кому-либо другому; короче, никакого установления суверенитета каким-либо пактом о подчинении. Действительно, если гражданское общество эф-

фективно производит объединение, оно оказывается всего лишь итогом индивидуальных удовлетворений в самой общественной связи. «Как может,— говорит Фергюсон,— благоденствовать общество, если каждый из составляющих его членов является несчастным?»[10] Иначе говоря, существует взаимодействие между элементами и целым. В сущности, нельзя сказать, нельзя вообразить, нельзя представить, чтобы индивид был счастлив, если целое, частью которого он является, несчастно. Более того, нельзя даже в точности оценить качество индивида, его достоинство, его добродетель, нельзя оценить его коэффициент добра или зла, если не думать о взаимности или во всяком случае не думать об этом, исходя из того, какое место он занимает в целом, из той роли, какую он играет, и результатов, которые он производит. Каждый элемент гражданского общества оценивается благом, которое он может произвести или обеспечить для целого. О человеке можно сказать, насколько он хорош, насколько он ценен в той и только в той мере, в какой он приносит благо тому месту, которое занимает, и где, говорит Фергюсон, «производит результат, который должен производить».[11] Однако достоинство не является абсолютом, достоинство свидетельствует не о целом и только о целом, но о благе каждого из членов целого: «Так же верно, что главной целью гражданского общества является счастье индивидов».[12]

Как видите, это не механизм и не система обмена правами. Это механизм непосредственного умножения, принимающий ту же форму, что и непосредственное увеличение выгоды в чисто экономической механике интересов. Форма та же, но элементы и содержание другие. А гражданское общество может быть одновременно поддержкой и экономического процесса, и экономических связей, выходя за их пределы и не сводясь к ним. Ведь в гражданском обществе одних людей с другими соединяет механика, аналогичная механике интересов, но не интересы в строгом смысле, не экономические интересы. Гражданское общество — это гораздо больше, чем ассоциация различных экономических субъектов, хотя форма, в какой существует эта связь, такова, что экономические субъекты могут найти в ней свое место, а экономический эгоизм может играть свою роль. На самом деле то, что связывает ин-

дивидов в гражданском обществе, — это не максимум выгоды при обмене, а ряд серий, которые можно было бы назвать «бескорыстными интересами». Как это возможно? А вот так, говорит Фергюсон: то, что связывает индивидов в гражданском обществе, — это инстинкт, чувство, симпатия, порывы благожелательности индивидов друг к другу, это сострадание, а также отвращение к другим индивидам, однако при случае это удовольствие помочь другим индивидам, попавшим в беду.[13] Таким образом, это первое различие между связью, объединяющей экономических субъектов, и индивидами, являющимися частью гражданского общества: целому присущ не-эгоистичный интерес, игра не-эгоистичных интересов, игра бескорыстных интересов, куда более широкая, чем эгоизм как таковой.

А второе столь же важное отличие, исходящее из того, что приводит в действие элементы, о которых я только что говорил, состоит в том, что связь между экономическими субъектами не локальная. Анализ рынка доказывает, что на всей поверхности земного шара умножение доходов происходит из-за спонтанного объединения эгоизмов. В едином пространстве рынка не существует локализации, не существует территориальности, не существует сингулярной перегруппировки. Зато в гражданском обществе связи симпатии и доброжелательности выступают коррелятами противоположных связей, о которых я говорил, — отвращения, неприятия, недоброжелательства по отношению к другим, то есть гражданское общество всегда представляется как ограниченная, сингулярная совокупность среди других совокупностей. Гражданское общество — это не человечество в целом; это совокупности того или иного уровня, объединяющие индивидов в определенное количество ядер. Гражданское общество, говорит Фергюсон, делает индивида «членом одного какого-то племени или сообщества».[14] Гражданское общество — не гуманитарное, оно коммунитарное. И именно гражданское общество возникает в семье, в деревне, в корпорации, что позволяет подняться на более высокие уровни вплоть до нации в смысле Адама Смита, [в том смысле, который ей придают]* почти в ту же эпоху во Фран-

---

* М. Ф.: в каком его используют.

ции. Нация — это одна из главных, [но] лишь одна из возможных форм гражданского общества.

При таком положении дел в отношении связей бескорыстного интереса, принимающих форму локальных единств и различных уровней,* связь экономического интереса оказывается в двусмысленном положении. С одной стороны, экономическая связь, экономический процесс, связывающий друг с другом экономических субъектов, принимает форму непосредственного преумножения, а не отказа [от] прав. Таким образом, формально гражданское общество — это то, что становится средой экономической связи. Однако экономическая связь в гражданском обществе может играть весьма любопытную роль, поскольку, с одной стороны, она связывает индивидов между собой посредством спонтанной конвергенции интересов, но в то же время оказывается принципом разделения. Принципом разделения, поскольку по отношению к активным связям, каковые есть связи сострадания, благожелательности, любви к ближнему, чувства общности индивидов друг с другом, экономическая связь (так сказать, маркируя, подчеркивая, делая более резким эгоистический интерес индивидов) тяготеет к тому, чтобы постоянно разделять то, что связывает спонтанная связь гражданского общества. Иначе говоря, экономическая связь, имеющая место в гражданском обществе, есть не что иное, как то, что определенным образом связывает, но другой своей стороной разделяет. На странице 50 первого тома своей «Истории гражданского общества» Фергюсон говорит: никогда связь между индивидами не бывает более крепка, чем когда индивид не обнаруживает непосредственного интереса; никогда связь между индивидами не бывает более крепка, чем когда речь идет о том, чтобы, к примеру, пожертвовать собой, или помочь другу, или о том, чтобы предпочесть остаться в своем племени скорее, чем искать в другом месте изобилие и безопасность.[15] Это чрезвычайно интересно, поскольку полностью отвечает тому, как определяется экономическая рациональность. Как только экономический субъект увидит, что может извлечь выгоду, к примеру, покупая зерно у Канады и

---

* М. Фуко добавляет: которые (имеют характер?) коммунитарных связей [*неразборчиво*].

перепродавая его Германии, он делает это. Он делает это потому, что это выгодно, и это приносит пользу всем. Зато связи гражданского общества служат причиной того, что люди предпочитают оставаться в своем обществе, даже если находят изобилие и безопасность в другом. Таким образом, «в коммерческом государстве... можно ожидать от индивидов полной заинтересованности в сохранении своей страны.* Но именно здесь, как нигде, можно встретить людей уединенных и обособившихся: людей, нашедших некий объект, составляющий предмет конкуренции со своими же собратьями».[16] Следовательно, чем ближе мы к экономическому государству, тем больше, как ни парадоксально, разрушается конститутивная связь и тем больше людей обособляются экономической связью со всеми и каждым. Такова вторая черта гражданского общества: спонтанное объединение, в котором находит себе место экономическая связь, но которому экономическая связь непрестанно угрожает.

Третья черта гражданского общества состоит в том, что оно служит постоянной матрицей для политической власти. В самом деле, как власть может перейти к гражданскому обществу, которое, так сказать, играет спонтанную роль общественного договора, *pactum unionis*, оказывающегося эквивалентом того, что юристы называют *pactum subjectionis*, договором подчинения, обязывающим индивидов подчиняться кому-то другому? Итак, для того чтобы в гражданском обществе появилась и действовала политическая власть, не требуется, чтобы *pactum unionis* связывал индивидов в гражданском обществе, не нужно *pactum subjectionis*, не нужно отказа от некоторых прав и утверждения суверенитета кого-то другого. Как происходит спонтанное формирование власти? Просто в силу фактической связи, связующей между собой конкретных и различных индивидов. Действительно, различия между индивидами переводятся в определенное количество различных ролей, которые они будут играть в обществе, различных задач, которые они

---

* Здесь М. Фуко прерывается, не дочитав («...ладно, в конце концов, текст говорит примерно это, как в немного испорченных средневековых рукописях»), однако приводимая им в первом варианте цитата верна («можно ожидать от индивидов», а не «ожидается»).

примут на себя. Эти спонтанные различия непосредственно приводят к разделению труда, и не только в производстве, но и в принятии группой общих решений. Одни дают советы, другие устанавливают порядки. Одни размышляют, другие подчиняются. «Еще до всяких политических институтов, — говорит Фергюсон, — люди различаются сами по себе огромным разнообразием талантов. Стоит свести их вместе — и каждый сам найдет подходящее ему место. Порицания или одобрения они выносят коллективом: для совещаний и раздумий они собираются в более однородные партии; выбирая или отстраняя от должности представителей властей, они действуют в индивидуальном порядке».[17] То есть, решение группы выступает в гражданском обществе как решение единства, но, если присмотреться, как это происходит, делается это, говорит он, «более однородными партиями». В качестве индивидов одни получили превосходство, а другие позволили оказывать на них влияние. Следовательно, факт власти предшествует учреждающему, оправдывающему, ограничивающему или усиливающему эту власть праву. Прежде чем власть стала устанавливать свои правила, прежде чем она стала делегироваться, прежде чем она утвердилась юридически, она уже существовала. «Мы идем за лидером еще до того, как под его притязания на власть будут подведены основания; еще до того, как будет подобрана форма его выборов. И только совершив множество ошибок применительно к способностям магистрата [или]* его подданных, человечество начинает думать о подчинении самого правления определенным правилам».[18] Юридическая структура власти появляется всегда потом, задним числом, вслед за фактом самой власти.** [Таким образом,] нельзя сказать: люди были обособленны, они решили создать власть, вот откуда общественное состояние. Именно такой анализ предпринимали в XVII и начале XVIII вв. Нельзя сказать также: люди объединяются в общество и, однажды объединившись в общество, [ду-

---

* М. Ф. Оригинальный текст перевода Фергюсона (p. 174) говорит: «и».

** М. Фуко добавляет: «В итоге гражданское общество вырабатывает свою собственную власть, которая не есть ни ее первое условие, ни дополнение». Эта фраза повторяется немного ниже.

мают]: было бы хорошо, или удобно, или полезно, установить власть и регулировать ее модальности. На самом деле гражданское общество постоянно и изначально вырабатывает власть, которая не является ни его условием, ни его дополнением. «Система подчинения, — говорит Фергюсон, — столь же необходима людям, сколь и само общество».[19] Итак, вспомните, что утверждал Фергюсон: нельзя помыслить человека без общества. Нельзя помыслить человека без языка и общения с другими, как нельзя помыслить человека без ног или рук. Таким образом, человек, его природа, его ноги, его руки, его язык, другие, общение, общество, власть — все это составляет единый ансамбль, который и характеризует гражданское общество.

Четвертая характеристика заключается в том, что гражданское общество составляет то, что можно было бы назвать, используя несколько устаревшее и в определенной степени дискредитированное сегодня слово (но в котором, как мне кажется, можно обрести первую точку приложения), двигателем истории. Это двигатель истории, поскольку, если взять два основания, о которых я только что говорил (с одной стороны, гражданское общество есть спонтанное объединение и подчинение, а [с другой стороны,] в этом спонтанном объединении и подчинении присутствует элемент, совершенно естественно занимающий свое место и при этом выступающий принципом разделения, а именно, эгоизм *homo œconomicus*, экономических процессов), перед нами [прежде всего] окажется та идея, что гражданское общество есть спонтанное объединение и подчинение, принцип, тема, идея или, если хотите, гипотеза, согласно которой мы имеем дело с устойчивым равновесием. В конце концов, поскольку люди спонтанно устанавливают между собой связи доброжелательства, поскольку они формируют общности, поскольку в этих общностях подчинение устанавливается непосредственным согласием, они должны быть недвижны, а следовательно все должно оставаться на своих местах. Итак, действительно, в этом первом аспекте появляется некоторое количество общностей — я бы сказал: функциональное равновесие целого. Описывая дикарей Северной Америки, или, скорее, обобщая наблюдения над дикарями Северной Америки, Фергюсон на странице 237 того же текста говорит: «Таким образом, не имея какой-либо установившейся

формы правления или союзных связей, руководствуясь скорее голосом инстинкта, нежели изобретательностью разума [семьи этих дикарей Северной Америки] вели себя с подобающими народам согласием и силой. Иностранцы, которым не удавалось узнать, кто здесь владыка, [...] всегда находили консультативный совет, с которым они могли вести переговоры [...]. Безо всякой полиции или принудительных законов в их обществе обеспечивался порядок».[20] Итак, спонтанная связь и спонтанное равновесие.

Однако, поскольку это связь в такой же мере спонтанная, сколь и разрушительная, самим фактом экономической механики равновесие так же спонтанно разрушается, как спонтанно создается. Вскоре Фергюсон обратится к чистому и простому эгоизму. «Например, — говорит он, — первый, кто последовал за вождем, не знал, что дал пример постоянной субординации, прикрываясь которой наглец будет требовать от него службы, а жадный человек* получит повод захватывать его собственность».[21] Таким образом, механизм разделения — это просто эгоизм власти. Однако чаще и постояннее Фергюсон задействует принцип разрушения спонтанного равновесия гражданского общества сугубо экономическим интересом и тот способ, каким формируется экономический эгоизм. И здесь (я отсылаю вас к общеизвестным текстам) Фергюсон объясняет, что гражданское общество с необходимостью проходит через три фазы: фазу дикости, фазу варварства и фазу цивилизации.[22] Чем отличается дикость? Прежде всего определенной формой реализации, эффектуации интересов, или экономическим эгоизмом. Что такое дикое общество? Это общество охотников, рыбаков, общество натурального производства, без аграрокультуры, без разведения скота как таковых. Таким образом, это общество без собственности, обнаруживающее некоторые элементы, некоторые начатки подчинения и правления.[23] А затем экономический эгоизм, игра экономических интересов, желание иметь свою собственную долю ведут от дикости к варварскому обществу. Тут сразу возникают (я хотел сказать: новые производственные отношения) новые экономико-политические институции: стада, принадлежащие индивидам, паст-

---

* М. Ф. (немного изменяет цитату): жадному человеку.

бища, принадлежащие либо сообществам, либо индивидам. Начинается становление частного общества, но такого частного общества, которое еще не гарантировано законами, и гражданское общество в этот момент принимает форму отношений патрона к клиенту, хозяина к слуге, семьи к рабу и т. п.[24] Существует, как видите, сугубо экономическая механика, показывающая, как, исходя из гражданского общества, исходя из экономической игры, которую гражданское общество сделало возможной и, так сказать, пригрело на своей груди, происходит целый ряд исторических трансформаций. Принцип диссоциативной ассоциации, а также принцип исторической трансформации. То, что придает единство социальной сети, есть в то же время то, что задействует принцип исторической трансформации и постоянного разрывания социальной сети.

В теории *homo œconomicus*, о которой я говорил вам в прошлый раз, коллективный интерес, как вы [помните], рождался из по необходимости слепой игры между различными эгоистическими интересами. Теперь ту же схему тотальности, всеобщности ослепления каждого, мы обнаруживаем в отношении истории. История человечества в своих общих результатах, в своей непрерывности, в своих основных и рекуррентных, дических, варварских, цивилизованных и т. п. формах есть не что иное, как вполне логичная, поддающаяся дешифровке и идентификации форма, серия форм, порождаемых слепыми инициативами, эгоистическими интересами и расчетами, в которых индивиды только и делают, что ссылаются на самих себя. Помножьте эти расчеты на время, заставьте их действовать, говорят экономисты, и вы получите все бóльшую и бóльшую выгоду для общества в целом; Фергюсон, обращаясь к гражданскому обществу, говорит: постоянная трансформация гражданского общества. Я хочу сказать не то, что гражданское общество входит в историю, потому что оно всегда уже там, но что двигатель истории пребывает в гражданском обществе. Эгоистический интерес, а следовательно экономическая игра вводит в гражданское общество то измерение, в котором непрестанно оказывается представлена история, тот процесс, которым гражданское общество фатально и с необходимостью вовлекается в историю. «Люди [говорит он на странице 336 первого тома. — *М. Ф.*], следуя мгновенному побуждению, пы-

таются устранить испытываемые ими неудобства и доставить себе преимущества, представляющиеся им достижимыми, приходят к тому, чего они не могли предусмотреть [...]. Как и другие животные, они следуют своей природе, не замечая целей. [...] Подобно ветрам, налетающим невесть откуда и дующим, куда им захочется, общественные формы происходят из некоего туманного далека».[25] Короче, механизмы, непрестанно создающие гражданское общество, и те, что постоянно порождают историю в ее общих формах, одни и те же.

Подобное исследование, представляющее собой лишь один пример среди многочисленных исследований гражданского общества в последние пятьдесят лет XVIII в., или во всяком случае в конце XVIII—начале XIX в., представляется мне ключевым моментом, поскольку, [во-первых,] мы видим, как открывается область социальных отношений, связей между индивидами, составляющими, вслед за сугубо экономическими связями, общественные и политические единства, не будучи тем не менее связями юридическими: ни чисто экономическими, ни чисто юридическими, накладывающимися на структуры договора, игру предоставляемых, делегируемых, отчуждаемых прав, отличных по природе или по форме от экономической игры, — все это характеризует гражданское общество. Во-вторых, гражданское общество — это артикуляция истории в социальной связи. История не выступает чистым и простым логическим развитием, продолжением данной изначально юридической структуры. Она не является также принципом дегенерации, выступающим причиной того, что по отношению к естественному состоянию или к данной в принципе ситуации негативные явления затуманивают изначальную прозрачность. Существует постоянное порождение истории без дегенерации, порождение, являющееся не историко-логическим продолжением, но постоянным формированием новой социальной сети, новых общественных отношений, а значит новых типов правления. Наконец, в-третьих, гражданское общество позволяет обозначить и показать сложные внутренние [отношения]* между социальной связью и властными отношениями в форме правления. Эти три эле-

---

* М.Ф.: отношение.

мента (открытие области общественных и не-юридических отношений, артикуляция истории в общественной связи в форме, не являющейся формой дегенерации, и органическая принадлежность правления к общественной связи и общественная связь в форме власти) — вот что демаркирует понятие гражданского общества (1) у Гоббса, (2) у Руссо и (3) у Монтескье. Мы оказываемся в совсем иной системе политической мысли, и, мне кажется, эта мысль или во всяком случае политическое мышление проникает в новую технологию управления, или в новую проблему, поставленную техниками и технологиями управления, появлением экономической проблемы.

Теперь я хотел бы двигаться очень быстро — чтобы закончить, а скорее, чтобы поставить ряд проблем. С одной стороны, понятие гражданского общества порождает ряд вопросов, проблем, концептов, возможных исследований, позволяющих устранить теоретическую и юридическую проблему изначальной конституции общества. Это, конечно же, не означает, что юридическая проблема осуществления власти в гражданском обществе не ставится, но ставится она, так сказать, наоборот. В XVII и XVIII вв. речь шла о том, чтобы выяснить, как можно в основании общества обнаружить юридическую форму, которая заранее, в самом зародыше общества, ограничивала бы осуществление власти. Здесь мы, напротив, имеем дело с обществом, в котором существуют феномены подчинения, а значит феномены власти, и проблема теперь состоит лишь в том, чтобы выяснить, как регулировать власть, как ограничить ее в обществе, где уже действует подчинение. Таким образом, задаются вопросом, который будет преследовать практически всю политическую мысль с конца XVIII в. до наших дней: [каковы] отношения гражданского общества с государством. Проблема, которая, очевидно, не могла быть сформулирована таким образом до второй половины XVIII в. и которая теперь представляется следующим образом: возьмем то, что уже дано и что является обществом. Что может сделать и как может функционировать по отношению к нему государство со своими юридической структурой и институциональным аппаратом?

Отсюда целая серия возможных решений, которые я просто упомяну.[26] Итак, государство появляется как одно из измерений и форм гражданского общества. Эту тему в конце XVIII в. развивал Юнг-Штиллинг, который говорил: у общества три оси — семья, дом или поместье, а затем государство.[27] Так появляется анализ, который можно назвать генетическим и историческим, какой вы найдете, например, у Бензена, который говорит: гражданское общество следует мыслить как успешно прошедшее через три стадии — стадию семейного общества, стадию гражданского общества в узком смысле и стадию государственного, этатистского общества.[28] Есть еще типологический анализ, который вы найдете у Шлоцера, который говорит: можно выделить много типов общества. Не может быть общества без общества семейного; это абсолютно универсальный тип, устойчивый на протяжении долгого времени на всем пространстве и во всем географическом мире. А затем, говорит он, в настоящее время существует тип общества, который есть общество гражданское, присутствующее во всех известных на сегодняшний день формах человеческих общностей. Что до государства, то оно характерно для некоторые известных нам форм гражданского общества.[29] Я уж не говорю о Гегеле, для которого государство выступает самосознанием и этическим осуществлением гражданского общества.[30]

Ладно, у меня нет времени на этом останавливаться. Скажу только, что в Германии в силу целой кучи причин, о которых нетрудно догадаться, анализ гражданского общества будет предпринят именно в терминах оппозиции и отношений [между] гражданским обществом и государством. Гражданское общество всегда изучают в зависимости от его способности поддерживать государство, его изучают постольку, поскольку государство в отношении гражданского общества оказывается либо противоречащим элементом, либо, напротив, показательным элементом и в конце концов осуществленной истиной. В Англии анализ гражданского общества, также по причинам, о которых легко догадаться, будет проводиться не в терминах государства, поскольку государство для Англии никогда не было проблемой, но в терминах правительства. То есть проблема будет состоять в том, чтобы узнать: если верно, что гражданское общество — это

всеобщая данность, если верно, что оно обеспечивает свое собственное объединение, если верно, что в гражданском обществе существует что-то вроде внутреннего управления, нужно ли впридачу еще и правительство? Действительно ли гражданскому обществу нужно правительство? Именно этот замечательный вопрос в конце XVIII в. поставит Пейн, и тем не менее он будет преследовать английскую политику по крайней мере до XX в.: в конце концов не может ли общество существовать без правительства или во всяком случае без иного правительства, чем то, что создается спонтанно и не нуждаясь в институциях, которые, так сказать, предпринимают попечение о гражданском обществе и навязывают ему условия, которых оно не приемлет? Вопрос Пейна: «Не надо, — говорит он, — путать общество и правительство. Общество создается нашими потребностями, но правительство создается нашими слабостями. [...] Общество создает связи, правительство порождает разногласия. Общество — это патрон [в английском смысле термина, защитник. — *М. Ф.*], правительство — это каратель. При любых обстоятельствах общество — это благо. Правительство в лучшем случае является неизбежным злом, в худшем оно невыносимо».[31] Во Франции проблема не ставится ни в английских, ни в немецких терминах.*

Здесь ставится вовсе не проблема «отношения правительства к гражданскому обществу» или «отношения государства к гражданскому обществу». В силу хорошо известных вам по-

---

* Здесь М. Фуко отступает от рукописи (p. 20—21):

«Во Франции проблема вскоре была вписана в споры о необходимости Декларации о правах человека.

Права человека: комплексное понятие, проводящее и юридическую идею естественного права, согласно которой политический договор имеет своей функцией защищать [p. 21] и идею тех условий, которые общество навязывает государству, чтобы позволить ему существовать и соблюдать законность.

Практика Прав человека опирается на концепцию демократии. Чему либералы, по английской схеме, противопоставляют идею, согласно которой права — это то, что остается, когда делимитирована деятельность правительства; они не фиксируются как права "до появления политики", но получаются, сохраняются, расширяются взаимодействиями, гарантиями, избирательной системой, мнением и т. п.».

литических и исторических причин проблема здесь ставится иначе. Здесь до середины XIX в.[32] поднимается проблема третьего сословия как проблема политическая, теоретическая, историческая: идея буржуазии как направляющего элемента и носителя истории Франции со Средних веков до XIX в. — это, в сущности, способ поставить проблему гражданского общества и правительства, отношений власти и гражданского общества. Немецкие философы, политические исследователи в Англии, историки во Франции, как мне кажется, всегда раскрывали проблему гражданского общества как главную политическую проблему и политическую теорию.

Другой аспект (и на нем я закончу курс этого года) состоит, конечно же, в том, что в идее гражданского общества перед нами предстает перераспределение или своего рода рецентрация/децентрация тех правительственных интересов, о которых я пытался рассказать вам еще в прошлом году. Если хотите, давайте вернемся к общей проблеме. Мне кажется, что начиная с XVI в., а впрочем, уже в Средние века возникает [следующий] вопрос: как может тот, кто управляет, регулировать и вымерять осуществление власти, ту весьма особенную практику, от которой люди не могут уклониться или уклоняются лишь временами, мгновениями, те сингулярные процессы и индивидуальные или коллективные действия, то осуществление власти, которое ставит перед юристом и историком целый ряд проблем? Итак, давайте скажем самым общим, самым обобщающим образом, что в течение долгого времени идея регулирования, измерения, а следовательно ограничения бесконечного осуществления власти требовала от того, кто управляет, мудрости. Мудрость — таков был старый ответ. Мудрость — значит управление в соответствии с порядком вещей. Это значит управлять согласно знанию о человеческих и божественных законах. Это значит управлять согласно предписанному Богом. Это значит управлять согласно тому, что может нам предписывать общий порядок божественных и человеческих сущностей. Иначе говоря, когда пытались определить то, в чем должен быть мудрым правитель, когда пытались выяснить, в чем должна состоять мудрость правителя, по сути, пытались регулировать правление

истиной. Истина религиозного текста, истина откровения, истина мирового порядка — именно это должно было быть принципом регламентации, скорее даже, регулирования осуществления власти.

Начиная с XVI—XVII вв. (что я пытался показать вам в прошлом году) регулирование осуществления власти, как мне представляется, производится согласно не мудрости, но расчету — расчету сил, отношений, богатств, факторов власти. То есть больше не пытаются регламентировать правление мудростью, его пытаются регламентировать рациональностью. Регламентировать правление рациональностью — это, как мне кажется, то, что можно было бы назвать современными формами правительственной технологии. Итак, регулирование посредством рациональности принимает (здесь я значительно схематизирую) две последовательные формы. В этой рациональности, согласно которой регламентируется власть, речь может идти о рациональности государства, понимаемого как суверенная индивидуальность. Правительственная рациональность в это время — в эпоху правительственных интересов — есть рациональность самого суверена, рациональность того, кто может сказать «государство — это я». Что, очевидно, ставит ряд проблем. Прежде всего, что такое это «я», или кто этот «я», который сводит рациональность правления к своей собственной рациональности суверена, максимизирующего свою собственную власть? К тому же, перед нами юридический вопрос о договоре. И еще фактический вопрос: как можно осуществлять эту рациональность суверена, претендующего говорить «я», когда речь идет о таких проблемах, как проблемы рынка, или, более общо, экономических процессов, где рациональность не только совершенно ускользает от общей формы, но абсолютно исключает и общую форму, и взгляд сверху? Откуда новая проблема перехода к новой форме рациональности как индекса регламентации правления. Теперь речь идет не о том, чтобы регулировать правление рациональностью суверенного индивида, который может сказать «государство — это я», [но] о рациональности тех, кем управляют в качестве экономических субъектов и, более общо, в качестве субъектов интереса в самом общем смысле этого термина, [о] рациональности тех индивидов, которые для удовлетворения своих интересов в об-

щем смысле термина используют определенные средства, и используют их так, как хотят: именно рациональность управляемых должна служить принципом регламентации для рациональности правления. Вот что, как мне кажется, характеризует либеральную рациональность: как регулировать правление, искусство управлять, как [обосновать]* принцип рационализации искусства управлять рациональным поведением тех, кем правят.

Такова, как мне кажется, точка расхождения, такова важная трансформация, которую я попытался локализовать, что вовсе не означает того, что рациональность государства-индивида или суверенного индивида, который может сказать «государство — это я» была отброшена. Можно сказать в глобальном, общем смысле, что все националистические, этатистские и т. п. политики становятся политиками, чей принцип рациональности оказывается основан на рациональности, или, если хотите, на интересе и стратегии интересов суверенного индивида или государства как того, что конституирует суверенную индивидуальность. Точно так же можно сказать, что регулируемое истиной правление тоже не исчезло. В конце концов, что такое марксизм, как не поиск такого типа руководства, которое, конечно же, будет основано на рациональности, но на рациональности, которая представляется не столько рациональностью индивидуальных интересов, сколько рациональностью истории, мало-помалу манифестирующей себя как истина? Именно поэтому в современном мире вы видите то, что нам известно начиная с XIX в.: целую серию правительственных рациональностей, громоздящихся, опирающихся, спорящих и борющихся одна с другой. Искусство управлять соответственно истине, искусство управлять соответственно рациональности суверенного государства, искусство управлять соответственно рациональности экономических агентов, в общем, искусство управлять соответственно рациональности самих управляемых. И все эти различные искусства управлять, эти различные способы рассчитывать, рационализировать, регулировать искусство управлять, громоздясь друг на друга, начиная с XIX в. составляют объект политических спо-

---

* М. Ф.: найти.

ров. В конце концов, что такое политика, как не одновременная игра различных искусств управлять с их различными референциями и спорами, порождаемыми различными искусствами управлять? Мне кажется, здесь и рождается политика. Ладно, на этом все. Спасибо.*

Примечания

[1] *Locke J.* The Second Treatise of Government (1690), ch. 7: «Of political or civil society» (Le Second Traité du gouvernement / Trad. J.-F. Spitz. Paris: PUF («Épiméthée»), 1994. P. 56; *Локк Дж.* Два трактата о правлении // Сочинения. В 3-х т. Т. 3. М.: Мысль, 1988. С. 306—317). См. также с. 133 наст. изд., примеч. 48.

[2] См. лекцию 28 марта 1979 г., с. 359 наст. изд., примеч. 29. Как уточняет С. Готье [Trad. citée. Ibid. P. 99], «Опыт» — это фактически значительно расширенная версия текста, написанного в 1755—56 гг. под названием «Treatise on Refinement», но не опубликованного.

[3] См. об этом: *Rosanvallon P.* Le Capitalisme utopique. Paris: Le Seruil («Sociologie politique»), 1979. P. 68—69 (переиздано под названием: Le Libéralisme économique. Histoire de l'idée de marché. Paris: Le Seuil («Points Essais»), 1989). Фуко отметил выход этой «замечательной книги» весной 1979 г., в «Кратком содержании курса» (см. с. 401—407 наст. изд.) и, возможно, уже знал ее содержание, когда готовил свой курс.

[4] *Ferguson A.* Essai sur l'histoire de la société civile / Trad. Deasint [см. с. 359 наст. изд., примеч. 29]. T. I, I, 1. P. 9: «Следует брать род человеческий как группы, таким, каким он существовал всегда»; см. trad. Gautier. P. 109. Рус. пер: «Разве не как такая группа формировался и весь род человеческий?» (*Фергюсон А.* Опыт истории гражданского общества / Пер. И. И. Мюрберг. М.: РОССПЭН, 2000. С. 33).

[5] Ibid. Trad. Desaint. T. I, I, 1. P. 20; trad. Gautier, p. 111: «...Общество предстает таким же древним, как и индивид, а использование языка столь же всеобщим, сколь использование рук или ног» (Там же. С. 34).

---

* (*Раздается гул голосов.*) М. Фуко коротко отвечает на ряд частных вопросов и тут же спрашивает у кого-то, есть ли у него «машинопись лекций, прочитанных в прошлом году и в предыдущие годы», «потому что, — говорит он, — у меня ничего нет».

[6] Ibid. Trad. Desaint. T. I, I, 1. P. 9—10: «История индивида есть лишь часть тех чувств и мыслей, которые он испытал как представитель вида: и любой эксперимент, имеющий отношение к данному предмету, следует проводить с обществами в целом, а не с отдельными людьми. Однако у нас есть все основания полагать, что в случае проведения подобного эксперимента — положим, с группой детей, которые будут изъяты из яслей и предоставлены самим себе, неученые и недисциплинированные, для образования собственного отдельного общества, — мы получим лишь повторение старого, а именно то, что уже случалось в столь многих различных частях света. Члены нашего маленького общества будут питаться и спать, держаться вместе и играть, выработают свой собственный язык, будут ссориться и расходиться, будут считать друг друга наиболее достойными внимания объектами и, в пылу своей дружбы и соперничества, начнут забывать о личной безопасности и перестанут заботиться о самосохранении» (Там же. С. 33).

[7] Ibid. Trad. Desaint. T. I, I, 1. P. 20: «Поэтому, если нас спросят, где можно найти естественное состояние, мы можем ответить: оно здесь, и неважно, имеем ли мы в виду Великобританию или мыс Доброй Надежды, или Магелланов пролив. Все обстоятельства будут в равной степени естественными, пока они будут оставлять этому активному существу простор для проявления собственных способностей и для воздействия на окружающие его предметы» (Там же. С. 35).

[8] Ibid. Trad. Desaint. T. I, I, 1. P. 21; trad. Gautier, p. 113 (Там же. С. 36).

[9] Ibid. Trad. Desaint. Loc. cit. (Там же).

[10] Ibid. Trad. Desaint. T. I, I, 9. P. 157—158; trad. Gautier, p. 158: «...Если главной целью существования индивидов является благо общества, то верно и то, что великой целью гражданского общества является счастье индивидов: ибо как может благоденствовать общество, если каждый из составляющих его членов является несчастным?» (Там же. С. 65).

[11] Ibid. Trad. Desaint. T. I, I, 9. P. 157; trad. Gautier, p. 158: «[Человек] должен отказаться от счастья и свободы там, где они мешают благу общества. Он — лишь часть целого; и те похвалы, которые мы расточаем его добродетели, есть лишь частный случай того одобрения, которое можно высказывать в адрес отдельного органа тела, отдельной составляющей структуры или отдельной части мотора в связи с тем, что данная часть хорошо подогнана к целому и исправно функционирует» (Там же). (Франц. пер: «...и производит то, что должна производить».)

[12] Ibid. Trad. Desaint. T. I, I, 9. P. 157 (см. примеч. 10).

[13] См. I, 3: «О принципах объединения людей» и I, 4: «О принципах войны и раздоров».

[14] Ibid. Trad. Desaint. T. I, I, 2. P. 28; trad. Gautier, p. 116: «Как и другие животные, человек обладает некоторыми инстинктивными предрасположенностями, которые еще до восприятия им удовольствия или боли, еще до осознания им вредности или пользы тех или иных предметов подталкивают его к выполнению многих природных функций по отношению к себе самому и к своим собратьям. Один ряд его предрасположенностей касается сохранения его как вида, продолжения рода человеческого; другие предрасположенности, касающиеся общества, делают его членом одного какого-то племени или сообщества и часто вовлекают его в войну или спор с остальным человечеством» (Там же. С. 38).

[15] Ibid. Trad. Desaint. T. I, I, 3. P. 50; trad. Gautier, p. 123: «Люди настолько далеки от того, чтобы ценить общество из соображений удобства, что как правило они бывают тем более привержены ему, чем меньше удобств оно предоставляет: наибольшая верность проявляется там, где дань приверженности приходится платить кровью» (Там же. С. 42).

[16] Ibid. Trad. Desaint. T. I, I, 3. P. 51; trad. Gautier, p. 123 (последняя фраза заканчивается так: «и тогда он начинает относиться к ним как к своему скоту или к земле, рассматривая их с точки зрения приносимой ими прибыли») (Там же. С. 42).

[17] Ibid. Trad. Desaint. T. I, I, 10. P. 172—173; trad. Gautier, p. 163: «Еще до всяких политических институтов люди различаются сами по себе — огромным разнообразием талантов, различиями душевного настроя, силой страстей — и это уготавливает им разные роли. Стоит свести их вместе — и каждый сам найдет подходящее ему место. Порицания или одобрения они выносят коллективом: для совещаний и раздумий они собираются в более однородные партии; выбирая или отрешая от должности представителей властей, они действуют в индивидуальном порядке [...]» (Там же. С. 67).

[18] Ibid. Trad. Desaint. T. I, I, 10. P. 174; trad. Gautier, p. 163 (Там же).

[19] Ibid. Trad. Desaint. T. I, I, 10. P. 172; trad. Gautier, p. 162—163 (Там же).

[20] Ibid. Trad. Desaint. T. I, II, 3. P. 237—238; trad. Gautier, p. 186—187: «Таким образом, не имея какой-либо установившейся формы правления или союзных связей, руководствуясь скорее голосом инстинкта, нежели изобретательностью разума, они вели себя с подобающими народам согласием и силой. Иностранцы, которым не удавалось узнать, кто здесь владыка и как образован се-

нат, всегда находили консультативный совет, с которым они могли вести переговоры, или войско, с которым можно было сражаться. Безо всякой полиции или принудительных законов в их обществе обеспечивался порядок, а отсутствие дурных намерений есть лучшая гарантия безопасности, чем любые общественные институты по борьбе с преступлениями» (Там же. С. 76).

[21] Ibid. Trad. Desaint. T. I, III, 2. P. 336; trad. Gautier, p. 221: «Тот, кто первым последовал за вождем, не знал, что создал модель постоянной субординации, прикрываясь которой разбойники будут захватывать его собственность, а наглецы — требовать, чтобы он служил им» (Там же. С. 95).

[22] См. II и III части. Об этих четырех (sic. — *А. Д.*) этапах общественного развития М. Фуко читал книгу: *Meek R. L.* Economics and Ideology, and other essays. Londres: Chapman & Hall, 1967. P. 34—40.

[23] Essai... Trad. Desaint. T. I, II, 2. P. 224; trad. Gautier, p. 182: «Из народов, обитающих в этих или в других, менее освоенных, частях мира, некоторые добывают свое пропитание в основном охотой, рыболовством и собирательством. У них не развит интерес к собственности и практически не существует системы подчинения или управления» (Там же. С. 74).

[24] Ibid. Trad. Desaint. P. 224—225; trad. Gautier, p. 182: «Другие, обладающие стадами и нуждающиеся в пастбищах для их прокорма, знают разницу между богатством и бедностью. Им известны отношения господина и зависимого лица, хозяина и слуги и причисляются к тому или иному классу согласно их имущественному положению» (Там же).

[25] Ibid. Trad. Desaint. T. I, III, 2. P. 336—337; trad. Gautier, p. 220—221: «Люди вообще склонны заниматься построением различного рода проектов и схем; но тот, кто возьмется строить планы за других, обнаружит, что у любого из людей, желающего самостоятельно строить свои планы, найдутся возражения против его планов. Подобно ветрам, налетающим невесть откуда и дующим, куда им захочется, общественные формы происходят из некоего туманного далека; они возникают прежде всякой философии, из инстинктов, а не из спекуляций. Толпа в своих поступках, установлениях руководствуется наличной ситуацией, и редко когда удается свернуть ее с этого пути и заставить следовать плану, созданному кем-то одним» (Там же. С. 95).

[26] См. статью, которую использовал М. Фуко: *Riedel M.* Gesellschaft, bürgerliche // Geschichtliche Grundbegriffe / Eds O. Brunner, W. Conze, R. Kosellek. T. 2. Stuttgart: E. Klett, 1975. P. 719—800.

[27] *Иоганн Генрих Юнг-Штиллинг* (1740—1817). *Jung-Stilling J. H.* Die Grundlehre der Staatswirthschaft. Marbourg, [s.n.], 1792 (недавняя редакция: Königstein/Ts: Scriptor-Verlag, 1978). P. 680: «Das gesellschaftliche Leben ist dreifach: 1) bezieht es sich auf die Familie oder auf das häusliche Verhältnis, 2) auf das Zusammenwohnen der Hausväter oder auf die bürgerliche Gesellschaft, und 3) auf das Verhältnis gegen die regierende Gewalt und ihre Gesetze, das ist: auf die Staatsgesellschaft». («Общественная жизнь трояка: 1) относящееся к семье или к домочадцам, 2) совместное проживание хозяев дома или гражданское общество и 3) противостояние господствующей власти и ее закону: таково государственное общество») (Цит. по: *Riedel M.* Loc. cit. P. 753).

[28] *Карл Даниель Генрих Бензен* (1761—1805). *Bensen C. D. H.* System der reinen und angewandten Staatslehre für Juristen und Kameralisten. T. I. Erlangen: Palm, 1804: «Unsere Staaten und ihre Bewohner haben nur allmählich ihre jetzige Form erhalten. Von der häuslichen Gesellschaft rückte nämlich das Menschengeschlecht zur bürgerlichen und von dieser zur Staatsgesellschaft fort» («Наши государства и их жители лишь постепенно обрели их современный вид. Ведь от домашнего общества человеческий род продвигался к гражданскому, а от него к государственному обществу») (Цит. по: *Riedel M.* Loc. cit. P. 754).

[29] *Август Людвиг фон Шлоцер* (1735—1809). *Schlözer A. L.* Stats-Anzeigen. Göttingen. T. 17, 1792. P. 354: «Alle bisher bekannt gewordene Menschenhaufen alter, mittler und neuer Zeiten, leben in den 3 Arten häuslicher Gesellschaft. Alle ohne Ausnahme leben in bürgerlicher Gesellschaft. Und bei weitem die allermeisten, wenngleich nicht alle, leben in Staats-Gesellschaft, oder unter Obrigkeit» («Все доселе известные человеческие общности старых, средних и новых времен имели 3 вида хозяйственного общества. Все без исключения живут в гражданском обществе. И по большей части, хотя и не все, живут в государственном обществе, или под властью») (Цит. по: *Riedel M.* Loc. cit. P. 754). См. также: *Gurvitch G.* Traité de sociologie. Paris: PUF, 1958. P. 31—32, к которому обращался Фуко: «Ученики Лейбница — прежде всего, Неттельбладт, — упрощая его идеи, противопоставили *regimen societatis*, или блок, объединяющий разнообразную, прежде всего экономическую деятельность, *regimen civitatis*, или блоку локальных объединений, вырастающему в государство. Это стало источником оппозиции между гражданским и экономическим обществом (bürgerliche Gesellschaft) и государством. Впервые сформулированная немецким историком и статистиком А. Л. Шлоцером, эта оппозиция стала объектом размышления для многих немецких,

французских и британских мыслителей второй половины XVIII и первой половины XIX вв.».

[30] *Hegel G. W. F.* Grundlinien der Philosophie des Rechts. III[e] partie, II[e] section, § 182—256. Berlin: Librairie Nicolaï, 1821 (Principes de la philosophie du droit / Trad. R. Derathé. Paris: Vrin, 1975. P. 215—257; *Гегель Г. В. Ф.* Философия права / Ред. и сост. Д. А. Керимов и В. С. Нерсесянц. М. : Мысль, 1990. С. 227—278.). См.: *Riedel M.* Gesellschaft, bürgerliche. P. 779—783, а также: *Hyppolite J.* La conception hégélienne de l'État // Cahiers internationaux de sociologie. T. II. 1947. P. 146 и *Quelquejeu B.* La Volonté dans la philosophie de Hegel. Paris: Le Seuil («L'Ordre philosophique»), 1973, к которым отсылают заметки М. Фуко.

[31] *Paine Th.* Common Sense Addressed to the Inhabitants of America... Philadelphie: W. & T. Bradford, 1776 (Sens commun, ouvrage adressé aux Américains (precede de «Théorie et Pratique des droits de l'homme») / Trad. F.-X. Lanthenas. Rennes: R. Vatan, 1793. P. 165). См.: *Girvetz H. K.* From Wealth to Welfare. Stanford (Cal.): Stanford University Press, 1950. P. 44, — которого Фуко читал при подготовке своего курса, и *Rosanvallon P.* Le Capitalisme utopique. Op. cit. P. 144. Хотя Томас Пейн (1737—1809) был британского происхождения, необходимо уточнить, что «Common Sense» был опубликован через четырнадцать месяцев после его переселения в Америку и что эта книга, написанная по просьбе Бенджамина Франклина, передает устремления американского народа в начале освободительной войны.

[32] См.: *Фуко М.* Нужно защищать общество. Лекция 10 марта 1976 г. С. 229—252.

*Мишель Сенеляр**

КОНТЕКСТ КУРСА

---

* *Мишель Сенеляр* — профессор политической философии в Высшей нормальной школе литературы и гуманитарных наук Лиона. Автор книг «Machiavélisme et Raison d'État» (Paris: PUF, 1989), «Les Arts de gouverner» (Paris: Le Seuil, 1995). Кроме того, он перевел книгу М. Штолле «История публичного права в Германии, 1600—1800. Теория публичного права и наука о поддержании порядка» (Paris: PUF, 1998).

[Нижеследующие страницы извлечены из «Контекста», сопровождающего курс «Sécurité, Territoire, Population», 1977—1978 / Éd. Par M. Senellart. Paris: Gallimard; Seuil, «Hautes Études», 2004. P. 400—403.]

Этот курс с самой первой лекции представляет собой прямое продолжение предыдущего. Сообщая о своем намерении продолжать то, о чем он говорил в прошлом году, Фуко прежде всего объясняет выбор метода, которым руководствуется его исследование,[1] затем подводит итог последних лекций, посвященных господству государственных интересов и его критике, исходя из проблемы зерна. Принцип внешнего ограничения государственных интересов, который конституировало право, в XVIII в. сменился принципом внутреннего ограничения в форме экономии.[2] Политическая экономия действительно несет в себе требование самоограничения правительственных интересов, основанное на знании о естественном ходе вещей. Таким образом, она отмечает появление новой рациональности в искусстве управлять: управлять меньше, заботясь о максимальной эффективности, в зависимости от природы явлений, с которыми мы имеем дело. Это руководство, связанное в постоянном усилении собственного самоограничения с вопросом истины, Фуко называет «либерализмом». Таким образом, цель курса заключается в том, чтобы показать, в чем состоит условие интеллигибельности биополитики:

> С появлением политической экономии, с введением ограничительного принципа в саму правительственную практику происходит важная перемена или, скорее, удвоение, поскольку субъекты права, на которых распространяется политическая власть, выступают как *население*, которым должно руководить правительство.

---

[1] В рукописи лекции Фуко уточняет, каковы политические следствия методологического выбора. См.: Sécurité, Territoire, Population [далее: STP], лекция 8 февраля 1978 г. P. 123—124, примеч *.

[2] В рукописи об «управлении», послужившей введением к семинару 1979 г., Фуко описывает этот переход как «грандиозное смещение от юридической веридикции к веридикции эпистемной».

> Здесь отправная точка организационной линии «биополитики». Но разве не ясно, что это лишь часть чего-то более обширного — новых правительственных интересов? Либерализм нужно рассматривать как общие рамки биополитики.[3]

Заявлен следующий план: сначала изучить либерализм в его оригинальной формулировке и его современных, немецкой и американской, версиях, а затем обратиться к проблеме политики жизни.[4] В действительности будет реализована только первая часть этой программы, Фуко придется развивать свой анализ немецкого неолиберализма гораздо дольше, чем он предполагал.[5] Этот интерес к социальной экономике рынка не ограничивается лишь парадигматическим характером немецкого опыта. Он объясняется также соображениями «критической морали» в отношении «того рода сверхтерпимости», который составляет в ее глазах «инфляционистская критика государства», поспешно изобличающая фашизм в функционировании западных демократических государств.[6] Кроме того, «немецкий вопрос» оказывается помещен в центр методологических, исторических и политических вопросов, составляющих основу курса.

2-я и 3-я лекции (17 и 24 января 1979 г.) посвящены изучению специфических черт либерального искусства управлять, каким оно вырисовывается в XVIII в. В первой из них Фуко выявляет связь между истиной и либеральным руководством, проводя анализ рынка как места веридикции, и уточняет вытекающие отсюда модальности внутреннего ограничения. Таким

---

[3] Рукопись первой лекции. См. лекцию 10 января 1979 г., с. 36—38 наст. изд., примеч. *.

[4] См.: там же. С. 36. Намеченный здесь план уточняется (и в силу этого ретроспективно проясняется) далее. См. лекцию 31 января 1979 г., с. 103—104 наст. изд.

[5] См. начало лекции 7 марта 1979 г., с. 100 наст. изд.: «[...] поначалу у меня действительно было намерение говорить о биополитике, но потом вышло иначе, и я долго, быть может, чересчур долго говорил о неолиберализме, притом о неолиберализме в его немецкой форме». См. также «Краткое содержание курса», с. 401 наст. изд.: «Курс этого года в общем и целом был посвящен тому, что должно образовать лишь введение».

[6] См. лекцию 7 марта 1979 г., с. 239—245 наст. изд.

образом, он показывает два пути ограничения публичной власти, соответствующие двум разнородным концепциям свободы: революционный аксиоматический путь, исходящий из прав человека для обоснования суверенной власти, и радикальный милитаристский путь, исходящий из правительственной практики для определения в терминах полезности предела компетенции правительства и сферы независимости индивидов. Пути различные, но не исключающие друг друга. Историю европейского либерализма начиная с XIX в. необходимо изучать именно в свете их стратегического взаимодействия. Именно оно проясняет, или помещает в перспективу, способ, каким Фуко начиная с 1977 г. проблематизирует «права управляемых» по отношению к более неясному и более абстрактному провозглашению «прав человека».[7]

В 3-й лекции, рассмотрев вопрос о Европе и ее отношениях с остальным миром согласно новым правительственным интересам, он возвращается к тому, почему он называет «либерализмом» то, что в XVIII в. представлялось скорее натурализмом. Слово «либерализм» оправдывает та роль, которую играет свобода в либеральном искусстве управлять: свобода, конечно, гарантируется, но также и производится этим последним, которое для достижения своих целей нуждается в том, чтобы ее создавать, поддерживать и постоянно обеспечивать. Таким образом, либерализм может определяться как расчет риска — свободной игры индивидуальных интересов, — совместимого с интересом всех и каждого. Поэтому стимулирование «опасной жизни» предполагает установление множественных механизмов защиты. Свобода и безопасность: эти процедуры контроля и формы государственного вмешательства, порождаемые двойным требованием, составляют парадокс либерализма и лежат в истоке «кризисов руководства»,[8] известных уже на протяжении двух веков.

---

[7] Разумеется, речь идет не о том, чтобы свести проблематику «прав управляемых», неотделимую от феномена диссидентства (см.: *Foucault M.* Va-t-on extruder Klaus Croissant? // Dits et Ecrits. T. III. N 210. P. 364) к независимости управляемых согласно утилитаристскому расчету, но о том, чтобы подчеркнуть, что она не чужда тому интересу, который Фуко в то время проявлял к либерализму.

[8] См. лекцию 24 января 1979 г., с. 92—93 наст. изд.

Таким образом, вопрос теперь состоит в том, чтобы выяснить, что за кризис руководства характеризует современный мир и для каких ревизий либерального искусства управлять он дает повод. Этой задаче диагностирования отвечает, начиная с 4-й лекции (31 января 1979 г.), изучение двух великих неолиберальных школ, немецкого ордолиберализма[9] и американского анархо-капитализма (см. «Краткое содержание курса»)[10] — единственный экскурс Фуко в область современной истории на протяжении его преподавания в Коллеж де Франс. Эти две школы не только участвуют в общем проекте нового обоснования либерализма. Они также представляют две различные формы «критики иррациональности, присущей излишку управления»,[11] одна — отстаивая логику чистой конкуренции в экономическом пространстве, окружая рынок ансамблем государственных вмешательств (теория «политики общества»), другая — стремясь распространить рациональность рынка на области, доселе остававшиеся не-экономическими (теория «человеческого капитала»).

Последние две лекции (28 марта и 4 апреля 1979 г.) трактуют о рождении *homo œconomicus* в качестве отличного от субъекта права субъекта интересов в мысли XVIII в. и о понятии «гражданского общества», соответствующего либеральной технологии правления. В то время как либеральная мысль в своей наиболее классической версии противопоставляет общество государству как естественное искусственному или спонтанность принуждению, Фуко делает очевидным парадокс, конституирующий их отношения. В действительности общество выдвигает принцип, во имя которого либеральное правление стремится к самоограничению. Оно требует от себя постоянно задаваться вопросом о том, не управляет ли оно чересчур

---

[9] Французская библиография по этому предмету весьма скудна, исключение составляет диссертация Ф. Бильжера (Bilger F. La Pensée économique libérale de l'Allemagne contemporaine. Paris: Librairie Générale de Droit, 1964.), которой пользовался Фуко. Отметим недавно состоявшийся коллоквиум: L'Ordolibéralisme allemande. Aux sources de l'économie sociale de marché. Dir. P. Commun. Université de Cergy-Pontoise, CIRAC/CICC, 2003.

[10] См. с. 408—410 наст. изд.

[11] См. с. 406—407 наст. изд.

много, и в этом отношении играет роль критики любого излишка правления. Но кроме того, оно формирует цель постоянного правительственного вмешательства не с тем, чтобы ограничить в практическом плане формально предоставленные свободы, но с тем, чтобы производить, умножать и гарантировать те права, в которых нуждается либеральная система.[12] Таким образом, общество представляет собой одновременно «совокупность условий либерального малоуправления (moindre-gouvernement)» и «пространство переноса правительственной деятельности».[13]

---

[12] См. последнюю лекцию курса «Безопасность, территория, население» (5 апреля 1978 г.), p. 360—362, к которой имплицитно отсылает Фуко, говоря о «вездесущем правительстве, [...], которое, признавая специфичность экономики», должно «управлять обществом, [...] управлять социальным» (см. лекцию 4 апреля 1979 г., с. 366—367 наст. изд.).

[13] Рукопись 1981 г. о «Либерализме как искусстве управлять», в которой Фуко, отсылая к семинару предыдущего года, подытоживает свое исследование либерализма. Это исследование сопоставляется с тем, что предлагает П. Розанваллон (*Rosanvallon P.* Le Capitalisme utopique. Critique de l'idéologie économique. Paris: Le Seuil («Sociologie politique»), 1979. P. 68—69 (переиздано под названием «Le Libéralisme économique. Histoire de l'idée de marché» (Paris: Le Seuil («Points Essais»), 1989.)), с которым Фуко, как нам кажется, порой вступает в диалог (см. ссылку Фуко на эту книгу в «Кратком содержании курса», с. 408 наст. изд.).

КРАТКОЕ СОДЕРЖАНИЕ КУРСА*

* Опубликовано в «Ежегоднике Коллеж де Франс», 79-й год, под названием «Histoire des systèmes de pensée, année 1978—1979», 1979, с. 367—372. Перепечатано в: Dits et Écruts, 1954—1968, изд. Д. Дефером и Ф. Эвальдом, в сотрудничестве с Ж. Лагранжем, Париж: Галлимар («Библиотека гуманитарных наук»), 1994. 4 т.; см.: Т. III, N 274. С. 818—825.

Курс этого года в общем и целом был посвящен тому, что должно образовать лишь введение. Заявленной темой была «биополитика»: я понимаю под этим то, как начиная с XVIII в. пытались рационализировать проблемы, поставленные перед правительственной практикой феноменами, присущими всем живущим, составляющим население: здоровье, гигиена, рождаемость, продолжительность жизни, потомство... Мы знаем, какое все возрастающее место занимают эти проблемы начиная с XIX в. и какие политические и экономические цели они конституируют по сей день.

Мне представляется, что эти проблемы неотделимы от рамок политической рациональности, в которых они возникли и обрели свое звучание. А именно от «либерализма», поскольку именно ему они бросают вызов. Как феномен «населения» с его специфическими эффектами и проблемами может быть принят в расчет в системе, заботящейся о признании субъектов права и свободной инициативе индивидов? От имени чего и по каким правилам им можно управлять? Примером могут служить споры, имевшие место в Англии в середине XIX в. и касавшиеся законодательства об общественном здоровье.

*

Что следует понимать под «либерализмом»? Я опирался на размышления Поля Вейна об исторических универсалиях и необходимости поверить номиналистский метод историей. И, обратившись к некоторым уже выбранным методам, я пытался проанализировать «либерализм» не как теорию и не как идеологию, и еще менее, конечно же, как способ общества «представлять себя...»; но как практику, то есть как «способ действовать», ориентированный на определенные цели и ре-

гулируемый постоянной рефлексией. Таким образом, либерализм нужно анализировать как принцип и метод рационализации управления — рационализации, подчиняющейся (и в этом ее специфика) внутреннему правилу максимальной экономии. В то время как всякая рационализация управления имеет в виду максимизирование своих результатов, сокращая, насколько это возможно, стоимость (понимаемую столько же в политическом, сколько и в экономическом смысле), либеральная рационализация исходит из постулата, согласно которому правление (речь, конечно же, идет не об институции «правительства», но о деятельности, состоящей в том, чтобы руководить поведением людей в рамках и с использованием этатистских инструментов) не может быть целью для себя самого. У него нет собственного права на существование, и его максимализация, даже при наилучших из возможных условий, не должна быть его регулирующим принципом. В этом отношении либерализм порывает с теми «государственными интересами», которые с конца XVI в. в существовании и усилении государства усматривали цель, способную оправдать возрастание руководства и регулировать развитие. Немцы в XVIII в. создали *Polizeiwissenschaft* либо потому, что им недоставало великой государственной формы, либо еще и потому, что узость территориального дробления гораздо легче вела к единствам, неизменно рассматриваемым с учетом технических и концептуальных инструментов эпохи в соответствии с принципом: уделяется недостаточно внимания, многое ускользает, слишком многочисленные владения испытывают нехватку регулирования и регламентирования, порядок и администрация несостоятельны — короче, слишком мало управления. *Polizeiwissenschaft* — это форма, принимаемая правительственной технологией, над которой господствует принцип государственных интересов: она, так сказать, «совершенно естественно» принимает в расчет проблемы населения, которое должно быть как можно более многочисленным и деятельным — ради силы государства: таким образом, здоровье, рождаемость, гигиена безоговорочно занимают важное место.

Либерализм пронизан принципом: «Правления всегда слишком много» — или по крайней мере всегда нужно по-

дозревать, что управления слишком много. Управление не должно осуществляться без «критики» не более радикальной, чем опыт оптимизации. Оно должно задаваться вопросом не только о лучших (или наименее дорогостоящих) средствах достижения своих результатов, но и о возможности и самой законности своего проекта достижения результатов. В подозрении, что всегда рискуют управлять чересчур много, присутствует вопрос: так почему же надо управлять? Откуда тот факт, что либеральная критика практически неотделима от новой для той эпохи проблематики «общества»: именно в силу этого стремятся выяснить, почему необходимо, чтобы было правительство, без которого можно и обойтись, и в каком отношении полезно или вредно его вмешательство. Рационализация правительственной практики в терминах государственных интересов предполагала ее максимализацию до состояния оптимума в той мере, в какой существование государства предполагает непосредственное осуществление правления. Либеральная мысль исходит не из существования государства, обретающего в правлении средство достижения* той цели, которую оно составляет для себя самого, но из существования общества, которое оказывается в сложных внешних и внутренних отношениях с государством. Это (одновременно условие и конечная цель) позволяет больше не ставить вопрос: как управлять по возможности больше и с наименьшими возможными затратами? Скорее, вопрос таков: почему нужно управлять? То есть что делает необходимым существование правительства, и какие цели оно должно преследовать по отношению к обществу, чтобы оправдывать свое существование. Идея общества — это то, что позволяет развивать технологию правления, исходя из принципа, что оно уже само по себе [есть]** «чрезмерность», «излишество» — или по крайней мере выступает дополнением, о котором всегда можно и должно спрашивать, необходимо ли оно и для чего оно нужно.

---

* Изд. «Gallimard»: «attendre» («ожидание») вместо «atteindre» («достижение»).

** ACF и «Gallimard»: было.

Вместо того чтобы делать из различия между государством и гражданским обществом историческую и политическую универсалию, позволяющую поверять все конкретные системы, можно попытаться увидеть в нем форму схематизации, присущей конкретной технологии правления.

*

Таким образом, нельзя сказать, чтобы либерализм был неосуществимой утопией, если только не принимать за сущность либерализма проекты, влекущие за собой его исследование и критику. Это не мечта, разрушаемая действительностью и не вписывающаяся в нее. Он составляет — и в этом причина и его полиморфизма, и его рекуррентности — инструмент критики реальности: предшествующего правления, от которого пытаются отмежеваться; современного правления, которое пытаются реформировать и рационализировать, выявив его ослабление; правления, которому сопротивляются и злоупотребления которого желают ограничить. Так что либерализм можно обнаружить в различных, но симультанных формах, как регулятивную схему правительственной практики и как тему порой радикальной оппозиции. Английская политическая мысль конца XVIII и первой половины XIX в. весьма характерна для этих множественных практик либерализма. А еще более — эволюции или двусмысленности Бентама и бентамистов.

В либеральной критике, конечно же, играли важную роль рынок как реальность и политическая экономия. Но, как утверждает замечательная книга П. Розанваллона,* либерализм не является ни их следствием, ни их развитием. Скорее, рынок для либеральной критики играл роль «теста», места привилегированного опыта, где можно определить следствия излишества правления, и даже мерой: исследование механизмов «недорода» или обобщение опыта торговли зерном в середине XVIII в. имело целью показать, начиная с какого момента управлять — всегда значит управлять чересчур много. Идет ли

---

* *Rosanvallon P.* Le Capitalisme utopique. Critique de l'idéologie économique. Paris: Le Seuil («Sociologie politique»), 1979.

речь о Таблице физиократов или о «невидимой руке» Смита, то есть идет ли речь об исследовании, стремящемся сделать видимым в форме «очевидности» формирование стоимости и обращение богатств, или, наоборот, об исследовании, предполагающем внутреннюю невидимость связи между преследованием индивидуальной выгоды и ростом общественного богатства, в любом случае экономия показывает принципиальную несовместимость между оптимальным ходом экономического процесса и максимализацией правительственных процедур. То, что французские и английские экономисты XVIII в. размежевались с меркантилизмом и камерализмом, было больше, чем игрой понятий; они освободили рефлексию об экономической практике от гегемонии государственных интересов и одержимости правительственным вмешательством. Используя «излишек управления» как меру, они поставили «предел» правительственной деятельности.

Либерализм, разумеется, исходит из юридической мысли не больше, чем из экономического анализа. Его порождает не идея политического общества, основанного на договорной связи. Однако в поиске либеральной технологии правления обнаружилось, что регулирование посредством юридической формы составляет инструмент более эффективный, чем мудрость или умеренность правителей. (Физиократы, не доверявшие праву и юридической институции, были склонны искать это регулирование в признании деспотом с его неограниченной институциональной властью «естественных» законов экономики, представляющихся ему очевидной истиной.) Это регулирование, этот «закон», к которому стремился либерализм, возможно, не в силу того, что юридизм естествен, но потому что закон определяет общие формы эксклюзивных вмешательств частных, индивидуальных, исключительных мер, и потому что участие управляемых в выработке закона, в парламентской системе создает наиболее эффективную систему правительственной экономии. «Правовое государство», *Rechtsstaat*, *Rule of law*, организация «действительно репрезентативной» парламентской системы в начале XIX в. связаны с либерализмом так же, как и с политической экономией, использовавшейся поначалу как критерий излишнего руководства, но по своей природе не были либеральной добродетелью

и быстро ввели антилиберальные отношения (как это было в *Nationalökonomie* XIX в. или в плановых экономиках XX в.), точно так же как демократия и правовое государство не были по необходимости либеральны, а либерализм — с необходимостью демократическим или связанным с формами права.

Таким образом, я попытался увидеть в либерализме не столько более или менее связное учение, не столько политику, преследующую некоторые более или менее определенные цели, сколько форму критического мышления о правительственной практике; эта критика может приходить изнутри или снаружи; она может опираться на ту или иную экономическую теорию или отсылать к той или иной юридической системе без необходимой и однозначной связи. Вопрос либерализма, понимаемый как вопрос об «излишке правления», был одним из постоянных измерений недавнего для Европы феномена, первоначально возникшего, по-видимому, в Англии, а именно «политической жизни»; это один из конститутивных элементов, ведь политическая жизнь существует, когда правительственная практика по возможности ограничена от излишеств тем, что она есть объект политических споров о ее «добре или зле», о ее «избытке или недостатке».

*

Конечно, речь идет не об исчерпывающей «интерпретации» либерализма, но о плане возможного исследования — плане «правительственных интересов», то есть о тех типах рациональности, которые осуществляются через способы руководства государственной администрации поведением людей. Такой анализ я попытался провести на двух современных примерах: немецкий либерализм 1948—1962 гг. и американский либерализм Чикагской школы. В обоих случаях в определенном контексте либерализм представляется как критика рациональности, присущей излишку правления, и как возврат к технологии умеренного правления, как сказал бы Франклин.

Этим излишеством в Германии был военный режим, нацизм, но, кроме того, дирижистская и плановая экономика, доставшаяся в наследство от периода 1914—1918 гг. и всеоб-

щей мобилизации ресурсов и людей; а также «государственный социализм». Фактически немецкий либерализм второго послевоенного времени определялся, планировался и в определенной мере осуществлялся людьми, которые начиная с 1928—1930 гг. принадлежали к Фрайбургской школе (или по крайней мере вдохновлялись ею) и которые позже высказывались в журнале «Ordo». В точке пересечения неокантианской философии, феноменологии Гуссерля и социологии Макса Вебера, в определенных моментах сходившихся с венскими экономистами, занимающимися проявляющимся в истории соответствием между экономическими процессами и юридическими структурами, такие люди как Эйкен, В. Рёпке, Франц Бём, фон Рюстов, проводили свою критику трех различных политических фронтов: советского социализма, национал-социализма, вдохновляемой Кейнсом интервенционистской политики; однако они обращались к тому, что считали единственным противником: к типу экономического правления, систематически игнорирующего механизмы рынка, которые только и способны обеспечить формирующую регуляцию цен. Ордолиберализм, работающий над фундаментальными темами либеральной технологии правления, пытался определить то, чем могла бы быть рыночная экономика, организованная (но не планируемая, не управляемая) в институциональных и юридических рамках, которые, с одной стороны, предложили бы гарантии и ограничения закона, а с другой — удостоверили бы, что свобода экономических процессов не приведет к социальному распаду. Изучению ордолиберализма, вдохновлявшего экономический выбор общей политики ФРГ в эпоху Аденауэра и Людвига Эрхарда, была посвящена первая часть курса.

Вторая касалась нескольких аспектов того, что называют американским неолиберализмом: неолиберализмом, помещающимся под знаком Чикагской школы и также развивавшимся в ответ на «избыток правления», представленный в их глазах начиная с Саймонса политикой *New Deal*, военным планированием и великими экономическими и социальными программами, поддерживавшимися бóльшую часть послевоенного времени демократическими администрациями. Как и у немецких ордолибералов, проводимая от имени экономиче-

ского либерализма критика обращалась вокруг опасности, представлявшейся неизбежным следствием: экономический интервенционизм, инфляция правительственных аппаратов, сверхадминистрирование, бюрократия, окостенение всех механизмов власти, что привело бы к новым экономическим разрывам, влекущим за собой новые вмешательства. Но что привлекает внимание в американском неолиберализме, так это движение, совершенно противоположное тому, что обнаруживается в социальной рыночной экономике Германии: в то время как эта последняя считает, что регулирование рыночных цен (единственное основание рациональной экономики) само по себе столь ненадежно, что должно поддерживаться, обустраиваться, «упорядочиваться» бдительной внутренней политикой социальных вмешательств (оказание помощи безработным, покрытие расходов на здравоохранение, жилищная политика и т. п.), американский неолиберализм стремится скорее распространить рациональность рынка, схемы предлагаемого им анализа и утверждаемые им критерии решения на области, не являющиеся исключительно и прежде всего экономическими. Таковы семья и рождаемость; таковы преступность и уголовная политика.

Таким образом, следует изучить то, каким образом специфические проблемы жизни и населения были поставлены изнутри правительственной технологии, которая, вовсе не будучи либеральной, с конца XVIII в. постоянно была преследуема вопросом либерализма.

*

Семинар в этом году был посвящен юридической мысли в последние годы XIX в. Доклады представили Франсуа Эвальд (о гражданском праве), Катрин Мевель (о публичном и административном праве), Элиан Алло (о праве на жизнь в законодательстве о детях), Натали Коппинжер и Паскуале Паскино (об уголовном праве), Александр Фонтана (о мерах безопасности), Франсуа Делапорт и Анна-Мари Мулен (о полиции и политике здравоохранения).

От переводчика

Лекционный курс Мишеля Фуко «Рождение биополитики», прочитанный в Коллеж де Франс в 1978—1979 учебном году, представляет «позднего» Фуко, интересы которого к этому времени сместились от исследований безумия, клиники и пенитенциарной системы к анализу власти. Да и сама проблематизация власти теперь получает новый разворот: Фуко по-прежнему интересует функционирование властных дискурсов, но теперь он пытается разрешить самый сложный из встречавшихся ему доселе вопросов — вопрос о происхождении власти. Вскоре он сформулирует свой знаменитый концепт «заботы о себе». Но пока этот последний лишь смутно брезжит на горизонте его мысли.

Как заметил его друг Жиль Делёз, «мышление Фуко не эволюционировало, а *проходило через кризисы*».[1] Схема кризисов, предложенная Делёзом, представляется нам весьма удачной: первый кризис в творчестве Фуко был кризисом, порожденным разрывом с модной в те годы феноменологией в пользу эпистемологии, и признаком выхода из этого кризиса стала «История безумия». Вторым был кризис 1968 г., с которого (конечно, не только в творчестве Фуко) началась атака на властные отношения. Третий кризис разразился после «Воли к знанию», и в результате многих внешних событий и борьбы с внутренними демонами Фуко переориентировался с истории на «эстетики существования». Таким образом, в данном случае мы застаем философа выходящим из третьего «кризиса».

---

[1] Делёз Ж. Портрет Фуко. Переговоры / Пер. В. Ю. Быстрова. СПб.: Наука, 2004. С. 137.

Сам Фуко в настоящем курсе дважды объясняет, как вписывается это «новое» направление его исследований в общую эволюцию его мысли, определяя собственную методологию. Говоря о *практике управления*, он отказывается от веры в существование некоего изначально данного объекта исследования, как отказывался от нее всегда. Не существует *универсалий*, исходя из которых можно было бы характеризовать какие бы то ни было дискурсивные практики, неизменно носящие исторический характер. Напротив, исходя из самой практики, Фуко анализирует становление дискурсивных формаций. Если историцизм исходит из универсалий, то Фуко предлагает посмотреть, существуют ли эти универсалии, исходя из самой истории.

Первый набросок такого антиисторицистского исследования (общая установка которого вызвала гнев Ж.-П. Сартра уже после выхода «Слов и вещей»), обнаруживается в тексте «Ницше, генеалогия, история», который Фуко посвятил памяти своего учителя Жана Ипполита. Ницшеанское «ниспровержение истории», по Фуко, заключается в отказе от всякого телеологизма. Генеалогия, отказываясь от реконструкции какой-либо исторической континуальности, неизбежно опирающейся на универсалии, показывает, каким образом прошлое присутствует в настоящем и одушевляет его. «Генеалогия... стремится восстановить различные системы подчинения: не предшествующую им власть над смыслами, но опасную игру доминирований».[1] Фуко стремился не «останавливать историю», как считал Сартр, но отбросить «паноптизм» исторической дисциплины, который на деле сводится к презентизму и не позволяет увидеть ничего, кроме спроецированных на прошлое представлений, современных историку. Абсолютное знание при таком

---

[1] *Foucault M.* Nietzsche, Genealogy, History // Language, Counter-Memory, Practice: Selected Essays and Interviews / Ed. D. F. Bouchard. Ithaca: Cornell Univ. Press, 1977. P. 148. «...Я не являюсь философом в классическом смысле этого термина, говорил Фуко в другом месте, — возможно, я вообще не философ, во всяком случае, я не являюсь хорошим философом, — поскольку я не интересуюсь вечным, не интересуюсь тем, что лишено движения, не интересуюсь тем, что пребывает за игрой видимостей, я интересуюсь событием» (*Foucault M.* Dits et Écrits. T. II. 1976—1988. P.: Gallimard, 2001. P. 573).

отбрасывании оказывается недостижимым, что освобождает нас от гегельянства. Но заодно приходится пожертвовать как субъектом знания, так и субъектом истории. На их место, как мы видим в настоящем курсе, встает субъект интересов.

Центральным моментом для становления субъекта интересов оказывается, конечно же, власть, выступающая как эффект дискурсивных формаций. Отказываясь от политически-юридического понимания власти как репрессии, Фуко считает, что нужно предложить и иную сетку для исторической дешифровки. «Мыслить одновременно: секс без закона, а власть — без трона».[1] Власть — это не совокупность институтов и аппаратов, гарантирующих подчинение граждан в том или ином государстве, не способ подчинения, основанный на правилах в противоположность насилию, не всеобщая система господства, осуществляемая одним элементом над другим. Фукольдианский анализ власти не отталкивается от представлений о суверенитете государства, форме закона или всеобъемлющем единстве некоторого господства. Власть, утверждает Фуко, есть прежде всего множественность сил, имманентных той области, в которой они осуществляются и которые являются для организации этой области конститутивными; власть — это игра, эти силы трансформирующая, усиливающая и инвертирующая; власть — это та опора, которую силовые отношения находят друг в друге таким образом, что образуется цепь или система; власть — это смещения и противоречия, обособляющие друг от друга эти силы; наконец, власть — это стратегии, внутри которых отношения силы достигают своей действенности. Институциональная кристаллизация этих стратегий воплощается в государственных аппаратах, формулировании законов и формах социального господства.

Условие возможности власти не располагается в некоем едином и единственном очаге суверенности, из которого расходились бы производные от него формы. Этим условием, по Фуко, является подвижная платформа отношений силы, постоянно индуцирующих властные состояния, всегда локальные и

---

[1] *Фуко М.* Воля к знанию. История сексуальности. Том первый // Фуко М. Воля к истине: по ту сторону знания, власти и сексуальности. Работы разных лет / Пер. с *франц.* С. Табачниковой. М.: Касталь, 1996. С. 191.

нестабильные. Власть вездесуща, потому что постоянно производит себя в любом отношении. Власть повсюду, потому что она отовсюду исходит. Власть — это совокупный эффект, опирающийся на каждую из точек ее производства и каждую из них фиксирующий. Если нет отношения господства/подавления, значит, нет оппозиции эксплуататоры/эксплуатируемые, во всяком случае в том виде, как это представляется ортодоксальным марксистам. Более того, Фуко неявно отрицает существование классовой борьбы, опять-таки, в традиционном представлении. Но, что самое досадное для коммунистов и иже с ними, не существует правящей касты или группы, контролирующей государственный аппарат, а это значит, что Фуко отрицает возможность пролетарской революции, как она представлена в марксистско-ленинском учении. По его мысли, власть анонимна и в то же время вездесуща. Следовательно, нет никакого смысла говорить о классовом сознании, ибо сознание в таком случае у всех одно, и у пролетариев оно ничуть не менее «буржуазно», чем у самой буржуазии. Однако, отрицая «надстроечный» характер власти, Фуко признает, что власть участвует в развитии производительных сил, причем действует она одинаково и в капиталистических, и в социалистических обществах.

В 1977 г. на вопрос Ж.-А. Миллера о том, кто кому сопротивляется, Фуко ответил: «Это лишь гипотеза, но я бы сказал так: весь мир всему миру. Не существует таких непосредственно данных субъектов, из которых один был бы пролетариатом, а другой — буржуазией. Кто борется против кого? Все мы боремся против всех. И в нас самих всегда есть что-то, что борется против чего-то иного в нас».[1] Борются не классы, а индивиды и даже суб-индивиды (sous-individus). Такая позиция привела к Фуко к детальному анализу гоббсовского концепта «войны всех против всех», и теперь, два года спустя, он говорит не о *войне*, а об *игре* интересов, в которой столько же негативной борьбы, сколько и позитивной субъектификации.

Настоящий курс, сравнительно с прочими, представляется наиболее «актуальным», то есть обращающимся к своему време-

---

[1] *Foucault M.* Dits et Écrits. T. II. 1976—1988. P. 234.

ни. Конечно, все исследования Фуко имели своим объектом становление диспозитива современности. Однако основной корпус излагаемого материала, как правило, принадлежал к классической эпохе. На сей раз Фуко (разумеется, не отходя от этой общей установки) обращается к непосредственному анализу реалий второй половины XX в. Можно найти несколько объяснений этому.

Во-первых, молодой Фуко, несмотря на весь свой «левый анархизм», был довольно аполитичен, так что впоследствии ему пришлось задним числом вписывать свои ранние работы в контекст политических процессов. Здесь же мы имеем дело с Фуко крайне политизированным, принимающим самое живое участие в политических дебатах своей эпохи, с тем Фуко, который утверждает, что «философия сегодня — всецело политическая и всецело историческая. Это политика, имманентная истории, это история, необходимая политике».[1] В «Рождении биополитики» речь идет не просто об истории или истории идей, но об эпистемологии и эпистемологических мутациях (философ честно отрабатывает свои обязанности по кафедре «Истории систем мысли»), каковой предмет позднему Фуко представляется неотрывным от политики. Неолиберализм как средоточие политико-экономической мысли второй половины XX в. не мог не привлечь его внимание. «В то время как роль науки заключается в том, чтобы показать нам то, чего мы не видим, роль философии — в том, чтобы сделать видимым то, что мы видим».[2] Модель такой деятельности Фуко находит в англо-американской аналитической философии, которая, вместо того чтобы размышлять над сущностью языка, изучает функционирование языка в различных типах дискурса. Аналогичным образом мыслит Фуко и свою *аналитико-политическую философию*, образчиком которой является настоящий курс, в последних лекциях которого слышны отголоски интереса Фуко к аналитической традиции.

Во-вторых, к заявленной в названии курса, но так и не получившей должного развития из-за нехватки лекционного времени теме «рождения биополитики» (так что настоящий курс, как замечает сам философ, стал лишь введением к ней) вели обстоя-

---

[1] Ibid. P. 266.
[2] Ibid. P. 541.

тельства биографии Фуко. Рождение термина «биополитика» связано с участием Фуко в сентябре 1975 г. в акции протеста против казни одиннадцати противников франкистского режима в Испании. А 20 ноября умер Франко. Фуко использовал это «маленькое, но приятное событие» как повод заявить о том, что власть вступила в новую фазу развития и стала био-властью.[1] В лекции 17 марта 1976 г. он говорил, что смерть Франко — событие, чрезвычайно интересное в силу своей символической перегруженности: «умирал тот, кто обладал суверенной властью над жизнью и смертью и пользовался ею с известной всем жестокостью самого кровавого из всех диктаторов, кто в течение сорока лет установил абсолютное господство права суверена в отношении жизни и смерти и кто в тот момент, когда приближалась его собственная смерть, обрел некую новую область власти над жизнью, которая представляла не только возможность устроить жизнь, заставить жить, но и в конечном счете заставить индивида жить вне самой смерти».[2] Политическая биовласть заставляет людей жить даже тогда, когда они давно уже должны быть мертвы. Франко сам оказался в руках этой биовласти, которая даже не заметила, что он умер.

Вскоре после поездки в франкистский Мадрид Фуко отправился в Бразилию, чтобы прочесть ряд лекций в Рио-де-Жанейро и в Сан-Паулу. Одна из этих лекций опубликована, и по ней мы можем судить о том, что Фуко в это время уже формулирует понятие «биополитики». Прежде всего, он говорит о «биоистории» — развитии медицины на биологическом уровне; сама история человека как биологического вида, считает он, начиная с XVIII в. проходит под знаком медикализации. Контроль общества над индивидами осуществляется не только через сознание и идеологию, но через тело и *в* теле. «Тело — биополитическая реальность; медицина — биополитическая стратегия».[3]

Во второй половине 1970-х гг. Фуко оказался тесно связан с политическими процессами, происходящими в Западной Герма-

---

[1] *Foucault M.* Faire vivre et laisser mourir // Les Temps Modernes. 1991. N 535.

[2] *Фуко М.* Нужно защищать общество. С. 262.

[3] *Фуко М.* Рождение социальной медицины // Фуко М. Интеллектуалы и власть: Избранные политические статьи, выступления и интервью. Ч. 3 / Пер. Б. М. Скуратова. М.: «Праксис», 2006. С. 82.

нии. Именно поэтому в настоящем курсе имплицитно, а порой и вполне эксплицитно присутствуют отголоски дебатов по поводу «фашизма» и «фашизации» государства. Связано это с нашумевшим процессом фракции «Красная Армия» и ее адвоката Клауса Круассана, против выдачи которого властям ФРГ Фуко и Делёз выступали в 1977 г. Как обычно, был выпущен манифест, в котором говорилось о том, что экстрадиция людей, ищущих во Франции политического убежища, является продолжением традиций вишистского режима. Фуко не поставил своей подписи, решив действовать другими способами. Вместе с А. Глюксманом он написал воззвание, в котором не было нападок на правительственный режим ФРГ. Фуко в своей поддержке Круассана ограничивался узко юридической проблематикой. На этой почве они разошлись во мнениях с Делёзом. Делёз и Гваттари говорили о том, что Западная Германия скатывается к полицейской диктатуре (Гваттари в своем ходатайстве прямо назвал эту страну фашистской). Когда в марте 1984 г. Фуко и Ф. Мориак пытались поддержать рабочих-иммигрантов, они искали третье лицо, которое подписало бы письмо к мэру Парижа. Фуко заявил, что не может обратиться к Делёзу: «Мы больше не общаемся... С того самого дела Клауса Круассана. Я не мог принять терроризм и кровь. Я не одобрял Баадера и его банду».[1]

Когда 16 ноября 1977 г. Круассана вывозили из тюрьмы Санте, Фуко с несколькими десятками единомышленников перекрыли дорогу. Полиция стала разгонять толпу, и Фуко сломали ребро.[2] В декабре 1977 г. Фуко с Д. Дефером приехали в

---

[1] *Mauriac C.* Le Temps immobile. Vol. IX: Mauriac et fils. P.: Grasset, 1986. P. 388.

[2] Жан Бодрийяр впоследствии напишет: «В ночь экстрадиции Клауса Круассана телевидение транслирует матч сборной Франции в отборочных соревнованиях чемпионата мира по футболу. Несколько сотен человек участвуют в демонстрации перед тюрьмой Санте, несколько адвокатов заняты разъездами по ночному городу, двадцать миллионов граждан проводят свой вечер перед экраном телевизора. Победа Франции вызывает всеобщее ликование. Просвещенные умы ошеломлены и возмущены столь вызывающим безразличием. *Монд* пишет: "21 час. В это время немецкий адвокат был уже вывезен из Санте. Через несколько минут Рошто забьет первый гол". Мелодрама негодования» (*Бодрийяр Ж.* В тени молчаливого большинства, или Конец социального / Пер. Н. В. Суслова. Екатеринбург: Изд-во Урал. ун-та. 2000. С. 16—17).

Берлин. Они пытались пройти в Восточную зону, но их остановила полиция, устроившая им личный досмотр; особенно не понравились блюстителям порядка книги из портфеля Фуко. Два дня спустя в Западном Берлине, как только они вышли из отеля, перед ними остановились три полицейских автомобиля. Автоматчики заставили их поднять руки и учинили обыск: как выяснилось, во время завтрака Фуко упомянул об Ульрике Майнхоф, и кто-то на него донес. Фуко и Дефера отвели в полицейский участок и подвергли допросу. Они оказались в комичном положении: во Франции их ругали за то, что они не поддерживают «Красную армию», а в Германии их арестовали именно за поддержку террористов.

Таким образом, «немецкая тема» появилась в творчестве Фуко отнюдь не случайно и подсказывалась как политическим процессом в Европе, так и жизненными обстоятельствами философа. «...Не в том ли состоит одна из основополагающих черт нашего общества, что судьба принимает в нем вид отношений с властью, борьбы за нее или против нее?»[1]

Наконец, в-третьих, к проблематике неолиберализма Фуко подводили предшествующие штудии, представленные им в Коллеж де Франс, — курсы «Нужно защищать общество» и «Безопасность, территория, население».

В лекционном курсе 1975—1976 учебного года, получившем название «Нужно защищать общество», Фуко говорил о двух фундаментальных дискурсах, существующих в истории Запада — юридически-философском и историко-политическом (при желании их можно возводить к ницшевским Аполлону и Дионису). Историко-политический дискурс интересует Фуко по преимуществу: во-первых, потому что он долгое время подавлялся, а во-вторых, потому что он оказывает определяющее влияние на современную историю. Историко-политический дискурс исторически укоренен и политически децентрирован, он исходит из силовых отношений и имеет своей целью развитие этих отношений, в результате чего говорящий субъект отлучается от юридически-философ-

---

[1] *Фуко М.* Жизнь бесславных людей // Интеллектуалы и власть. Ч. 1. С. 256.

ской универсальности. Диалектика, особенно гегелевская, выполняет функцию захвата и перемещения историко-политического дискурса в область дискурса философско-юридического. Диалектика превращает борьбу, войну и столкновения в «логику противоречия», включая их в процесс развития тотального знания и обновления рациональности. Тем самым она прослеживает во «всемирной» истории образование универсального субъекта, связной истины и законности. В «Рождении биополитики» Фуко также говорит об отличии экономистской механики субъекта интереса от диалектики субъекта права (конституируемых, как можно догадаться, соответственно историко-политическим и философско-юридическим дискурсами). Механика субъекта интереса — это механика эгоистическая, непосредственно умножающая, ничего не трансцендирующая. В регистре либерального дискурса эти противоположности выражаются как *рынок* и *договор*. Поскольку это различение чрезвычайно важно для лекций Фуко второй половины 1970-х гг., представим его в схематическом виде.

Дискурс	Референт	Форма субъекта	Форма дискурса	Область референции
Историко-политический	Рынок	Субъект интереса	Механика	Экономия
Юридическо-философский	Договор	Субъект права	Диалектика	Право

Конечно, Фуко далеко не всегда озабочен стройностью своей схемы, однако она просматривается на протяжении всего курса и, будучи в известной мере упрощением, позволяет понять, к чему клонит Фуко. Он не сторонник Макиавелли или Гоббса: историко-политический дискурс он не отождествляет с политическим. Дискурс государства — это дискурс договора и суверенитета, тогда как Фуко стремится показать функцио-

нирование дискурса политического историцизма. Другими словами, философ отказывается от гоббсовской модели Левиафана, в которой власть ограничена юридической суверенностью, и подвергает ее анализу, исходящему из техники и тактики господства.

Экономический дискурс, к которому Фуко обращается в настоящем курсе, оказывается, таким образом, частью историко-политического ансамбля. И это совершенно естественно, ведь речь у него идет не об экономике, но об экономии — в широком смысле этого термина. Кстати, французский термин «economie» несет оба значения, так что Фуко нередко указывает, в каком смысле — узком или широком — он его применяет; порой же он сознательно играет на этой двусмысленности. В каждую конкретную историческую эпоху знание не только обосновывает себя «изнутри», но и устанавливается определенной социальной технологией. Поэтому философ обращается не только и не столько к техникам высказывания истин, сколько к социально-политическим технологиям производства высказываний в качестве истинных. В настоящем курсе Фуко обращается к неолиберальной технологии.

«Политическая экономия истины» современного западного общества, по Фуко, характеризуется пятью чертами: 1) истина сосредоточивается в форме научных высказываний в производящих его институтах; 2) истина постоянно подвергается экономической и политической стимуляции; 3) истина бесконечно распространяется и потребляется в различных формах; 4) истина производится и транслируется под контролем крупных политических и экономических институтов; 5) истина является ставкой всякого политического спора и общественного противостояния.[1] Все эти моменты предстают во всей красе при обращении к технологиям неолиберализма.

Лекционный курс 1977—1978 учебного года, получивший название «Безопасность, территория, население», был посвящен генезису политического знания, располагающего в центре своих интересов понятие населения и механизмы, обеспечи-

---

[1] *Фуко М.* Политическая функция интеллектуала / Интеллектуалы и власть: Избранные политические статьи, выступления и интервью. Ч. 1. С. 206—207.

вающие его регулирование. Центральным понятием Фуко в этих лекциях стало «управление». Пользуясь указаниями П. Вейна, он проследил осуществление политической власти в античных обществах, которое не предполагало управления индивидом на протяжении всей его жизни, затем обратился к христианской идее пастората, а основное внимание, как всегда, уделил классической эпохе, когда появился дискурс, позволяющий анализировать «искусство государственного управления». Под последним Фуко понимает тот способ, которым поведение индивидов имплицируется в осуществлении суверенной власти. В эпоху меркантилизма привилегированным объектом правительственного интереса стало сочетание «население—богатство»; иными словами, была сформулирована политическая проблема населения, то есть население стали анализировать как совокупность элементов: 1) связанную с общим режимом существования живых существ и 2) доступную для согласованного политического вмешательства. Управлять государством теперь означает осуществлять экономию, то есть пристальный надзор и контроль за жителями и богатством. Если у Макиавелли объектом и целью власти выступали территория и населяющие ее люди, то начиная с XVIII в. таковым стал «комплекс людей и вещей», а территория и собственность утратили свое значение, став характеризующими этот комплекс переменными. С развитием науки управления центр тяжести переместился на уровень той реальности, которую принято называть «экономикой». И именно с того момента, когда среди разнообразных элементов богатства возник новый субъект — население, — смогла сформироваться политическая экономия. Если в начале 1970-х гг. Фуко утверждал, что на смену обществу подавления пришло дисциплинарное общество то теперь он считает, что существует треугольник «суверенитет—дисциплинарные практики—правительственное управление», главная цель которого — население, а основные механизмы — аппараты безопасности.[1] На семинарах того же года Фуко говорил о

---

[1] *Фуко М.* Искусство государственного управления // Интеллектуалы и власть. Ч. 2. С. 206. Впрочем, это не мешает Фуко утверждать, что «мы живем в эпоху государственного управления, открытого в XVIII в» (Там же. С. 208).

«биополитике» как способе отношения к населению в качестве множества сосуществующих организмов, наделенных конкретными биологическими и патологическими чертами, а потому относящихся к сферам специфических знаний и техник. Таким образом, тема «Рождение биополитики» напрашивалась сама собой, и Фуко не преминул обратиться к ней, хотя недостаток времени и не позволил ему развить ее.

Но я, кажется, несколько увлекся в своем стремлении представить обращение Фуко к проблематике неолиберализма, вытекающей из его предыдущих исследований и политической борьбы. Пожалуй, будет нелишне сказать о том, что происходило с философом в тот год, когда читался курс «Рождение биополитики». Хотя эти события и не нашли непосредственного отражения в том, что произносилось в старомодной аудитории Коллеж де Франс, их следует иметь в виду как биологический, или биополитический, «контекст курса». Во всяком случае мы обозначим несколько важных фактов.

Во-первых, в июле 1978 г. Мишель Фуко попал под машину. В 1983 г. он рассказывал канадскому интервьюеру:

> «Однажды на улице меня сбила машина. Я прогуливался. Секунды две мне казалось, что я умираю, и это было очень, очень интенсивное удовольствие. Погода стояла прекрасная. Было семь часов, лето. Солнце садилось. Небо было великолепно синим и все такое. Это было и все еще остается одним из лучших моих воспоминаний. [*Смех*]».[1]

Может быть, этот опыт прикосновения к смерти и впрямь наводил Фуко на веселый лад, однако его последствия были не столь приятны. Больше года философ страдал от сильных головных болей и приступов тошноты и головокружения. В 1979 г. он признался К. Мориаку, что так и не оправился от последствий травмы.[2]

Во-вторых, в сентябре 1978 г. в миланской ежедневной газете «Corriere della sera» открылась новая рубрика под названием «Расследования Мишеля Фуко». Философ намеревался

---

[1] The Minimalist Self (discussion with Stephen Riggins) // Michel Foucault. Politics. Philosophy. Culture. Interviews and other writings. 1977—1984. New York; L.: Routledge, 1988 P. 12.

[2] *Mauriac C.* Le Temps immobile. Vol. IX: Mauriac et fils. P. 328.

писать «интеллектуальные репортажи» (reportages di idee), в которых можно было бы рассказать о том, чему никогда не давали слова, но самое главное — следить за рождением идей не в книгах, а в событиях. Статьи переводились на итальянский и печатались в Милане, поскольку Фуко не хотел осложнений, которые непременно возникли бы, публикуй он эти материалы во Франции. Наибольший резонанс получили его репортажи о революции в Иране. «Я не могу написать историю будущего, я — довольно неуклюжий исследователь прошлого, — объяснял он свою деятельность. — Однако я хотел бы зафиксировать "то, что происходит", ведь в эти дни [в Иране] еще ничто не предрешено, и агония продолжается. Возможно, это журналистская работа, но верно и то, что я всего лишь неофит».[1] В сентябре-октябре 1978 г. Фуко в сопровождении Т. Вельтцеля совершил две краткие поездки в Тегеран. В своих репортажах он охарактеризовал ситуацию в Иране как «всеобщую политическую забастовку», то есть забастовку в отношении политики: люди отказывались подчиняться действующей системе и в то же время не желали участвовать в политической борьбе за будущее государственное устройство. Он взял интервью у аятоллы Мадари и встретился с Мезди Барганом, который вскоре стал премьер-министром. На него произвело прекрасное впечатление заявление Базаргана о том, что исламское правительство намерено ограничить гражданские права религиозными обязанностями, так что сам ислам будет отныне противостоять любым попыткам правительства пойти наперекор воле народа. В статье, напечатанной в «Le Nouvel Observateur»? он написал, что в Иране возрождается то, о чем на Западе не слыхали со времен Ренессанса — «политическая духовность». Увлекшись, он недооценил диктаторский потенциал аятоллы Хомейни и заявил, что аятолла выступает фокусом анонимных коллективных сил, и никакого «режима Хомейни» не будет. Однако вскоре Хомейни пришел к власти, и начались массовые расстрелы. Фуко написал открытое письмо к М. Базаргану, в котором на-

---

[1] *Foucault M.* La Rivolta dell. Iran corre sui nastri delli minicassette // Corriere della sera. 1978. 19 novembre. P. 1. Цит. по: *Macey D.* The lives of Michel Foucault: a biography. New York: Pantheon, 1993. P. 407.

поминал ему о «духовности».[1] Ответа он, конечно же, не получил.

В-третьих, в ноябре 1978 г. Фуко был вовлечен в организацию рейса спасательного судна, которое должно было вывезти терпящих бедствие вьетнамских беженцев, которых отказалась принимать Малайзия. Если в начале 1970-х гг. Фуко протестовал против войны во Вьетнаме, то теперь ситуация изменилась: приходилось спасать жертв победившего Вьетнама. Ни компартия, ни троцкисты не поддержали эту кампанию.

В марте 1979 г. Фуко предоставил свою квартиру для арабо-израильского коллоквиума. Апартаменты на улице Вожирар были переоборудованы в конференц-зал. 14 марта состоялась первая встреча, на которой Сартр произнес краткую речь. Сам Фуко отсутствовал: он не желал принимать участия в дебатах.

20 июня 1979 г. Фуко и Сартр организовали пресс-конференцию в поддержку беженцев из Вьетнама. В работе пресс-конференции участвовали А. Глюксман и Р. Арон. Фуко потребовал от правительства увеличить число беженцев, принимаемых во Франции. Несколько дней спустя философ присутствовал Сартра и Арона на другой пресс-конференции, организованной в стенах Коллеж де Франс. Фуко выступил с речью, ставшей чем-то вроде хартии о правах человека:

> «Существует интернациональный долг, создающий права и обязанности и состоящий в том, чтобы выступать против любого злоупотребления властью, независимо от того, кто его совершает и кто становится его жертвами. В конце концов, всеми нами управляют, а это значит, что все мы солидарны».[2]

Президент Жискар д'Эстен принял делегацию, в которую входили Сартр и Глюксман, и выказал полную неосведомленность о проблемах вьетнамских беженцев. Он пообещал помощь, однако делегаты покинули Елисейский дворец в самом мрачном настроении. Впрочем, после долгих бюрократических проволочек беженцев все-таки приняли.

---

[1] См.: *Foucault M.* Inutile de se soulever? // Le Monde. 1979. 11 mai.

[2] Цит. по: *Eribon D.* Michel Foucault et ses contemporains. P.: Fayard. 1994. P. 279. (Опубликовано в Libération. 1984. 30 juin.)

Этот общий контекст позволяет взглянуть на «Рождение биополитики» с событийной точки зрения и довольно легко ответить на вопрос о том, разделяет ли сам Фуко идеи неолиберализма, о которых идет речь в настоящем курсе. Конечно же, Фуко никакой не неолиберал. Но вовсе не из-за его пресловутой «левизны». Как ни парадоксально, Фуко, неизменно тяготевший к левому крылу, наиболее активно поддерживал «правые» революции (в Тунисе и в Иране), пропустив единственную «левую» революцию в своей жизни — майское восстание 1968 г. Он сотрудничал с голлистским правительством, но не стал сотрудничать с правительством социалистов. Очень трудно, быть может, вообще невозможно определить его «партийную» ориентацию. По-видимому, таковой вообще не было. «Я думаю, — говорил он в 1984 г., — что побывал на большинстве клеток политической шахматной доски, последовательно, а иногда и одновременно: анархист, левый, открытый или замаскированный марксист, нигилист, явный или скрытый антимарксист, технократ на службе у Шарля де Голля, новый либерал и т. д. ... В действительности я предпочитаю никак не идентифицировать себя, и я удивлен разнообразием оценок и классификаций».[1] А в 1977 г. он заявил, что, возможно, мы присутствуем при конце политики. Однако этот «конец политики» для него не был прекращением политической деятельности. Как заметил Ж. Рансьер, «деполитизация — вот древнейшее занятие политического искусства, то, что добивается достижений, приближаясь к своему концу; достигает совершенства у края обрыва».[2] То, что многие исследователи рассматривают как отход Фуко от политической активности и утрату им политических ориентиров в начале 1980-х гг., как раз и было его политической практикой «у края» — там, где утрачивают смысл метанарративы о социальном и об абсолютной несправедливости.

Неолиберализм интересует Фуко как стратегия сопротивления государственной власти, того сопротивления, в ко-

---

[1] *Foucault M.* Interview: (Polemics, Politics and Problematizations) // Essential Works of Foucault. Vol. 1. Ethics / Ed. L. Davis. N.Y., 1997.

[2] *Рансьер Ж.* На краю политического / Пер. Б. М. Скуратова. М.: Праксис, 2006. С. 41.

тором как раз и происходит становление властных отношений. Он далек от моральных или эмоциональных оценок: власть — не зло и не добро. Это регистр, в котором происходит субъективация индивида, становление индивида субъектом. И неолиберализм симпатичен Фуко не более и не менее, чем все прочие формы сопротивления государственной власти, такие, например, как ходатайства о бланкетных указах в XVIII в. Власть не «спускается сверху», но «поднимается снизу». Знание и власть не накладываются на производственные отношения; они укоренены в том, что создает производственные отношения.

В связи с этим стоит, пожалуй, сказать несколько слов об отношениях Фуко с концепциями, авторитет которых в этой области долгое время считался непререкаемым — с марксизмом и социальной философией Франкфуртской школы.

Если и можно усмотреть у Фуко отголоски марксовых идей, то звучат они, несомненно, в интерпретации его учителя Луи Альтюссера, который, выступая против гегелевского субъекта истории, не отказывался от самой категории субъекта. Альтюссер выработал концепцию интерпелляции, согласно которой субъект производится дискурсом, причем это производство является ответом на «запрос власти». И Альтюссер, и Фуко интересовались проблематизациями, а не решением проблем. Хотя Альтюссер был стойким марксистом, а Фуко — своего рода релятивистом, оба философа выступали против абсолютизированного представления об истине и заблуждении. Как и Альтюссер, Фуко настаивал на том, что наука сама производит собственные объекты, являясь в то же время эффектом социальных техник. Однако Альтюссер всегда придерживался марксистского убеждения в существовании «объективной реальности», что вызывало у него большие трудности при попытках совместить марксистскую философию с традицией эпистемологии. Фуко оторвался от марксизма, заявив о «произведенном» характере реальности. Так, например, в 1978 г. он говорил: «Маркс думал — и писал об этом,— что труд составляет конкретную сущность человека. Мне кажется, это типично гегельянская идея. Труд не является конкретной сущностью человека. Если человек трудится, если человеческое тело представля-

ет собой производительную силу, то именно потому, что человек обязан трудиться. А обязан он потому, что инвестируется политическими силами, потому что захвачен механизмами власти».[1]

Фуко признавался, что плохо знаком с работами Франкфуртской школы, и заинтересовался этим направлением лишь после прочтения книги О. Кирхаймера о техниках наказания. Обратившись к «франкфуртцам», Фуко обнаружил, что эти философы во многом предвосхитили его идеи и поставили те самые проблемы, над которыми билось его поколение. «Когда я признаю заслуги философов Франкфуртской школы, я делаю это с нечистой совестью того, кто должен бы их уже давно прочесть...», — говорил он в 1978 г. Однако отношение Фуко к «франкфуртцам» было двойственным: с одной стороны, он понимал, что, прочитай он их в молодости, мог бы подпасть под их влияние на всю жизнь, с другой — его многое не устраивало. Во-первых, для него была неприемлема концепция субъекта, которую Франкфуртская школа некритически заимствовала из многовековой традиции. В силу этого она тяготела к представлению о том, что человека в конце концов можно производить согласно его природной «сущности». По Фуко, человек — нечто еще не существующее, что следует произвести. Во-вторых, он не принимал впитанного «франкфуртцами» марксистского гуманизма. В-третьих, «франкфуртцы» не занимались созданием истории, но довольствовались уже написанным другими историками, как правило, марксистами. Поэтому Фуко считал их «поглотителями истории в том виде, как другие изготовили ее».[2] Исторический анализ в интересующей тебя области, настаивал Фуко, надо проводить самостоятельно. «Франкфуртцы» тяготели к пониманию мира как социальной среды, в которой действуют репрессивные по отношению ко всякой индивидуальности механизмы и схемы описания действительности. Т. В. Адорно, вслед за К. Мангеймом, трактовал познание как сугубо идеологи-

---

[1] *Foucault M.* Dits et Écrits. T. II. 1976—1988. P. 470.

[2] Беседа с Мишелем Фуко // Фуко М. Интеллектуалы и власть. Ч. 2. С. 258.

ческое явление в смысле ложного, извращенного сознания. Познание для него — это овладение и уничтожение. Фуко же, напротив, считает, что знание и власть, не внешние по отношению к индивиду, но проходящие через него самого, производят его в качестве субъекта. Таким образом, у «франкфуртцев», считал он, сохраняется субстантивизм и телеологизм традиционной истории с ее непоколебимой верой в «универсалии». А потому Фуко не удивлен тем, что, как он говорит в лекции 7 февраля 1979 г., «последние последователи Франкфуртской школы в 1968 г. сшиблись с полицией того самого правительства, которое вдохновлялось Фрайбургской школой». Речь идет о конфликте бунтующих студентов со считавшимся «левым» Т. В. Адорно, «диалектика» которого перестала быть релевантной в новых политических условиях. Когда его ученики захватили здание Социологического института, Адорно «позволил полиции очистить институт от бунтующих студентов, а позже выступил свидетелем на процессе во Дворце юстиции... Студенты превратили свидетеля в обвиняемого. Вчерашние восторженные ученики бросали колкие насмешливые реплики по поводу конформизма бывшего мэтра».[1]

Итак, Фуко движется своим собственным путем, следуя своему собственному методу. Этот метод можно в целом охарактеризовать как генеалогический, хотя сам Фуко в конце жизни говорил, что существует не одна генеалогия, а целых три: историческая онтология нас самих (nous-mêmes) в наших отношениях к истине, позволяющая нам конституироваться в качестве субъекта знания; историческая онтология нас самих в поле власти, позволяющая нам воздействовать на других; историческая онтология нас самих в пространстве морали, позволяющая нам становиться этическими субъектами.[2] Присутствие первых двух в «Рождении биополитики» эксплицитно, а третья присутствует здесь имплицитно и в следующем учебном году будет развиваться на другом материале.

---

[1] *Соловьева Г. Г.* Современный Сократ // Путь в философию. Антология. М., 2001. С. 352.

[2] *Foucault M.* Dits et Écrits. T. II. 1976—1988. P. 1437.

Книги Фуко, даже такие, как «Слова и вещи» и «Археология знания», не дают нам четкого метода. Сам он говорил, что пишет исключительно из-за того, что пока еще не знает, как относиться к интересующей его проблеме. Приступая к написанию очередной книги, Фуко, по его собственному признанию, никогда не знал ни того, к каким выводам придет, ни какой метод будет применять. Каждая из его работ в той или иной мере представляет собой попытку вычленить объект и создать метод анализа. Только по завершении работы, ретроспективно, Фуко мог предложить свои методологические размышления, то есть представить тот метод, которому надо было бы следовать в книге. Но, поскольку книга к этому моменту уже бывала закончена, все методологические концепции переносились в «межкнижное» пространство, то есть в его лекции и интервью. Однако размышления, предложенные им в лекционных курсах, представляют собой что-то вроде строительных лесов, возведенных между завершенной книгой и книгой, еще не написанной. Поэтому, во-первых, публикация лекционных курсов Фуко представляется сегодня чрезвычайно актуальной, несмотря на сетования иных обленившихся интеллектуалов на то, что эдак ведь в конце концов придется читать и его счета из прачечной. А во-вторых, никакой общей методологии здесь тоже не найти. «То, что я написал, — признавался философ, — никогда не имеет предписывающего значения ни для меня, ни для других людей. В лучшем случае это нечто пригрезившееся и обладающее инструментальной ценностью».[1]

Единственную методологическую установку Фуко можно сформулировать следующим образом: спрашивать не «что?», но «как?». Например, вместо вопроса «что такое власть?» задаться вопросом «как функционирует власть?». Вместо истории ментальностей создавать историю условий, при которых формируются ментальности; вместо истории институтов — историю условий, при которые институты формируются; вместо истории субъекта или субъектов — историю процессов субъективации. Но самое главное (мы

---

[1] Беседа с Мишелем Фуко // Фуко М. Интеллектуалы и власть. Ч. 2. С. 214.

вновь приводим идею Делеза) в том, что для Фуко мыслить — значит проблематизировать. Все, чем занимается Фуко, — проблематизации. А проблематизация мысли вырастает из знания, власти и «Я». Как очень верно подметили А. МакХоул и В. Грейс, Фуко не создал никакой категорической теории в смысле набора однозначных ответов на те или иные вопросы. Скорее, в своей деятельности он обратился к различным типам теоретизирования. Поэтому Фуко — «прежде всего философ, сделавший философию практикой вопрошания, а не поиском сущностей».[1]

Сам не любя затянутые послесловия переводчиков, постараюсь не затягивать и это. Писать о том, как следует понимать Фуко, бессмысленно; писать, что я о нем думаю — никому, кроме меня, не интересно; а пересказывать книгу и вовсе незачем. Задача переводчика — исчезнуть, раствориться в тексте. «Смерть автора» в данном случае происходит еще до рождения читателя. Скажу напоследок несколько слов об особенностях языка Фуко, с которыми пришлось столкнуться мне и которых, стало быть, не избежать и читателю.

Жалобы на «непрозрачность» фукольдианского дискурса впервые стали раздаваться в англоязычных странах, где серьезное знакомство с творчеством Фуко началось в начале 1970-х гг. Однако во Франции никто не называл стиль Фуко «темным» или «неясным». Для русского читателя ситуация сложнее: во-первых, если он читает по-французски, он, как и читатель англоязычный, преодолевает культурный барьер; во-вторых, если он читает Фуко в переводах (а бóльшая часть книг Фуко у нас уже переведена), к культурному барьеру добавляется барьер языковой: стиль Фуко, изысканный и аллюзивный, в переводе действительно может стать «непрозрачным». Но это в большей степени относится к книгам философа. Здесь же мы имеем дело с лекциями, то есть по определению с устной речью. Конечно, в Коллеж де Франс Фуко не импровизировал, перед ним всегда лежали листы с рукописным текстом. Однако это вовсе не значит,

---

[1] *McHoul A., Grace W.* A Foucault primer: discourse, power, and the subject. Dunedin (N. Z.): University of Otago Press, 1998. P. VII.

что он ограничивался чтением прежде написанного. О расхождении между написанным и произносимым читатель сам может судить по тем фрагментам манускрипта, которые Фуко не озвучил из-за недостатка времени и которые приводят восхитительно дотошные французские издатели. Его рукопись — лишь набросок, общий абрис речи, так что в конце концов нам приходится иметь дело именно с устной речью.

Эта речь, насыщенная вводными и причастными оборотами, конечно же, значительно отличается от того, к чему привыкли читатели книг Фуко. Здесь нет ни поэтической легкости «Истории безумия», ни виртуозной прозы «Слов и вещей», ни изящных строительных лесов «Археологии знания». Здесь все проще. Что остается неизменным — информативная насыщенность каждого произнесенного слова. Фуко никогда ничего не говорит просто так, для красоты или оттого, что его куда-то унес поток ораторского красноречия. Но эта насыщенность в лекциях философа граничит с аскетизмом. Так что читателю, впервые столкнувшемуся с выступающим в этом школярском жанре классиком, остается лишь разводить руками: «Это не Фуко. Или нет, Фуко, да не тот». Мы старались по возможности сохранить живую речь Фуко — этот мощный поток, порой катящийся бурно, натыкаясь на пороги, а порой разливающийся широко, образующий опасные водовороты или тихие заводи.

Неологизмы или варваризмы, используемые Фуко в этом курсе, отмечены в тексте им самим и комментария не требуют. Однако пару терминов выделить все-таки следует. Как всегда, Фуко склонен использовать буквальный смысл слов, что позволяет ему затевать игры на уровне языка. Например, термин «informer» он использует как парный к «réformer», заостряя внутреннюю работу категории формы, что в русском языке несколько теряется, так что мы решили подчеркнуть этот момент, дав дробное написание терминов: «ин-формировать» и «ре-формировать». К этому добавляются термины «informante», — подчеркивающий властную функцию социального тела вбирать в себя многообразные формы «предприятия», — и «réinformation» — применительно к реформированию и преобразованию социальной моде-

ли. Еще один неологизм Фуко, предлагаемый в этом курсе (лекция 21 марта 1979 г.), — *enforcement*. Английское «enforcement» несет значение «принуждение». Во французском языке этот термин отсутствует и, как замечает сам Фуко, обычно переводится термином «renforcement» — усиление, упрочение. Фуко все это не устраивает, поэтому он просто транскрибирует английский термин, получая неологизм с промежуточным значением, который мы переводим как «утверждение».

Вот, пожалуй, и все.

А. В. Дьяков

Указатель предметный

Gesellschaftspolitik 188, 202, 206, 207, 228, 301–303, 326
Homo criminalis 313, 314
Homo juridicus 344, 352
Homo legalis 313, 314, 344
Homo oeconomicus 189, 285, 286, 313, 314, 316, 334, 335, 337—339, 344, 346, 351, 352, 363—367, 369, 379, 381, 400
Homo penalis 312, 313
New Deal 104, 134, 144, 145, 183, 220, 242, 246, 247, 261, 274, 310, 411
Polizeistaat 216, 244
Ratio 16, 31
Vitalpolitik 190, 205, 301, 304, 305
Welfare 92, 123
Zollverein 123, 128, 141, 164

Анархо-капитализм 138, 173, 186, 400
Анархо-либерализм 152, 208
Антиэтатизм 101

Безумие 15, 35, 41, 45, 52, 55, 102, 369, 370, 413, 433
Биополитика 38, 39, 104, 124, 397, 398, 405, 417, 418, 421, 424, 427, 431
Болезнь 35, 89, 90, 185, 260, 274, 287, 339, 340

Веридикция 37, 45, 50—56, 64, 65, 69, 73, 75, 78, 84, 123, 397, 399
Верификация 55
Вестфальский договор 19, 74

Генеалогия 53, 70, 111, 414, 430
Гигиена 90, 205, 290, 405, 406
Государство-муравейник 100, 106, 197, 128,
Государство полисии 13, 18, 20, 21, 23, 33, 82, 83, 96
Гражданское общество 15, 104, 240, 242, 356, 363, 368—371, 373—381, 383—386, 390, 393, 400, 408,

Деспотизм — 29, 84, 92, 101, 102, 206, 216–218, 233, 356
Дирижизм 123, 134, 172, 251

Империализм 38, 78, 240, 291
Империя 17, 19, 23, 38, 76, 82
Интерес
государственный 13, 16—24, 27—29, 38, 39, 45—47, 51, 56, 57, 59—61, 66, 73, 74,

135, 245, 275, 353, 366, 397, 406, 407, 409
индивидуальный 89, 345, 346, 349, 388, 399
коллективный 89, 381
либеральный 38
общественный 349
политический 354
правительственный 25—29, 30, 32, 36—39, 56–58, 64—67, 75, 87, 89, 334, 352, 366, 386, 387, 397, 398, 410, 423
экономический 236, 237, 352, 376, 380
Истина 13, 32—36, 38, 40, 45, 47—51, 53—58, 69, 73, 144, 355, 384, 387, 388, 397, 398, 409, 421, 422, 428, 430
Историцизм 15, 16, 136, 414, 422

Коммунизм 93, 195
Конкуренция 29, 38, 74—78, 81, 115, 116, 118, 123, 130, 131, 134, 153–156, 168, 171, 172, 174—178, 183, 184, 189, 191, 195, 254, 305, 327

Либерализм 13, 36–39, 45, 47, 62, 64, 67, 68, 73, 77, 83—85, 87—91, 93, 94, 100, 103, 106, 113, 118, 121—123, 128, 134, 135, 137, 138, 141, 142, 148, 149, 151—154, 157, 162, 164, 169, 171, 173, 188, 194—196, 202, 208—210, 223, 228, 233, 242, 246, 250, 251, 265, 266, 274, 276, 277, 284, 302, 351, 353, 354, 370, 397—401, 405, 406, 408—412

Марксизм 115, 116, 131, 388, 428
Меркантилизм 18, 51, 73—75 78, 354, 409, 423
Монархия 23, 47, 82, 85, 86, 119, 162
Монополия 154, 169, 174—178, 197, 214, 236, 322

Надзор 91, 99, 151, 350, 365, 423
Население 18, 28, 38, 60, 65, 181, 182, 200, 204, 252, 261—263, 366, 398, 405, 406, 412, 423, 424
Нацизм 101, 104, 105, 108, 123, 127, 134, 140, 141, 143, 144—147, 149—151, 158, 232, 243—245
Национал-социализм 93, 107, 134, 149, 158, 159, 411
Неолиберализм 100, 104, 105, 110, 115, 117, 118, 122, 134, 135, 137, 138, 152, 169—174, 187, 196, 207, 208, 210, 229, 238, 239, 242, 247, 256, 258, 273—277, 279, 284, 285, 301, 305, 324, 334, 398, 411, 412, 417, 420, 424, 428

Ордолиберализм 137, 184, 206, 207, 225, 248, 256, 302, 400, 411

Паноптизм 42, 73, 91, 414
Паноптикон 91, 97, 98, 320
Патернализм 239
Политическая экономия 13, 28—33, 38, 47, 51, 57, 58, 101, 125, 157, 163, 198, 232, 278, 311, 334, 338, 350, 352—354, 356, 370, 397, 408, 409, 422, 423
Преступность 35, 55, 278, 301, 311, 320—322, 335
Пролетариат 123, 129, 142, 205
Протекционизм 81, 123,143, 164, 176, 197

Радикализм 45, 60, 61, 63, 344
Рациональность 16, 17, 21, 27, 30, 36, 54, 73, 78, 83, 100, 119—121, 134, 139, 149, 150, 188, 226, 273, 282, 311, 320, 323, 347, 351, 352, 356, 366, 368, 387, 388, 400, 405, 412, 421

Самосознание 14
Сексуальность 35, 90, 370
Социализм 93, 101, 115, 118—123, 130, 134, 141, 142, 145, 149, 162, 186, 227, 237, 242, 261, 272, 276, 277, 352, 353, 411
Сталинизм 245
Стоимость
меновая 64, 188
потребительная 67
Суверенитет 14, 15, 26, 58, 59, 63, 89, 100, 107—110, 217, 351, 356, 365—368, 373, 377, 422

Теофания 17, 19

Универсалии 13, 15, 16, 41, 86, 102, 103, 405, 414, 430
Утилитаристы, утилитаристский 31, 32, 39, 60, 61, 147, 399

Фальсификация 50, 55
Фашизм 93, 105, 128, 239, 243, 245, 264, 398
Феноменология 136, 157, 411, 413
Физиократы 29, 39, 50, 73, 75, 76, 79, 81, 84, 85, 106, 113, 126,
187, 343, 354—356, 365, 366, 409
Фрайбургская школа 93, 123, 130, 134, 138—141, 157, 172, 411, 430
Франкфуртская школа 54, 70, 134, 138—140, 428, 430

Чикагская школа 208, 266, 274, 309, 410, 411

Этатизация 102, 103, 107, 113, 122, 146, 147, 243—245
Этатизм 134, 149

Юрисдикция 37, 45, 49, 51—54, 65, 75, 123, 222, 236, 311

Указатель именной

Аденауэр К. 130, 189, 411
Адорно Т. В. 430
Альтюссер Л. 428
д'Аржансон Р. Л. 36, 39, 43, 122
Аристотель 8
Арон Р. 173, 195, 426

Барр Р. 247, 248, 262, 265
Беверидж У. 134, 144, 165, 166, 183, 186, 243, 244, 249, 264,
Беккариа Ч. Б. 58, 67, 71, 311–314, 317
Бем-Баверк Е. 125
Беккер Г. 279, 283, 285, 287, 295, 296, 298, 299, 311, 314, 315, 317, 321, 330, 335—338
Бентам Дж. 26, 39, 42, 58, 63, 73, 91, 98, 99, 249, 311—314, 317, 320, 329, 359, 408
Бём Ф. 126, 134, 136, 138, 158, 159, 173, 199, 411
Бидо Ж. 126
Бильжер Ф. 199, 200, 205, 400
Бланк Т. 114, 115, 130
Брандт В. 44, 118, 132, 238
Брентано Л. 123, 141, 164
Буагильбер П. П. 50, 69

Вайссер Г. 126
Вальра Л. 214, 216, 231, 232
Вебер А. 136, 162
Вебер М. 111, 134, 139, 163, 164, 166, 189, 210, 216, 228, 231, 292, 411
Визер Ф. фон 125, 163,
Виксель Й. Г. К. 168, 214, 216, 218, 232
Вюйемен Ж. 5

Гваттари Ф. 298, 419
Гегель Г. В. Ф. 384
Гнейст Г. Р. 218
Гоббс Т. 119, 372, 383, 422
Гуссерль Э. 136, 138, 155—157, 162, 411

Делёз Ж. 298, 413, 419, 432
Дефер Д. 9, 419, 420
Джонсон Л. Б. 104, 124, 247, 275, 310

Жискар д'Эстен В. 188, 203, 238, 247, 248, 251, 255—258, 262, 427

Зомбарт В. 147, 148, 160, 166, 189

Ипполит Ж. 5, 414
Итерли Б. Дж. 322

Кант И. 79, 81, 84, 233, 352
Каслри Г. Р. С. 83
Кастель Р. 337
Кейнс Дж. М. 93, 104, 124, 125, 230, 279, 296, 411
Кеннеди Дж. Ф. 104, 124, 310
Кирцнер И. 335
Кольбер Ж. Б. 36, 43
Кондорсе Ж-.А-.Н. 334, 344, 345, 360

Лампе А. 126
Ларок П. 253, 254, 268, 269
Лист Ф. 134, 141
Липпман У. 169, 172, 173, 176, 188, 194, 196, 199, 206–208
Локк Дж. 119, 132, 339, 363, 370
Лутенбах В. 136, 142, 158
Люксембург Р. 291

Макиавелли Н. 422, 423
Мальбранш Н. 347, 360
Мандевиль Б. 343, 360
Маржолен 173, 195
Маркс К. 103, 118, 119, 139, 154, 166, 170, 189, 193, 226, 279, 280, 291, 429
Маршалл Г. 105, 126
Маршалл А. 168, 214, 216, 213
Меттерних К. В. Н. Л. 83, 97
Мигу Ж.-Л. 307, 327
Мизес Л. Э. фон 105, 119, 125, 160, 163, 173, 176, 177, 194, 208, 335
Микш Л. 126, 173, 197, 198, 231
Минсер Дж. 279, 296, 297
Монтескье Ш. Л. 383
Мулен А.-М. 412
Мулен Ж. 126
Мюллер-Армак А. 126, 134, 137, 159, 161, 186, 188, 201–203, 248, 302, 303

Наполеон 81, 82
Нелл-Брюнинг О. фон 114, 126, 129, 130
Ницше Ф. 8, 414

Парето В. 334, 339, 358
Пигу А. С. 183, 201, 261
Поланьи М. 222, 235,

Ратенау В. 142, 143, 164, 165
Рёпке В. 128, 137–139, 144, 161, 162, 166, 173, 175, 176, 180, 184, 189, 190, 198, 199, 201, 202, 204, 208, 225, 226, 243, 248, 264, 302, 303, 305, 411
Рикардо Д. 279, 296
Роббинс Л. Ч. 281, 297
Розанваллон П. 401, 408
Ружьер Л. 193, 194, 196, 206, 208–210, 214, 223, 230
Рузвельт Ф. 92, 99, 104, 274
Руссо Ж.-Ж. 28, 383
Рюстов А. 138, 161, 162, 173, 176, 190, 205, 208, 303—305, 411
Рюэфф Ж. 173, 194, 195, 196

Сартр Ж.-П. 414, 426, 427
Сен-Симон К. А. Р. 150, 167
Смит А. 39, 58, 71, 73, 75––77, 81, 84, 170, 171, 235, 278, 281, 334, 346—350, 353, 354, 356, 361, 371, 375, 409
Солженицын А. И. 170, 193
Стиглер Дж. Ф. 311, 320, 329
Столерю Л. 255, 258—260, 270, 2761, 294
Стоффа К. 248, 258, 259, 266,

Трумэн Г. 104, 124, 275
Тюрго А. Р. Ж. 43, 106, 113, 122, 126

Уолпол Р. 13, 24, 36, 40
Уолпол Х. 40

Фейт О. 126
Фергюсон А. 349, 361, 363, 371—376, 378—381
Фихте И. Г. 113, 123, 128
Фишер Г. 159
Фишер И. 283, 297, 298,
Фрейд З. 13, 40
Фридман М. 208, 229

Хайек Ф. А. 40, 105, 119, 124, 125, 134, 138, 144, 160, 163, 173, 206, 208, 220—222, 233, 234, 243, 247, 277, 295, 361
Хонеккер Э. 120, 133

Шахт Я. Г. Г. 136, 143, 158
Шиллер К. 115, 118, 126, 130, 132
Шлейхер К., фон 137, 161
Шмидт Х. 39, 43, 120, 238, 265
Шмоллер Г. 157
Шульц Т. 279, 283, 284, 287, 297, 298, 357
Шумахер Г. 157
Шумахер К. 117, 130, 132
Шумпетер Й. 189, 204, 206, 226—228, 273, 291, 300

Эвальд Ф. 242, 264, 412
Эйкен В. 126, 134, 136, 138, 139, 157—159, 168, 169, 173, 178, 179, 181, 182, 194, 198, 200, 211, 215, 226, 231, 232, 302, 411
Эйнауди Л. 107, 128
Эрлих И. 321, 324, 332
Эрхард Л. 106—109, 113–115, 118, 127, 129, 130, 136, 137, 186, 188, 411

Юм Д. 334, 339—341, 344, 359
Юнг-Штиллинг И. Г. 384, 393

Содержание

Вместо предисловия 5

ЛЕКЦИИ 1978—1979 ГГ.

Лекция 10 января 1979 г. 13

Вопросы метода. — Допущение несуществования универсалий. — Резюме курса предыдущего года: ограниченность государственных интересов (внешняя политика) и безграничность интересов государства полиции (внутренняя политика). — Право как принцип внешнего ограничения государственных интересов. — Программа курса этого года: политическая экономия как принцип внутреннего ограничения правительственных интересов. — Общая цель исследования: соединение серии практик — режим истины и результаты его вписывания в реальность. — Что такое либерализм?

Лекция 17 января 1979 г. 45

Либерализм и становление нового искусства управлять в XVIII веке. — Специфические черты либерального искусства управлять: (1) конституция рынка как места формирования истины, а также области юрисдикции. — Вопросы метода. Цели предпринятых исследований безумия, наказания и сексуальности: эскиз истории «режимов веридикции». — В чем должна состоять политическая критика знания. — (2) Проблема ограничения осуществления государственной власти. Два типа решения: французский юридический радикализм и английский утилитаризм. — Вопрос «полезности» и ограничение осуществления государственной власти. — Замечание о статусе гетерогенного в истории: логика стратегии

против диалектической логики. — Понятие «интереса» как оператор нового искусства управлять.

Лекция 24 января 1979 г. 73

Специфические черты либерального искусства управлять (II): (3) Проблема европейского баланса и международные отношения. — Экономический и политический расчет в меркантилизме. Принцип свободы рынка у физиократов и Адама Смита: рождение новой европейской модели. — Появление правительственной рациональности и ее распространение в мировом масштабе. Примеры: вопрос о морском праве; проекты вечного мира в XVIII в. — Принципы нового либерального искусства управлять: «правительственный натурализм»; производство свободы. — Проблема либерального арбитража. Его инструменты: (1) управление опасностями и создание механизмов безопасности; (2) дисциплинарный контроль (паноптизм Бентама); (3) интервенционистская политика. — Управление свободой и его кризисы.

Лекция 31 января 1979 г. 100

Страх перед государством. — Вопросы метода: смыслы и цели парентезиса теории государства в исследовании механизмов власти. — Неолиберальные правительственные практики: немецкий либерализм 1948—1962 гг.; американский неолиберализм. — Немецкий неолиберализм (I). — Его политико-экономический контекст. — Научный совет, созванный Эрхардом в 1947 г. Его программа: либерализация цен и ограничение правительственных вмешательств. — Средний путь между анархией и «государством-муравейником», обозначенный Эрхардом в 1948 г. — Его двойное значение: (a) соблюдение экономической свободы как условие политической репрезентативности государства; (b) установление экономической свободы как начальная стадия формирования политического суверенитета. — Основополагающий характер современного немецкого руководства: экономическая свобода, источник юридической легитимности и политического консенсуса. — Экономический рост, стержень нового исторического сознания, делающий возможным разрыв с прошлым. — Присоединение христианских демократов и SPD к либеральной политике. — Принципы либерального правления и отсутствие социалистической правительственной рациональности.

Лекция 7 февраля 1979 г. 134

Немецкий неолиберализм (II). — Его проблема: как либеральная экономика может одновременно обосновывать и ограничивать государство? Неолиберальные теоретики: В. Эйкен, Ф. Бём, А. Мюллер-Армак, Ф. фон Хайек. — Макс Вебер и проблема иррациональной рациональности капитализма. Ответы Франкфуртской и Фрайбургской школ. — Нацизм как неизбежное зло, необходимое для определения неолиберальной цели. — Препятствия либеральной политике в Германии начиная с XIX в.: (a) протекционистская экономика по Листу; (b) бисмарковский государственный социализм; (c) утверждение плановой экономики во время Первой мировой войны; (d) дирижизм кейнсианского типа; (e) экономическая политика национал-социализма. — Неолиберальная критика национал-социализма, опирающаяся на эти элементы немецкой истории. — Теоретические следствия: распространение этой критики на New Deal и план Бевериджа; дирижизм и рост мощи государства; массификация и унификация, следствия этатизма. Сущность неолиберализма: новация по отношению к классическому либерализму. Теория чистой конкуренции.

Лекция 14 февраля 1979 г. 169

Немецкий неолиберализм (III). — Польза исторических исследований для настоящего. — Чем неолиберализм отличается от классического либерализма? — Его специфическая цель: как регулировать принципами рыночной экономики общее осуществление политической власти и вытекающие из этого трансформации. — Расхождение рыночной экономики и политики laissez-faire. — Коллоквиум Уолтера Липпмана (26—30 августа 1938 г.). — Проблема стиля правительственной деятельности. Три примера: (a) вопрос о монополиях; (b) вопрос о «соответствующих действиях». Основания экономической политики согласно В. Эйкену. Регулирующие и распорядительные действия; (c) социальная политика. Ордолиберальная критика экономики благосостояния. — Общество как точка приложения правительственных вмешательств. «Политика общества» (Gesellshaftspolitik). — Главный аспект этой политики: формализация общества по модели предприятия. — Общество предприятия и правовое общество — две грани одного явления.

Лекция 21 февраля 1979 г. 206

Второй аспект «политики общества» согласно ордолиберализму: правовая проблема в обществе, регулируемом по модели конкурентной рыночной экономики. — Возвращение к коллоквиуму Липпмана. — Размышления по поводу текста Луи Ружьера. — (1) Идея юридическо-экономического порядка. Взаимоотношения между экономическим процессом и институциональными рамками. — Цель: проблема выживания капитализма. — Две комплементарные проблемы: теория конкуренции и исторический и социологический анализ капитализма. — (2) Вопрос о юридическом интервенционизме. — Историческая справка: правовое государство XVIII в. как противоположность деспотизма и полицейского государства. Пересмотр понятия в XIX в.: вопрос об арбитраже между гражданами и публичной властью. Проблема административных судов. — Неолиберальный проект: включить принципы правового государства в экономический регистр. — Правовое государство и планирование по Хайеку. — (3) Увеличение количества судебных исков. — Общее заключение: специфика неолиберального искусства управлять в Германии. Ордолиберализм против пессимизма Шумпетера.

Лекция 7 марта 1979 г. 238

Общие замечания: (1) Методологическое значение анализа микровласти. (2) Инфляционизм страха перед государством. Связи с ордолиберальной критикой. — Два тезиса о тоталитарном государстве и об ослаблении государственного правления в XX в. — Замечания о распространении немецкой модели во Франции и в США. — Неолиберальная немецкая модель и французский проект «общественной рыночной экономики». — Контекст перехода к неолиберальной экономике во Франции. — Французская социальная политика: пример социальной защиты. — Разделение между экономическим и социальным согласно Жискару д'Эстену. — Проект «отрицательного налога» и его социальные и политические цели. «Относительная» бедность и бедность «абсолютная». Отказ от политики всеобщей занятости.

Лекция 14 марта 1979 г. 273

Американский неолиберализм. Его контекст. — Различия между американским и европейским неолиберализмом. —

Американский неолиберализм как общее требование, очаг утопизма и метод мышления. — Аспекты этого неолиберализма: (1) Теория человеческого капитала. Два процесса, которые она представляет: (a) передовая экономического анализа внутри его собственной области: критика классического анализа труда в терминах фактора времени; (b) распространение экономического анализа на области, прежде считавшиеся не-экономическими. — Эпистемологическая мутация, произведенная неолиберальным анализом: анализ экономических процессов как анализ внутренней рациональности человеческого поведения. — Труд как экономическое поведение. — Расчленение его на капитал-компетенцию и доход. — Реинтерпретация homo œconomicus *как самому себе антрепренера. — Понятие «человеческого капитала». Его конститутивные элементы: (a) врожденные элементы и вопрос улучшения генетического человеческого капитала; (b) приобретенные элементы и проблема формирования человеческого капитала (образование, здравоохранение и т. п.). — Польза этих исследований: постановка проблемы социального и экономического обновления (Шумпетер). Новая концепция политики роста.*

Американский неолиберализм (II). — Применение экономической сетки к социальным явлениям. — Возвращение к ордолиберальной проблематике: двусмысленности Gesellschaftspolitik. *Распространение формы «предприятия» на социальное поле. Экономическая политика и* Vitalpolitik: *общество за рынок и против рынка. — Неограниченное распространение экономической формы рынка в американском неолиберализме: принцип понятности индивидуального поведения и принцип критики правительственных вмешательств. — Аспекты американского неолиберализма: (2) преступность и уголовная политика. — Историческая справка: проблема реформы уголовного права в конце XVIII в. Экономический расчет и принцип законности. Подмена закона нормой в XIX в. и рождение криминальной антропологии. — Неолиберальный анализ: (1) определение преступления; (2) характеристика преступного субъекта как* homo œconomicus; *(3) статус наказания как инструмента «утверждения» закона. Пример с рынком наркотиков. — Следствия этого анализа: (a) антропологическое стирание преступника; (b) положение вне игры дисциплинарной модели.*

Лекция 28 марта 1979 г. 334

Модель homo œconomicus. — *Ее распространение на всякую форму поведения в американском неолиберализме. — Экономический анализ и поведенческие техники. —* Homo œconomicus *как базовый элемент возникающих в XVIII в. новых правительственных интересов. — Начала истории понятия* homo œconomicus *до Уолраса и Парето. — Субъект интереса в английской философии эмпиризма (Юм). — Расхождение между субъектом интереса и субъектом права: (1) Неустранимый характер интереса в отношении юридического волеизъявления. (2) Обратная логика рынка и договора. — Вторая инновация в отношении юридической модели: отношения экономического субъекта с политической властью. Кондорсе. «Невидимая рука» Адама Смита: невидимость связи между поиском индивидуальной выгоды и ростом общественного богатства. Необобщаемый характер экономического мира. Необходимое игнорирование государя. — Политическая экономия как критика правительственных интересов: дисквалификация возможности экономического правителя в двух его формах, меркантилистской и физиократической. — Политическая экономия, побочная наука искусства управлять.*

Лекция от 4 апреля 1979 г. 363

Начала истории понятия homo œconomicus *(II). — Возвращение к проблеме ограничения суверенной власти экономической деятельностью. — Появление нового поля, соответствующего либеральному искусству управлять: гражданское общество. —* Homo œconomicus *и гражданское общество: неотделимые друг от друга элементы либеральной правительственной технологии. — Анализ понятия «гражданское общество: эволюция от Локка до Фергюсона. «Опыт истории гражданского общества» Фергюсона (1787). Четыре основные характеристики гражданского общества по Фергюсону: (1) оно есть историко-природная константа; (2) оно служит опорой спонтанному объединению индивидов. Парадокс экономической связи; (3) она служит постоянной матрицей политической власти; (4) она составляет двигатель истории. — Появление новой системы политической мысли. — Теоретические следствия: (a) вопрос об отношениях между государством и обществом. Немецкая, английская и французская проблематики; (b) регулирование осуществле-*

ния власти: мудрость государя в рациональных расчетах управляемых. — Общее заключение.

Мишель Сенеляр. Контекст курса 395
Краткое содержание курса 403
От переводчика 413
Предметный указатель 435
Именной указатель 438

Научное издание

Мишель Фуко

РОЖДЕНИЕ БИОПОЛИТИКИ

Курс лекций в Коллеж де Франс
(1978—1979)

Редактор издательства *О. В. Иванова*
Технический редактор *И. М. Кашеварова*
Компьютерная верстка *В. А. Кульматова*

Лицензия ИД № 02980 от 06 октября 2000
Подписано к печати 09.11. 2010.
Формат 60x84 $^{1}/_{16}$. Бумага офсетная.
Гарнитура Таймс. Печать офсетная.
Усл. печ. л. 26.1. Уч.-изд. л. 24.7.
Тираж 3000. Тип. Зак. № 3458 С 214

Санкт-Петербургская издательская фирма «Наука» РАН
199034, Санкт-Петербург, Менделеевская линия, 1
E-mail: main@nauka.nw.ru
Internet: www.naukaspb.spb.ru

Первая Академическая типография «Наука»
199034, Санкт-Петербург, 9 линия, 12

Я пытался показать, что государство вовсе не есть естественно-историческая данность, которая развивается в своей собственной динамике в «бесстрастного монстра», семя которого брошено в определенный исторический момент и который мало-помалу пожирает его; государство вовсе не таково, государство – не бесстрастный монстр, оно коррелятивно определенному способу управлять. Проблема заключается в том, чтобы узнать, как развивается этот способ управлять, какова его история, как он побеждает, чем он ограничивается, как он распространяется на ту или иную область, как он изобретает, формирует, развивает новые практики, вот в чем проблема, а не в том, чтобы делать из [государства] балаганного гиньоля, какого-то жандарма, который заявляется, чтобы поколотить тех или иных персонажей истории.

Мишель Фуко